

Дорогие наши читатели!

Уходит эпоха книги. Наши домашние библиотеки, которые мы собирали в прошлом столетии и которыми так гордились, теряют своё высокое предназначение. Катастрофически сокращается число книжных магазинов по стране. Закрываются множество библиотек, а те, которые ещё живы, не могут пополнять свои фонды и выписывать, как это было принято всегда, “толстые” литературные журналы, являвшиеся ещё совсем недавно нашей национальной гордостью. Государство экономит на этом какие-то копейки в стране, где о Смутном времени мы судим по драме “Борис Годунов”, о нашествии Наполеона на Россию по роману “Война и мир”, о величайшей мировой революции по “Тихому Дону”, по поэмам “Двенадцать” и “Анна Снегина”, о Великой Отечественной войне по “Василию Тёркину” и роману “Молодая гвардия”.

Но ваш любимый журнал ещё живёт хотя и нелёгкой, но достойной жизнью, и в нём до сих пор работают преданные нашему общему делу сотрудники, пришедшие в коллектив в девяностые годы. Вместе с вами, дорогие читатели, мы пережили эпоху государственного переворота 1991–1993 годов, эпоху дефолтов и грабительской приватизации, эпоху небывалого в мировой истории мошенничества и олигархического беспредела. Лишь в начале третьего тысячелетия мы с вами стали освобождаться от горбачёвско-ельцинского растления всей нашей жизни. Мы с вами — русские писатели и русские читатели, сплочённые одной правдой и одной волей, всегда чувствовали свою ответственность перед нашей историей, перед временем, перед традициями великой русской литературы. Наши отцы и деды в 1941 году понимали, что “отступить некуда, позади Москва”. А сегодня и мы, беря с них пример, повторяем: нам тоже отступить некуда — за нами стоят Пушкин и Достоевский, Шолохов и Есенин, Михаил Булгаков и Андрей Платонов.

А если вспомнить о наших современниках, сплотившихся вокруг журнала во второй половине XX века... о Валентине Распутине, Николае Рубцове, Василии Белове, Вадиме Кожинове, Юрии Кузнецове, Игоре Шафаревиче, Митрополите Санкт-Петербургском Иоанне и других выдающихся именах, создавших славу журнала! Да, их уже нет с нами, но они — это наш бессмертный полк, сделавший всё для того, чтобы “Наш современник” вот уже двадцать лет являлся самым популярным, самым читаемым “толстым” журналом России.

Их традиции сегодня продолжают Александр Проханов и Виктор Лихоносов, Владимир Крупин и Альберт Лиханов, Сергей Шаргунов и Захар Прилепин, Михаил Тарковский и Юрий Козлов, Иван Переверзин и Андрей Убогий. Всех не перечислить, если вспомнить о многих молодых писателях, нашедших себя в стенах “Нашего современника”. Не оскудела ещё русская земля талантами, жив ещё союз нерушимый русских писателей и русских читателей.

Недавно исполнилось 30 лет как я возглавляю “Наш современник”. Все эти годы я отдаю силы любимому журналу. Пора бы и на покой, но я до сих пор получаю ежегодно сотни читательских писем, и не всегда успеваю отвечать на них и сознаю, что остаюсь в долгу перед их авторами, к которым обращаюсь, может быть, с последней дружеской просьбой: сделайте и лично мне и всему коллективу редакции простой, но бесценный подарок. Подпишитесь на журнал, в который мы постараемся вложить в 2020 году все свои способности, весь свой опыт, всю свою любовь к нашей родине, о которой великий Пушкин, основатель журнала “Современник”, сказал: “Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”.

Станислав Куняев

НАШ СОВРЕМЕННОК

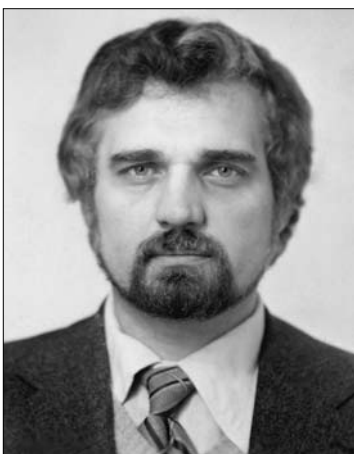
№ 11 2019

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№ 11 2019



Пётр Васильевич Палиевский 1932–2019

Ушел из жизни Петр Васильевич Палиевский.

Он оставался последним из «великой четвёрки», из того содружества и соратничества молодых ученых, которые в начале 1960-х создавали новую теорию литературы в ее историческом освещении – Пётр Палиевский, Вадим Кожин, Сергей Бочаров, Георгий Гачев. «Романтики реакции», – как называли их заинтересованные и пристрастные недоброжелатели.

Годы, когда он был заместителем директора Института мировой литературы, мы вправе назвать «золотым веком» этого научного учреждения.

«Романтик реакции» Палиевский оставил после себя хрестоматийные тексты, в которые вчитывались, которые изучали, на которые опирались и его сверстники, и историки, критики, литературоведы последующих поколений. «Художественное произведение» – совершенный в своем роде разбор «Хаджи-Мурата» Льва Толстого. «О структурализме в литературоведении» – точный и беспощадный разгром «развивающейся полуматематики» (по его определению), возмнившей себя самой точной наукой о литературе. «Экспериментальная литература» – безусловное утверждение приоритета русского модернизма перед западным. «К понятию гения» – ярчайший и безукоризненный в своих основополагающих чертах портрет «современного гения», «превратившего гениальность из просветляющего начала в общественное амплуа и модель поведения», характеристики которого остаются жгуче современными и ныне. «Последняя книга Михаила Булгакова» – статья, поставившая в эпоху повального увлечения «воландовщиной» серьезнейшую проблему «превращения Бездомных в Поныревых». «Мировое значение Шолохова» – здесь впервые в разговоре о «Тихом Доне» была раскрыта и описана народная стихия, как «начало, способное поглотить разрывы, перемолоть агрессивное самоуправство и соединить распавшуюся связь времён».

Он написал лучшие в нашем зарубежном литературоведении статьи об Уильяме Фолкнере, Грэме Грине, Маргарет Митчелл, Томасе Вулфе. Он (наряду с Вадимом Кожинным) был фактическим организатором знаменитой дискуссии «Классика и мы», которую открыл докладом, и по сей день читающимся, как сугубо современное слово, слово о реванше авангарда, паразитирующего на классике, для которой на самом деле «мы... являемся... материалом, из которого она призвана творить нечто очень серьезное, достойное... будущего». И именно благодаря Петру Васильевичу удалось через несколько лет опубликовать материалы этой дискуссии, а позже и издать посвященную ей отдельную книгу.

Его последняя прижизненная книга «Развитие русской литературы XIX–начала XX века» была отрецензирована на страницах «Нашего современника», постоянным автором которого он был на протяжении всего начала XXI века. Он, к счастью, успел прочесть отзыв и сказать о нём доброжелательные слова, так же как и успел увидеть свою статью «Завещание русского консерватизма» о Василии Розанове и Константине Леонтьеве, публикация которой в нашем журнале доставила ему подлинную радость.

Редакция «Нашего современника» скорбит вместе с родными и близкими нашего друга и выражает им своё глубокое соболезнование.

К 80-летию Юрия СЕЛЕЗНЁВА

Когда Юрия Ивановича Селезнёва провожали в последний путь, было сказано много горьких, покаянных, высоких слов о нём как человеке и писателе, о его драматичной судьбе литератора и редактора, но самой запоминающейся стала фраза Вадима Валериановича Кожина: «Есть люди, о которых говорят, что на них земля держится. Юрий относился именно к таким людям. И сейчас, после его ухода, у меня есть ощущение, что земля пошатнулась».

Справедливость этих слов становится всё более очевидной по истечении десятилетий, когда многожды раз в кругу друзей и единомышленников повторялось одно: «Как же его сейчас не хватает!» И, действительно, в тот или иной роковой эпизод нашей истории конца XX века не оставило ощущение, что не хватает его прямого взгляда, его точного, объёмного и страстного слова, его пристальной и пронизательной оценки того или иного явления в литературе и жизни. Он умел схватить самую суть происходящего, дать необходимый и верный в своей убедительности анализ – вроде бы не очень значительного внешне, но имеющего реально насыщенный смысл – того или иного события. И многие его современники, в первую очередь, вспоминали именно это его свойство, говоря о необходимости Селезнёва в нашей жизни.

«Я бы сказал, что у него было своеобразное, скульптурное мышление. То есть не одномерное, не плоскостное, а всеохватывающее, что позволяло ему представить явление во всей его целостности, идя при этом от главного. Отсюда его постоянные обращения к проблеме народности, к теме патриотизма, долга и совести» (Валерий Ганичев).

Статью Сергея Куняева о Юрии Селезнёве читайте на странице 133.



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО
Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Содержание

Проза

- Михаил ТАРКОВСКИЙ
Поход. Повесть 11
- Владислав СОСНОВСКИЙ
Проводник. Повесть 43
- Александр ЛЕБЕДЕВ
Тихоня. Рассказ..... 86

Поэзия

- Евгений СЕМИЧЕВ
Мир отражается в слезинке... 3
- Вадим ТЕРЁХИН
Бескрайний простор и прибой 9
- Владимир АРХИПОВ
Россия, Пушкин и любовь! 37
- Андрей ПОПОВ
И тают снега,
и плывут облака... 40
- Олег МОШНИКОВ
Окликая с любовью Россию... 79
- Виктор ПЕТРОВ
...Мой Китеж во мне! 82

Память

- Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожин 90
- Валерий СДОБНЯКОВ
Гость нового века 118

Очерк и публицистика

- Станислав КУНЯЕВ
К предательству
таинственная страсть 149
- Владимир ОВЧИНСКИЙ
Криминология импичмента 169
- Сергей ГЛАЗЬЕВ
Логика истории 180

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Я. В. Сафронова —
*редактор по связям
с общественностью* —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Сергей ШАРГУНОВ
Стоны страны 220

Альберт ЛИХАНОВ
Крёстный 229

Мир Свиридова

Александр БЕЛОНЕНКО
Шостакович и Свиридов:
к истории взаимоотношений 249

Слово читателя

Мир спасётся Россией 235

Критика

Сергей КУНЯЕВ
За святыни Отечества 133

Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН
Духовный реализм
Ивана Переверзина 270

Пётр КРАСНОВ
Лев Толстой и ноосфера 279

Максим ЕРШОВ
Убить императора 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Оператор: Полякова Н.С. Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.11.2019. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2997-2019. Тираж 3700 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ



МИР ОТРАЖАЕТСЯ В СЛЕЗИНКЕ...

* * *

Россия — оторвавшаяся льдина
От океанских ледовитых льдов,
Извечная судьбина и година
Сирот несчастных и суровых вдов.

И ты стоишь, печальная, на кромке
Стихов гремучих и дремучих снов,
А под ногами — острые осколки
Земных и человеческих основ.

Неистовая, хрупкая горячка,
Поверившая в Божий Высший Дар.
Сцепились насмерть белая горячка
И красный полыхающий пожар.

Марина — ледовитая морена,
Залегшая в глубинные слои.
Твоей судьбе и море по колено,
И все тебе чужие и свои...

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич – выдающийся современный русский поэт. Родился в 1952 году. Закончил факультет режиссуры Куйбышевского государственного института культуры и Высшие Литературные курсы Московского литературного института им. М. Горького. Автор книг “Заповедный кордон”, “Небесная крепь”, “Свете Отчий”, “Великий верх”, “Аргуван” и др., а также многих публикаций в центральных и региональных изданиях России. Живёт в Самарской области.

* * *

Мир отражается в слезинке
И ощущает с небом связь.
Слезами вымою ботинки,
Чтоб не тащить на небо грязь.

Как старики сентиментальны:
Чуть что, и слёзы на глазах.
Какие постигают тайны
Они в Божественных слезах?

Прощайте старикам капризы.
На вас взирает, чуть дыша,
Сквозь слёз оптические линзы
Подслеповатая душа.

* * *

Семинар поэтов молодых —
Юных дней моих воспоминанье.
Бьют меня товарищи под дых,
Испытуя на излом дыханье.

Битым я не раз потом бывал.
И, пройдя суровую закалку,
Диафрагму натренировал,
Укрепил характер и дыхалку.

Выковал в себе бойцовский дух
И широкий непокорный выдох.
За меня дают сегодня двух
Стихотворцев, в драках недобитых.

Я шагаю, млечностью пыля.
Небеса мне — скатерть-самобранка.
За моей спиной — вся земля
И река разбойная — Татьянака.

Где, как тать, берёт меня в полон
Город N — фамильная обитель.
И сибирякам земной поклон
Шлёт один его исконный житель.

Предо мной — заснеженная мгла.
Завывает вьюга ошалело...
...Город Омск морозом добела
Раскалён до млечного предела.

Пролетел табун коней гнедых
Лет моих... И вновь меня встречает
Семинар поэтов молодых
Жадными горящими очами.

Соловьями критики поют...
Внемля им душою нараспашку,
Понимаю-чую: наших бьют!
Обсуждают Тихонова Сашку.

Сашка — поэтический юнец
Достославной песенной Сибири.
Рядом с ним сидит его отец —
Кулаки тяжёлые, как гири.

Отчего-то очень жутко мне,
Если он кого-нибудь ударит.
Хорошо, что никакой родне
Слова не дают на семинаре!

Я шепчу: “Сашок, держись, родной!
Даже если в драке будет жарко.
Город Тара за твоей спиной
И река искристая Аркарка.

И ещё — сибирская земля,
Что природной силою питает,
Где, небесной млечностью пыля,
Русская поэзия ступает...”

* * *

Собаке снится речка, не иначе...
Вот почему, вздымаясь среди сна,
Колышется ребристо грудь собачья —
Как за волной вздымается волна.

А лодке снится, что она собака,
Прикованная к берегу реки.
И вздрагивают волны среди мрака,
Как вздрагивают спящие щенки.

А человеку снится: гибнут люди,
И нету сил скрываться взаперти.
И человек встаёт, собаку будит,
Спускает лодку на воду с цепи.

И человек, собака, лодка, речка
В ночной и беспокойной тишине
Плывут куда-то по стремнине млечной...
А может, это все приснилось мне?..

* * *

Ты глядишь на меня исподлобья.
Может, думаешь, не устою.
И рубаха забрызгана кровью,
Словно мы на кулачном бою.

Я, сутулясь, стою против света.
И прибит под ногами снежок.
Ничего в этом страшного нету,
Что твой взгляд мои щёки обжѐг.

Знаешь, дело моё молодое —
Я не робкий, могу дать отпор,
Ведь недаром к горячей ладони
Прикипел рукояткой топор.

А свои озорные угрозы
Ты для малых детей сбереги.
Может, завтра ударят морозы.
Лучше дров наколоть помоги.

Не гляди на меня исподлобья.
Ничего в этом страшного нет.
Всё равно не поссорюсь с тобою,
Мой холодный декабрьский рассвет!

ДОЖДИК

Уйду с головой в небеса,
Устав от сердечного гуда.
Туда не берут адреса,
И письма не пишут оттуда.

Уйду поутру налегке,
До облачной выси достану
И буду для мира никем,
И дождиком ласковым стану.

И снова на землю приду
У окон твоих ошиваться.
И буду у всех на виду
Нахально с тобой целоваться.

А твой благоверный супруг
Закроется в доме, застонет,
Сошлётся на давний недуг,
Меня от крыльца не прогонит.

И мы постоим на крыльце
В обнимку — одни в целом свете.
И слёзы твои на лице
Никто у тебя не заметит.

* * *

Грустные эти звёзды
В сумрачной вышине.
— Господи! —
Твои слёзы
Горькие
Обо мне.

Что ж от меня ты прячешь
В сумраке скорбный лик?
И почему ты плачешь,
Если Ты так велик?

* * *

С крыши ли, свыше — из рая ли? —
Хлипкий доносится глас...
Блудные дети Израиля
Русский обсели Парнас.

Ножки короткие свесили —
Высоковат русский трон.
Над городами и весями
Вопли картавых ворон.

Знаю ответ ваш заранее —
Все вы и всюду правы!..
Блудные дети Израиля,
Не заблудились ли вы?

* * *

В этом мире Праздник Солнца
Миллиарды зим и лет,
И к чему ни прикоснешься —
От всего исходит свет.

Тьму веков пронзает светом
Неба солнечная твердь.
И не надо быть поэтом,
Чтобы горний свет узреть.

Облаков льняная млечность.
Небо плещет синевой.
Перемалывает вечность
Солнца жёрнов огневой.

На поля, луга и ельник,
На полынь и бересклет
Бородатый сеет мельник
Негасимый Божий свет.

А в лучистом горне солнца
Для земных насущных треб
Божьей волею печётся
Золотой небесный хлеб.

Этот мир искрист и светел,
И блажен из века в век.
В этом мире, что он смертен,
Знает только человек.

Отчего ж стою печальный,
Светом солнечным сражён?
Оттого, что гость случайный
Я на празднике чужом.

* * *

В аду на коленях у главного чёрта
Сидит с кошельком грамотей.
Такая нехитрая с виду работа —
Оплачивать козни чертей.

Но требует всё же крутые повадки
И жёсткий ревнивый догляд,
Ведь ушлые черти на денежки падки
И лапы нагреть норовят.

У них что ни день — то Содом и Гоморра.
Работать никак не хотят.
Налижутся сдуру крысиного мора
И злобно друг друга едят.

А если напьются, то в карты играют
И всяко грехами соряют.
А деньги казённые тают и тают,
А лапы горят и горят.

Обчистят нахально друг другу карманы
И в тяжком похмельном бреду
Набрешут с три короба, как наркоманы,
Что в райском гуляли саду.

А черти из тех, кто иных побойчее,
Растратив беспутно суму,
Идут на поклон к самому Казначею
И ножки целуют ему.

За что грамотею такая награда
И пышный особый почёт?
Поганое грязное золото ада
Ему ляжки хилые жжёт.

Несметное это богатство откуда?
С тернового брызжет куста.
А кто Казначей тот? Паскуда Иуда,
Торгующий кровью Христа.

* * *

Говорю я ему: “Не клонись на зарю”.
Только он почему-то не верит.
А известно давно — на земле к сентябрю
Сквозняками из космоса веет.

Что же ты понаделал, мой милый дружок?
Понакликал печальницу-осень.
Вот и тихую рощу за речкой поджёг,
Листья бьются со звонами оземь.

Небеса на подмогу теперь не зови.
Это пламя исходит из сердца.
Кто из нас не горел на высокой любви?
Все мы, все мы её погорельцы.

Не зальёшь это пламя небесной водой.
Тщетно ангел-хранитель твой плачет.
Я когда-то был тоже, как ты, молодой
И, как ты, думал тоже иначе.

И тебя этот пламень вселенский увлёт,
И твою красоту он схоронит.
Но не слышит меня молодой тополёк —
На зарю свою голову клонит.

ВАДИМ ТЕРЁХИН



БЕСКРАЙНИЙ ПРОСТОР И ПРИБОЙ

* * *

Известно, что, придя в движение,
По всем законам естества
В системе общего снабженья
Вода безвидна и мертва.

И ждёт спасения, доколе
Не образует в трубах течь.
Вода не может жить в неволе,
Как поэтическая речь.

Она подвижница теченья,
Напора, скрытого в груди.
И из любого заточенья
Всегда пробьёт себе пути.

И если посмотреть на воду,
Примерить жалкий опыт свой —
Лишь вырываясь на свободу,
Вода становится живой.

ТЕРЁХИН Вадим Фёдорович родился в пос. Песоченский Тульской области. Закончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала артиллерии М. Н. Чистякова и Московский литературный институт им. М. Горького. Лауреат множества литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, председатель правления Калужского областного отделения Союза писателей России. Живёт в Калуге.

* * *

А я уж на склоне пути,
Но в мире таком многогрешном
Мне всё предлагают расти
И быть молодым и успешным.

И думать всегда о рубле,
Развершем небесные тверди,
Как будто и нет на земле
Ни боли, ни горя, ни смерти.

А я не расту над собой.
И мне в этом мире осталось:
Бескрайний простор и прибой,
Любовь, сострадание и жалость.

* * *

Земля под дедовской избёнкой
Среди отеческих могил,
Тебя, как малого ребёнка,
Я на руках своих носил.

Прости, что я колол лопатой —
Грузил себе посильный воз.
И видел я тебя распятой
И захлебнувшейся от слёз.

И почитал, как мать вторую.
И буду погребён судьбой
В тебя,

в слоистую,

сырую,

Чтоб стать навеки уж тобой.

Я выполнял твою программу
Из притяжения к тебе.
И вырыл долговую яму,
Похоже, самому себе.

И что же есть в тебе такого,
Что заставляет душу петь,
И посвящать не только слово,
А даже жизни не жалеть?..

* * *

Народ свергает монументы,
Как будто бы в его судьбе
Гранит, охваченный цементом,
Виновен сам был по себе.

Как будто ждёт, что непременно
От боли, горя и тоски
Его избавят перемены
И эти битые куски.

И, выбирая путь особый,
Непроторённый, новый путь,
Воздвигнет вновь источник злобы,
Как памятник кому-нибудь.

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



ПОХОД

ПОВЕСТЬ

1

На шестьдесят пятом году жизни Иван Басаргин родил пятого сына. Это был второй его брак. Первая жена Ивана Иулиания семь лет тяжело болела, и Иван, разрываясь между домом и тайгой, ухаживал за ней до самого до послела. Когда уже не могла передвигаться — подходил к сидячей, нагибался, она клала руки ему на плечи, обнимала за шею в слабый холодный замок, и он аккуратно вставал-выпрямлялся с ней и, держа за талию, помогал перейти, чувствуя, как шатко, почти волочась, её ноги ищут-перебирают опору, и будто ею шагал. Или обняв сзади, под локти, переступал вместе с ней — в четыре ноги. Потом уже просто носил.

Был Иван до мозга костей промысловиком, а происходил из старинного старообрядческого рода. Предки жили в Алтайских предгорьях, в Шипуновской волости Змеиногорского уезда. Сыны в хозяйстве главная подмога, и когда в 1861 году для переселенцев на Дальний Восток отменили рекрутский набор, семьей двинулись к Хабаровску. Многодетно. Подводами, со скотиной, которая по дороге погибла. На месте, едва добравшись, отправился прапрадед (или кто там) в город на базар за лошадью. Жена, переезд не одобрявшая, наказала: “Путнюю лошадь бери, деньги-то последние”. И вот предлагают ему мелкую кобылёнку, невзрачнейшую, глаза бы не глядели.

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор книг “Стихотворения”, “За пять лет до счастья”, “Замороженное время”, “Енисей, отпусти!”, “Тойота-креста”, “Избранное”, “Сказка о Коте и Саше”. Главный редактор альманаха “Енисей”. Живет в с. Бахта Красноярского края.

Мимо бы и прошёл. Но тут явился ему “старичок в образе Николы-Угодника” (именно так по преданию) и велел кобылку-то и брать. Домой вернулся, жена: “Ты ково привёл!” Мол, не видишь, чо ли, что совсем жидкая клячонка! Того гляди рассыпется. А жидкая-то клячонка столь могучих жеребцов нарожала, что всё хозяйство-то на них и подняли, да так, что “соседы диву давались”. И если возможно провести бережную нить меж трудовой этой матерью-животиной и тихой героинюшкой-женщиной, то на Иулианию-то эта нитка и выведет. Детей восьмерых родила, все крупные, крепкие, только, вот беда, погиб один. А происходили все эти рождения в Сибири, куда семья Иванова отца перебралась с Дальнего Востока.

Обычно староврки статные, крепкие и, бывает даже, мужик, как приставка к ней — выжженный, сушённый, бородёнка ключьями. Зато хозяйка широкая книзу, колоколом юбка в складках — сама основа. А Иулиания не в правило пошла — наоборот, маленькая, хрупкая, грудь измученная — дико, больно представить, как стольких рожала-выкармливала. И вот хрупкая, а от лечения расплнела, лицо, лоб раздуло от лекарств... На лбу даже галочка сделалась, и над ней навалилось футбольным мячом нечто нелепое. Иван жену порой и не узнавал, даже голос изменился. Делалась иногда спокойной и странно рассудительной. Или вдруг рассеивалась, вспоминая сказанное кем-то третьего дня. И голос делался какой-то надтреснутый и будто важный. Лежала в белой ночнушке, вытянув голую руку, иссохшую до сухой ряби, исколотую до лиловых кровоподтёков под локоть и в приверх кисти. Лежала-лежала, и вдруг запоёт. Голосом прежним, высоким, девичьим. Повелось, что и дети собирались, садились рядом и пели — все три дочери.

*Много есть на свете людей,
Милых да хоро-оших,
Только нету мамы моей
Никого доро-оже.*

Иулиания сначала молчала, слушала, обострялась лицом, глазами блестя, шевелила губами, а потом и сама начинала подпевать. Дочери пели, как любят маму. Прямо при ней пели, в глаза её солёные погружали песню, ни себя, ни матушки не боясь и заранее побеждая время. И песня чувствовала, как встаёт наконец во весь рост её правда, и лилась, поражённая и чистая, будто пред вечностью. Бывало, и слёз не таили, и старшие сыновья заскорузлые прятали глаза, подпевали басами и, не попадая, не вырезая линии, не выводя, как не выводит изгиб наличника пила с крупным зубом. Только Иван не выдерживал пронзительных этих спевов и, отойдя, долго стоял лицом к образам и громко шептал. А старшая дочь Ирина держала мамочку за кисть, холодную, исколотую до кости, и все вместе пели о маме, а мама — уже о всех матерях.

Лечитья Иульянюшка отказывалась, словно хотела без поблажки принять испытание. Родные заставляли, уговаривали, а она если и поддавалась, то чтоб не огорчить. Вроде бы, невозможное сочетала: болезнь принимала как Божью волю, но пока дышала — не сдавалась до последнего. Поражала тихой своей силой — врачи говорили, что с этой болезнью так долго не живут, а она жила, и все дивились, воодушевлялись, и почти верили, что сила эта перенесёт через болезнь. А уж молились как! Когда ещё на ходу была, ездила по святым местам. Как-то я встретил их на зимнике: Филипп, старший сын, на “сурфе” с прицепом, у которого отвалилась водилина. Копался, лёжа, в снегу (“Да, всё нормально, управлюся”). А в тепле салона домашне сидела маленькая тётка Иульяния в толстом платке и обильной складчатой юбке.

Потом уж не до езды стало. Кому-то со стороны, может, и казалось — какая уже разница — день она проживёт лишний, месяц, год, всё равно, мол, один исход. И даже, мол, чем дольше, тем мучений больше — и ей, и всем. А Иван бился за каждую её секунду, не считался ни с какими затратами — лишь бы спасти. Но не спас. И ушла навек вся мелочь неурядная, пустячные обиды, которыми бесишко так срамотно застит глаза. И остался по гроб жизни образ — смиренной и непобедимой женщины.

У Иулиании пролежни начались, и он мыл её, и это частое мытьё уже каким-то важнейшим делом стало. И чем больше он ухаживал за ней, чем беспощадней проламывая все разновидности мелких стыдов, тем легче, честнее и слезней ему становилось. Когда, придя с промысла, застал её ещё худшей, сдавшей, неузнаваемой — выскочил набраться сил: рыдания задушили. Страдание было общее, непереносимое, и сыны глядели на него, беспомощно открыв глаза, и эти глаза только добавляли муки и неоглядности. Настолько было её жалко, настолько невыносимо сознавать, что она больна, а он здоров, что спасался подмогой — чем больней — тем спасительнее. Нырял в горе, и оно пёрло в уши, нос, и чем больше себя не жалел, тем сильнее Бог помогал. На охоту ходил — не сидеть же при ней, поджидать кончину: ещё хуже. Да и жить надо на что-то. Помог Господь — ушла в Рождественский пост, когда все дома были.

Иулиания стоит на послесвадебной фотографии. Платок в белый горошек треугольно ширится от макушки на плечи твёрдым щитом. На шее подколлот под подбородком и на грудь ложится плитой. В платке как ромбик лицо — древнее, крестьянское, не загорелое — прожженное, как с фотографий старинных, на которых: переселенцы, такой-то год, Приамурье. Или военнопленные... Брови домиком — выгоревшие, выжженные добела, и скулы-яблоки особенно круглы, выпуклы — снизу объёмно темны, а сверху так же белы, как и брови. Такие лица немного страдальческие, обречённые. Зато щёки при улыбке крепнут, круглятся яблочко, и улыбка под ними ярким полумесяцем. И у матери её такая же улыбка была. Так они и стояли с двумя улыбками — когда сватался: двумя полумесяцами сияющими... Мир праху твоему, Иульяныюшка. Да простит тебе Господь согрешения вольныя и невольныя и дарует Царствие Небесное. И нас грешных прости, что не уберегли.

С годами Иван с возмущением начал обнаруживать и в себе неполадки, хотя и довольно обычные для возраста и образа жизни. “Да не должно быть такого! Сердце должно чётко работать... Рэз-рэз”, — давал он такт сжатой в кулак рукой. Если б можно было — сам бы себя раскидал, перебрал, все подшпипники смазкой забил бы — не глядя пол-лета бы выделил и в сарае на холодке бы копался. В коленки тавотницы бы поставил. “И локти прощиприцевал бы, хе-хе. Всё работать должно чётко”. “Должно” было его любимое слово. Замечательно, что в прежней литературе тоже звучало это “должно”, точнее, “дóлжно”, и означало зависимость героя от общественных правил. Здесь же “должно” несло другой смысл — знание жизненного природного закона, трудного, сильного и строгого, как отвес. Он и женился поэтому, зная бесспорно, что нельзя человеку одиноко жить. Что ненормально такое и дико. И все хвори от этого, и особо душевные.

Ездил летом на грязи. Широкий, приземистый. Очень бородатый, почти по-звериному. Борода с пол щёк. Чёрный костюм в полосочку. Руки крепкие, недлинные, рукава до полкисти. Старообрядцы только в книгах великаны — в тайге да на земле невысокий ценится, и важнее крепость и чтоб “центр тяжести” пониже. Говорили, что в лучшие годы Иван взваливал на плечо столитровый бочонок с бензином и пёр на угор. Как гуляет жидкость в ёмкости на плече, не каждый знает, но поверьте — шатает пьяно, как гиря вразнойой с шагом болтается.

Оно правда — не нужны длинная спина и долгие ноги. И в лодке стоять труднее, шестом управляться. И невод тянуть. И сено метать. И на лыжах. Если Ивану добавить ног хотя б ладони на три — то в другой бы калибр ушёл, аж страшно: богатырь с картины. Тем более и лицом силён, выразителен, до ликовости. Черты как подкаченные. Живописцы работают так. Или скульпторы, литейщики. Лоб, брови, веки верхние — всё выпуклое, тяжёлое. Так что, если б подросток в ногах — у кого-то в искусствах точно бы было.

В жизни, едва начинал говорить, оживали глаза морщинками, шевелились усищи, открывая сломанный зуб и выступающую челюсть. Особенно она выдвигалась, когда ел кедровые орехи, в кулак собирая скорлупки. Орешек раскусывал всегда чётко пополам, и очень аккуратный выходил “отвал”.

Не то что бывает, измельчат-исплюнявят: тошно глядеть. Орехи всё время грыз. И осенью, когда по посёлку ходил-собирался, и даже в городе, черпая из кармана пиджака.

Борода у Ивана была очень красивая, крупноостистая. Делилась на крупные твёрдые языки, завивы, как на живописных кистях, которые стояли смято и так подсохли. И усы — тоже очень объёмные, высокие. Фигура коренастая, в тазу чуть подломанная, корпус нависающий, и быстрая походка.

Как многие староверы — стоял на самой границе с дикой стихией. И чем меньше общался с миром, тем беспощадней была его битва на самом шве с тайгой, на стыке плит, где дымилось и выбрасывало лаву первозданного выживания. По сравнению с его таёжным бытём охота обычных охотников была гостеванием. Они и жили долгое время не в посёлке, а на заимке среди тайги, и то их топило, то шатучий медведь-смертник наваливался по осени, именно когда хозяин в тайге, а дома лишь бабы с детишками, да старик отец. Одного ребёночка так и... Ой, горя сколько было. Может Иулиания этого и не вынесла. И как иначе было жить? В посёлке, где мат, пьянка да курево? Да телевизор срамной этот? Да рынка узаконенный братобой?

К староверам отношение разное, но сильное: образованный класс, особенно писателя, — поэтизируют. Которые построже, правда, попрекают за раздрай с государством. Народ простой тоже не всегда принимает, отвычка от веры сказывается, но более другое: для староверов главное уклад любой ценой. И расчёт на себя только. И вот причуда: чтобы защитить и сохранить нематериальное — приходится вступать с материальным в особо плотные, даже плотские отношения. И у местных мужиков упрёк один: больно рьяно к природе относятся: дескать, “гребут всё”, “там покончили зверя, на другое место переехали — и трава не расти”. И многодетность пугает, и трудолюбие нечеловеческое — с такими не потягаешься.

— Ну у них же своя дорога! — скажешь.

— Своя-то своя, — ответят, — да больно уж мимоходом, сквозом к нашей идёт. Для себя живут. А мы для их... так — обстановка.

— А то, что почти в нетронутым виде старинный уклад явили? Это тоже для себя? На всю б страну такой верности... обстановку!

— Да мне это, знаешь... слова красивые. А вот там у Афонькина рúчей сохат стоял, как раз Басаргины проезжали и...

— Ну что “и”?

— Рожки да ножки. Вот что!

Да понятно, сохат сохатом... Но никогда дорога старообрядцев не сходилась в такую близь с остальным Русским миром, единясь в чутье к чуждому, “анчихристову”, “наскрозь” видя и куда мир катится, и кто... катит. И куда ни шло порицать старообрядцев, когда вера на Руси мерой была, а теперь, в катастрофу-то уж и растратно, пожалуй. А Иван был из обычных людей. Для него его староверство — семейная ноша и честь. Он и нес их как защитник, и если Иулиания была свечечкой, то он — её ладонями. Трудовыми и верными.

Ладони эти, как клык у трактора, могли ещё не одно столетие мерзлоту пахать, если б не остальные запчасти. От трудовых перегрузок начинало поколачивать в груди и голова кипятком наливаться. Мириться с этой нелепцей Иван не собирался. Никогда не болел, и был настолько ладен и умён в движениях, что ни разу пальца себе не порезал. У сыновей, правда, по-другому выходило. Перебор силы вырос-накопился, видимо, за отцовской широкой спиной — мясистые удались не на шутку. И когда пёр самый рост, но башка ещё нагулявшую мышцу не обуздала, то себе руки-ноги рубили, под лёд ухали, а уж одёжу нахратили мгновенно, до сеточки протирая на мышцах. Старший Филипп на раз выдирает стартёр у “бурана”, ещё и ворчал на конструкторов, что “сопли лепят”. Ещё на “вихре” ездил, сидел — одна нога в лодку, другая — к мотору. Перепутал беспричинно скорость и включил заднюю. Мотор подлетел и разворотил зубчатый венцом ляжку. В рямушки... Жил Филипп, правда, в другом посёлке, а при Иване по старшинству первым шёл Тимофей. Его силища как-то особенно опасно гуляла.

Вытаскивали по осени лодку-дереваху. Тимоха пёр по заледенелым камням напитанную водой и промёрзшую слань — дощатый подножный щит. Придавленный сланью, он ступал мощно и порывисто. Ноги богатырски буксанили, тело крутанулось коленвалом, шапка слетела. Тимофей не устоял, упал, в падении пытаясь могуче извернуться, почти устоять. Накрыло по голове до крови сланью. Отец рванулся, но не успевал — всё нарочито медленно происходило, кренился, извернувшись, Тимофей, и падала, накрывала открытое темя сланина... До кости белой ссадил бошку. Аж тошнило. Лежал на нарах. Отец только головой качал и про белое не говорил. Промывал бошку перекисью.

Зато и избушку за два дня собирали. Устраивали мгновенный лесоповал в несколько пил. Те, жесточась, ревели, одновременно падали кедрины, тут же от них отчекрыжевались ветки, всё отмерялось, кряжевалось и свозилось снегоходами до площадки. Падающие кедровые лапы были. Творилось невообразимое, казалось, какой-то огромный зеленоватый медведь отмахивался от белёсых пчёл снегопада. Так же и сбор стопы шёл — казалось, бревна сами взлетают на сруб с гулким стуком. Потом братовья молча пили чай. Чередовали порыв со своего рода даже приторможностью. Как-то раз ехали на берег и попросили помочь столкнуть лодку — тут же пришпорили мотоциклы и едва не с гиканьем помчались к берегу. Я подошёл. Поплевав на руки, взялись и мгновенно столкнули корабль на три тонны груза. Потом сели на сосновое брёвнышко. Тимоха по сырому песку палочкой ковырял, а Стёпа с Лавром камешки кидали в воду. Даже Иван пожимал плечами: “То работать с огня рвутся, то с места не сдвинешь — как пень наехал”.

Промежутками были молчаливы. Даже будто замирали. Когда подъезжали к берегу и вылезали из огромной деревяшки здороваться — молча маячили за спиной отца. Как-то мы рубили базу. Они поднялись и пили чай за нашим столом, где среди прочей еды был увесистый пласт сала. Тимофей долго на него смотрел, а под конец чаепития произнёс единственную фразу: “То-олстый кусок сала”.

Эта мёртвость иногда и раздражала Ивана — женат только Филипп был, а Тимоха со Стёнкой всё ждали чего-то. При том что дочери замуж вышли кто в Амурскую область, кто под Хабаровск. Невесту в старовойской среде не так просто найти, свои тонкости, на которые отдельные силы нужны.

Детей, не считая нынешнего, последнего, было семеро. Четверо парней и три дочери. Сыны всё крепили и ширились и телом, и планами, и каждый так разрастался по тайге путиками*, что уже требовались новые избушки. Рубили очередную. Лес заготовили по снегу, а потом заходили пешком в начале весны кидать в сруб. Подстилка уже отопрела, ударило тепло. Ярко-зелёный мох, кочки, по кромкам налитые солнечным светом, бочажины с бурой водой. Жара. Комар в солнце жёлто, крупно вьётся-блестит. Сруб скидали быстро. Но от жары ли, духоты, от ходьбы ли, брёвен, вдруг и застучало в груди. На обратном пути отдышал, ржавец из болота пил, качал головой: “А ведь как саврас бегал”. Потом неполадка прошла, как ошибка.

А потом снова подступило — да не одно, а скопом. Взяли в наглуемую осадку, доказав, что не ошиблись, что его черед отбиваться. Но не на того напали, даже сыновья говорили, что тятя в свои шестьдесят “ишшо вихрем вьёт”. Он-то собирался жить и трудиться в полную отдачу и двинул в город. В ремонт. В своём костюме, в “пальте”, в выдровом картузе лохматом. Картуз высокий как кастрюля, да ещё и с козырьком, особенно лохматым, где ворс на перегибе топырится. Интересно, что даже в костюме умудрялся тайгой пахнуть. Смешанным запахом костра и копченой рыбы. Дочка Ирочка, ещё маленькая, когда зашла впервые в коптильню, пискнула: “Папой пахнет!”

В городе начались обследования. Кабинет. Койка холодная. Аппаратура. всё технически-белоснежное... Электронное... Экраны, графики. Огоньки.

* Путик — линия ловушек с затеями.

Лежал, облепленный проводами, присосками, которые не липли к его умазанной специальным гелем волосатой груди. Отваливались, отлипали, отскакивали, как лягуши. Шерсть привставала, расправлялась вольнолюбиво. Сестра даже подбривала ему грудь. Сначала глядел неодобрительно. Потом, правда, на балагурство перенаправил...

Аккуратная обособленность каждого обследования, все эти экраны, белые панели, парадная электронщина создавали вид, будто и человеческое тело можно подстроить. Что оно тоже из запчастей под номерками. Из блестящих трубок с резьбовыми разъёмами, из диодов, да лампочек. Что нет внутри кровавого, природно-тонкого, жильного, скользкого, неподвластного.

Иван вроде таёжный, смущающийся, дикий. Но ничего подобного — везде как рыба в воде, ещё и перешучивается с сестричками, смешит их. Врач показал тонометр давление мерять: “И сколь стоит така “лягушка”?” (“О, недорого!”) И уже думал куда б её приспособить, “резинову лодку” подкачать. Было наконец главное обследование. Возмутился, когда сестрички сказали: “Ну чо, деда запускаем?” Я т-те устрою деда! Сильно ничего не нашли, сказали поменьше напрягаться в работе и не нервничать. Ну а какие есть неудачки — те, мол, все по пробегу. Вот таблетки.

Нервничать поменьше он не мог. Дело было после буржуазного переворота, и другие охотники как-то очень быстро признали силу новых законов, урезавших права и значимость охотника-промысловика. А он не мирился. Ночами не спал. А суть была в том, что если раньше охотник был нужным и даже исключительным и оберегаемым героем-работником, то теперь он будто исчез с повестки, и оказался не хозяином участка, а одним из многочисленно-возможных его пользователей-арендаторов. И могло случиться, что рядом с ним начнут толочься такие же равноправные хозяева тайги: лесодобытчики, спортивные охотники, рыбаки, туристические деятели... И не пикни. У тебя одно прописано: добывать в такие-то сроки и там-то и там-то соболя. Всё.

Пимен, сосед с другой речки к югу, рассказывал: “туришныки” прут на катерах с пропеллерами, лагеря ставят в его любимых скалах. Высаживают туристов: толстые неуклюжие мужики в бархатных камуфляжах со спиннингами. Рулят делом всё какие-то бывшие главы районов, поднакопившие капиталу. Не шкни! Мы же рабочие места даём! Это чо, твоя что ль речка? “Моя! В том-то и дело, что моя! Что это мой дом! Я здесь с важным камнем в обнимке!” Ага. Щас. Документ покажи. Ты чо, нерусский? Мы все тут граждане! И, слышь, где твой лесобилет на избушку?

Больше всего ложь бесила, передёргивание. Пимен с карабином стоял, над бошками стрелял. Чуть не засудили за превышение. Бог с имья... А то опять лягушам облепят... Грудя оброют... Тих, тихо... Потом Пимена ещё и прищучили в посёлке “коло рапорта”: “Ну чо, мохнорылый? Чо ты там стволом махал, бородой тряс, поди, сука, сюда. Посмотрим, поможет тебе Боженька? Так отпинаем, только вякни потом на речке... Ещё и инспекции спалим, как ты оленей без лицензии бьёшь”.

Досадно и за трудовых мужичков-охотников было. Один побился, причём более с самим собой воевал-спорил, и смирился. Но не потому что слабак, а потому что вот: “Не могу к людям как к врагам относиться”... Оно так и было: душа народа не могла смириться с тем, что власть сталкивала лбами мужиков, играла на низких страстях, марала человека, и тем будто себя оправдывала, перевязывала всех кровью розни. Другой — крепчайший охотник, сосед уже Пимена — рассказывал, как на острове обосновался возитель туристов и что там всё “так это капитально. С туалетом. И там унитаз такой, я тебе скажу...” — и подвыпятил губу почти с одобрением, признанием силы. Гордыня не позволяла возмутиться — окажешься в положении терпящего, а такое несовместимо с привычкой к самостоятельному ладу, нарушает и покой, и престиж. А толчок этот белейший с бачком действительно стоял на чудном галечном острове на реке посреди гор — его хозяева куда-то сдрызнули на время. Будку своротил ветер. Унитаз сиял, и Пимен изрешетил его с карабина. Вот вся и отместка.

Новые “напастя” навалились взамен прежних, и надежда на спокойную жизнь рухнула вовсе. Охотничьи участки и ране были под ударом: в ту пору

вовсю искали нефть и напускали на тайгу сейсмиков. Те рубили профиля, и по зиме, когда “проколют болота”, шли по ним вездеходами и тракторами, таща установки для прощупки земных потрохов. Целое вертолётное полчище на них работало, правда, взамен за беспокойство и населению упрощая, бывало, перемещения.

У Ивана появился аппарат давление мерить, “датчик” этот. Нелепо впёрся в таёжную избушечную жизнь. Иван сидел у стола на нарах — могучий, коротконогий, бородатый. С бессильно перетянутой рукой, со шлангом свисающим. Аппарат жужжал, набухла на руке круговая подушка. Вид выражал: вот — всё терплю ради тайги и работы. А к таблеткам никак пристрелиться не мог — то уронит давление, то поднимет. То обвысит, то обнизит.

2

Был особо трудный год. Осенью, как всегда, заброска по реке. Огромная лодка с керосиновым мотором, который заводился на чистом бензине, а потом переходил на керосин. У Ивана он переходил на арктическую, с лиловым отливом соляру, словно беря пример с хозяина, который начинал день с утреннего правила — как с кристального летучего бензина. Потом шла соляра жизни.

Возможно, читательниц этот абзац и отвадит, но об Ивановой лодке нельзя не сказать отдельно. Сзади вместо обычной сидухи — кресло от японской легковухи: для спины спасительно, иначе отламывалась, когда вставал после нескольких часов дороги, будто окостеневал какой-то угольник внутри. На кресле же с “артапедческой” спинкой отлично сидел, разгрузив поясницу. Поза была даже царственная, монументальная, вдобавок кресло возвышалось выше обычной сидухи-дощечки, где будто уютятся при моторе. На корме лодки — выносной “складчатый транец”, который поднимался и опускался на системе параллелограммов из железного уголка, эдакий складной куб. Таковую бы складчатость Ивановой спине! Управлялся транец огромным рычагом “на-подвид” ручника у машины. Лодка была настолько большой, что без груза мотор хватал воздух. Тогда транец опускали, а с грузом, наоборот, поднимали. Проходя над камнем, Иван, не меняя царской посадки, очень быстро срабатывал рычагом и задирали мотор — тем же жестом, как на конных граблях валок вываливают. Сыны переглядывались и живо лыбились глазами. У них, само собой, тоже лодки были, но поменьше и попроще. Когда вода позволяла, курсировали и вверх, и вниз. Вниз целый рейс пустых бочек — лежали поперёк стопками.

После Филиппа, отдельно живущего, шёл Тимофей. Потом Степан. Потом Лавр. На что Тимоха был крепкий, но Степан, как бывает с братьями, угадал ещё здоровей. Тот в свой черёд проходил полосу приладки, когда “мышца гулят, а тямю нуль”. Еле находил слад с руками-ногами, — очень те норовили “собственну линию” угнуть. То зажёвывал цепью от пилы штанину, то ногу разрубал через сапог, то резался ножом. Раз в лодке угадал на топор, который, видимо, ещё и положил как попало. Нёс мешок с мукой, наступил, а тот приподнялся острейшим лезвием — и распластал ступню.

Пошли со Стёпой настораживать хребёт. Помаившись вечным вопросом “тащить — не тащить с собой лыжи” — не потащили, снег не сильно напал. Шли с насторожкой, всё больше нервничая: в той стороне горело летом и изводила неизвестность — хватил ли пожар избушку или миновал? Ближе к избушке мрачнели — язык гари всё-таки ушёл в заветную сторону — приплы к заснеженному пепелищу. Ночевали у костра. С сушняком теперь “проблем” не было.

Проснулись потемну, подстывая. Чаю попили из отождённого мягкого чайника. Пошли. Тёса почти не осталось, лес попалдал, лесины с капканами тоже. Тесали: по угольному, чёрному, крошащемуся — до белой костяной мякоти. Ствол из чёрных кубиков. Крошка сажная летит. Потное лицо Стёпы, перемазанное чёрным — вытирал изгвазданной верхонкой. Самое убийственное, что гарь через пятьсот метров закончилась. Дошли до следующей

избы. Но, видно, чем-то прогневили Господа Бога: медведь разобрал крышу, всё повыкидывал из избышки. Присыпанную снежком, нашли посуду, спальник, который Степан поленился в своё время в бочку убрать, теперь — закисший и смёрзшийся с жёлтыми кедровыми иголками пласт. Избушка была очень важная — на неё особо завязывались путики. Степан ещё пуще расстроился — хозяйство “евонное” было. Утром полез на сруб и, неловко повернувшись, упал и сломал голень — нога попала на бревно. Незадолго до их прихода прошла оттепель с дождём — верхний ряд был в пупырчатом льду. Но и не во льду беда — разнервничался парень. Сплошная мышца, падал тяжело, хорошо не головой. Лежал, стонал. Батя наложил ему шину из соболиной правилки, сделал волокушу из досок, разобрав нары. Загнул кусок железа, прибил и впрягся. Шли трое суток до “Центральна зимовья”.

У Ивана и была уже начальная грыжа, но только нацеливалась, а тут на третий день вылезла вовсе. Была как кап на берёзе. Только тот твёрдый, как кость, а это мягкая. Остановился, костерок запалил. “Батя, чо?” “Да неладно”. Раньше ныло, но как-то ровно и несильно, а тут озверела. Да ещё снегу подкинуло — бродь такая, тридцать раз пожалел, что лыжи оставил.

Присел дух перевести. Над костерком поднялся, пузо схватило. Руку под штаны сунул, кап помял, выматерился аж, прости Господи. Мнется, а назад не лезет и болит. Чайку хлебнул, вроде ничего. Впрягся в волокушу, протопил километров пяток. Слабость, пот холодный. Остановился. Распрямился, плечи разогнул и... согнулся: вырвало, голова кругом, ноги подкашиваются, капли со лба, мотор колотит — как в разнос пошёл. Присел. Подышал. Снегом рот и лицо утер. “Батя, чо?” “Вроде отпускает”. Привстал, зубами поскрипел, напряжился и поволок. Терпел, пёр потихоньку, так до Центрального Божьим духом и дотащились. Вызвали санзадание, увезли в район обоних. Из района Ивана направили с грыжей в край. Там сначала мурьжили — не та свёртываемость крови, ещё и давление полезло. В конце концов прооперировали, хорошо прошло. Наркоз местный был, но не сказать, что уж совсем заморозило, бывало и доходила резь, так что лежал потный, и медсестричка-практикантка, девчонка совсем, круглолицая и синеглазая, стояла в головах и гладила, почёсывала ему висок.

Никаких нагрузок сказали “два месяца минимум”. Ни таскать ничего нельзя, ни пилить, ни ворочать, ни пешней долбить. И на “буране” — в наледь врочаешься и конец. Стояло самое начало декабря. И Иван решил на один поступок.

После ухода жены он прожил семь лет. Сыны росли, матерели, вызревали каждый своим неповторимым, заковыристым строем — как бывшие сажены ветвятся, узлятся, разрастаются — и так же разрастался между ними и отцом вольный зазор. Оно и должно так быть, а всё равно без жены как в полдома жить. Только трудом и спасался. А работа, как дом с печью железной — пока топится, жар девать некуда, а по ночам выдувает.

У староверов женитьба — целое дело — близкородственные браки под запретом — строго-настроено до седьмого колена. Не то вырождение. Мало того, ещё и запрет на “родственников по кресту”: нельзя жениться, к примеру, на крестнице и даже родственнице крестников. В девятнадцатом веке сложно было и жениться на невесте другого согласия.

Иван писал родне на Алтай в Уймон, в Курагинский район на “Тридцатые озёра”, в Туву на Малый Енисей в Сарыг-Сепский район, в Ужеп, Эржей и Чодураалык. И даже в Хабаровский край писал на Анюй и на Амгунь. А потом вдруг будто само всплыло Забайкалье, Бурятия, Тарбагатайский район. Большой Куналей. Что есть на выданье женщина молодая, Наталья. Он с ней и списался, и, рассказав о себе, сообщил, и что до лета занят, и что напишет.

Наталья была из семейских старообрядцев, или так называемых “поляков”, чьи предки отступили от гонений на территорию Речи Посполитой. После раздела Речи Екатерины переселила “польских посельщиков” в Даурию. Мол, распря прощается, отвезём и только работайте. Для устройства их быта даже была в 1766 году учреждена “Хлебопашств и поселения Контора”, руководимая плац-майором Селенгинского гарнизона Налобординым.

“Семейскими” польских “выгонцев” окрестили местные — в отличие от здешних порой каторжных, одиноких, беспутных — “поляки” приезжали семьями, и зажили крепко, чистоплотно и прижмисто. “Забайкальский мужичок вырос на морозе, летом ходит за сохой, а зимой в обозе”, — говаривал частушку отец, тоже поподавший России, проживший бескрайнюю её версту.

Многие боятся в чужие края заглядывать: а как другое место богаче и приглядней окажется, чем моё, прикипелое?! Было чужое, стало твоё. Было богато, да оскудело. Лишь душа не оскудеет, открыв, насколько образ красоты и бескрайности несоизмерим с твоею долей. Лишь переполненное сердце способно к покою и бескорыстному восхищению, тогда и каждый хребёт не дразнящею далью откроется, а подтверждением единого откровения...

Я знаю наверное, что необходимо увидеть абсолютно все места Сибири и Дальнего Востока, прикинуть ухом к каждой горе и к каждой реке устали. И увидя каждого человека, так раздать границы дома, чтоб не осталось на душевной карте и белого облачка.

Так и с Иваном.

А... давай полечу! И через секунду огорошило: как можно мешкать было? Ведь ещё минуту назад сама возможность решения была как на том берегу Байкала, за волной да туманом. Такое бывает. Год за годом живёт под сердцем мечта, и так недосыгаема, что по слабости иначе как капризом и не зовешь её. А потом доживаешь до дня, когда ясно: теперь или никогда — и... ещё кусок жизни прирезал. У Ивана вся жизнь из таких прирезок и состояла...

В самолёте место удачно оказалось у окна — очень хотелось увидеть Байкал. Винт медленно повернулся, зачастил, сабельно рябя, и превратился в сквозистый нимб с туманностью к корешкам лопастей. Колесо шасси запрыгало, глотая бетонные стыки, а после взлёта, так же живо вращаясь, легло под створки. “Как в гроб...” — подумал Иван.

Староверы и вроде на самом шве-стыке сидят, с диким миром без прикрытия говорят, но и в дороге, в портах-вокзалах в своей тарелке. К разведкам, переездам да гостеваньям привычные. Им огромность Сибири знакома и сильна, и путь над ней как часть работы, судьбы, и не смущает душу, как многим, припаянным к одному месту. Но едва Иван оторвался от земли — и в нём самом будто шов разошёлся. Снова в груди неладное разрослось, засбило, подёрло, и шатко стало — был бы на земле, хоть прилёт бы, обнял бы, родную, костерком бы тронул, водой горной окропился. А тут ушла из-под ног, в просветах облаков едва отсквозила, и вот уже и отгорожена волнистым пуховым платом. И так заколотило, замутило, крикнуло на всю душу: “А вдруг помру!?! Прямо теперь и помру!”

От таблетки противная горечь и стынь во рту. Молитву пошептал, и облачка тогда чуть проредились, и тёмно-дымчато засквозила тайга. Но тяжко: в самой душе неладно, не готово, не дошло что-то. На мысли он не расплетал это плотную заботу, но едва выдерживал. Оно многим знакомо: поначалу думаешь, что путь в вере, который по завету вслед предкам бьёшь по жизненной броди — твоя молитва, разговор, обращение к Господу Богу, к Богородице, Николе — это и есть и опора, и нить. И ждёшь, что с годами разрастётся она до светлой спасительной жилы, светопровода, ведущего в жизнь вечную, рядом с которым “хоть чо” не страшно. И что Божья благодать по самой уже выслуге лет так и засеется с неба.

Но во здравии можно сколь угодно рассуждать о вере и детвору поучать, а когда припрёт — то и сам как дитё. Вот и в небе уже, а опереться-то “не о чо”. И мысли-то там, на земле. Как сыны без него? “Чо имья оставил”? Едва подумал о детях — и полегчало. А вот мать не уберёг... И потяжелело. И подумалось: грех думать об оставленном, крепить себя земным. Не таким трап во вечность мерещился. И всплыли слова, не помнил чьи (пророка Исаии), что человек “должен возненавидеть временную жизнь, и благодать Божия скоро ущедрит... всеми... дарами” его.

Иван был простой мужик, твёрдо усвоивший хранить семейный устой хоть ценой жизни. Живущий землёй и замороженный ею. Не старец, не богослов и не наставник... Бывало, и перебарщивал с добычей, рвал с природы, и денег рыскал на выживание, но не жил срамно, не предавался ни суете мира, ни страстям бесчестия, ни плотским удовольствиям. И как ни силится, не мог возненавидеть эту прекрасную и временную землю, созданную Богом, и только говорил: “Прости, Иульянюшка, и Бог простит! Прости меня, Господи! Прости и помоги!” Ему бы впору Василия Великого вспомнить: “Настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая — венцам и наградам”...

Крепость и опора снова замаячили, когда подумал о сыновьях, дочерях. О том, как может облегчить им жизнь, что им уже оставил, что вообще оставит нутряного и внешнего там внизу под жиденькой ватной подстёжкой. И оказалось, чем больше набирал этого оставленного, подбивал список, тем легче становилось. Иван жил наитием, но если б умел, рассудил: “Выходит, чем дотошнее там под низом столбю, тем крепче и в вечности... А ведь оно грех, поди”.

Помаленьку придышался как-то за мыслями, вспомнил про Байкал, который уже на подходе. И так хотелось Батьку увидеть, аж до слёз. Но чем ближе подлетали, тем реже гляделась земля сквозь протёртую ватную подложку, и сильнее тянуло с моря извечной его облачностью, густой, плотной, молочно-набухшей. И было непонятно, где летят, и когда точно ждать. Иван уж отчаялся, как вдруг приоткрыла чья-то рука окно в белой вате, раздались рваные, медленно клубящиеся края. И явился горный серо-штриховой байкальский берег: в самом сходе к воде, и сама вода — тёмная, в морщинку, в кромешную синеву. Едва открылось в великолепии и совершенстве — в ту же секунду скрылась в клубящемся хлёпке.

Дальше сплошь белое, только на Бурятской стороне к Улан-Удэ, по-старому, Верхнеудинску, облака расступились, и открылась присыпанная снежком жёлтая степь и горы вокруг. Материковое азиатское солнце светило ярко и незыблемо, и дымы из труб стояли особенно вертикально.

Колесо коснулось полосы, несколько раз подпрыгнуло, пружинисто сминая резину и высекая наждачно-белую пыль, вмиг сносимую ветром. На обратной тяге грозно и опористо гуднул морозный воздух в лопастях. Наконец винт остановился и в налётшей тишине чуть крутанулся — сработал назад — расслабленно и облегчённо. Иван перекрестился и отщёкнул ремень.

Маленько мутило. Но другое заботило. Обычно вырывался из болезни, как из странного и страшного сна, с детской радостью. А тут новое ощущение: вышел как предатель, не решив дела.

Даурия — это и Бурятия, и Читинская область, включая запад Амурской. Обычно Забайкалье представляют по черно-белым архивным фотографиям, да по завораживающе-дивной песне “В далёких степях Забайкалья”. Песня есть песня, но и та оставляет впечатление какой-то свербяще-тоскливой местности, откуда поскорей бы убраться. Фотографии же — нечто угрюмо-серое, с бараками и низкими сопками вдали. “Петровск-Забайкальский, кладбище декабристов”.

Так и будет, если в один прекрасный день не решишься, как Иван Басаргин. Тогда и обступит цветная Бурятия: несусветные сопки с кудрявой накипью скал, с сосёнками, волнистая степь. Деревни с рублеными домами ярчайших раскрасок. Скачущий вдоль трассы всадник, потемнелый от солнца. Отары овец и коровы на асфальте.

Ехать предстояло в Большой Куналей, вёрст семьдесят от Верхнеудинска. Добрался до автовокзала. Кафе “Слон” английскими буквами, кафе “Поедим — поедим”. Тут же поздравление с Белым месяцем: “сагаалганаар”... “Мне в Куналей”. “В какой?” Оказалось, что ещё есть Малый Куналей. “Туда через Мухор-Шибирь и Шибертуй”. Ладно, в Мухор-Шибирь в другой раз сшибертуюм...

Доехал до Большого Куналея. Дома рубленые, ладные, сами брёвна красные — охрой ли, жёлтой ли краской, зелёной. Где в лапу рублено — зашитые тёсом углы. Наличники белые, синие, зелёные, коричневые — кружевные. Ворота тоже разрисованные. Но главное бревно: в густой краске

они как не деревянные. И несусветно добротны, круглы, бокасты. Или наоборот: особенно деревянные — как городошные фигуры. Или огромные игрушки — детский город для богатырей. И опять будто не из дерева — из пластика цветного, до того плотны и ярки. Нигде такого не видел. Крашено стало вроде как в двадцатом уже веке. “А пошто? Под краской не дышит же”. “А семейские сильно чистоплотные были — по краске мыть легче”. Понятно, что бывалого человека на цветность не взять, но глаз радовался.

В начале XVIII века основано село. На заметку: теперь Большому Куналею дадено звание самой красивой деревни России. Неподалёку село Бичура — там самая длинная деревенская улица в мире — двенадцать километров. В Бичурском районе как раз и Малый Куналей. Куналей, как ему объяснили, происходит от бурятского “складка”, “сборка”. Большой Куналей также знаменит семейским хором.

“Где здесь Рыжаковы?” — “А какие?” — “Ксения, да Наталья”. — “Да прямо, потом свороток, потом зелёные ворота”...

Изба малиновая, звездообразные трещинки торцов тоже покрашены — кажется, и нутро бревен сочно-малиновое. Наличники, ставни зелёные с жёлтым. Карнизы с пропильными подзорами... Ворота зелёные с рисунками. Дверь мощная с кольцом крутящимся, латунным. Для верности ещё кольцом грохнул по латунной пластине, чтоб по двери отдалось. Во двор зашёл. На крыльцо поднялся. Ну, с Богом...

Звонкий голос ответил: “Да!” И тут же смутилась, покраснелась. Убежала, потом вышла. Мать аж головой закачала: “Вишь чо... застеснялася... Такая вот и ешь”.

Наталье тридцать девять лет было тогда. Лицо... Как сказать? На лице не иначе как покров, по которому мгновенно отличишь староверку от любой самой разрусской мирской женщины. Что-то такое глубокое... и светлое, и твёрдое, из которого ясно, почему не решится рука этот свой Богом выписанный лик подправить, подчеркнуть или поддурманивать. Какая-то первозданность, чистота, делающая даже и крепость нежнейшей. Глаза крупные, навывкате. Прозрачно-серые, родниковые. Губы чуть припухлые. Большой подбородок. Руки полные, сзади от локтей и выше в мурашечках. Ходит быстро, увесисто. Платок вокруг головы повязан, и узел сзади, немного сбоку. И статья-то вроде широкая, основательная, но такая нетронутость, как у снега некатаного. И то ли от волнения, то ли отчего — часто-часто смаргивает. По влаге глазной веки ходят мягко, податливо. Ресницы длинные, глаза большие, выдаются, и смаргивание крупное, крылатое. Но больше вниз смотрит.

Кожа от природы белая — есть такие староверки, загар не особо пристаёт, даёт розовость. Быстро краснеет, трепетно. Одухотворённая красота, светящаяся, но не животной статью, а назначением, содержанием, несущая себя, как творение. После таких лиц дико смотреть на салньо испомаженные оливковые лица светских фемин — не пойми кем глядятся.

Нутро дома чистейшее, белёное. Образа, кресты, складень на полке-божнице, тюлевая зановесочка-рамочка... Конечно, и за стол, и помолились... А разговор короткий, прямо при матери — мол, долго не буду рассусоливать, приехал твою дочь сватать! О себе, мол, расскажу теперь уже всем и подробно. Рассказал. Вот так вот, мои хорошие, а ты, Наталья, думай, как надумаешь — скажешь. “А я поеду скоро, а после охоты вернусь за тобой, коль надумаешь”. Натальюшка покраснела. Мать Ксения: “Ну, думай, дочь, тебе решать. А мне дак такой зять и подошёл бы! Согласишься, и бравенько будет”. В Забайкалье это излюбленное “браво”, “бравый” — не молодецвасть означает, а положительность — в разных оттенках.

*“Пойду с горюшка, а я разгуляюсь, сяду на крутенькай тольке бережок,
Ой, да ли я посмотрю я вдоль по морю,
Ой да ой, там ли корабличек-та ваплывёт,
Посмотрю-ка вдоли по морю, тамы корабличек бравый пливёт”...*

Угощали от души — дело было перед постом. Жирнющие щи, “жаренья” из баранины и “изюбряка”, рыжики, засоленные с багульником, сгибни

из масла и сахара — такие пироги гнутые, чай-сливан на молоке и с маслом. А вечером ходили на спевку-репетицию — Ксения пела в женском хоре.

Пели разное, весёлое и грустное, даже бывало и расхожее, но на свой лад.

*У меня коса больша,
Ленточка малинова,
Меня тятенька посватал
За Кузьму Налимова.*

А потом зато пошло: “Выше ельничку, выше березничку”, “Мойся, моя Марусенька”, “Про разбойника Чуркина”...

Но особо запомнилась эта:

*В островах охотник
Цельный день гуляет.
Яму щастья нету,
Сам себя ругает.*

*Поехал охотник
На теплыя воды,
Где гуляла да рыбка
При ясной погоды.
Там на берегу вздумал уснуть-одохнуть.*

*А там на берегу-береге
Да сплелися два дерева,
Сплелись кедер с пихтою,
Со пихтою да со мяконькою,
Не со ёлкою колючей — с пихтою мяконькой.*

Прощался одухотворённый, а в аэропорту сидел в зале с бурятской семьёй. Бурятки, пожилая и молодая, с ними близняшки — две девчонки. “Годовалые, видно”, — он тогда ещё не различал месяца у младенцев. В красных комбинезончиках, молчаливые. Щёки огромные, смуглые... Обратно спокойно летел: вечерний Байкал сквозь облака, и Иркутск светящимся кораблём. Корабличек бравый...

3

Наталья оказалась бесхитростной, жаркой и отходчивой. Могла обидеться из-за пустяка. Если подует от кого холодом, грубостью — краснела трепетно, как под ветром остывающий уголёк. Горячая волна неожиданно во влажное продолжалась — розово наполнялись влагой её выпуклые большие глаза, и эта краснота в веках была ещё беспомощнее, чем слёзы. В магазине, когда чеснока не досталось Ивану в тайгу — расплакалась. Ксения правду говорила Ивану: “Береги, она не ёлка, не колючка, а пихточка мяконька”.

Пихта-то пихточкой, а когда приглядная женщина долго и безнадежно не выходит замуж, то подозревают какой-то нутряной изъяз или интригу. Хотя чаще всё проще. У Натальи была по молодости неловкая любовь, а потом отца разбило, и она ходила за ним, пока младшие братья и сёстры не попереженились. “День за днём горшки выносила — какой тут замуж?” А потом, когда тятя умер, как-то потяжелела, подоглохла и в молитву ушла. Всё Иваново приняла, верно зажила, хотя тайга-природа суровой оказалась, чем в Бурятии. Зато и впечатлила добычей. Поначалу взбунтовалась: “Пошто собакам столь рыбы даёшь?” Работы не боялась, а главное — хранила дом и веру. Заскучала без цветов, говорила: “Мне хоть кысачьи лапки, но не только чтоб рядки”, насадила цветник, и Ивану приятно было, хоть и не понимал “мальвов с георгинами”, и любил таёжное: жарки, саранки, марьин корень. “Их цвет пусть и падат быстро, но живой, а дурак этот георгин стоит, как с пластмасса вылитый”.

Наталья очень хотела быть нужной, и Ивану страшно думать было, если б она другому досталась. Если б его нужда и её избыток не совпали. Оно в молодости бывает: что надо обязательно своё, нутряное, недомятое кому-то в ноги вывалить, как пушнину — и в том и смысл. А потом окажется, что всё это избыто давно и в чулане висит, а главное: что ты сам на приёмке стоишь.

Брачили их в молельном доме у Ивана в посёлке, а спустя год родился Пётр Иванович. Носила Наталья не сказать, что легко, но как-то уверенно, как заранее знакомое и пережитое. Иван же, конечно, и хотел дитё, но не подозревал, насколько всё по годам откроется... Со старшими по-другому было, моложе был, больше на работу глядел, и непережитое в Пете и скопилось.

Ещё в самом начале беременности, когда Иван, с тайги вваливаясь домой, то шёл уже к *имя* с большой буквы, к *имя двоим*. И так отрагивал хозяйски, так допрашивал Наталью о том, что с ней происходит, что казалось, бабье устройство знал лучше её самой. Ночью Наталья брала заскорую руку и прикладывала к животу, ею щупала: “Слышишь, шебарчит? Притих. Тебя чувствует”. Лежали затаив дыхание, ждали-гадали, чем забьёт ручкой, ножкой? Какие там экспедишники со своей сейсморазведкой! Что они знают о залегании? Иван, прижавший ухо к женским недрам, был во сто раз чутче тысячи датчиков, а живот — огромнейшей любовью синеклизы. Когда прислушивался, и там ударяло, то голова отказывалась вмещать — как так? Как вообще может быть — то ещё *ничего*, а то вдруг из этого ничего целая жизнь, судьба, дорога. И почему, когда она зарождается, только тихая ночь стоит и туман молочно ползёт из распадка? Почему горы не сотрясаются? Реки не взламываются и не выходят из берегов? Пушки не бьют? Почему, когда ядро судьбы в полёт срывается, не сотрясаются души от отдачи?

Все думают, что старообрядцы обязательно дома рожают. Но всё от обстоятельств зависит, и Наталья рожала в роддоме. Сначала увидел сына в люльке спящего, с безмятежным пригожим лицом. Потом уже дома, когда развернули и открылось поразительно маленькое существо, ножки с микроскопическими ноготками, головушка с залысинками, с прижатыми ушками. И живые *настоящие* глаза...

Запомнил, как в первый раз усыплял: Наталья передала умотанную в пелёнку куколку, и он аккуратно взял, чувствуя, как ходит, неустойчиво складывается тельце, нуждается в опоре головёнка на слабой шейке, и как чуть не пелёнка помогает, держит внатяг. Ладони, вёрсты кишок перебравшие движкам и оленям, принявшие тонны груза, все наладки утеряли и искали нового строя. В руках лежала целая жизнь, уходила в неизвестность лента-река, Селенга, Биробчана, Аргунь, упелёнутая в туман... Но не собирающая притоки, а сама полная развилки и текущая таким единственным створом, что о выборе лишь сухие русла напоминают.

Петя рос так быстро, словно кто-то ушёл подгонял и требовал только сердцевины дела, словно каждая пора, которая запомнилась по старшим детям как выматывающий путик, теперь ужалась до двух-трёх капкашек. Время бросило Ивана. Перешло в малыша, и сам Иван будто замер, настолько не успевал приглядываться к своим минутам-годам. Раньше скупердяйски подсчитывал, пальцы загибал, с остатком носился. А теперь весь счёт на Петю перешёл, и взгляд-наблюдение за ним стали дороже своего времени. И только когда порточки попадались относенные, как усевшие, то тогда и возвращали к обычному, трезвому отсчёту часов.

Петя был сильным, необыкновенно каким-то изворотистым. Мгновенно научился слезать задом с кровати, поглядывая через плечо, на пол. Очень смешно и сноровисто распластывался, чтобы заглянуть под кровать. Ища кошку, пролез за кроватью со стороны стены — всю длину. Бегал на четвереньках скоростно, лез везде, и Иван брал его под брюшко — так таку какую-нибудь берут, чтобы к барсуку в нору высадить. И всё продолжал забрывать ногами-руками быстро и сильно, извивался и требовал воли. Плакал, ковшом развезя ротик, обдавая жарким дыханием, сывороточным, творожным. Иван обожал Петьку мять, жамкать пятернёй за пузо, и тот хохотал

взахлёб, низко и заразительно. Смеётся “во всю пасточку” — вспоминал Иван свою бабушку Улиту. Глаза у Пети были мамины тёмно-серые, а бровки, когда он присматривался и удивлялся, собирались кочечками выпукло и остро.

После разлуки ново сидел на руках у Натальи, и очень прямо стояла его головёнка на крепнущей шейке. Мать держала его, отведя спину, как ветвь, а сын так и шёл сквозным стволом от земли сквозь чересла.

Иван, если был дома, сам усыплял Петю на руках: ходил, качая, напевая, до тех пор, пока лицо Пети вдруг таинственно не обострялось. Тогда глаза темнели и расширялись, и он начинал внимательно и напряжённо смотреть на отца, а потом в несколько прикрываний и приоткрываний их смыкать. Иван кое-какое время ходил, чувствуя, как наливаются Петя тяжестью, словно вздрагивания и покачивание ножкой забирали часть веса. Закрытые очи становились, наконец, особенно безмятежными, веки ослабляли смычку и потусторонне и белёсо проблёскивали в их проёме глазные яблоки. Петя ещё тяжелел, и Иван клал его на кровать, оставляя под ним руки, а потом начинал потихоньку выбирать их, как лёжки из-под брёвен. И Петя спал, прозрачно синяя веками, крупно отягивающими глаза, и будто выросел, тяжелея лицом.

Иногда Петя не мог заснуть, и отец, напевая, носил и носил его, и тот по обыкновению напрягался лицом, строжел даже, но вдруг тщетно и трудно замирал на мучительной границе. И глядели два огромных глаза, и Иван смотрел в них, только догадываясь, какая работа идёт там за границей тайны, пока узаконивает человек свои отношения с вечностью и просит подмоги, потому что рождаться на Земле так же страшно, как и умирать.

И Иван думал, как дожить, чтоб вместе с сыном быть в тайге и после трудового дня смотреть на ребристые предзимние горы. Он их любил за то, что уже белые, когда всё остальное, подножное — ещё серо-осеннее. И чтоб лежать у костра на берегу и вдвоём смотреть на притихшую даль. В такие минуты мало говорится. От жара углей лишние слова будто выпариваются. А дрова пепельные, плавничные, и горят невидимым пламенем, только угли внутри костра густо-яркие, а по краю остывающие в пепельной кожурке. И жар на лице. И ветер. И даль. И так охота эту даль передать Пете, что вспоминался рождественник с Алтая. Тот рассказывал, что ему дед “ключи передал”. На реке будто ямы для зимней рыбалки, где ключи дно буровят. И ключи будто фамильные, все их держат в секрете и только по наследству передают. “Ты чо, не знал — где живцы бьют, там и рыба стоит!” Иван не понимал, как можно зимой укрыть, где рыбачишь, но история ему нравилась. А слово “живцы” особенно.

Бывало Петя и не спал, и плакал, и Иван носил его как на стульчике на руках, поднимая так, что Петькин затылок оказывался почти на уровне глаз, и смотрел словно его глазами, прицеливался, прикладывался.

В тепло Петю замучила потничка, мама его побрила наголо, и он постепенно обрастал светлым ворсом. Заходила соседка, тоже Наталья, быстрая, худая, балагуристая, с сухо-жгучими глазами. Работала она на метеостанции. Говорила хриповато:

— Ой, смотри чо, макушка-то сбоку! — и добавляла очень уверенно, по-докторски: — Это ты на одну сторону спать ложила!

— А у вашего где макушка? — спрашивала Наталья.

— А у нашего две макушки, мать говорит, у отца так же было. Он-то не знает — лысый давно. Но иди ко мне, иди моя...

Петя не очень хотел идти. Держался за мамину юбку и оттуда поглядывал. Подмигивая Наталье, вмешивался Иван:

— А правда говорят — две макушки, две жены будет?

— Не знай: у меня брат третий раз женится, а макушка одна. А вот, что правша будет, если по часовой закручена — это я вам как синоптик говорю.

У Пети закрутка шла направо, волосики простирались спирально и верно. Огромные, поливающие Сибирь циклоны также глядятся из космоса. Когда их дожди, напитав холода в поднебесье, падают на раскалённую лет-

ною землю, то, кажется, так и уйдут паром, настолько нагрета сухо-смолевая тайга. А ещё бывают спиральные галактики, и Иванова бабушка тётка Улита говорила: “Звёзды пятна бывают, звёзды пёры, а есть ещё под заверть”.

4

Сыны подрастали и уже не уместались на охотничьем участке отца, поэтому решено было расширяться — в Эвенкии к востоку от участка пустовала территория. Прежде там беспорядочно промышляли экспедиционники из сейсморазведки, благо можно было попасть на вертолётке. По воде далеко-вастенько, да и реки больно каменистые и порожистые. С развалом страны экспедиции ушли, и полёты прекратились. Охотники и радовались, и огорчались. Радовал уход сейсмиков, “гравиков” и прочих изыскателей ископаемых, которые для охотников — источник вечной опасности. И печалил развал охотничьего хозяйства, несусветное подорожание вертолётных часов. Многие не понимали, к чему оно приведёт, и молодо радовались воле. Дескать, “Не-е-е... Я даже не парюся. Чо-чо, а пушника-то всегда в цене будет, хе-хе. Поди, не пропадём”.

Этой зимой Иван устроил поход на новые земли, которые прирезал к своему участку, по всем правилам оформив в районе. Ждать весенних настов Иван не хотел и освоение совместил с промыслом. Мечтал узнать, что там за места, зимовьё души до новых границ расширить.

У Ивана была примерная карта с парой избушек, больше ничего, и ясно, что горы, тайга да болота. Охотился там один мужик, Ванька Вагнер, у которого можно было бы вызвать про избы и путики, но он уехал в Германию. Да и знал о нём Иван понаслышке — Вагнер жил совсем в другом, большом, посёлке, где стояла тогда экспедиция.

Места эти от жилья далёкие... Каменистые реки, в засушливое лето грозно щерящиеся валунником, усыхающие до непроходимости. Невысокие, до версты, столовые горы, оперённые гранёными скалами, лиловым штыковником, по колени тонущим в каменных россыпях. Тайга, больше лиственничная, стройно-антенная и завораживающе чахлая. Пылающе-рыжая осенью и штрихово сереющая по снегу. Эвенкийские грозные названия, бесчисленные Чепраконы и Ядромо́. (При слове Ядро́мо представляются похожие на ядра базальтовые камни, а Чепрокон происходит от эвенкийского слова “чепара” — рыбы молюски.) Бывает, самая зычноимённая речушка окажется пойменной и невзрачной, а какая-нибудь негромкая — грознокипящей в скалах.

Уже весь участок был насторожен или “взведён”, как говаривал Иван, или первые проверки, охота была неплохой, и к середине ноября Басаргины планировали разведку востока. Близился общий сбор в краевой избушке, откуда начинался поход, но ударила мерзейшая оттепель.

Младший сын Лавр, по братскому обычаю вступающий в полосу дикой силы, проверял путики в соседней избушке, до которой по реке было километров пятнадцать. Он уже всё сделал и рвался навстречу к отцу и братьям — окрылённый хорошей охотой и планами рвануть на новые земли. По крутому гористому берегу снеговой дороги не было — ходили только на лыжах. Поэтому выезжать надо было по реке, которую в тепло мгновенно промывало, особенно у берегов в камнях. Про середку же и речи не шло — полыньи да пропарины. Следовало спокойно выждать денька два-три, когда оттепель отсопливит и вернётся морозец — прольёт, проклетит и опечатает: “Хоть боком катись”. Особенно если снежком подперит для мягкости. Всё ж “не зря Бог-то делает”.

Но Лавря настолько разогнал, что ломился к отцу не глядя на “шлячу”. Тот настрого запретил дёргаться, но Лавря всё целил то “буран” пробовать, то “дорогу топтать”. (Топтать — означает бить путь техникой, трактором ли снегоходом.) Вечером не вышел на связь. Часов в пять утра Иван проснулся. На дворе было около ноля градусов. Воздух дышал оттаившей хвоей, неплановой прелью. Вот-вот побежит с ёлок и пихт — талая

кухта настоится на хвое и закапает на снег жёлто-зелёным, дырчато очертит по кругу стволы. Иван попил чаю и, не дожидаясь рассвета, поехал на сторону Лавра. Валили в душу примеры, как кто-то не поехал на выручку, а человек утонул, замёрз, надорвался. Тем более Лавр в “дикой полосе” и от него чего угодно ждать можно. Лыжи Иван пожалел в такую мокреть и оставил.

По всей длине реки шли или крутые берега с тальниками, или скалы и каменные гряды. В ямках мокро зеленел снег. Вокруг небольших камней выпуклым кольцом играло течение. Большие стояли в скорлупных развалах — когда вода падала, они вылезали, ломая лёд. По прямой не разлетишься, одни зигзаги. Да и берег бахромчатый, мысок на мыске. Несколько раз Иван садился — то проваливал в берег, то в наледи вяз — под снегом водищи в колено. Через ручей стелил переправу, и до обеда проехал километров шесть. Ноги подмокли — бродни есть бродни, “голяшки-то тряпочны”. Упрел ворочать снегоход, вычищать снежную кашу из ходовки, машина разлапистая, как лягуха, пять раз крутанул и язык на плече. Кусок с ровным берегом проскочил секундно, но потом снова пошла изрезанка, потекли ручья с промоинами под устьями. Один пришлось переезжать по берегу, по оттаявшим чёрным камням — и вспомнилось почему-то, как тоскливо-тало в городах над тёплыми трубами.

Началось сужение, берега выперли особенно вертикально — и ещё сильнее забило течение в речные щели и ослабился лёд на кромке. Скалу от реки отделяла длинная продольная коса. Она возвышалась белым уступом, Иван попытался на неё заскочить, но сел, провалив лёд гусянкой, и уже стоя на косе лыжами.

Иван натолкал палок. Эх, вдвоём бы да с Лаврой... Но “вдвоём и дурак управится” — и он выломал небольшую тальниковую веточку — сучок в две спички. Засунул под рычажок газульки, прищемил там, а сам ухватил за лыжи и потащил. Вышло, будто невидимый кто-то на газ давит и убрал главнейший тормоз — прилипающие лыжи. В несколько приёмов выпер он технику на сухое.

Иван был еле живой, и грыжа старая болела, и спина, но главное — силы ушли. Чего стоит каждое раскачивание, толкание, поворот снегохода... Ясно было, что надо “ворочаться”. Он достал небольшой термос и долго пил чай, запаренный с клюквой.

“Ну что, назад так назад” — и он убрал пустой термос обратно под сиденье к ключам. Проехав по косе, Иван соскочил на лёд, ну взял чуть косо (“расслабился, телепень!”) и снова провалил снегоход в заберегу. Лыжи и задравшийся передок стояли на льду, а зад ушёл полностью, с фонарём. В багажнике под сиденьем плавал термос, и оловянно глядели ключи сквозь воду. “Смотри как разделились, а вроде вместе лежали”, — проплыло в голове. Снегоход он засадил окончательно.

Где-то за облаками задумчиво гудел турбовинтовой самолёт, видимо, такой же АН-24, на котором он подлетал к Байкалу. Отдышавшись, скинув мокрую горячую шапку, попробовал ещё раз вытащить снегоход сучочком. Тащил из последних сил, до задыхания, дробил в груди. Ни в какую. Только горел ремень и выхлоп пробуживал через воду. Заглушил и, едва сел, отходя от схватки — медленно вступил, навалился тот же задумчивый эховый гул самолёта — уже на излёте... Волнами доходил, будто огромное сверло ворочалось, укладывалось в невидимое ложе.

Уже темнялось, и ноги были вдрызг, особенно правая. И вроде всего-то минус два, а противно. Иван подобрал шапку, и, выстывшая, она мокро оклеила голову. Он завёл снегоход, открыл капот, уgnёздился кое-как на двигатель, разулся и стал зверино греть-сушить ноги под тёплым воздухом из под вентилятора. Мешался натянувшийся тросик от капота — когда его задевал, тот гудел струнно.

Разувался долго: сначала размокшие, распухшие, как из сала нарезанные сыромятные вязочки. Потом матерчатая голяшка с калошей, войлочный вкладыш-пакулёк, вдрызг мокрый и навозно отдающий овчиной. “Не моют, видать, шерсть”, — подумалось, и представился бараний огузок с катышками

навоза. Портянка. Вязаный носок. Простой синий носок. Голая белая нога в чернильных разводах.

Бесформенный пласт пакулька Иван выжал коричневой жижей, отжал портянки, положил на глушитель, и они запарили. Голо сиделось, пронзаемо — речная даль, ощупливый ветерок. Тарахтел на малых движок, гнал из ребристой бочки тепло на белёсые ноги.

Не согрелся и не высушился, а обулся в сырое и попытался ещё раз выгнать снегоход. Как, нацедив сил, пробуют уже отупело, в надежде, что и в остальном — в технике, в береге, во льду — тоже накопилось что-то спасительное. Не накопилось.

Километра в четырёх в обратную сторону стояла маленькая избушечка, нужная по осени, когда ходили пешком. Сейчас Иван её миновал, и захода к ней не было. Он долго шёл к ней по снегоходному следу и добрёл в темноте. Предстояло подняться в угор по метровому снегу — в распадке его надуду чуть не в пояс. “Самый набой” — с отстранённым одобрением подумал Иван и одновременно отметил: “А ноги-то чужие”... Полез вверх бродком, еле их выживая и переставляя — снег был по бедро, липкий и плотный. Вязочки размокли настолько, что, когда бродень засел, нога выдернулась голая. Иван уже не держал равновесия — вытащив портянки, затолкал их за пазуху и попытался всунуть ногу обратно, но промахнулся и уткнул ногу в снег правее, потом левее отверстия. Долго целился, балансируя, тяжело и часто дыша, потом замер на одной ноге, пошатываясь, потом, будто очнувшись, наступил, но нога угадала меж стенкой снежной трубы и смявшейся голяшкой. Снова терпеливо целился, в конце концов, пошал, стоптав слезший носок. Потом встал на четвереньки и пополз, переступая коленями. Полз так долго, что мнилось в голове, а точно ли тот распадок, и точно ли там стоит зимовьюшка? Ведь рядом такой же. А вдруг ошибся? Ещё прополз и поднял голову. На угорчике в кедраче великолепно и огромно стояла избушка — снег толстым высоким платом лежал на крыше и добавлял высоты.

Усталость бывает разная — бывает обычная до сладостности, когда в блаженство и ужин, и сон, в который рухаешься, силясь продлить мгновение, побыть на границе — аж засыпать жалко. А есть усталость нехорошая, когда нутру неладно. Она и была у Ивана.

Иван затопил, поставил на печь набитое снегом ведро и разулся. Ноги не чувствовали больше чем на полстопы. Вдобавок он прижёт большой палец об железо, и где-то зацепил — задрал с кровью ноготь: отдир не чувствовал... Растирал ноги, пока не осталось мерзкое онемение только в пальцах, а потом и пальцы заломило — отошли. И ноготь засочил. Иван недоумевал: “Ещё понятно в мороз ноги ознобить, а в тепло-то чо?! Так старею что ли?” Он то лежал, то пил чай и грыз сухой компот, выбирая ломтики покислей. О серьёзной еде и подумать было дико. Лежал, прикрутив фитиль лампы, в ровном недвижимом свете. Думал, как выспаться и с новыми силами идти к снегоходу, но заснуть не мог. Потом стало рвать, потом снова лежал, время от времени выползая в ночь узнать, не сменился ли ветер. Дула та же постылая верховка. Когда очередной раз вышел, валил сырой и очень крупный снег. “Лопухами пошёл”, — медленно проехало в голове.

Снова лежал на сохачьей шкуре, отпаивался чаем и всё никак не мог найти положение, чтоб полегче стало намятому телу. Только ворочался, и выбитый сохачий волос лез в иссушенный рот. Навалился страх за жизнь, как в самолёте, когда Байкала ждал и крепился мыслями о близких. Иван снова повернулся в полудрёме, просторно выбросив руку, и нашел, наконец, положение, когда прилеглось вдруг прохладно и расслабленно. И в полудрёме привиделось, будто все близкие вокруг него собрались, включая и погибшего ребёночка, и Иульянышкоку, и Наталью. И жмутся, льнут под руки, под мышки, прилегая знакомо, укладисто, как перо. И само пришло: “Да ведь Он, поди, этого от нас и добывается”. “Да скорей всего”, — подумал Иван, чувствуя, как от этих слов буквально на глазах крепнет, выгибается под ним заветный мосток. И вспомнил, как вышел из самолёта, не решив дела. Сейчас было ощущение, что вернулся к брошенной передуттой дороге и пробил, сколь мог. И что главное — ещё вернётся.

Так и не спал добром. И не ел. Ватный, с нутряной мелкой дрожью встал под утро, не отдохнувший, наломанный, но душою подлатанный. Молился перед синеющим окном, закидывая двуперстие выше ключицы, посередке меж шеей и краем плеча. После правила просил своими словами, Господи, дожить бы до дней, когда Петя подрастёт, когда пойдёт с ним в тайгу, и они будут сидеть возле костра у избушки... Потом пил чай, грыз плоские компотины и представлял какую-то неведомую несбыточную избушку в просторном месте, откуда видна и река, и горы. И осень. И на горах снег, ровно по струнке — а низ сопок тёмный и талый.

А несбыточная потому, что такой избушки у него не было, да и редко бывает у охотников. Обычно строят не в проглядном просторном месте, а где хороший крепкий лес — чтоб навалить на стройку, да и избушку стараются скрыть с реки.

Иван надел все слои просохшей до корочковой сухости обуви. И в зудящей слабости спустился на синеющую реку, к оттаявшие-чёрным хребтам-берегам и побрёл к снегоходу, чувствуя, как вкачивают в него силы и ветер, и свет, сквозящий сквозь сизую облачность. Снегоход вытащил моментально. Подрубил жердей, раскачал, подsunул под гусеницу. Сучочек под газ — и вся история.

Уехал в избушку, а там на рации Лавр: оказывается, поросёнок, поперёс несмотря на запрет и врехался по щиток. Ночевал у костра чуть не в потеху — “смолёвый пень запалил такой пеклый!” Выудил снегоход непонятно как, снял двигатель, упёр к “пеклому пню”, вылил воду, промыл бензином, воткнул на место и вернулся, излучая героизм на полрайона. А ещё и находчивость: в редуктор залил подсолнечного масла! К тому же у двигателя болт крепления отрываться начал, и Лавря случившееся умудрился в свою пользу повернуть: дескать, неисправность предупредил! Отец до поры ничего и не сказал Лавру, только слышал, как старшие его копали. “Слышь, хозяйственный-смекалистый, масло-то, смотри, потом слей в бутылёк, а то оленины не на чем пожарить будет, а тут значка!” “А ты какое лил: обычное или очищенное? А то тут один очищенного налил — и копец редуктору!” А Пимен крикнул: “Лавря, ты их не слушай! Шуче-го жира натопи и долей туда!” А “Болошимó” прорезался будто прищемленным тембром: “Ково шуче-го?! Медвежьего набей — так взревёт, что держись!”

К вечеру синий дым из трубы избушки упруго заломило на юго-восток, и стало неумолимо колеть всё то отошедшее, слабое, что прежде так раскисло, обессилело и расклеилось. А потом и дорога началась, и встреча в избушке со всеми сыновьями, перед дорогой на Ядромó.

Конечно, не у одного Ивана замирало сердце пред этой дорогой — до того хотелось новые места открыть и освоить. Чуть отравляло, что в них поширились сеймики, но мысль была подспудной и неосознанно-староверской — что всё меньше мест, куда не добрался мир. Общего настроя она не портило, тем более сыновья и не глядели так глубоко, а профилям только радовались: “От так прямикí!”

На сборной избушке обсуждали Лаврин фортель с утоплением “бурана” — до сих пор непонятно было, как он его вытащил, и скорее всего, берёг секрет на рассказ. Иван понимал, что парень на самом изломе, переходе от мальчишки в мужичка. Сын действительно матерел, немного даже заигрывался, на зуб пробуя близких, и ершел, если с ним говорили “приказательным голосом”. Отец дивился, насколько разные люди растут с одного корня, и бабкины слова вспоминал: “Один кедер — сук от земли идёт, а другой нелазовый, как свечка”.

Лавря сидел на нарах рядом с отцом. Отец начал выговор:

— Ты ково, торопыга, сорвался?! Из-за тебя в воде по уши насиделся.

Тимоха поддержал воспитательно:

— Да ты, тятя, ещё выудить умудрился как-то! Со спиной своей, да грыжей...

Отец отвечал специально немного показно, пренебрежительно:

— Да как-как?! Сучок под газ сунул и за лыжи выудил. Подумашь, премудрость... — и снова завёл сурово: — А тебе, Лавря, русским языком сказано было “сиди не дергайся, подстынет и поедем”. Ково лететь-то, я не понимаю. Головой-то наа думать. Господь Бог всё устроил, чтобы у тебя выбор был. Можно вон... — говорил Иван возмущённо, — в малу воду по речке подыматься и лодку унахратить, груз потопить, и грыжу надуть, а можно... — и он продолжил спокойно: — воды дождаться и доехать поплёвывая.

Образ был доходчивым: Иван действительно ездил, поплёвывая скорлупки от орехов.

— А если не будет? Воды этой?! — отбивался в азарте Лавр, после разлуки вдруг крупный, раздавшийся. “Скулы — капля в мать”, выпуклые, будто блестящие, масляные, а борода ещё слабая, прозрачная по сравнению с плотным светло-русый горшком волос. И стык между горшком и бородой как подклеенный.

— Будет. — с силой говорил Иван, — Или ещё что-нибудь будет.

— А чо будет-то? — не унимался Лавря.

Тима тихо и строго сказал:

— Ково споришь-то?

— Не спорь, а опыту набирайся. — раздражённо давил Иван. — А если у самого тямю нет, дак слушай старших тогда! Говорил, не ездить?

— Да ладно, тятя! Ты смотри — бывалый, а тоже технику утопил! А как тебя послушашь, дак не должен был врюхаться вовсе.

Ивана возмутило это краснопевное “врюхаться вовсе”.

— Что-о?

— Да то, что тебе берегчись наа по годам-то, а ты рискуешь! Тем более у тебя ещё и Петька теперь.

— Да он тебя ради поехал-то! — не выдержал Тимоха.

— А если б утоп бы — тогда чо? Ты об этом подумал? — вторил Стёпа.

— Да как утоп-то? — не умецалось в голове у Лаври, настолько он был молод и силён: — Ну купнулся, подумашь: не сахарный, не размок... Главное живой.

— Сёдни живой, а завтра... — Иван аж рукой махнул, его возмущала невозмутимость, с какой Лавря отвечал, выраженьица, не по годам схваченные: — В пень головой. Да потому что на авось всё! — снова раздражился Иван. — А это, знашь... — и он отвернулся, — Как дед Ерон говорил: кто авосничат, тот и постничат...

Иван помолчал и спросил строго:

— “Буран” как достал?

— Бать, а ты пилу брал с собой? — вместо ответа вдруг спросил Лавр.

— Чтоб тоже доставать потом? — презрительно рыкнул Иван и отрезал: — Не. Мне топора хватат.

— А я взял, тятя, в мешок, правда, резиновый засунул. Потом, когда врюхался-то, на гору поднялся, кедрину свалил...

Лавря долго рассказывал, как излаживал ворот. Как добыл колодину из душистой кедры, выпиллил вагу, палок наготовил. Потом лёд пропилил под вагу, вагу в дыру просунул, в камни донные упёр. Как её выталкивало течением, и он её заклинил в булыганах на дне — показал руками. Все — деваться некуда — представили, как он шарит подо льдом вагой и через эту гудкую вагу ощущает дно в скользких камнях. Как “напялил на её колодину”, обмотал верёвкой, палку в петлю воткнул. “Буран” цопэ — и от те жалста — на сухом, ещё и помытый, хе-хе! Хоть глядись.

— А... — было открыл рот отец.

— А потом, когда второй раз-то ухнул — у меня воротешко наготове! Хоть под любой лёд вались. Так что как говорится — не будь тетерей — борись с потерей!

Лавря весело глянул на братьев. Отца окончательно скрутило от возмущения. Хуже всего было, что парень-то всё верно сделал и его похвалить следовало, — но уж больно кичился и краснобайничал — когда только выучился?! На рации на этой поди! Как подпишут к ней — не оттащишь.

Братья не ожидали такого поворота и смотрели на отца.

— Молодец, ничо не скажешь, молодец! Но только вот слушай. Тетеря, потеря... Ещё поговорка есь — дурная голова ногам покою не даёт. Ты на гору с километ залез, полгектара леса угробил, и чуть пуп не сорвал. А я, — он подмигнул Тимофею, — одним сучочком управился! От так от! — Иван потрепал Лаврю по плечу, приобнял и торжествующе оглядел избушку. Все засмеялись, а Лавря потупил глаза.

— А что с воротом нашёлся — молодец! — и всё равно ввернул: — Не зря учил, ха-ха!

Потом помолчал и добавил:

— Каждому Бог по силам урок даёт. А выбор всегда есть. Все-е-егда...

Наутро дымили на прогреве снегоходы, собаки заходились лаем, чуя дорогу и боясь, что их оставят. Ветерок метнул снежную пыль с ёлки. В жилу с ним раскатно прокричала кедровка. Сыновья доувязвали нарты с грузом, которого набиралось: палатка, жестяная печка с трубами, капканы, бензин. Лавря прилаживал пилу, с силой суя под верёвку — царило то дорожное возбуждение, преддверие нового, неизведанного, ради чего, наверное, и существует эта чистая и крепкая жизнь... Погодка стояла “само то”, без сильного мороза, но и без тепла, без снега. Розовеющее небо, дымочка. Редколесье в сахарных ёлочках.

Вот и двинули, наконец. Передóm с лёгкой нартой шёл в спиральном облаке Лавря, особенно воодушевлённый и будто ещё повзрослевший за ночь. Иван ехал по готовому следу за сыновьями, и дорога не забирала внимания, а шла в размышлениях: что там за изба? Насколько мог разорить её медведь? Не горело ли там в последние годы? Есть ли лабаз? Если есть — то наверняка там спальник, ещё что-нибудь нужное, может, даже крупа для собак. Да мало ли что. В тайге каждая крупинка на пользу. Если лабаз есть, то, скорее всего, на ноге — на листвени или двух.

Тогда ещё не вошли в обиход железные бочки от бензина — с надевающейся крышкой на болтах. Их привязывают тросом к дереву, и медведь сколько угодно её мусолит, но не укатит и не вскрыет. Только царяпины оставит и шерсть на гайках. И Иван хоть и перешёл давно на бочки, но сердцем любил именно рубленые лабаза на ногах.

Дерево надо выбрать без намёка на прелость — медведь гнилое сердце учует сразу и срывает. И чтоб не смог ни зацепить, не скинуть. Целая премудрость, как закрепить полномоста на стволе. Понятно, с лестницы начинается, а дальше на нужной высоте врезается крестовина под будущий помост. Потом опиливается ненужная часть дерева, та, что над тобой. Ещё полбеда нынешней лёгонькой пилой, а “уралом” или “дружкой” попробуй! И ещё не свернись с верхотуры! И спили так, чтобы пол-лесины, падая, тебя не пришибла и не сбросила, не впечатала. Вот опилил, затрещало, отдалось по стволу, и вот валится с хряском тяжёлый кронштейн остаток. И в момент отделения — дико сотрясается-играет освобожденный от груза материнский ствол с крестовиной и тобой, вцепившимся в обрубок, держащим пилу со жгучим глушителем. В запахе моторной гари усыпанным по глаза лишкими смолёвыми опилками.

Самому лабазу ещё и крышу надо сделать. Решить из чего — с доски ли пилёной? Или корьём покрыть? А ещё ошкури ногу от самых корней до помоста — чтоб не гнила, и чтоб труднее было забраться, хоть кому — хоть мышу.

Ближе к вечеру добрались, наконец, и до места, профиль экспедишный вывел. Мало того, что избушка целенькая стояла под снежной шапкой, да ещё и лабаз рядом как подарок. Избушечка небольшенькая, но ладная, и главное, крыша целая. Накатали площадку... А место великолепное. Лес вроде и густой, но у берега проплешина, редкий листовяжок по краю. Видна и река в повороте, и горы. Квадратные с гранёными боками, бело-пребельные. У горизонта свинцово-синее вечернее марево, и они на его фоне светятся мелово и нетронуто.

У избушки медведь когда-то порвал полиэтиленовое окно, и ребята быстро натянули новое — плёнка с собой на этот случай. Труба высокая

колонковая*, тяжёлая — чуть печку не удавила. По трубе текло, и ямка на печке особенно ржавая, до хлопьев. Тяга в печке такая, что плёнка на окне дрожит и ходит ходуном. Дрова под нарами. Лампу даже нашли, а солярка с собой была.

Иван ещё раз полюбовался видом. Глянул на лабаз: на двух крепких ногах. На них настил, но само сооружение разочаровало — брезентовый островерхий домик на каркасе. Путный охотник дощатый бы сделал или хоть с жердей... Опять раздражение шевельнулось — экспедишники... Зато на ноги под самым настилом надеты железные бочки, дырявленные топором под размер стволов. Целая работа, но по ним никакой медведь до лабаза не долезет.

— Лестницу ищем! — копались молодые.

— Да под снегом она!

— Да ищем.

— Да ково искать. Она если и есть где, то сгнила, лежит дак.

Сыны возмущали: ведь ясно, что проще новую сделать, чем вчерашнего дня искать. А главное, всё равно этим кончится. “Но специально не буду ничего говорить. Пусть ищут”, — подумал Иван и на всякий случай присмотрел пару-тройку сухих еловых жердин — обычно у избушек сушняк выбран, а тут людей не было: и насох. Самому аж понравилось, и он с удовольствием повторил: “Насох!” Несмотря на упрямство сыновей, настроение было хорошее, как всегда на новом месте. Особенно обнадёживали меловые горы и изгиб реки с серыми сопками. Буквально пронзало знакомостью — есть виды, в которых всей Сибири причащаешься.

Иван запалил костёр — собакам варить, распаковал нарту, спустился на реку по воду. Лёд был слоёный. Он продолбил верхний слой и не спеша набрал эмалированной кружкой в ведро синеватой воды. С водой черпалась и шуга, и, выливая, он держал её пальцем, а она светлела — игольчато и серебряно-ярко. На ветерке кружка бралась корочкой. Перед тем как подняться на угорчик, снова глянул на реку. Горы чуть усели, но даль забирала ещё сильнее и глубинней.

Вернулся к избушке в какой-то расслабленной задумчивости. Избенка, конечно, так себе, наскоряк скидана — новую придётся рубить. Подошёл раскрасневшийся Лавра: “Тятя, надо лестницу делать”. Отец только поднял брови и пожал плечами.

Уже темнялось. Свалили и притащили сушины, серые, гудкие, легкие. Ходящие ходуном, они пружинисто отдавали в руки. Сучочки как железные зазвенели под топориком... Мгновенно нарезали стволиков на ступеньки. Торцы шершавые, занозистые по краю, тёплые. “Гвозди в верхонке под сиденьем!” — звонко крикнул Степан.

Работали без рукавиц. К вечеру небо совсем расчистило, засинело, и драгоценно проклонулась первая звёздочка. Лавр прибывал ступеньки, и гвозди подлипали к красным, мокрым рукам. Он хотел делать быстро и эффектно, но гвоздь то на сучок попадал, то шёл не по волокнам, сгибался, и Лавря быстро выправлял его лезвием топорика. Вот и лестница готова. Синее морозное небо ещё чище разгорелось звёздами. Лёгкая, пружинящая лестница лежала на укатанном снегу.

Давно уже кипел чайник в избушке. “Пошли чаю попьём — всё равно тёмно настало. А на лабаз и с фонариком слазайте!” Ребята охотно втиснулись в тёмную избушку. При дневном свете мятая печурка была рыжая в ошмётках ржавчины. Теперь горела туманным и чудным кристаллом рубина. Лампа с еле живым фитилём светила чадно, но было тепло и хорошо в избе. Скинули шапки, суконные азямы, замороженные до зернистых сосулук. Лавря стаскивал через голову свитер и рукавом смахнул с полки коробку с гильзами. Братья захохотали. Рукавицы пихали вокруг на гвозди, на вешалá. На печке стояла без крышки кастрюля с гречкой. В ярко-синем свете фонарика она лежала в прозрачной водице, как галечка. Несколько гречи-

* Колонковая труба — труба, применяемая в колонковом бурении скважин. Хороша своей вечностью.

нок плавало. Лавр положил суконные верхонки на вешала над печкой, одну обогнул вокруг затёртой палки, а другую не догнул, она расправилась и упала в кастрюлю. Оттолкнув Стёпу, он бросился к мокрой верхонке. Братовья хохотали: “Куда приварок потащыл? А ну ложи на место!” “Лаврушка лаврушку решил закинуть!” Лавря выжал верхонку, приладил на палку, и с неё мерно запшикало на печку.

Попили чаю, вышли на улицу — звёзды ещё ярче обступили, освоились, и ещё гуще вился пар из запахнутой двери избушки. Поставили к лабазу лестницу, и она упёрлась настолько крепко и устоисто, что, казалось, была здесь извечно. Лавря с налобным фонариком полез по ступеням. Иван оглянулся на собак, но тут же раздался вскрик, и с лестницы кубарем скатился и рухнул в снег Лавря.

Братья ринулись.

— Да чо такое? Живой?

Лежал согнувшись, потом стал разгибаться, морща засыпанное снегом лицо.

— Обождите, не поднимайте его!

— Чо? Как?

— Спина как? Руки чо? Ноги?

— Тятя, там... там зубы! Тятя!

Батя подошёл к лестнице.

— Карабин возьми! — крикнул Тимоха.

— Да какой карабин! — проворчал Иван, натягивая на шапку фонарь.

Иван долез и откинул брезентовую полу. Фонарь осветил дикий и ослепительный оскал черепа в усохших остатках плоти. Оскал будто опоясывал голову... настолько был противоестественным вид человеческой головы без обложки. Касаясь пола согнутыми ногами, висели за шею на удавке останки человека. Верёвка была привязана к коньку.

Долго не могли прийти в себя и, подавленные, улеглись спать раньше обычного. Рассыпчатая гречка так и осталась в кастрюле. Не могли стряхнуть, сбросить, смыть увиденное, дикое, поражающее внезапностью, нелепостью. Всё казалось оклеенным засохшей слизью тлена.

Лежали: Лавря на левых нарах, сам на правых, а Тимофей со Стёпой, не сговариваясь, решили на полу. “Чтобы не спать на покойничках нарах”, — догадался Иван. Некоторое время он с налобным фонариком читал Евангелие. Потом положил на стол — фонарь поверх книги. Лежал, сопя, ворочаясь, пружинно проваливая нетолстые доски нар. Снова слоились мысли: ведь как рвались сюда в целинный снег, на край света, в новое, радостное, нетронутое... А уткнулись — в чужое несчастье. В закрайки чьей-то орбиты... Чуть не в материк.

Иван прислушался к сыновьям: вроде ровное дыхание, ну хоть спят, и то подмога. От те и Ядромб. Будто речными камнями грудь придавило. Даже представить Петьку не разрешал себе. Да как же так? Что же стряслось-то здесь? Что за человек? Нездешний, поди. Здешнего хватились бы... Ну. Скорее с экспедиции. Опять, почему не искали? Или беглый? Скорее всего, беглый. Скрывался, делов натворил и не выдержал. Опять, если с экспедиции, то откуда у них беглый? Да мало чо. В посёлке случай был: строители повздорили по пьянке, один другого зарезал и в тайгу удрал. Три года ни слуху, ни духу, потом в Чите всплыл. Опять, если нездешний — то такие, नेताёжные, когда припрёт — начинают, наоборот, о материке мечтать и сошки своротят, чтоб выбраться. Да нет, скорее всего, делов натворил... Хотя тут одно дело другого краше: если когó убил, хоть покаяться можешь, а если себя — то... и всё. Расхотелся... Помолиться надо за него, а уж примет ли Господь Бог — видно будет.

Снова заскрипела под Иваном пилорамная дюймовка, завезённая вертолётom. Вспомнился Васька Ларин, командир “ми-восьмого”, который забрасывал его на охоту. Любимец всеобщий — ладный, маленький, весёлый — синеглазый с чёрными усами. Однажды, будучи в большом посёлке, Иван коротко сошёлся с Васькой. Стоял Иван у некоего Глазырина, сочувствующего старообрядцам. У Глазырина брага была своя, у Ивана в бидоне подмёрзшая

своя — Иван из деревни на снегоходе приехал. Брага замёрзла так, что сверху поднялось “спиртовое ядро”, как сказал Глазырин. Они с Глазыриным этим ядром и угодились, а вскоре завалился Васька с какими-то городскими кручёными и “сильно не последними” мужиками. А у Ивана рыба, оленьина копчёная. В общем, крепко выпили, разговорись про тайгу, речки и заспорились с Васькой: тот утверждал, что по Делинге приток Огнекан справа по течению. Иван точно знал, что слева. Васька предложил спорить на ящик водки. Ивана развезло с дороги и “опосля ядра”. Он протянул руку Ваське, и их разбили. Пospорили и поспорили. И вдруг Васька вскакивает: “Погнали в аэропорт”. Сели в машину. Примчались в эскадрилью, взяли карту — и вот уже Васька несётся в магазин, и берёт ящик.

Тут сыграли и мужики городские, какая-то выгода Ивану замерещилась, корысть — не устоял, бесы бок о бок ходят. Кураж его поймал. Брагу пил сначала, потом голову потерял, а потом, когда брага ушла, давай его компания водкой потчевать, а староверам нельзя, но он уже пьяный. И понеслось, потащили куда-то в гостиницу, там горничная накрашенная, он и с ней балагурил, и песню спеть порывался, а потом, Бог помог, рухнул. Иван был малопьющим, и утром звзвалилось на него такое похмелье, что чуть не помер. Что “в голове ветер лес ломат” — ничего не скажет. Как горой задавило. Всё, чем жил давеча — дорога, семья, промысел, стройка, скотина, труд наружный и внутренний, всё как бульдозер сравнил. Мёртвое поле. Тоска без раздела на душу и тело — давит оптом, как танк, тупой, огромный, скрежещущий. Тогда он и понял, как люди на себя руки накладывают. Не из-за того, что жизнь сбилась, а чтобы прекратить состояние адское. Когда солдат вместе с вражьем танком себя взрывает, то для него танк задача, а что сам под руку попал — так, издержки. Во дьявола как запутать могут — лишь бы человечью душу сцопать!

А хуже всего, что Вася через несколько лет проигрался в карты и повесился. Ещё случай был: в экспедиции мужик застрелился из-за бабьей измены. Говорят, красавица была беспримерная. А бабья красота, она как осок: на ветру шёлкова, а рукой задел и кровь потекла. Да... Ну, и вовсе дикая история — замечательный мальчишка, десятиклассник, красивый, сильный, остроумный повесился из-за несчастной любви. Прямо дома на вышке.

Кто от позора уходил, кто — от обиды. И всегда ночью или под утро — в самое одиночество. И это от людей через стену. А тут — одиночество на одиночество. А как боялся, что прах звери съедят! Ещё и не помещался, а втиснулся... Господи, да если б его мать увидела и вспомнила, какой он маленький был, молоко сосал... Какая была головёнка шёлковая, а какая теперь... оскаленная. Да... Хорошо Лавря хоть спит, бедный, весь форстерял.

Да. Ослаб человек. Такое навалилось, что не дай Господи. Но ведь и выход-то на ладони: раз навалилось, то и отвалилось бы. Маленько бы продержался, и если бы рядом кто живой оказался, то и обошлось бы! Иван точно знал: обошлось! И мелькнуло в голове: “От кому лет-то не хватило — не дождался нас!”, а потом как ожгло: “А может я не успел?”

Ивану стало легче, когда представил, как добирается до избушки в те минуты, когда человек на лабаз собрался. Но и тут пошли развилины. Хорошо, если спасибо скажет... И вспомнился случай, рассказанный костоправом, который Ивану “ставил хребёт”. Костоправ этот разминал человека, пять лет лежавшего после удара. Был он “выласт закоревший”, и костоправ мял-мял его, растягивал, разворачивал, как “запеклое бересто”, да так больно и трудно, что больной невзвидел разминщика, как лютото недруга. Но тот каким-то образом поднял недвижимого с лежанки и вот: чудо-дело, стоит колодина на ногах! Костоправ ему руку согнутую потянул, тот взърился, и в порыве ударил мучителя так, что тот повалился. И, поражённый вернувшимся сокодвижением, рухнул и стал костоправу ступни целовать.

Ну, уж тут как получится, главное успеть. И Иван представлял свой подъезд и подход к зимовьюшке по-разному: то на снегоходе подруливает, то на лодке: в речке-притоке вдруг вода небывалая... А то на лыжах подходит к избушке. Идёт себе идёт, и не дойдёт никак, началась тут прогалызина

большая, и вдруг тайга расступилась, постройки какие-то замаячили, и оказывается, уже не избушка приближается, а старая промхозная контора, к которой он идёт с каким-то мужиком. На плечах у каждого по мешку. И снег метёт, сухонький такой, предрождественский. И облака лёгонькие, задиристые... А идут они сдавать пушнину. Мужичок лицо всё отворачивает, прячет, и сам какой-то вымотанный, заунывный. “Ты чо такой смурый?” — “Да вот — до плана семь штук не добрал, теперь из промхоза попрут и участка лишат. А мне без тайги погибель”. — “Да, не дело. Понимаю. А план-то какой?” — “Шестьдесят соболей. А у меня полста три”. — “Вон чо. А у меня шестьдесят семь. Но раз такая история — на тебе семь соболей!” Иван развязывает мешок, и тот свой развязывает. У Ивана соболя вычесанные, пышные, лоснящиеся, а у мужичка до того слежалые, грустные, что неловко Ивану за свою пушнину. Берёт он семь соболей, протягивает. А тот говорит: “Только теперь за пушнину деньги *именные* дают”. — “Это как?!” — “А так. Есть именные соболиные лицензии, ну, для контролю за добычей и упорядочения сбыту. Но, сам знашь, охотнички народ мухлявый, и теперь за соболей дают деньги пофамильные — вот это Ивановы, а это Пименовы. Чтoб на чужие соболя никово не взять было — только на своя. Ну ты понял”. — “Понял, чо не понять. Но ты всё равно бери, не оскудею, поди, на семь хвостов-то”.

И мужичок забирает соболей, завязывает мешок и идёт в контору. А Иван стоит и думает: “Ведь как выходит: у ево полста три, а у меня шестьдесят семь, разница четырнадцать штук. Я ему семь ондал и мы сравнялися. Отбавка небольшая, а разрыв вон как надвоился! Как это?” И тут вдруг голос раздаётся: “Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Как это? Тять... А тять?”

— Тя-ать! — повторил Лавр, откладывая Писание и светя на отца льди-сто-пронзительным налобным фонарём.

— Ково тебе? — очнулся Иван, с трудом приходя в себя, морщась и закрываясь от яркого света. — Да уברי ты — ослепил!

Лавря выключил фонарь, и в глазах Ивана долго мерк зеленеющий след, да ворочалось свежевырезанное на бревне над Лаврей: “Л Б 2003”. Потом стало совсем темно, лишь в поддувале дрожал рыжий огонёк и отвечивал на Стёшном спальнике. Тихо стояло.

— Тять!

— А! — отрывисто отозвался Иван.

— А он почему повешался?

— Почему... — Иван заскрипел нарами, — Мало чо бывает. Спи давай. Завтра путики искать пойдёте.

— А ноги-то? Ноги-то касалися... Сам говоришь... Упором-то... касалися. Как он так... удавился-то? Может, помогли?

— Помогли, ясно море! Дед наш, знашь, как говорил? Про самоубивцев... Что когда такое дело — дьявол тут как тут. На подхвате. Так поможет, что никакой упор не спасёт. Те и “помогли...” Спи давай. Завтра пойдёте, оченá будете делать — лысьте сразу. Чтoб не гнили.

— Тя-ять... — снова занудил-задомогался Лавр.

“От ить домогной!”:

— Ну чо тебе?

— А пошто мы-то не знали?

— Да кто щас чо знат! Тут этих экспедишников шарилось...

— Дак а чо не хватился никто?

Вдруг неожиданно бодро вступил Тимоха, тоже не спавший:

— А ты, Лавра, его бы и спросил! А то чо-то быстровато убрался.

— Да прыгнул-то красиво. Ему в десант наа! — хохотнув, добавил Стёпа. — Промысловик-десантник!

— А, тять? — не унимался домогной Лавря.

— Да кто искал кого, — отмяк голосом и Иван, — в развал такой? — И снова рыкнул: — Спице давайте.

Ранным ещё тёмным утром Иван, переступая через сынов, крепко спящих в спальниках, открыл дверцу печки. Догорающий в её нутре огонёк

в фонарном свете обратился в перистый кубик пепла. Иван туго затолкал печку сухими еловыми поленьями и поджёг бересту. Береста занялась, скручиваясь и чадя. Иван закрыл дверцу, и глазки поддувала зашлись трепетно и ярко. Завыла тяга.

Иван вернулся к столу, прочитал молитвенное правило, быстро и сильно охлёстывая двуперстием вверх от ключицы на гребень плеча. Потом грел в сковородке гречку на сале.

Чайник давно кипел. Иван поднял сыновей, накормил и, не давая мешкать, отправил в тайгу работать — в мороз, снег, свет. Сам перекрестился и не спеша взялся за дело. Сложил раскиданные дрова, порылся на полках, под нарами. Скрутил Лаврин спальник, положил на нары “в голова”. Под спальником на досках подобрал измятый листок с дырочкой от гвоздя — половинку выцветшей бледно-зелёной тетрадной обложки. С одной стороны таблица умножения. С другой записка:

Ребята, кто зайдёт в избушку очень большая просьба. Сходите на лабаз там сверху на мешках с продуктами есть небольшая чёрная сумка в ней в наружном боковом кармане записка для Вани Вагнера. Передайте записку ему очень прошу. (Приисковский, Норильская 23 кв 2, Вагнеру Ивану Берхардовичу). Правда на лабазе будет и удавленник то есть я. На мёртвых пучиться ненадо. Все мы раньше или позже всё равно умрём. Лучше конечно позже.

Иван не торопясь оделся и полез на лабаз. Перерезал верёвку, на которой висели останки тела. Поддержал, чтобы оно не ударилось о настил. С сумкой вернулся в избушку.

Здравствуй, Ваня!

Вот пришла пора и мне оставить этот мир. Немножко конечно грустовато. Но и жизнь для меня была нелёгкой. Были и хорошие моменты но я никогда не умел их сохранить. С этой идиотской заброской намучился неприведи господь бог никому такого. Лодка почти сразу потекла. Кое-как до Камдакана постоянно черпая воду дотянул а там у избушки набрал смолы. Заделал дырки. Через какое-то время опять потекло. Порог на пороге. За один только день прошёл 17 штук включая перекаты. Сколько было застревал на камнях посередине реки. Но всё как-то обходилось. Всё выбирался. К Хуричам подъехал где-то в конце июля. По дурусти стал подниматься по Хуричам. За 3 дня протащился 2 км. Потом день ходил смотреть до Чавидокона. Вся река сплошь одни камни. Там нетолько на лодке невозможно подняться. Там как говорится и на вертолёте над ней не пролететь. Думал продукты перетаскать 40 километров на себе. Но берега тоже завалены камнями а по лесу метровый мох. Решил подниматься по Ядроמו до подбазы сейсмиков. Ведь какая разница в каком месте кольца путиков находиться? Но время уже было упущено. Вода упала. На эти проклятые Хуричи потратил 8 дней. 3 дня поднимался 2 дня спускался назад. 1 день ходил смотреть и потом день ремонтировал лодку. На швах где листы жести соединялись все эти замазки отстали полностью. Стало как решето. Сверлил дырки, засовывал резину и приложив обод от бочки всё стянул болтами, а потом просмолил, но всё равно немножко пропускала воду. Третьего августа собрался до Баладжекита. Это в 6 км от устья Ядрома вниз. Там где-то км 2 ниже сплошные пороги и шивёры. Продукты выгрузил в избушке Сергея Бурцева, а лодкой решил проехать по порогам пустой, потом на себе перетаскать продукты, сложить и ехать дальше. И надо же буквально на последнем перекате подкинуло мотор через камень, потерял управление, лодку кинуло поперёк переката хлынула вода и лодку прибило к 2 камням — перевернута против течения ковшом как бы. Получилось как плотина. Тонны воды давят на лодку а она прижата к 2 камням спереди и сзади. И всё это посередине реки и посередине шиверы. Посередине реки потому что там был самый наилучший проход. Да и в жизнь никогда бы не подумал бы что здесь перевернусь. Такие водовороты прошёл что волоса дыбом становились. А здесь надо же так получить. Дальше уже широкий плёс и устье Ядрома. Сколько не мучился так ни лодку ни мотор не смог снять. Вода глубокая и течение сильное. Сделал плотик думал может на плотике подберусь. Куда там. Держусь за плот,

сбивает течением, а плот переворачивает и вырывает из рук. 2 дня промучился толку никакого. Пришлось лодку бросить. Стал на Мойеро таскать продукты. Построил лабаз. Перевернулся 3 августа. 3 и 4 пытался снять с камней лодку. 5 пошёл на Мойеро. 6-7 строил лабаз. 8 шол на Баладжекит за первым грузом. 9 пошел уже назад на Мойеро. Думал перетаскать быстро. Получилось что ушел весь август. Туда и обратно получается 60 км. Теперь почти такое расстояние надо опять таскать до подбазы сейсмиков на что у меня уже нету не силы и не желания. И так ноги опухли как чурки в сапоги не запахать. Да и приманку без собаки не набить. Птица и близко не подпускает. Поднимается и летит чёрт знает куда. Так что Тамара когда шутила что надо меня сфотографировать последний раз живого оказывается была права. Да и я тогда смеялся и мысль такая не приходила что так жизнь кончу. Сейчас через Неконгдокон ещё мог бы выбраться в Приисковый. Да там и Серёга Бурцев прилетит. Да а что дальше? Проситься к гравикам? Но сезон кончается и хрен возьмут. Или проситься в кочегарку кочегаром да и тоже своих хватает. Ехать куда-то ещё я уже не могу потому что денег уже ни копейки. Да и не к кому. Вот я и подумал зачем себя дальше мучить. Если я 53 года проживший на свете жизнь себе не устроил так я уже и не устрою. Зачем и себя мучить и людям надоедать. Что осталось патроны, ружьё, лыжи, валенки всё на Мойеро на лабазе. Конечно если остался жив бы потихоньку работал купил бы и мотор и всё остальное. Но я уже больше жить не в силах. Так что очень прошу тебя извини меня за причинённые тебе неприятности. Если надумаешь когда подниматься до участка на лодке то только в половодье по большой воде а иначе намучаешься не хуже мене. Ну кажитесь всё. Ещё раз простите меня и прощайте!

Леонид. 1996

Иван медленно поднялся, обулся, накинул азам и вышел из зимовья. Подошёл к берегу и прислонился к шершавому стволу лиственни. Была видна река в таёжных серых сопках и вдалеке квадратные горы. Нежно-меловые в рассветную розовинку, они стояли и прекрасные, и непоправимо другие.

ВЛАДИМИР АРХИПОВ



РОССИЯ, ПУШКИН И ЛЮБОВЬ!

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

Хрупок мой сон — как ледок на реке.
Горькие мысли — слезой в кулаке.
Люди душою скудеют, мельчают,
Словно сады без ухода, дичают.
Помню, как мама в военные годы
Нищим картошку несла с огорода.
Грелись гурьбою под тёплой овчиной.
Печка топилась, светила лучина.
Нынче на улицах морюшко света.
Люди в роскошные шубы одеты.
Нет, не от стужи мне муторно, зябко.
Тут не помогут ни печка, ни шапка.
Как мне любилось легко и писалось!
Что же осталось? Ледок да усталость...
Ветер колышет рассветные ивы.
Господи, дай мне отваги и силы!

АРХИПОВ Владимир Афанасьевич родился в 1939 году в селе Мухино Зуевского района Кировской области. В 1971 году окончил Московский литературный институт им. М. Горького (семинар поэзии В. Бокова и М. Львова). Работал в газетах казахстанской целины и таёжной Байкало-Амурской магистрали. Последние сорок лет живёт и работает в Краснодаре. Автор более тридцати книг для взрослых и детей. Заслуженный работник культуры Кубани, обладатель почётных титулов “Имя Краснодара” и “Духовное имя Кубани”. Единственный в России дважды лауреат православной литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского.

Утро не скрасит житейскую драму.
В комнате пол — как оконная рама.
Ломтики солнца, упавшие с неба,
Можно потрогать, как ломтики хлеба...

ЧИТАЙТЕ СУДЬБУ

Похожи, похожи в деревне домишки
На наши любимые старые книжки.
Хлестало их ветром и льдистым свинцом —
Избушки, как люди, темнели лицом.
В метельную пору — избашки седые,
Под утренним солнцем — они золотые.
Присядешь на краешек лавки-скамьи —
Узнаешь историю каждой семьи.
А можно на тёплую печку прилечь —
Согреет тебя богатырская печь.
Не зря светоносное слово “изба”
Рифмуется в песнях со словом “судьба”.
Не зря неприятели брали на мушку
Народное сердце — простую избушку.
Избушка-простушка смиренна на вид.
Избушка стоит.

И Россия стоит.

СТАНИЦА БЕССТРАШНАЯ

Какие горы тёмные!
Станица между гор.
“Вставай, страна огромная!..” —
Поёт казачий хор.

Певцы простонародные.
Поют отец и сын.
“Пусть ярость благородная...” —
У всех порыв един!

Запев — как вспышка пламени!
Мурашки по спине.
А рядом с клубом — памятник
Погибшим на войне.

Казачьими заставами,
В кавказском далеке,
Хранила Русь державная
Границу на замке.

Бесстрашная — отважная!
Господь, её спаси!
Как островок бесстрашия
Станица на Руси!

Надёжна и не сломлена,
Работает, живёт.
“Вставай, страна огромная!..” —
Казачий хор поёт.

АФОНИН СЫН

Среди снегов, среди равнин
Я рос и рос, Афонин сын.

Отец мой — пахарь и солдат.
Он не выпячивал наград.

Простой солдат... Он был удал!
Ему сам Жуков руку жал!

Однажды был горячий бой.
Он дот взорвал. Затем другой.

Чтоб враг и ноги не унёс —
Пустил он поезд под откос.

Потом он сам, как паровоз,
Сельхозартель достойно вёз.

Отцу дивлюсь, отцом горжусь —
Каких людей рождает Русь!

Я вырос, дожил до седин,
Недаром я — Афонин сын!

.....

**Поздравляем нашего краснодарского друга с 80-летием!
Коллектив журнала “Наш современник”**

АНДРЕЙ ПОПОВ



И ТАЮТ СНЕГА, И ПЛЫВУТ ОБЛАКА...

ВОРКУТИНСКИЙ ВОПРОС

Я родился в краю гагар,
Куропаток и белых сов,
И сюда никакой Макар
Не гонял телят и коров.

И в судьбе моей падал снег,
Снова падал — как будто впрок.
Я смотрел на него, как зек,
У которого долгий срок.

Я смотрел на него в упор,
С ним легко соглашаясь в том,
Что не я выбирал простор,
Что не я выбирал роддом.

Кто же выбрал? Какая цель?
Непонятно. Туман и тьма.
Но зато впереди метель,
Но зато впереди зима.

ПОПОВ Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Автор нескольких сборников стихотворений. Лауреат Южно-Уральской литературной премии, международной премии С. Есенина “О, Русь, взмахни крылами”, премии Н. Тряпкина “Неизбывный вертоград”. Стихи переводились на венгерский, болгарский, немецкий языки. Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

У ПОСЛЕДНЕЙ ВЕСНЫ

Мерцает звезда, догоняет беда,
Подводит надежда на случай.
И люди привычно уйдут навсегда,
Одна у нас — общая участь.

Мешаются мысли, шумят города,
Изводят желанья всечасно.
И люди уйдут, не оставив следа,
Растратив себя понапрасну.

И тают снега, и плывут облака,
Становимся строже и старше,
И видим, как жизни уносит река
Тяжёлые льдины и баржи.

И что не сбылось, если мы смущены
От частных малознакомых,
От льдин неуклюжих внезапной весны,
От рано цветущих черёмух?..

* * *

Ещё светло, да только к вечеру
Подходит жизнь, подходит век.
И почему-то вспомнить нечего,
Ну, разве Воркуту и снег.

Июнь и снег — метель кромешная,
Смотрю на прихоть непогод
С тоскою по теплу нездешнему,
Что умереть мне не даёт.

ЛЮДИ ПЕРВОГО КАМНЯ

Не хочу судить, хоть меня и судят,
Что порою невольно заметить смею,
Что живут на свете такие люди,
Что грехов, считают они, не имеют.

Никаких грехов, и не ждут почёта,
Что они удались всех честней и краше.
И о них рассказывать больше что-то
Не хотелось бы совести тихой нашей.

Лишь добавлю разве — светлы глазами
И за пазухою ничего не прячут,
И они бросают первыми камень,
Без греха же мы, думают, — можно, значит.

МОЛЧАНИЕ РЕКИ

Течёт река, не зная языка, —
Ни русского, ни коми, ни иного.
По ней плывут цветы и облака.

Молчит река.
Не говорит ни слова.

Река и речь... Язык наш не забыл:
Одна у них природная основа.
Но речь на дно осела, словно ил.

Молчит река.
Не говорит ни слова.

У Стикса невысокая волна —
Кто не прочёл молчания речного,
На время лишь поднимет ил со дна...

И вновь река
Не говорит ни слова.

Поздравляем нашего давнего друга и автора с юбилеем!
Редакция журнала

ВЛАДИСЛАВ СОСНОВСКИЙ



ПРОВОДНИК

ПОВЕСТЬ

Они выплеснулись неожиданно из тёмной чащи кустарника. Вылетели на солнце, вспыхнули, обожжённые счастьем бесшабашного, упоительного галопа, и понеслись наперегонки, рассекая траву и цветы. Рыже-золотым клубком катилась по зелёному лугу Джулька, словно кто-то сильной рукой запустил её из сиреневых чащоб, а рядом с нею ошалело летел похожий на небольшого волка радостный Джулькин избранник Боцман.

Иногда Джулька прямо на бегу, на всем их бешеном спринте умудрялась лизнуть Боцмана в щёку морды, умудрялась обнять его лапой или просто коснуться шерсти, что тоже было проявлением любви. И Боцман совершал то же самое.

Если бы вы стояли на пригорке, а перед вами искрился, рассыпался и сверкал беспорядочный цветочный луг, по которому носились голова к голове две дворняги, вы бы сразу поняли: они любят друг друга. Они действительно любили и были неразлучны.

А дело началось с того, что Боцман, давно, видимо, положивший на вислоухую красавицу Джульетту свой острый собачий глаз, задыхаясь от счастья, проник в подъезд Джулькиного дома и, уже не в силах объясняться в чувствах, просто овладел ею. Они замерли в потоке блаженства и так стояли, ощущая любовь.

Но тут раздался оглушительный крик консьержки. Собаки сразу поняли, что эта тощая тётка со скатавшимися клоками вместо волос ничего подобного

СОСНОВСКИЙ Владислав Геннадьевич родился в 1947 году в Днепрпетровске. После школы служил в армии, в 1968 году участвовал в военной операции "Дунай". После службы окончил Литературный институт им. М. Горького, затем стал журналистом и за 20 лет объездил весь СССР. Автор нескольких книг прозы, выходивших как в России, так и за рубежом.

никогда не испытывала, и решили не обращать на неё внимания. Тогда консержка, сбивая каблучки, понеслась на третий этаж к Борису Борисовичу, хозяину Джульки, и, брызжа слюной, стала кричать, что внизу происходит жуткая гадость.

Борис Борисович с Тамарой Петровной только что приступили к завтраку, и тут эта идиотическая консержка... Тамара Петровна сказала:

— Сходи, Лапа. Посмотри, что у них там.

— Где наши лыжные палки, Лапуля? — растерянно спросил Борис Борисович.

— Не знаю, Лапа. Наверное, там, в углу. Не помню. А зачем палки?

— Возможно, их придётся хлестануть. Знаешь, как бывает у собак.

— А-а... — поняла Тамара Петровна. — Тогда порыскай возле шифоньера.

В углу, возле шкафа, был своего рода склад уникальных вещей. Тут, одно на другое, было заботливо навалено всё самое лучшее. С мусорки. Кофты, рубашки, пиджаки, туфли, игрушки, коробки, радиоблоки, баян, телевизор, ящик со ржавыми болтами, лыжи и, конечно, палки всех сортов.

Борис Борисович подтянул походные джинсы, и, выбрав нужную палку, пошёл к консержке, которая уже топталась на пороге, словно перед ней закрыли двери туалета. Они спустились на первый этаж и обнаружили влюблённых, стоявших в той же блаженной позе. Борис Борисович терпеть не мог издевательств над животными, но, чтобы консержка закрыла, наконец, рот, хлестанул Боцмана по заднице. Любовь сразу прервалась. Боцман пулей вылетел из подъезда. Однако на Бориса Борисовича по благодетелю сердца не обиделся. Во-первых, потому, что его, случалось, бивали и сильнее. Он порою неделями отлёживался в подворотнях. А Борис Борисович... Это так, ерунда. Просто вежливо подсказал, что для любви нужно было найти более подходящее место. Это — во-первых. А во-вторых, не осерчал Боцман и потому, что Борис Борисович всё-таки имел непосредственное отношение к Джульетте, и это, конечно, надо было учитывать. Потому-то через три дня, когда Борис Борисович, нагруженный, как путешественник, рюкзаком с пустыми бутылками, влезал в троллейбус, Боцман тут же верноподданнически прошмыгнул рядом и уселся у его ног. Он действительно был похож на волка-подростка. Густая чёрно-серая шерсть, острая волчья морда и всё понимающие, себе на уме, мазутно-сливовые глаза.

— Ну? — спросил Борис Борисович. — Что будем делать, жених?

Боцман понял, на этот серьёзный вопрос нужно как-то отреагировать, и подал в знак примирения лапу.

— Это — само собой, — сказал Борис Борисович. — Но от алиментов не отвертисься.

Он не испытывал к постороннему дворовому псу неприязни за содеянное с Джулькой. Что ж, дело житейское. Кроме того, Борис Борисович любил всякое живое существо во всех его проявлениях, но, правду сказать, никаких прожектов относительно приставшей дворняги не строил, несмотря даже на протянутую в знак примирения лапу.

Так и ехали они в троллейбусе, позвякивая пустыми бутылками, довольно долго и далеко. Глядели друг на друга, и каждый думал о своём. Наконец, Борис Борисович выбрался из транспорта с гремящей ношей и направился к пункту приёма посуды, размышляя по пути, хватит ли ему вырученных денег на вино. А пёс уже преданно бежал рядом, словно Борис Борисович давно был его любимым хозяином.

На бутылку денег хватало. Борис Борисович торопился вернуться назад, чтобы в родных стенах обрести необходимое спокойствие и блаженство тела. Он напрочь забыл о собаке, втиснулся в переполненный троллейбус, и дверь за ним с лязгом захлопнулась. Боцман остался на остановке в чужой, далёкой стороне. Почему Борис Борисович с первой же встречи окрестил его Боцманом, один Бог ведает. Лишь когда они сели с Тамарой Петровной за стол, Борис Борисович вспомнил о собаке и засовестился.

— Бросил я его там одного, Лапуля, — переживал он. — Ведь это далеко. Он там чужой. У них, у собак, с этим строго. Чужой на территории — враг. Покусать могут запросто.

— Не убивайся, Лапа, — успокаивала мужа Тамара Петровна. — Они договорятся. По своим законам. Что ж, ты должен был его на такси возить?

— То-то и оно, — вздохнул Борис Борисович.

— Я не помню, Лапа, — с некоторой тревогой молвила Тамара Петровна. — Ты сегодня ходил хрусталь сдавать? Вроде бы я собирала тебе сумки.

Борис Борисович не обиделся на такую вопиющую забывчивость супруги. Он уже привык и смирился с тем, что Тамара Петровна, женщина ещё молодая — всего сорок два — выглядела теперь попутной старухой. Она в последнее время ничегоненьки не помнила, склероз останавливал её посреди комнаты с тряпкой ли, мылом или какой-нибудь ценной вещью с мусорки, ибо на полпути она уже не ведала, куда двигалась по какой-либо надобности и зачем.

— Ну, как же, Лапуля? Ты что, забыла? — возразил Борис Борисович.

Он и сам, сильно поседевший в последнее время, походил на молодого старика, хоть лет ему было чуть больше, чем Тамаре Петровне. Сознавая свою преждевременную старость, а может быть, даже ощущая незримые вёсла лодки, неуклонно несущей его в направлении реки Стикс, Борис Борисович, сдавшись течению, мирно называл себя дедом, хоть детей, а стало быть, и внуков у них с Тамарой Петровной не было.

Одевался Борис Борисович, надо сказать, с некоторым изыском, но с чужого плеча, что добывал в походах к мусорным контейнерам. Иногда, впрочем, попадались вещи добротные, почти новые. Тогда Борис Борисович с Тамарой Петровной радовались и недоумевали: до чего же люди бесятся с жиру, выбрасывая добро. А выбрасывали много чего. Бориса Борисовича со временем обуяла даже какая-то нездоровая страсть к таким экспедициям, и он тащил в дом всё, что ни попадя. Даже, откровенно говоря, то, назначения чему не знал вовсе. К примеру, под кухонным столом стояло электрополотенце, какие вешают в туалетах вокзалов, аэропортов, гостиниц и прочих заведений. Но Борис Борисович уже забыл и вокзалы, и аэропорты, а потому, обнаружив электросушилку, долго вертел непонятный предмет в руках, размышляя, какую бытовую пользу он мог бы принести. Так и не установив назначения полотенца, решил, что на него, как на мелкую скамейку, удобно будет ставить ноги во время, скажем, чаепития.

Тамара Петровна одобрила и похвалила находку мужа:

— Да, Лапа. Очень хороший ящичек. С зеркальцем. Но, может быть, он имеет какое-нибудь интересное свойство?

— Не без этого, Лапуля. Но ты же знаешь, я в этих предметах, что сапожник в аптеке. Поставим под стол, и будем держать на нём ноги для отдыха.

— Правильно! — обрадовалась Тамара Петровна. Она уже давно, потеряв свои умственные ориентиры, привыкла соглашаться со всем, что говорил и делал Борис Борисович.

Понятно, так было не всегда. Когда-то, лет десять назад, Тамара значилась в оркестре народных инструментов талантливым музыкантом и очаровательной, остроумной, даже ироничной женщиной. Попасть к ней на язычок не сулило жертве ничего хорошего. Потому-то у Тамары было немало недругов, завистников и просто врагов. Но в большинстве коллеги её уважали и считались с ней как с перспективной творческой единицей.

Борис любил её.

Он тоже работал в этом оркестре, где считался виртуозом баяна и балалайки.

Тамара была для Бориса не просто любовью, а какой-то горячей страстью. Безрассудным самозабвением. Тогда они были молоды, удачливы. Жизнь несла их под белыми парусами в просторный океан, где гулял лёгкий ветер шальной удачи и реял на горизонте серебряный бриз успеха и славы. С этим, знаменитым тогда оркестром, которым командовал вместе со своей женой дирижёр Виктор Александрович Степанов, Тамара с Борисом объездили полмира. Они жили ясно, жадно, широко, не думая ни о деньгах, ни о служебных лестницах, просто дышали жизнью, как дышат, наслаждаясь, лёгким

морским воздухом. Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио были только вехами признания и любви друг к другу. Кипучая, захватывающая деятельность на высоких волнах российской музыкальной культуры составляла всё их существование.

Конечно, это была работа. Работа с утра до ночи. До крови из носа. Однако о другой жизни они не помышляли. Репетиции, выступления, концерты, путевые приключения. Рестораны, банкеты, экзотические места шумно неслись навстречу, как несутся перелески, озёра, мосты навстречу летящему поезду. И, казалось, это будет вечно. Но вечно так бывает редко.

Тяжёлые тучи уже нависли над Борисом с Тамарой. Над Тамарой, конечно, из-за её острого языка. Над Борисом из-за того, что он от хмельной любви к миру, музыке и Тамаре не однажды, очарованный жизнью, выкатывался, дыша вином, в стерильный воздух очередной гостиницы. А выкатываясь, как назло, сталкивался лоб в лоб, розовощёкий, сияя восторженными глазами, с руководителем оркестра и, тем паче, с его неотлучной цербершей-женой, у которой не числилось других обязанностей, кроме как надзирать за моральным обликом каждого музыканта. Поговаривали даже, что она, Капитолина Марковна, состояла на службе в КГБ. Кто знает. Может, и на самом деле.

Однажды в Неаполе ожидали вылета в Москву. Солнце плавало окна аэропорта до жидкого стекла. Машины взлетали в синем дрожащем мареве. Люди сомнамбулическими тенями плавали в зале ожидания, как рыбы в аквариуме. У Бориса тупо ныла голова после вчерашнего банкета. Он направился в бар, чтобы выпить рюмку “Мартини”, но путь ему неожиданно преградила Капитолина Марковна.

— Вы куда?

Борис Борисович, нужно сказать, был человеком добрым, но хамства и наглости в отношении к личной свободе принять со смирением не мог и, ощутив мгновенно от вопроса Капитолины Марковны тугую волну негодования, зло прошипел ей на ухо:

— Иду сделать пи-пи, дорогая наша блюстительница. Могу я пописать без свидетелей?

Жена командующего оркестром отпрянула от Бориса так, словно он имел на теле под итальянской ослепительно белой рубашкой вредных, опасных насекомых.

Вот эти две ответные, не совсем, скажем, культурные фразы Бориса и решили всю дальнейшую судьбу музыканта. Его и, понятно, Тамары. По возвращении в Москву Степанов неожиданно затеял конкурс на профпригодность, то есть на соответствие, иными словами, того или иного оркестранта своему музыкальному месту. Борис тогда обречённо понял, этот спектакль разыгрывается исключительно для него.

Из балалаечников состязались трое. Ветеран Белов, Борис Борисович и молодой, никому не известный, кроме, конечно, Степанова, парень — Шмаров Анатолий, недавний выпускник Гнесинского училища. Ему предложили сыграть две не особенно сложные, тем более, основанные на народной тематике, пьесы Римского-Корсакова. Ветеран Белов отыграл то, что сто раз уже исполнял в разных концертах. Отыграл лихо, bravo, широко, с ветеранской печатью качества.

На пюпитр Бориса легли ноты Шумана, Рахманинова и Ждановича. Сыграть этих композиторов с листа — дело куда как не простое. Борис ещё раз утвердился в мысли, что его хотят утопить, а вместо него посадить вот этого розовощёкого, с лёгкими пушистыми усиками паренька, Анатолия Шмарова, который, скорее всего, был либо чьим-то сыном, либо непосредственно родственником самого Степанова или его постылой жены, Капитолины.

В битву Борис, тем не менее, всё же вступил. Шумана с Рахманиновым он сыграл достаточно легко и молодежavo. С интонациями и чувством, гармонично, грамотно, профессионально. А вот со Ждановичем, сочинения которого Борис никогда, прямо скажем, в глаза не видел, а музыка являла собою сухие тренировочные упражнения, трескучие переборы гамм, нелепые переходы с тональности на тональность, было столь же сложно, сколь и опасно.

Честно говоря, Степанов внутри себя не хотел расставаться с Борисом: он любил и ценил одарённых музыкантов. Но жена учинила настоящую истерику, и командующий оркестром сдался. Опять же, Шмаров Толик — племянник Капитолины. Его нужно, хоть умри, куда-то устраивать. Одним словом, Борис Борисович оказался обречён.

Он вытер перед Ждановичем пот со лба и перевернул страницу нотной тетради. Чувствовал, рука его не дрогнет, инструмент не подведёт. Он сейчас закипит, запоёт, заплещется. Но где гарантия, что даже он, профессиональный музыкант, не собьётся на умопомрачительных вариациях? Какое-нибудь колено предстоящей пьесы нужно проигрывать два, три, пять, а то и десять раз, чтобы овладеть им в совершенстве.

Борис посмотрел в ряд жюри, на Степанова. Посмотрел, как гладиатор на патриция, большой палец которого обращён вниз. Степанов отвёл глаза в сторону. Борису всё стало совершенно ясно. Но он решил сражаться до конца. И, конечно, проиграл. Где-то, понятное дело, сбился, споткнулся, упал. Впрочем, выиграть было невозможно. Степанов знал, чем свалить человека, даже музыканта-профессионала. И свалил.

Двери оркестра захлопнулись. На другой же день они захлопнулись и для Тамары, поскольку ни её душа, ни сердце, ни, тем более, язык не могли вынести открытого геноцида в отношении мужа.

После переездов, гастролей, выступлений наступило неподвижное, гранитное затишье, которое и Борис, и Тамара молча слушали, оглушённые наступившей тишиной. С самого утра они закрывали ещё необжитую, пахнущую пылью и одиночеством квартиру Тамары и отправлялись к Крылатским холмам, которые высились неподалёку от их дома.

Тогда зеленел июль. Пёстрое разнотравье густо застилало всю овражную часть возвышенностей и церковное подножье до самого святого источника, что струился в низине круглый год из далёких глубин времени. Словно бы целые века журчали в прозрачном ручье, обнажая крупинки чьих-то далёких судеб, которые прозрачными тенями бродили по вечерам в лиловых сумерках. Колокольный звон медным эхом отдавался в вечности.

Борис с Тамарой садились обычно в густую, мягкую траву под дремотными берёзами, доставали вино, еду и начинали долгое, до темноты, путешествие в прошлое, к пролетевшим поездкам, концертам, приключениям и счастью. Теперь всё было позади: и концерты, и приключения. И счастье. Вот так, если поглядеть со стороны, грустно и бездарно пролетали дни, а за ними недели и месяцы жизни.

Незаметно стряхнули скромницы-берёзы с тонких, чеканных веток золотые листья. Над крестами церкви Пресвятой Богородицы нависли тяжёлые, пепельно-чёрные тучи. От гребного канала подул тягучий мокрый ветер и косяю моросью двинулся на город бесконечный, унылый дождь.

Борис с Тамарой водворились в зимнюю квартиру. Теперь они наблюдали сквозь заплаканные окна многоглазую, но равнодушную стену противоположного дома. Под вечер он зажигал мутно-жёлтые огни, освещая тени трудовых людей, торопившихся сквозь кислый дождь в свои тёплые жилища. Сумрак застывал, как желе, подёрнутый серой рябью однообразия и скуки. Крылатские холмы в это время ходили на каменное кладбище, оглашаемое порою стенами порывистого ветра.

Борис иногда спускался за коньяком. Как за спасением. В магазине, располагавшемся на первом этаже их дома, его с Тамарой уже все знали. Продавщицы думали-гадали, судили-рядили, чем это можно в музыке таким заниматься, чтобы частенько пить дорогое вино.

О средствах пока музыканты не заботились. От бывлых концертов и выступлений денег оставалось достаточно.

Иногда под настроение Тамара пела. Она вдруг надевала лучшее платье из своего обширного гардероба и начинала исполнять, словно в концерте, какой-нибудь старинный русский романс. Голос у неё был чистый и мягкий, грамотный, без тени ошибок и фальши. Борис всегда слушал с удовольствием. Слушал внимательно, но несколько предвзято. Как, скажем, член жюри.

— Чего это ты, Лапуля, в си бемоль миноре очутилась? — В среде музыкантов это была трудная и противная тональность.

— Разве? — удивлялась раздумывавшаяся Тамара. — Мне казалось, это чистая си.

— Нет, Лапуля, си бемоль.

— Ну, ладно, — соглашалась Тамара. — Тебе видней. У тебя, Лапа, абсолютный слух.

Дождь не кончался. Сонно текли дни, однообразно слетая в никуда ненужными листками календаря. Размытые и водянистые, как глазницы домов, дни не оставляли по себе воспоминаний, укладываясь в памяти бледными пустыми пятнами. В крови своей они не имели гемоглобина времени, и потому просачивались в подсознание безликими, уродливыми тенями с цементными, мокрыми зрачками.

— Знаешь, Лапуля, — сказал как-то Борис, погружённый в мрачные раздумья. — Я, пожалуй, убью их. И Капитолину. И самого Степанова. Они не достойны жизни. — Он взял рюмку и посмотрел сквозь неё на свет лампы. — Интересно, сколько сейчас может стоить оружие?

Тамара, неподвижно глядевшая до этого в чёрное зеркало окна, встрепенулась и в ужасе закрестилась. Она была верующая.

— Что ты, Лапа! Господь с тобой. Ты что, нехристь какой?! Всё лето под храмом просидел и вон чего удумал. Ты убьёшь, — совсем отрезвела Тамара. — Тебя посадят, а я тут совсем умру. Да и можно ли о грехе таком думать? — жарко высказалась она и заплакала.

Борис поднялся, прижал Тамару к себе, погладил по волосам.

— Ладно, воробей. Ладно, — утешал он. — Это я так... От горя нашего. Ты же знаешь, я червяка не обижу. А эти сволочи... Посмотри, что они с нами сделали! Куда мы катимся? Мы же, Тома, летим с тобой в пропасть. И столкнули нас туда они, Степанов со своей мысрой. Вот я и подумал: им не место на земле.

— Ах, Боря, Боря, — всхлипывала Тамара. — Разве не понимаешь, ты не судья. В этом мире один Блосгитель. Он их и накажет. Никуда не денутся. А мы... Что мы?... Господь и нам подаст руку. Вот увидишь. Всё будет справедливо. Каждый получит по делам своим. Конечно, я тоже была виновата. Людей подзуживала, злословила. Гордыня меня душила. А ведь это грех, Боря. Большой грех. Может, я иногда думаю, за то мы и наказаны с тобой, Лапа.

Нынче отставные музыканты перестали замечать время, дни и месяцы. Часы в их доме в недоумении застыли и больше не заводились. Борис с Тамарой с некоторых пор забыли даже, кем доводились друг другу, забыли, что в былые времена их связывали и нежность, и любовь, и общие устремления. Да и вино прежде служило лишь радостным дополнением к основной, постоянно обновляющейся, феерической жизни. Сейчас она обрела вид тусклого однообразия, медленно перетекающего из одного утра в другое. Из одного вечера в следующий. Трезвые минуты вопили им в уши визгливыми голосами обрушившейся трагедии, и, имея тонкий музыкальный слух, и Борис, и Тамара не в силах были совладать с этими звуками. Они, звуки, словно бы сливались в одну долгую какофонию из визга трамваев, надсадных криков электропоездов, топота людской массы в метрополитене, сочных ударов топора мясника, грохота разбитых стекол... Сверкающие, колючие звуки.

По утрам, пока Борис неспешно одевался, справлял туалет, брился, Тамара хлопотала на кухне, пекла замешанные на воде блины, которые при остывании нужно бить молотком. Готовить она не умела. Они с Борисом привыкли к ресторанам, кафе, быстро и по поводу приготовления еды не знали прежде никаких забот. Но Борис на Тамару как на хозяйку не обижался, жалел её и считал, что Тамара пострадала из-за него.

Так прошлестела метелями одна зима, другая. Жизнь листала их, как серебряные страницы заиндеветшей книги. Из искрящихся ночей пробивались порою волшебные звуки цыганских скрипок и гитар, повенчанные

хрустальным звоном разыгравшихся бубенцов. Нежным комом бешено уносились прочь недели и месяцы, унося на своих крыльях пепел былой славы и мастерства.

Однажды по весне, когда по всей округе зашумела сирень, и от Крылатских холмов потянуло обворожительной прохладной свежестью, Тамара вышла на залитый солнцем балкон и молвила в восторге:

— Как хорошо!

— Всё! — твёрдо сказал Борис. — Больше ни капли. Начнём сначала. Какие наши годы!

Отныне репрессированные музыканты, отбив в лесу золотых свечей заутреннюю в церкви Успения Богородицы, спускались, дыша густой зеленью, в низину холмов, к чистому целебному источнику, и Тамара успевала набрать букетик ландышей. Через неделю-другую она посвежела, разрумянчилась и вся засверкала былой радостью, негой и желанием. Борис в сладком защемлении сердца тут же отметил этот неоспоримый факт. Он и сам окреп, поправился, мешки под глазами исчезли, а зрачки налились солнечным весенним светом. Их ночи с Тамарой наполнились прежней любовью. Мир снова стал чудесным. Тикали заведённые часы. Одурающе пахла сквозь открытые окна свежая зелень.

К лету Тамару осенило.

— Собирайся, Лапа, — наказала она Борису. — Поедем в деревню. Чего тут московскую пыль глотать?

В глухой деревушке под Тулой у Тамары жила родственница, всемирная старушка о восьмидесяти годах. Она сама себя называла всемирной, из соображений, очевидно, общей схожести всех старушек планеты, и жила в счёт будущей жизни.

— Я, оказывается, уже была прежде. В ранние века, — сообщала она односельчанам после прослушанной однажды передачи по радио. — И потом рожусь опять. А вы как думали? Рожусь. Рожусь. Молодой. Красивой. Хтой-то сызнова в меня зерно вбросить. Так оно и будет без конца-края, — пророчествовала старушка, баба Наташа.

Вот к этой просвещённой родственнице и надумала ехать Тамара, раз уж коньяку, слава богу, дали отбой. Борис, узнав, что деревню огибают тихая рыбная речушка, да лежат посреди леса два серебряных озера с карасями, тут же помчался покупать удочки. Тамара вдруг обнаружила в себе практическую жилку. Она позвонила в агентство, и уже через час на пороге её квартиры стояли муж и жена, молодые учёные, готовые за приличную сумму снять хоромы Тамары Петровны на всё оставшееся лето.

— А что, Лапа, — объяснялась Тамара. — Тебе к зиме верхнее пальто надо? Надо. И мне шубку. Мы-то с тобой, как птички, всё больше по тёплым странам порхали. Нам зимняя одежда не нужна была. Теперь приходится заботиться.

— Верно, воробей, — соглашался Борис. — Ты у меня умница, Лапуля. Мне бы и в голову не пришло, что можно на нашем отъезде ещё и денег заработать.

— Я уж давно сообразила, — радовалась Тамара. — Только боялась, ты рассердишься.

— С чего бы это, Лапуля? — удивлялся Борис. — Всё ты исключительно верно придумала. Бочка-то у нас не бездонная. Поступлений никаких. Благо, в последние годы славно платили. А так бы нам с тобой одно оставалось — в метро с протянутой рукой. Или верёвочку куда приладить. Кому мы нужны, народники, в век шоу-бизнеса?

— Господь с тобой! — испуганно крестилась Тамара. — Выбрось из мыслей верёвочки. И не вспоминай вовек. Вот что я тебе скажу: вернёмся из деревни — будем искать работу. Хватит лодырничать. Подумаешь, трагедия. Да что, на Степанове свет клином сошёлся? Всё будет хорошо. Ну, что ты сидишь?

— А что?

— Поцеловал хотя бы.

Всемирная старушка баба Наташа встретила гостей радостно. Все её застывшие от старости чувства вдруг воспламенились, запылали в душе ярким огнём счастья.

— Ай, молодцы, что приехали! — всплёскивала она руками. — Уважили. Вспомнили старую. Живите на доброе здоровье. Места усем хватить. Какое сердечно! А мужик у тебя справный, — без лишнего стеснения разглядывала баба Наташа Бориса. — Гладкий мужик. Только тонкий маленько. Ну, это не беда. Мы его тута поправим. Огурчики, помидорчики пойдуть. Вот он у нас и взопреить.

Они расположились на втором этаже, в ладной, уютной мансарде, под окнами которой уже пылал белым цветом вишнёвый сад. Вдали видны были бархатно-зелёные поля, окружённые со всех сторон таинственной, тёмной стеною дрожащего в солнечном мареве леса.

Борис открыл окно, и сердце его прямо-таки забилося, зашлось, защемило счастливой тоской детства, когда хочется всего сразу... Словно тебя накрыли лёгкой золотой парчой. А в руках живёт и толкается горячей кровью трепетно-нежное тело мира.

— Знаешь, Лапуля, — признался Борис. — Я сейчас смотрю на всё это юное, какое-то торжественное рождение земли, смотрю и слышу музыку.

— Тут везде музыка, — согласилась Тамара. — И в саду, и в лесу, и в поле, и на озере. Мне кажется, — добавила она, — ты ещё не всё слышал, мы ещё не безнадёжны.

— Надо же, проехали полмира, — сказал Борис, не в силах оторваться от вида за окном, — но мне вдруг подумалось: все прошлые впечатления не стоят и одного здешнего дня, одного взгляда на такую вот затерянную русскую деревню. Весна, деревня, цветущий сад. Какая-то тёплая мелодия юности.

— Да, милый, — сказала Тамара и вздохнула, словно сожалела о потерянном в тех заморских поездках времени.

— Тула, Калуга, Ярославль, Новгород — всё русская земля, — пространно сказал Борис. — Здесь, а не где-нибудь, душа Петра Ильича Чайковского наливалась восторгом и печалью, тоской и счастьем. Всё это переплелось под его пером и стало бессмертным.

— Да, Лапа, — тихо сказала Тамара. И, помолчав, добавила: — Кстати, нотная тетрадь, даже три, лежат на дне клетчатого чемодана. Это к тому, что если тебе срочно понадо...

Борис быстро повернулся и благодарно поцеловал Тамару в губы, а затем жарко выдохнул:

— Любимая моя! Ты не знаешь, как я... Какие у меня внутри... Ты моя единственная. Милая моя. Хорошая.

Речка протекала недалеко. Борис на потеху местным жителям начал бегать по утрам в одних шортах на берег, где уже сидели с самодельными, выструганными до костяной белизны удочками деревенские мальчишки. Он бросался в прохладную, плавную воду, плыл и возвращал себе былую, юную силу. Удил рыбу и частенько возвращался с вязанкой крупной серебристой плотвы. Попадались и полосатый окунь, и лещ, и щука. Дни казались одним светлым праздником.

Баба Наташа и Тамарой встречали солнце, копаясь в огороде. Две согбенные фигуры, два повёрнутых на запад, оттопыренных зада среди сверкавшей от росы зелени напоминали о старине и вечности.

Дом всемирной старушки был старше хозяйки, но держался ещё ровно, молодцевато и даже как-то хвастливо, возвышаясь над соседскими избами. Нижний этаж его состоял из просторной зимней комнаты с широкой, топившейся дровами русской печью и двух летних террас. Второй, подкрышный, где обосновались Тамара с Борисом, представлял собою обширную, пахнущую деревом и старыми тряпками мансарду. Тут баба Наташа имела склад из двух доисторических сундуков, берёзовых веретён, прылок, кос, икон и древних книг с маслянисто-жёлтыми, как осетрина, страницами. По углам, молчаливо насупившись, сидели в полумраке четыре почтенных, пожилых дивана. На одном из них и ночевали теперь опальные музыканты.

Днем в мансарде душно и неуютно. Монотонно зудели мухи, и от жары трудно было дышать. Зато ночью дневное тепло выветривалось до самого утра, а в окне, как в стоячей чёрной воде, покоились, что хрустальные яблоки, совсем близкие звёзды, с которых на Бориса постоянно слетали нежные, запредельные мелодии, плывущие от неведомых, искрящихся созвездий. Хаос, вражду, ложь, убийства, жажду власти, тлен и гниль настоящего — всё смывали они, поселяя в душе завещанные Богом любовь к миру и вселенский покой.

Летнее помещение вечной бабы Наташи имело ту же антикварную мебель, доковылявшую до насущных дней из глубин истории: две кровати-лежанки, да шкаф, да стол, да сундук с приданым для малой внучки, да ещё один стол с тарелками-кастрюлями и, конечно, предмет современности — огромный, как собачья конура, ламповый телевизор. Стены украшались коврами над каждой кроватью. Один являл собой традиционный восточный орнамент на красном фоне. Другой изображал забаву праздных дворян — княжескую охоту на оленя. Борис смотрел на эту животрепещущую картину, где рогатую жертву настигала стая гончих псов, и слышал лай собак, топот копыт да козий голос близкого рожка. Так ясно ощутил был далёкий приют одинокой избы на краю бездны.

По ночам дом просыпался. Он вздыхал, кряхтел и шуршал чем-то в подкрышных углах.

— Домовой, — в сладком ужасе шептала Тамара и, тихонько смеясь, теснее прижималась к Борису. Однако все шорохи и скрипы вскоре перебивались оглушительным волшебным боем соловьёв. Ночные птицы радостно захлёбывались в тягучих признаниях своим возлюбленным, таившимся в фосфорической, цветущей мгле.

Эти звонкие яркие, как одуванчики, голоса, чердачные скрипы, ровное дыхание сосен, свежий аромат полей, плеск воды и щебет ранней птицы — всё это были трепетные голоса родины, которые Борис бережно помещал в сердце для ощущения будущих мелодий, точно зная, что ни в каких Бразилиях и Америках ничего подобного не сыщешь. “Вот уж верно говорят: что Бог ни делает — всё к лучшему”, — думалось Борису.

Не уволь их Степанов из оркестра, бегали бы они сейчас, обливаясь потом, по чуждой территории с пудовыми чемоданами, так, может быть, и не узнав ни запахов, ни красок, ни звуков родной земли.

В начале лета, после весело прокатившихся гроз, дуга и лесные поляны взошли густым разнотравьем. Тамара неожиданно открыла Борису свои знания растений.

— Вот эти белые блюдечки на крепких высоких стеблях — тысячелистник. Запаха в нём нет, но трава очень полезная. Вот, смотри, жёлтые свечки — зверобой. Травка замечательная. От всех болезней. Можно заваривать, как чай. Синие свечки — шпорник. Эти розовые — дикая мальва. Вот подмаренник. А вот, гляди, Лапа, белые, как снежок, — поповник. Сколько их тут! Mamочка родная! — вскрикивала Тамара, как девочка, ощущая приплывшее из далёкого детства счастье и забывая обо всём на свете.

Борису становилось стыдно, что он не знает названий диких трав и цветов своей родины, но он светлел душою за Тамару, которая порхала в пёстром разноцветье, как вольная бабочка. В каждом походе она набирала огромные букеты, и дом всемирной старушки теперь ходил на какой-нибудь цветочный павильон, купавшийся в густом запахе лугов и лесных уголков.

В это время Борис с Тамарой любили друг друга, как никогда прежде: такими насыщенными и сверкающими были их дни и ночи. Все звуки, запахи, краски, невольно собранные с раздольного поля, таинственного озера, задумчивого леса, сливались в единую, нежную мелодию, которой оба — и Борис, и Тамара — беззвучно пользовались как инструментом любви и страсти. В ласках своих они словно пели друг другу сокровенную песню сердца. Время отмерялось жарким боем в висках и петушиными криками звонких кочетов, мирно дремавших до поры в синих сумерках деревенских подворий.

Борис тайком-таки добрался до нотной бумаги. Как-то поутру он проснулся в радостном, счастливом настроении. Тамара уже полола огород вместе

с бабой Наташей. Толстое, румяное солнце сидело, как рыжая кошка, на заборе дальней рощи.

Борис достал клетчатый, похожий на шахматную доску, чемодан и извлёк из него нотную тетрадь, перевернул обложку и посмотрел на чистую разлинованную страницу. Сильная, как упругий ветер, мелодия шумела в его голове ещё с ночи. Но она летела не от леса и поля, не от цветочного луга и реки; она спускалась откуда-то сверху, с горних высот, от той ясной звезды, что ещё бледнела в глубоком небе поодаль от проснувшегося, умытого солнца. Она несла в каждой ноте и запах тёплой хвои, и лёгкий шёпот берёз, и травяной шорох дождя, и закатный свет пурпурных облаков. Слетевшая музыка содержала в себе всё пережитое: счастье побед, горечь изгнания, боль, опустошение, одиночество, жажду любви и смерти.

Борис ощутил всё это сразу, содрогнулся, как от озноба, ибо то, что он почувствовал и услышал сейчас, необходимо было вынести на чистый лист бумаги. Он же, этот лист, сияя дразнящей белизной, был заведомо гениален. И Борис испугался. Испугался собственной растерянности. С ним никогда такого не случалось. Конечно, он сочинял прежде и пьесы, и песни, и композиции, но то, что слышалось нынче, казалось объёмнее, значительнее, строже и веселее.

Борис взял карандаш, но коснуться бумаги всё не решался. Он откинулся на стуле и замер. Музыка невидимой бархатной птицей летала под самой крышей. Он, как чуткий охотник, притаившийся за кустом, напряжённо слушал мелодию, боясь спугнуть хоть одну ноту. Наконец сверкающая серебристым огнём птица уселась на отбелённую деревянную прялку и требовательно взглянула на музыканта опаловым глазом. Борис очнулся. Он коснулся бумаги и начал жадно записывать, выносить на тонкие нотные строчки всё услышанное. Сладкое упоение охватило его. Чёрные точки нот, перехваченные стремительными штрихами, то резко взлетали вверх, то падали вниз, утверждая ниспосланную кем-то музыкальную тему. Кто посылал её, кто одаривал, было понятно, и это понимание окрыляло, оно-то и давало ощущение высшего блаженства. Нездешнее единение с тем щедрым Дарителем, имя которому — Бог. Впервые Борис так жарко и так явно ощутил близость мирового пространства, сплетённого с цветистыми красками родной земли. Фосфорический сонм роящейся звёздной мглы вбирал в себя нечто загадочное, праздничное и в то же время туманное, непостижимое и потому печальное. Всё это клубилось и пылало огненными соцветиями в распахнувшихся настежь окнах слуха. Бориса ударила, обожгла чья-то мощная, как молния, сияющая энергия, и он, не выдержав крика сердца, уронил на страницы нечаянные слёзы счастья. Это была гроза, гром, ужас бешеного бега под чугунными тучами вместе с радостью ощущать на себе первые капли дождя.

До этого момента музыкант-Борис, исполняя чужие произведения, конечно, испытывал светлые, яркие минуты восхищения тем или иным композитором. Однако постичь во всей глубине, что значит создать самому, услышать всем существом, ощутить в себе горячую кровь Бога и в счастливом страхе понять: именно эта кровь проливается на страницы, Его страницы, вот этого всего Борис, конечно, прежде не испытывал. Теперь он это знал. Теперь он знал, что есть высший труд, рождённый вдохновением, той властной силой, которая именовалась творчеством. Она, как гружёный товарняк, проносилась мимо, грохоча и железно вздрагивая на стыках новых озарений, обдавая раскалённым дыханием огненной лавы, чтобы, пролетев, будто ураган, оставить слуху тишину, шёпот травы и щебет высокой птицы. Все сие и был Бог. И данное Им. И Жизнь. И счастье. И слава. Падение. Любовь.

Борис оторвался от исписанных страниц в счастливой усталости. Откинулся на спинку скрипучего стула, осознав вдруг, что работа только начинается, а всё происшедшее — космический зов, протянутая сверху, бесплотная рука, перламутровый остров в синем океане, серебряный крест, провисший в небесах.

Солнце стояло уже высоко. Пуховые облака лёгкой чередой вселенских невест тихо плыли мимо распахнутого окна. По извилистым морщинам старого

подоконника задумчиво двигалась божья коровка. Красное платьице в чёрную крапинку. О чём она думала? Какую слышала музыку?

Внизу напевно заскрипела половица. Борис вдруг заметил, что стал всему придавать особое значение. Раньше просто осязал, чувствовал, слышал. Теперь же окружающее наполнилось особым, светящимся смыслом. И восторженный вскрик половицы, и нарядная божья коровка, и трещины на старом подоконнике говорили другими, новыми голосами, в которых слышался музыканту неведомый ранее, глубинный хор жизни.

Борис поднялся, подошёл к окну и, сплетя руки за головой, вдохнул свежий, юный запах утра.

— Как хорошо! — очарованно произнёс он и вдруг снова услышал звуки мелодии, продолжение того, что записывал. Точно ужаленный, уже не раздумывая ни о чём, Борис бросился к столу, ибо с тревогой и страхом понял: дарованное свыше так же текуче, как далёкие облака в голубых небесах.

Тамара застала мужа сидящим за столом, с упавшей на руки головой. Он рыдал. Плечи вздрагивали. От этого вздрагивала старинная китайская статуэтка. И качала головой. И вздрагивала авторучка на очередной испи-санной странице. Повсюду: на столе, на полу и на подоконнике были разбросаны засыпанные мелкими нотными знаками свежие листы.

Тамара бросила на диван принесённый с поля пышный букет и подошла к мужу. Она, конечно, поняла: он начал работать, но что вызвало трагические слёзы, ей понять было трудно. А точнее сказать, невозможно.

— Ну, что ты, Лапа? Что ты? — нежно теребила она волосы Бориса, испытывая щемящую боль. — Перестань, а то я сама заплачу.

Борис повернул к ней мокрое лицо и, не стесняясь влаги на щеках, жарко заговорил:

— Представь, Лапуля, я никогда не знал, что такое настоящее счастье. Ты — это другое. Земное, осязаемое, реальное, близкое. Ты — это прекрасно! Это любовь. Радость встреч. Тоска расставаний. Огонь и прохлада. Цветы, ветер. Страсть, нежность, ласка — всё это ты. Единственная, очаровательная, волшебная, неповторимая. Но счастье!.. Даже там, в Нью-Йорке, помнишь? Когда у нас был потрясающий успех. А потом в Париже, Риме, Токио. Нам казалось, мы счастливы. Обожание, деньги, шикарная жизнь. Весь мир под ногами. И всё же то не было счастьем. Я это понял вот здесь, за этим дубовым, допотопным столом. То была слава. Её сладкий яд. Шипенье шампанского и парчовая змеиная кожа на плечах полуобнажённых женщин. А слава, как сказал поэт, — “лишь яркая заплата на ветхом рубище певца”. Нет! Счастье здесь. За этим шатким столом. В тиши затерянной, убогой деревни. Убогой, но чистой и святой. Все почему-то понимают Достоевского буквально. Да, красота спасёт мир. Она критерий и мерило. Но что за этим стоит, мало кому приходит в голову. Когда-то давно, ещё на первом курсе консерватории, я натолкнулся в “Фаусте” на одну фразу. Там, у Гёте, есть персонаж — ведьма Фаркиада. И вот она говорит: “Стара и всё же не стареет истина, что красота не совместима с совестью”.

Тамара улыбнулась, видя творческий запал во всём состоянии мужа, и, ласково погладив его по щеке, отошла к цветам. Их нужно было подрезать и поставить в вазу.

— Так вот, представляешь, Лапуля, — всё больше распалялся Борис. — “Красота не совместима с совестью”. Можешь ты расшифровать сию мудрость?

Тамара прервалась, перестала орудовать ножницами, немного подумала и, наконец, сказала:

— Не знаю, Лапа. Честно сказать, не знаю. Так, сразу, не донырнуть. Это какая-то глубинная мысль.

— Вот! — обрадовано воскликнул Борис. — Я носился с этой фразой, как дурень со ступой. К кому только ни приставал. И к друзьям, и к преподавателям, и к профессорам. И все либо витали в облаках, упражняясь в софистике, либо так же пожимали плечами. Прошло несколько лет. И вот однажды, гостя у школьного друга в деревне в Тверской губернии, — там

у него жили родственники, — я сидел под вечер на опушке леса вместе с другом, Олегом, и местным пастухом, таким, знаешь, неказистым с виду мужичком, всю жизнь прожившим возле скотины среди поля и леса. Помню, очень живописно заходило солнце и густо, ароматно пахло клевером. Золотое поле, золочёные верхушки сосен и налитое горячей медью озеро. Сидим, закусываем. Грибы, сало, мокрый лук. Бутылочка, как водится, при нас. Болтаем о том, о сём. И вдруг мне показалось, как-то мудро разговаривает этот пастух. Я возьми и спроси у него, мол, как ты, Егорыч, расшифруешь такое философское слово, что “красота несовместима с совестью”? И вот этот самый Егорыч, ни минуты не размышляя, отвечает: “Чего ж тут расшифровывать? Вон, гляди, красно солнышко, лес синий, озеро с карасями. Красота всё это. Красота от Бога. Святая. Безгрешная. А совесть всю жизнь бьётся в искуплении. Ибо там не то сделал, тут не так ступил. Опять чего-нибудь нарушил. И выходит тебе, что красота беспорочная несовместима с совестью”. Вот такое, мол, получается расшифрование. Словом, Лапуля, одним росчерком народный мудрец Егорыч всё поставил на свои места. Открыл то, что не могли открыть профессора. Поэтому, я думаю, Фёдор Михайлович под красотой, конечно, имел в виду, в первую очередь, святость, чистоту и безгрешие, присущие истинной красоте. А понял я это здесь, в этой комнате, когда записывал то, что скатилось на меня с небес. Видишь, какой тут божественный кавардак, — указал Борис на разбросанные страницы. — Всё это счастье. Это работа. И я доведу её к осени до конца. Для меня это очень важно, Лапуля. И серьёзно. Ответственно. В этом, может быть, смысл жизни. Понимаешь? Может, и лучше, что Степанов репрессировал нас.

— Может быть, — туманно согласилась Тамара. Она принесла вазу, поставила в неё букет, расправила для большей прелести цветы и спросила в никуда:

— Почему нам Господь не даёт детей?

— Что? — спросил Борис, разглядывая последнюю страницу.

С этих пор всё в доме переменилось. Внешне перемена казалась вроде бы незаметной. Всё шло своим чередом. Женщины, встречая солнце, копались в огороде. Неспешно бродили по двору, поклёвывая почву, куры. Гремела цепь колодца. Лаял на кого-то дурковатый пёс Жора, прозванный так из-за своего хронического крокодильего аппетита. Но всё стало приглушённое, тише, осторожнее потому лишь, что теперь с раннего утра и до позднего вечера в скрипучей комнате второго этажа сидел Борис и, ловя из воздуха музыку, помещал её на нотную бумагу.

Работать композитору без инструмента весьма непросто, а порой и вовсе невозможно. Однако у Бориса был, что называется, абсолютный слух. Но при этом ему нужна была хотя бы относительная тишина. Тамара, разумеется, это понимала, и своё понимание сообщила всемирной старушке, бабе Наташе. Старушка трудно представляла себе, что можно выловить из атмосферы. И всё-таки, уважая тайные процессы от Бога, прониклась к Борису глубоким почтением за его немислимую деятельность, стала ходить, говорить и ворочаться тише, даже прекратила храпеть по ночам.

Борис, несмотря на отсутствие инструмента, работал пылко, с упоением и восторгом оттого, что в мире существует некий, никому не видимый кокон, из которого рождается чудесная бабочка — музыка, и ему, Борису, дозволено эти священные роды принимать.

Отныне он бегал по утрам не для праздного удовольствия с рыбалкой и пространным наблюдением за деревенскими мальчишками. Но вдали всё же виделись травянистые призраки Мусатовских нимф, а где-то время от времени всыхивал кнут погонщика-пастуха. Теперь Борис, наскоро омывшись в озере после галопы по бархатно-пыльной дороге, торопился, как воробей, под крышу, к заветному столу, где в одно мгновение всё сущее отлетало прочь, а мир превращался в гармонично звучащее пространство, которое следовало лишь аккуратно переносить на бумагу.

Всемирная старушка строго наказала бестолковому Жоре: “Ты, Антихрист, изыдь в будку и сиди в безмолвии. Не то я тебя, дурака, доской

заколочу навечно. Тявкаешь на каждого жука без всякой мысли. А тут люди музыку делают”.

Иной раз, правда, главная мелодия давала работе перерыв. Что-то у них там случилось наверху. Какая-то большая перемена. Звуки вымирали, и как Борис ни старался, ни одной ноты достать из небесного омота не мог. Тогда, разумно понимая такое положение, он собирал написанное, благоговейно складывал листы в пухлую стопку и шёл в поле или в лес, где сердце его наливалось дополнительным восторгом от вида живых, тепло дышащих цветов, ветреного шума листвы и озабоченных голосов птиц, уже кормивших потомство.

Борис садился на пенёк и рассматривал траву, пытаясь услышать и её звучание, наблюдал шевеление муравейника, который тоже пел свою трудовую песню. Неожиданно в этот разноголосый хор вклинивался скрип берёзового ствола, начинал выстукивать однообразно музыкальное соло дятел, и пела в чаще свою милую арию кукушка.

Вечерами, тёплыми, прекрасными вечерами, когда после захода солнца стихали птицы и начинали, может быть, от скорби по Светилу нежно и печально пахнуть цветы, щедро рассаженные повсюду всемирной старушкой, Борис в счастливой усталости спускался в сад. На столе, покрытом белой, вышитой по краям скатертью, уже стоял зеленовато-медный самовар со слабыми отблесками на боках последней алой зари. Под голубыми звёздами они усаживались за нарядный стол, и Борис, встретившись нечаянно со взглядом Тамары, с её лёгкой, обещающей полуулыбкой, испытывал новые токи, движение иной энергии, которая горячила кровь радостным предчувствием пылкой чудесной ночи.

Незаметно подкралась осень. Пожилая листва стала опадать под лучами усталого, безразличного солнца. Она тут же высыхала и хрустела под ногами. Пошли сначала лёгкие, потом затяжные дожди. Сад опустел, но провис яркими тяжёлыми плодами. Баба Наташа каждый день приносила по корзине влажных от росы, крепких грибов. Она их солила, мариновала, жарила и тушила. Весь дом пропах лесом.

Борис, наконец, поставил точку. Вывел на обложке первой тетради название своего сочинения — “Сад” — и откинулся со вздохом облегчения на скрипучем кресле. Разумеется, работа была ещё далека от завершения. Но основное казалось сделанным. Две части симфонии лежали на столе. Ещё можно было что-то добавить, поправить в закрывшихся тетрадах, но пришло опустошение. Счастливая усталость, какая, видимо, бывает у женщин после родов. Впервые за все время Борису захотелось выпить. Но он отогнал и мысль об этом, и желание прочь. Нужно было собираться в дорогу. В Москве же предстояли встречи с издателями, музыкантами, руководителями оркестров. Требовалось выглядеть так, как выглядел Борис к исходу лета: гладким, посвежевшим, с атласной кожей лица и светлым, спокойным блеском глаз.

Уже хотелось новизны. Музыкальных новостей, столичного шума, толкотни в кулуарах, концертов, грохота аплодисментов и даже сплетен. К тому же Борис с Тamarой привыкли к перелётам, переездам, смене мест и обстановок. Но в то же время до боли жалко было покидать места, так ярко одарившие их счастьем, вдохновением и любовью.

Баба Наташа тяжело загрустила. Она подходила к окну, упиралась локтями в подоконник и подолгу наблюдала, как гоняет ветер по дороге сухие, дурашливые листья или уходят в пелену мутного дождя землистые деревенские избы. Говорила она теперь совсем мало. Даже весёлую новость о том, что соседский козёл покрыл овечку, а та, как ни в чем не бывало, принесла двух ягнят, поведала она, не улыбувшись, так, словно это было вполне рядовое событие.

Вечерами она, помельчавшая в последние дни телом, усаживалась с вязанием к столу. На ней постоянно был чёрный, в красных цветах, тоже, видимо, всемирный платок. Как-то, не глядя ни на кого, баба Наташа грустно спросила:

— Адрес-то хоть оставите?

Тамара поспешила успокоить её.

— Не то помру, — объяснила всемирная старушка. — Чтоб соседи знали, куда телеграмму отбить. Они-то похоронют, но вдруг и вы захотите поцеловаться на прощание.

Смотреть на бабу Наташу, конечно, было больно. С отъездом Тамары и Бориса она оставалась совсем одна. Муж умер давно. Два сына погибли на восточной границе. Дочь осела где-то в Штатах, даже не сообщив координат. Тамара с Борисом, как могли, утешали беспокойную старушку, которой о ту пору стукнуло, слава богу, восемьдесят семь годков. Но утешения утешениями, а час разлуки наступил. Баба Наташа выволокла из-под подпольного погребца, ударившего всех могильной сыростью, кучу банок с соленьями, вареньями, приправами и, несмотря на яростное сопротивление Тамары, затолкала банки в сумку, которая тяжёлой ношей легла на плечи Бориса.

Выйдя заранее, они долго ожидали маленького деревенского автобуса. Прохладное солнце серебрило волосы всемирной старушки. Борис подумал, что в его “Саду” наверняка есть и её голос. Радостным, жизнеутверждающим лучом блуждает он где-то среди прочих звуков. Старушка была задумчива, но светла и беспечальна.

— Что тама, интересно, за тем окоёмом? — спросила она.

— За горизонтом есть другой, — туманно ответила Тамара.

— Другого нет, — убеждённо ответила баба Наташа. — Это кажется, что он есть. На самом деле — черта только одна. Понимаешь такую глупость?

— Смотрите, — сказал Борис. — Вон тот жучок на дальней дороге — наш автобус.

— Ну, — весело сказала баба Наташа. — Храни вас Господь!

Она поцеловала Тамару с Борисом сухонькими губами и обратила прищуренные в сетке морщин глаза к неяркому, усталому солнцу.

Московская квартира встретила хозяев застоявшимся запахом пыли, обойной бумаги и линолеума. За окном моросил мелкий, сонный дождь, словно шептавший: “Всё, ребята. Счастье кончилось”. И сразу явилось печальное ощущение, будто никуда не уезжали, и никакого чудесного лета не было вовсе. Однако властная энергия деревенской жизни ещё жарко питала каждого, а потому, коротко взгрустнув, стали разбирать вещи.

Вечером, когда Тамара белым привидением удалась в ванную, Борис выключил все электроприборы, источавшие звук, решив выявить, чем отличаются московские каналы связи с Дарителем от деревенских. Он долго настаивался на волну, прислушивался, но, кроме какофонии, визга, рычания и железного стука за стеной, ничего выявить не смог. Каналы столицы сплошь были забиты звуковым хламом и мусором.

Борис с нежностью провёл рукой по своим тетрадам, храня в душе ласку воспоминаний о травах, птицах и цветах глубинной родины. Сейчас ничего не было дороже этих воспоминаний. Даже экзотика дальних странствий казалась в сравнении с этим мелкой и пустой, так... Сувенирные погремушки. Чего-то дорогого сердцу в них не ощущалось. Борис пожалел всех городских композиторов и поразился мужеству и стойкости этих людей.

Следующий день он посвятил тому, что ещё раз, теперь уже с баяном, прокатился по своим записям и, не найдя в них ничего, кроме радости былого контакта с Создателем, подарившего ему столько звуковых соцветий, к вечеру осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, закрыл последний нотный альбом. У него было ощущение, словно он только что видел радугу над парным озером возле дома всемирной старушки, и она, эта радуга, всё ещё сияла в воображении всеми цветами спектра.

Борис снова услышал вкрадчивый шум листьев, бархатный шёпот трав, безудержный грохот ливня и оглушительный, рвущий небо на части треск молнии, а затем властно строгий рокот грома, услышал серебряно-тонкий перезвон крупных, как яблоки, звёзд, которых никогда не было, да и не могло быть в городе. Услышал те близкие сердцу звуки, какими наполнились его душа и нотные тетради.

Поутру Тамара достала дорогой, купленный в Париже, костюм супруга, выгладила рубашку и галстук. Борис преобразился. В деревне он ходил в старых спортивных штанах, при надобности — в фуфайке и сапогах. Да что говорить — ходил часто голым до пояса и босиком.

Он ехал в метро с лёгким ощущением того, что создал хорошую вещь, что в его кейсе помещается талантливое произведение, и ему везде должны быть рады. Правда, число мест, где должны быть рады произведению для народных инструментов, в последнее время резко сократилось, но всё же Борис надежды и оптимизма не терял. Он заехал в канцелярскую контору, сделал несколько копий своего создания и развёз нотные папки по известным по прежней памяти адресам. Были встречи со старыми друзьями, воспоминания студенческих лет, сожаления о том, что так нелепо закатилась его звезда. Отгремел краткий, ничего не означавший праздник в кафе и обещания как-нибудь помочь. Но говорившие сетовали на то, что сместились музыкальные ориентации, родились иные акценты, и вообще музыка стала другой, повесив на себя цветистую табличку: “Шоу”. Однако друзья призывали не вешать нос, что написал, то написал, и обещали что-нибудь сделать. Однако, возвращаясь домой, Борис вёз в себе тупую, ноющую тревогу. Почти все приятели имели вальяжный, респектабельный вид приспособленных конъюнктурщиков. Их слова звучали уважительно, но лживо. В речах товарищей, к неожиданному удивлению своему, Борис улавливал даже некое скрытое злорадство: вот, мол, слетел по собственной глупости на полном скаку с белого коня — теперь ковьялай позади всех на старой кляче до конца дней своих.

Борис знал, никуда не денешься, таковы волчьи законы больших городов: Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы, но всё же верил, что палитра, которой одарил его Господь в глубине родины, сделает своё дело. Клавиры он разослал. Оставалось ждать.

Остаток осени Борис с Тамарой проводили на Крылатских холмах. В погожие дни спускались к гребному каналу, наблюдали чёрную, холодную воду осенней реки да рваные пепельно-синие облака, постоянно грозившие близким дождём. Когда дни заволакивало долгой, туманной моросью, Тамара садилась за фортепиано и снова, в который раз проигрывала отдельные части из сочинения Бориса.

— Ах, Лапа, — восторженно вскрикивала она иногда. — Какой тут у тебя получился изумительный переход. По стилистике, по мысли, по работе на основную тему. Так вкусно. Пальчики оближешь.

Борис не мог не признаться себе, что тает от этих слов. За ними виделся восторженный зал, свет рампы. Аплодисменты. Цветы. Но иногда Тамара останавливалась, некоторое время сидела в раздумье и вдруг говорила:

— А вот здесь я бы сыграла иначе, Лапа.

Тогда Борис стремительно вскакивал, подлетал к пиюитру и горячей, нервной скороговоркой произносил:

— Нет, Лапуля. Ты ничего не понимаешь. Здесь должно звучать именно так, как написано.

— Ну, хорошо, Лапа. Хорошо, — обиженно соглашалась Тамара. — Что ты так раздражаешься? Никто не собирается тебя перекраивать. В конце концов, это твоё дитя. Ты и мать, и отец. Просто я высказала своё мнение. Могу я иметь личное мнение? Я бы сыграла, например, вот так.

— Нет! Нет! И ещё раз нет! — упрямо сопротивлялся Борис. Однако ночью, когда Тамара уже спала, подкрадывался на цыпочках к нотной тетради и исправлял исписанные листы, как советовала жена. У Тамары был отменный музыкальный вкус.

Потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время и не увязнуть в тоске хмурых, как осенние тучи, предчувствий, ходили в Третьяковку и Пушкинский, ездили в Архангельское, Абрамцево, Воронцовский и Шереметьевский дворцы. Не говоря уж о храмах и монастырях. Вечерами Борис с Тамарой старались попасть на лучшие симфонические концерты, не обходя, впрочем, ни джазовых, ни эстрадных.

Попутно Борис закидывал сети насчёт работы, замечая, как стремительно тает золотая кубышка их накоплений. Но с работой было туго. Каждый

раз, когда об этом заходил разговор, Борис чувствовал себя человеком, попавшим в липкую паутину. Нет, она, конечно, была, работа. Можно пойти баянистом в Дом культуры или даже преподавать курс баяна в музыкальной школе. Но для Бориса после Степановского оркестра подобные работы были оскорбительно низкооплачиваемы.

Примерно через месяц Борис стал звонить. Смущались, хвалили, но кричали, что воплощение произведения в жизнь пока не представляется возможным, симфония несовременна, родилась в другой музыкальной плоскости. Эта ахинея не укладывалась в голове. Что значит, “несовременная симфония”? Разве шум дождя, рокот грома или шелест листьев может быть несовременным? А запах цветов, щебет птиц, таинственные голоса ночных бабочек относятся к какой-то иной музыкальной плоскости? Чуть! Борис, однако, решил не отчаиваться, поскольку то были первые, не самые важные отзывы. Остальные рецензенты просили ещё немного подождать.

Наконец, его пригласили на беседу в оркестр, на который он полагался больше всего. Дирижёр, подтянутый пожилой человек с седою, аккуратной бородой, очень подробно и профессионально разобрал произведение. В результате похлопал Бориса по плечу и сказал, протягивая тонкую, холёную руку с золотым перстнем:

— Вы, Борис Борисович, талантливый человек. Поздравляю. Вещь получилась замечательная. Всегда знал, что Россия никогда не оскудевала и не оскудеет истинными талантами. Но, к сожалению, сейчас я не могу включить ваше сочинение в свои планы. Над ним нужна ещё серьёзная работа, репетиции. А мы через неделю уезжаем на гастроли. Надолго. Так что... — Руководитель оркестра развёл руками, но при этом тепло улыбнулся. — Загляните через пару-тройку месяцев. Возможно, что-то прояснится. Кстати, мне звонил Григорьев Жёня, ваш сокурсник. Он в восторге от симфонии. У него есть какие-то конкретные предложения. Правда, он работает в эстраде. Но это, я думаю, ничего не меняет. Свяжитесь с ним. Может быть... Чем судьба не шутит?

— Спасибо, — сказал Борис. — Господь не зря придумал надежду. Она всегда греет. Впрочем, бывает, напрасно.

— Не отчаивайтесь, — улыбнулся дирижёр. — Ваша вещь не пропадёт.

Жёня Григорьев встретил Бориса у себя дома с распостёртыми объятиями:

— Ну, Боб, ты скотина. Где ты, подлец, пропадаешь? Мы тут, можно сказать, блины печём на воде, а он залез в какую-то деревню и творит. Творит! Нет, Боб, я не спорю. Ты гений. Гений! Не возражай. Особенно вторая часть у тебя, вот эта темка: ду-даб-даб-ду, бда-бда. Проходи. Садись. Коньяк, виски? Ты не представляешь, я зашиваюсь на пошлятине. Бездарности смердят вокруг, как трупы. А у тебя — родниковая вода. Девичьи какие-то напевы. Чистота, свежесть. Ей-богу, я плакал, когда играл. Ну, не сволочь ты, скажи? Публика задыхается от яда и копоты. Музыка пахнет Чернобылем, Чечней, а он сидит себе и чистит цветные перышки. Нет, таких, как ты, Боб, надо убивать и посыпать известью. — Жёня выхватил из пачки сигарету. — Писать гениальные вещи и скрываться! Ну, не гад? Гад самый натуральный. Дай я тебя поцелую.

Борис сидел в смутной тоске и меланхолически улыбался. Жёня Григорьев говорил, не умолкая. Впрочем, сколько его помнил Борис, он всегда говорил, не умолкая.

— Ты, Боб, себе не представляешь, как трудно сейчас с хорошими вещами, — продолжал Жёня, запахивая полы халата. — У тебя же этих хороших вещей — кладезь, сволочь ты такая. У меня всё есть: студия записи, исполнители, аранжировщики, текстовики. Нет только хороших вещей. Тебя, одним словом, нет. Между прочим, помнишь Дашеньку Медынскую, вокалистку? Она недавно приехала из Омска. Какая женщина стала, я тебе доложу! Неделю мы тут с ней радовались встрече. Да. Ну, в общем, у меня к тебе такое предложение. Даже не спорь. Разбиваем твоё сочинение на небольшие части. По темам. Я приглашаю текстовика. Есть у меня один

прыткий парнишка. Делаем целый концерт для любого исполнителя. Всем хорошо. Все в шоколаде.

— Не понял, — сказал Борис. — Что значит “разбиваем”? И кто такой текстовик? Это теперь так называется поэт?

— Ты знаешь, что, Борис, — поморщившись, сказал Женья. — Ты в своей деревне натурально оброс мхом. Тебе надо ходить с чёрным зонтиком и в калошах. Да, текстовик — это поэт, если хочешь. Разве принципиально? А разбиваем сочинение потому, что целиком, да ещё в народных инструментах, ты его нигде сегодня не реализуешь, дурак неизлечимый. Народные мотивы обязательно оставим. В них-то, как раз, изюминка. А всё остальное, Боб, послушай меня, нужно делать так, как я говорю. Я на этом уже, честное слово, трёх собак слопал. Давай, дружище, соглашайся. И начинаем работать. Хочешь, можем рок-оперу сварганить. Хоть это и сложнее.

Борис тяжело поднялся.

— Разбить, как ты говоришь, цельное сочинение, значит, обратить его в пепел. Расчлени ты на части “Утро стрелецкой казни”. Или “Явление Христа”... Разруби Бетховена, Баха, Чайковского... Что будет? Эскизы. Фрагменты. Но цельное, то, что остаётся в веках, исчезнет, Женья. Без цельного пропадает гармония. Отлетает душа. А без души и появляется то, что ты выпускаешь в своей студии грамзаписи вместе с прытким текстовиком. Дай мне мои тетради, и я пойду к чёртовой матери. Никогда, даже на краю могилы не соглашусь я разбить, как ты говоришь, на части то, что так бережно собирал воедино, что благословил Господь и что дорого сердцу, как ничто другое. Опять же — текстовик! От одного этого слова меня тошнит и выворачивает. Так, не ровен час, и Пушкина кто-то назовёт текстовиком. Почему бы нет? Поют же романсы на его стихи. В общем, неси тетради. Я пойду. Крайне приятно было познакомиться с новым Евгением Григорьевым, — съязвил Борис. — Я помнил тебя совсем другим.

Женья вздохнул:

— Я так и знал, Боб, что у нас ничего не выйдет. Ты всегда был идеалистом. Им и остался. Но сегодня романтики-идеалисты вымирают, как мамонты. Оглянись вокруг. Тут не деревня. Тут другая жизнь, Боб. Впрочем, я тебя не осуждаю. Даже завидую. Белой завистью. Ты сумел не замараться. Дай Бог удачи. Будь настойчив. Бейся во все двери. Разбей себе лоб, руки. Только так чего-нибудь добьёшься. Твоя вещь, конечно, должна звучать с большой сцены. Во всем объёме. Не думай, я всё понимаю. Не забудь пригласить на премьеру, — сказал Женья, вынося Борису его нотные тетради. — Прощай. Но если надумаешь... Или прижмёт...

В остальных местах Бориса так же хвалили, но для воплощения в жизнь его произведения называли громадные суммы, которые требовались на оплату музыкантов, оркестровку, аренду залов и прочее. У Бориса с Тамарой таких денег не было. Работу тоже никто предложить не мог. В любом оркестре был комплект.

Встреча и разочарование в последнем месте, на которое, правду сказать, уже мало надеялся Борис, поставили точку в его дальнейших походах. Он вдруг почувствовал, что никому со своей симфонией не нужен. Все тетради, полные солнца, тепла, шепота трав, цветов, грозы, любви и печали, могли лететь по ветру или набираться пыли на деревянных полках. Ворвалось время бездарных мелодий, мещанских соцветий и дешёвых, пустых текстов, то бишь стихов. Притом Борис не был ханжой. Он любил джаз, рок, достойную эстраду, но не безликие, водянистые суррогаты, подменявшие и то, и другое, и третье.

Борис вышел из здания, где состоялась его последняя встреча, где рухнули оставшиеся надежды, где его проводили тусклыми улыбками сожаления, как провожают клоуна, завершившего грустную репризу.

Стоял сухой солнечный день — предвестник близких холодов и окончания осени. Ночами уже подмораживало. Об этом говорили по утрам листья, впечатанные в стеклянные лужи.

Борис бесцельно шёл по Тверскому бульвару, не ведая, что теперь ему делать и как дальше жить. Люди теньями обтекали его, торопились по своим

делам, шуршали разбитым ледком машины, а Борис двигался в неизвестную даль. Что скажет он Тамаре? Как вынесет её взгляд, полный жалости и тоски? Ему вдруг остро захотелось в ту далёкую деревню. В обитель всемирной старушки, бабы Наташи, где был он так забываемо счастлив от своего слуха и творчества. Где любовь окутывала их с Тамарой, как запах цветов и шум дождя, где целая вселенная спускалась по его руке на нотные страницы, где сам Орфей по наущению Господа пел ему те мелодии, которые он нёс сейчас в бесполезном, никому не нужном портфеле.

Как сомнамбула, не замечая никого и ничего вокруг, Борис спустился в метро, доехал до Крылатского, терпя какой-то надсадный гул в голове и, выйдя наружу, остановился в раздумье возле “родного” магазина.

Ярко и радостно сияло солнце. Люди, озарённые прозрачным светом, казались весёлыми и беспечными. У палатки молодёжь шумно пила пиво, сверкая золотыми бликами на бутылках.

Борис почувствовал тупую боль в сердце. От лёгкой всеобщей радости ему вдруг стало до отвращения тошно, будто весь этот напичканный народ шёл в этот яркий день мимо его умершего ребёнка, не замечая и даже не желая замечать ни горя, ни скорби родителя. Люди, облаканные дневным теплом, шли по своим делам с покупками и без, застёгнутые и распахнутые, с обнажёнными по поводу солнца причёсками. Никому, конечно, и в голову не приходило, что в портфеле одиноко стоящего человека лежат обугленные нотные тетради, а сам он, этот человек, насмерть замерзает от нестерпимой тоски и обиды.

Ладно бы, сказали, что его произведение не удалось, что это плод досужего ума и слуха, что оно — просто пустая, бездарная меломания. Так нет же! Взахлёб и, кажется, искренне хвалили. Но на самом деле сочинение Бориса оказалось никому не нужно. Похоже, ни в настоящем, ни в будущем. Сам сатана смеялся ему в лицо в какой-то бешеной, дьявольской карусели.

Борис потоптался на одном месте, ибо его посетила мысль о том, что, может быть, стоит зайти в церковь, помолиться, послушать вещее многоголосье хора и тем утешиться, развеять печаль. Но мысль эта оказалась далёкой и слабой, как ранняя звезда.

Продавщицы значительно переглянулись, оценив респектабельный вид знакомого музыканта, его голландское чёрное пальто, белую рубашку, галстук, кейс, и одна услужливо подалась навстречу. Борис, стараясь не смотреть на девушек, купил бутылку коньяка и спешно вышел на улицу. Кто-то неведомый подтолкнул его в спину мимо своего подъезда. Войти в дом к любимому, близкому человеку с печатью неудачника, к человеку, ради которого, честно говоря, Борис писал то, что написал, он сейчас после всех огорчительных встреч и свиданий был не в силах.

Борис спустился вниз, к Крылатским холмам, к святому ручью, лёгким, переливающимся голосом своим напоминавшему тот дальний, деревенский, и присел на пустынную лавочку. Неподалёку, у источника, толпились в очереди народ, наполнявший бутылки, фляги и канистры драгоценной влагой. Борис отвернулся от публики. Ему сейчас нужно было побыть одному. Он сел спиной к очереди, лицом к храму.

— Чем же я прогневал тебя, Господи?! — спросил Борис, глядя на голубые церковные стены. — И ты, Дева Мария, почему не заступилась, не помогла, не защитила то, что исходило от Ваших пределов? Или правду говорят, что наступил век Антихриста?

Но ответа он не услышал. Тихо и прощально, благостно сияло солнце, ярко, до боли в глазах, горели в синеве неба церковные кресты. Маленький человечек, ловко подпрыгивая, спускался по тропинке с вершины холма.

Борис ощутил вдруг абсолютную пустоту в голове, в сердце, во всём теле. Пустоту и полное безразличие ко всему. Он откупорил бутылку и отхлебнул из неё добрый глоток. По телу покатились тёплая волна. Горячий туман стал обволакивать и слух, и мысли, и зрение. Церковь с сухим шелестом чуть накренилась вбок, накренились кресты, и Борис неожиданно увидел, что мимо золотых крестиков тихо пронесется маленький, серебряный, за которым тянется тонкий белый шлейф, обшитый по краям тонкой кружевной бахромой.

Он так обрадовался самолёту, словно вернулся в детство, когда, случалось, лежал на горячей крыше и с восхищением наблюдал летевшую под облаками крохотную машину. На какие-то минуты Борис забыл обо всех болях и обидах. Он представил себе лётчика у штурвала, и ему захотелось туда, в кабину пилота, чтобы взглянуть на всю плоскость мира сверху. Увидеть мелкие, рассыпанные по земле города, угадать их голоса и звуки.

Борис вспомнил, как, возвращаясь после успешных гастролей по Америке, они с Тамарой, молодые, красивые, удачливые, перелетали через океан. Сияло такое же яркое, беспечное солнце, и то ли два неба было в обозримом пространстве, то ли два океана — внизу и вверху. Казалось, жизнь не имеет конца и звучит одной долгой прекрасной мелодией. В согретой памяти всплыла красочная, будто никогда не засыпающая Бразилия с её чарующе весёлыми карнавалами, не знающими ни времени, ни условностей, ни стеснения. Тогда, припомнилось Борису, Тамара, выпив игристого вина, всё порывалась выйти на улицу в одном купальнике. В конце концов, она всё-таки вырвалась и чуть не потерялась, танцуя в толпе. Но там почти все были в таком одеянии, и на женщину в самом лёгком платье обращали внимание лишь постольку, поскольку это была пылкая, темпераментная и весёлая красавица. В то время Борис сам сходил от Тамары с ума и, глядя на неё, отплясывавшую под бой барабанов, вскоре забыл обо всех окружающих.

На волнах плотных воспоминаний и мыслей он перенёсся в недавнюю деревню, в гости ко всемирной старушке, мысленно обнял её и прошёл в цветущий сад, в безмолвно ликующий праздник весны. Он остановился посреди нежных бело-розовых яблонь и замер: все они вместо запаха источали звуки, стройные ряды его симфонии. Этого Борис вынести уже не мог. Он закупорил бутылку, спрятал её в кейс и стал усердно подниматься на вершину холма. Крутая тропинка струилась косо вверх среди пожухлой, ржавой травы, уже побитой ночными морозами. Ногам Бориса требовалось немало усилий, чтобы удерживать равновесие, но он с упрямым упорством взбирался всё выше и выше по направлению к храму. Однако перед дверью остановился. Войти в храм он не решился. Он осенил себя православным крестом и произнёс внутри себя произвольную молитву, в которой просил Бога помочь вынести сочинённую симфонию на большую сцену, поскольку все звуки и темы были продиктованы небом. В ответ Борис словно услышал голос, произнесший некое непроизвольное утешение. Удивлённый, он ещё раз осенил себя крестом и пошёл от храма прочь. В нём снова загорелась надежда, хоть он ей и не вполне верил. Мало ли что может послышаться?

Тамара сразу поняла, в каком состоянии муж и что с ним случилось, однако виду не показала.

— Раздевайся, Лапа. Мой руки. Будем ужинать, — сказала она неестественно весёлым голосом и быстро скрылась на кухне, чтобы никак не выдать своего смятения и растерянности.

Борис сразу обмяк. Ему всё мгновенно опостытело: и висевший на крючке халат, и домашние тапочки, и шляпа, попавшая в паутину вешалки. Это показалось глупым и пошлым. Но раздевшись, он прошёл в ванную, снял рубашку и облил себя для свежести холодной водой. Затем водворился к Тамаре на кухню, мрачно достал нотные тетради и початый коньяк.

— Сегодня, Лапуля, — с пафосом произнёс он, — состоятся торжественные поминки по лирическому музыкальному произведению Бориса Борисовича Ганина “Сад”.

Тетради с громким хлопком шлёпнулись на стол. Тамара, стоявшая у плиты, резко обернулась.

— Не смей так говорить! Ты не имеешь права. Ты только проводник того, что дадено было свыше, и не тебе хоронить рукопись. Твой “Сад” уже тебе не принадлежит. Понимаешь? Нельзя опускаться до такой степени.

— А до какой степени можно опускаться? — язвительно спросил Борис, искажившись в лице, словно Тамара одна была виновата в неприятии и холодном равнодушии к поющему “Саду” Бориса.

— Ладно, Лапа. Давай успокоимся, — сказала примирительно Тамара и обняла мужа. — Мы никогда с тобой не ссорились. Неужели теперь, скажи,

после того, как ты создал замечательную вещь, позволим себе такую глупость? Не поминки, а рождение... Почему бы нам не отметить рождение твоего, нет, нашего "Сада"? Я тоже, согласись, косвенно принимала участие. Ведь мы, Лапа, по-настоящему не праздновали это событие.

Она достала рюмки и накрыла стол. У Бориса начало быстро и горячо таять сердце. Защищало глаза. Он хрипло кашлянул и полез за сигаретами.

— Правильно, Лапуля. Давай праздновать. Чёрт с ним со всем.

Через некоторое время Борис с Тамарой весело вспоминали былые гастроли, всемирную старушку, её роскошные цветники и домового, который, видимо, от возраста всё охал по ночам, хрустел и поскрипывал при ходьбе. Потом Борис достал после долгого перерыва баян и стал играть. Тамара смотрела на мужа затуманенным взором и думала всё ту же сакраментальную думу о том, как было бы хорошо, если бы сейчас с ними сидел некто третий, маленький родной человек, который любил бы Бориса так же, как она. Вот так же слушал его музыку, восхищался и ценил его талант. Но за что-то Бог наказал... После первого неудачного аборта врачи признали, что Тамара больше не сможет беременеть, оставив ей горькую, далёкую, почти бесполезную надежду. Получилось, что и ребёнка они принесли в жертву международной цыганской жизни, гастролям, поездкам, свету рампы и дутой славе, которая оборвалась в один день. Тамара смахнула нечаянную слезу: она отдала бы всё на свете за то, чтобы почувствовать внутри себя священную тяжесть, услышать, как толкается и растёт под сердцем живое существо...

В полетевшие дни, не выходя из кухни, Борис при поддержке и участии Тамары представлял свою симфонию "Сад" на Миланской сцене и имел грандиозный успех. Иначе и не могло быть: зал наполнился глубоким и древним духом Руси, тем высоким божественным началом, которого в последнее время так не хватало Европе. Затем, не покидая кухни, уже знаменитые музыканты посетили Америку, ещё более, нежели Европа, нуждавшуюся в глубинной, астральной духовности. Так, во всяком случае, считали Борис с Тамарой. Америка, конечно, со свойственным ей деловым размахом предлагала выгодные контракты, выступления, турне, но Борис отказался буквально от всего, сославшись на то, что ещё не вся Россия погружена в его "Сад". А она-то уж, Россия, как никто другой обязана сегодня возродить истинно народную культуру, которой всегда гордилось Отечество.

— Всё! — решительно сказал Борис день на пятый. — Больше — ни капли. Что же получается? Сытый, благополучный Степанов со своей рыхлой, наштукатуренной женой победили? Нет, мы будем драться!

И сразу засел за телефон. Он обзвонил с десятков адресов и мягким своим баритоном — сама корректность и интеллигентность — договорился о встречах в разные дни. В разных местах.

Тамара только что проснулась. В длинной белой рубашке она была похожа на привидение, спорхнувшее с какой-нибудь далёкой звезды.

— Как-то душно стало, — сказал Борис и вдруг очень остро почувствовал собственное сердце, будто перехваченное тонкой стальной нитью. — Пойду, прилягу на пару минут...

Вскоре он открыл глаза и сначала не мог понять, где находится его тело. Оно лежало поверх белой, жёсткой кровати, над которой высился весёленький, с бликами солнца, высокий потолок. И стены тут были чистые, белые, стерильные. Укрывало Бориса плотное одеяло, одетое тоже в крахмальный и свежий пододеяльник.

Борис повернул голову и увидел ещё одну такую же стерильно тоскливую койку, а на ней — худощавого человека с небритым лицом и впалыми закрытыми глазами. Борис уныло осознал — больница. Огляделся. В палате — никаких излишеств. Ни радио, ни телевизора, ни холодильника, ни чего-либо ещё. Крахмальные стены и пол, пахнущий хлоркой. Тупо ныло сердце, но боль ощутимо вытекала из него, как из пробитой фляги. Значит, те ребята, которые мотались за рифлёной стеклянной дверью туда-сюда белыми тенями, сделали своё дело. Странно, Борис ничего не помнил, как если бы накануне был сильно пьян.

Небритый человек открыл глаза и, поглядев на Бориса, хрипло произнёс:

— Попали мы с тобой, старичок. Месяц провалиемся. Как пить дать.

Познакомились. Сосед имел редкое имя — Иван, артистично худые руки и тоскливо мечтательный взгляд синих очей.

— Да, — согласился Борис. — Похоже, тут у нас долгая станция.

— Хорошо, медицинский полис успел получить, — сообщил сосед. — Не то бы сейчас валялся неизвестно где. Моей мадам теперь наплевать, что со мной.

— Почему?

— Да так уж. Просто наплевать, и всё. Человек она такой. По жизни. Вернее, тут профессия наложила свой отпечаток. Судья. Это, брат, опасная штука. Для всех окружающих. Последнее время, правда, работала адвокатом. Это, кстати, меня и подкупило при знакомстве. Защитник — не судья. Сердце надо иметь другое. Душу. Но она, как выяснилось, судья по натуре своей. По призванию, можно сказать. А уж когда женщина — судья... Катастрофа. Власть опьяняет прекрасный пол больше, чем мужчин. Действия не подчинены рассудку. Впрочем, нужно признать, специалист она отменный, и если бралась за дело, а работала Светлана с крупными фирмами, организациями, то дело это, как правило, ею выигрывалось. Тут уж не отнять. Ну и, понятно, победа оплачивалась соответственно. Банкеты, фуршеты, рестораны, кафе... Ясно, являлась за полночь с повестями и рассказами. И всё это, заметь, заплетающимся языком. А мне каково! При том, что я не пил спиртного ни капли. Работал над книгой. Одним словом, назрел скандал. Впрочем, сам понимаешь, он не мог не назреть. Поскольку слушать пьяные бредни до четырех утра вряд ли кому под силу. Может, конечно, я был не прав. Не знаю. Возможно, у неё такая работа, что без банкетов нельзя. Нельзя потерять старых клиентов, нужно обрести новых. За бокалом, как сам понимаешь, всё это проще. Но моё положение! Разумеется, скандал. В результате все мои вещи — на лестничной клетке, потому что, не выдержав, я и сам, что говорить, напился до чёртиков. В сердцах трахнул какой-то вазой об пол. Через пятнадцать минут появился мордатый бульдог в милицейских погонах. Понятно, у неё же все в отделении — друзья. Вместе пьют, потом развозят друг друга по домам. Свои люди — судьи, адвокаты, милиция. Этот блюститель, пользуясь тем, что ответить я ему не мог: как же, он при исполнении, при форме... В общем, стукнул меня пару раз. Обычно, вроде бы, дело. Но нужно было видеть при этом глаза моей адвокатессы. Никогда я такого взгляда больше не наблюдал. Злое, сытое удовлетворение, хмельное самодовольство и тупое превосходство, словно она расстреляла злейшего врага — вот что было в этом взгляде. Таким образом, я отправился на все четыре направления. Жил у друзей, в мастерских художников, в подвалах, на чердаках. А теперь вот живу на этой койке. Что будет дальше — не знаю. Просто ума не приложу. Работа оборвалась. Как быть, не возьму в толк. Вот такая приключилась...

Борис, понятное дело, поведал и свою печальную историю. Как, прямо по-чеховски, вырубается его "Сад". Ну и, конечно, не смог не откликнуться на чужую беду.

— Что ж, — сказал он. — Если тебе, Ваня, некуда деваться, поживи у нас с Тamarой. В коридоре есть диван. Работать можешь в читальном зале. Ну, а пропитаться — что-нибудь придумаем. В крайнем случае, стану в переходе с баяном. А что делать? Пусть народ слушает мой "Сад", как говорится, из первых рук. Мне теперь наплевать на престиж, имидж и прочую чушь. Конечно, после Парижа и Нью-Йорка будет не по себе, но чёрт с ним со всем. Переживём. Роман твой о чём?

— Роман? О целителе. Целителе человеческих душ. Есть, Боря, на свете такие люди. А вообще — Колыма, тайга, бродяги, философы, ищущие града Божьего на земле.

— Ну, и что, находят?

— Главное — искать, Боря. А кто ищет, как говорится, тот всегда...

— Что ж, — сказал Борис. — Дай тебе Бог.

Был в палате и третий страдалец, темноволосый, с узким лицом, нервный человек, кусавший ногти во время разговора Бориса с Иваном. Но когда соседи смолкли, он вдруг открылся.

— А я, ребята, прилетел из Африки, точнее, из Ганы. Три года загорал под тамошним жарким солнышком в качестве переводчика. Жил, сообщу без ложной скромности, как падишах. И чёрт меня дёрнул тронуться в родные края. Соскучился по берёзам, по мокрой крапиве, по ромашкам полевым, едрёна корень. Приехал, а у жены в моё отсутствие — другой ухажер. Ну, и что в таких случаях — развод. Вето на дочку. Словом, самые весёлые события. В результат тоже вот вполне праздничная больничная обстановка. А там, в Гане, братцы вы мои, какая же была красота! Барракуды, омары, кокосы, национальный парк, океан, темнокожие женщины, карнавалы... Так нет же! Нас всех непременно тянет в нашу задрипанную, разворованную, нищую Россию, где вор на воре и обездоленные люди с протянутыми руками. Сердце, ей-богу, кровью обливается. И это при сказочном богатстве страны. Какая-то несчастная Гана и Россия... Поразительно! Там, в Африке, я жил во сто раз лучше. Парадокс! Вы, творцы, извиняюсь, подслушал вас, никому не нужны. А если вам и платят что-то, то какие-то гроши, подачки. И что же, дорогие господа, получается? А получается капитализм наизнанку. Когда нормального предпринимателя душит бюрократ: ему это выгодно. Он, бюрократ, получает за это свои дивиденды и взятки. Где это видано, чтобы государственные мужи крали и продавали всё, что только можно продать? В ходу дешёвка, а истинные ценности валяются, как мусор, под забором. А закон можно повернуть и так, и этак. Зачастую же его просто не существует, закона. Бандиты вольны делать всё, что им заблагорассудится. Эх, да что говорить! Не, скажу, что там всё иначе. Но в той стороне люди получают другие зарплаты и, стало быть, отношения складываются совсем другие.

— Да, тоже история, — сказал Иван. — Хотя, что же вы хотели? Жена здесь, вы там.

— Ну, во-первых, — молвил африканец, — жена с дочкой частенько приезжали ко мне. Вместе проводили отпуск. А во-вторых... Впрочем, чёрт его знает, что во-вторых. Короче, теперь я здесь, а они там.

Вошла такая же стерильная, как пододеяльники, белоснежная, улыбка медсестра с подносом, на котором на чистой салфетке покоились три шприца.

— Будем лечиться, господа, — произнесла она, сверкая ослепительными зубами, и почему-то многозначительно поглядела на Ивана.

Все трое с готовностью повернулись на живот, оголив розовые зады.

Медсестра ловко и быстро, в один шлепок, сделала три укола.

— Отдыхайте, — сказала медицинская фея и грациозно скрылась за дверью.

— Хороша, — со стоном переворачиваясь, произнёс влюбчивый, видно, Иван.

И потекли, поплыли одинаково однообразные, похожие, как близнецы, больничные, пахнущие физраствором дни. Праздник, одним словом, отдыха и философии. Лежи себе кверху пузом и мечтай, надейся неизвестно на что.

Иван, как только смог вставать, исчезал по вечерам к медсестре Ольге на пост, когда она дежурила. Африканца Сергея каждый божий день навещали родственники, заваливая его молочным и какой-то овсяной гадостью, которую он, морщась, нюхал и шел отдавать в другие палаты.

Бориса аккуратно посещала Тамара с обязательным букетом цветов и фруктами. Она как-то преобразилась, посветлела, видно, неожиданное горе наложило на неё отпечаток церковной, апостольской святости и поста. Она была тиха, грустно улыбка и необыкновенно заботлива. Милосердно гладила Бориса по волосам, и всё поправляла его постель.

Иван по-настоящему влюбился. Глаза его застилал счастливый туман. На всё глядел, как со дна моря. Он снова стал писать. Тургенев говорил, что не мог творить, если не был влюблён. Вот, мол, и со мной происходит нечто подобное. Ольга, похоже, отвечала ему взаимностью: всё-таки писатель,

не хмырь какой-нибудь с шарикоподшипникового завода. Хотя ещё не известно, кто по нынешним временам лучше.

В общем, наши герои мало-помалу выздоравливали. Грелись на законном солнышке. Травили анекдоты. Скучали и пускались в пространные дискуссии о политике, турбулентности планетарных движений и антагонизме всех, в том числе литературных и музыкальных направлений.

Борис в минуты тишины и покоя снова стал чутить в воздухе святые, дарованные Богом звуки мелодий и бережно заносил их в копилку оставленной Тамарой нотной тетради.

Африканец маялся, вышагивал по комнате, видно, вспоминал омаров, диких слонов и собственный калёный загар под ослепительно-белой рубашкой, не говоря уже о темпераментных темнокожих женщинах. Он теперь мечтал набрать группу учеников интенсивного курса английского языка, чтобы человек через пару-тройку месяцев мог свободно общаться даже с ни бельмеса не понимающим по-русски американцем.

— Дитя что сначала делает? Начинает говорить, — увещевал он. — Затем уже читать и писать. А в нашей, российской, системе обучения всё наоборот. Всё для того, чтобы никто, в результате, ни черта не знал и снова при надобности учился, но уже за деньги. Моя методика до безобразия элементарна. Всем известно — все простое совершенно. Вот это, к примеру, зарядное устройство. По-английски — чаджер, вот зажигалка — лайтер, икона (он совал предметы под нос каждому) — айкен, крышка для банки — кавер. А теперь я спрашиваю по-английски: где икона, зажигалка, крышка. Таким образом, и сам вопрос и наглядный предмет откладывается в памяти. Легко и сразу. Ну, и так далее. Хотите в ученики? Возьму недорого. Как с братьев по страданиям.

Писатель смотрел на африканца, словно из-под воды, а музыкант, пропуская сквозь слуховой аппарат нежный эфир, тоже не понимал, чего хочет от него Сергей.

Одним словом, слава Богу, поправлялись.

К выписке Иван от предложения Бориса поселиться у него галантно отказался, сознавшись, что разгоревшаяся страсть уводит его в Ольгино гнёздышко, может быть, навсегда. Однако он очень будет рад общению и вскоре позвонит, как у него всё сложится. Африканец выписывался первым, пожелав друзьям здоровья и всяческих удач на их, к сожалению, зыбком поприще. Бориса отпускали вторым. Иван оставался с белоснежной своей сестрой милосердия, Ольгой, обнадёженно благодостный и озарённый светом новой, как морское путешествие, жизни.

Тамара пришла встречать мужа. Вместе они собрали больничные пожитки Бориса и друженько, взявшись за руки, вышли на улицу.

Природа обмякла, будто баба после чая. Снег присел, потемнел. На шоссе мазутно сверкали лужи. Близкая весна уже насадала на зиму горячим боком. Пахло сыростью и мокрой корой деревьев.

Борис вдохнул серый мокрый воздух, и жизнь, как, может быть, ни странно, показалась ему снова прекрасной. Он обрадовался и голосам людей, и трескотне воробьев, и даже надсадному, носившемуся, словно по кипящей сковородке, шуму машин. Так славно было после зевотной, промелькнувшей смерти вновь ощутить своё, пусть и призрачное бытие. Тем более взамен долгого лежания на опостылевшей белой койке. Всё тело как-то само рвалось к бодрости и обновлению.

Тамара тоже повеселела: опасность сторела за плечами, и теперь она, Тамара, сама невольно ощущала приближение некоей новой светлой полосы, всё щебетала о чём-то тёплом, домашнем, о том, например, что она пригласила слесарей, и те передвинули, переставили всю мебель иначе, что вроде бы нынче все сделалось и радостней, и веселей, и просторней. Что звонил в некотором роде знакомый Бориса и, конечно, спрашивал, не надумал ли он предложить свой “Сад” для эстрады.

— Прохвост, — плюнул Борис, несмотря на прекраснодушное состояние.

— Я обед приготовила, — похвалилась Тамара. — Твоя любимая курица, запечённая с грибами. — Ей хотелось быть близкой и родной, как мать.

— Это замечательно, — одобрил Борис. — Больничная каша уже в печёнках сидит.

Потекла прежняя размеренная жизнь-существование. Так неостановимо течёт река или безразличные облака в небе. Борис стал бегать по утрам к святому Крылатскому ручью для укрепления внутреннего механизма, нервов и общего состояния. Начал обливаться святою влагой, тем более, что по соседству расхаживали босиком по ручью голые, но грамотные в отношении здоровья люди. Они внушали Борису твёрдость воли и почитание. Он, надо заметить, почувствовал себя гораздо крепче и увереннее.

Днями Борис упорно возил свой неутомимо цветущий “Сад” по разным музыкальным редакциям, но дело упорно не двигалось с места. Снова хвалили, иные заглядывались на Ганина, как на некое высшее существо, можно даже сказать, как на некий член иного мира, однако на этом всё движение и кончалось. Словно кто-то незримый прочно встал на пути и постоянно показывал Борису во множестве скользких рук огромный кукиш. Будто этот кто-то, мерзкий, пучеглазый, навеки навёл на него зловредную порчу. И всё же он не сдавался, верил, что его час, как ни крути, всё-таки наступит.

Тамара, устав от безделья и сидения в четырёх стенах, набрала себе учеников и теперь развлекалась с утра до вечера с бестолковыми оболтусами богатеньких родителей, которые, конечно, мнили своих отпрысков вундеркиндами. Но платили исправно и щедро.

Одним словом, надо признать, жизнь как-то скучненько топталась на одном месте; шаг вправо, шаг влево, а между ними — пустота.

Всё, может быть, так и катилось бы по унылому кругу, если бы не события, которые потрясли Бориса с Тамарой, с одной стороны, своей справедливостью, а с другой — ужасным исходом.

Во-первых, сначала погиб в автокатастрофе прежний руководитель и дирижер оркестра, в котором некогда трудились наши музыканты, господин Степанов. Прямо отметим, жуткой удостоился участи.

Борис с Тамарой долго молча сидели на кухне, глядя друг на друга и испытывая сложные разнородные чувства. Их пощипывали и жалость, и сострадание, и боль утраты. Но в колючих лабиринтах этих чувств, что скрывать, упрямо билась мысль: есть Бог на свете! Есть отмщение, и от расплаты не уходит никто. Нет, в душах Бориса и Тамары не было мстительного налёта. Ощущение наступившей справедливости нельзя сказать, чтобы тешило их самолюбие. Однако же и простёртый перст Божий они видели очень ясно.

Во-вторых же (и это для Тамары с Борисом оказалось ударом более сильным, громом среди ясного неба), был застрелен не известно кем и за что человек, которому наши музыканты отдали в аренду значительную часть своих сбережений для получения какой-то мифической прибыли.

Словом, вышло так, будто Господь проснулся и расставил всё по своим местам. Дирижёру Степанову сказал: “Не суди!” А музыкантам: “Не ищите лёгкой дороги”.

Борис снова почуял тупую занозу в сердце, а Тамара просто-таки слегла. Деньги канули бесследно. Где теперь их искать? Право слово, наказание за сибаритство налицо. Борис это понял и рассуждал примерно правильно. Да, ты работал, сотворил “Сад”. Но если Господь дал тебе способность выращивать деревья, нужно трудиться до седьмого пота без усталости и остановки. А ты что? Взрастил “Сад” и решил, что всё уже совершил. Пора отдыхать. Нет. Так не бывает. Посеянные в тебе возможности нужно хранить, возделывать, а затем раздавать с них плоды. Только труд, постоянный, упорный труд принесёт и успех, и славу, и почитание. Хотя, если разобраться, и они по большому счёту не нужны. Одна лишь работа оставляет радость, чёрт побери. Сам процесс. Покой и воля. А больше ничего нет. Всё остальное — тлен. Думал ли Моцарт, Чайковский, Бах о какой-то великой славе, всемирном признании? Они трудились неустанно и открывали людям Бога с Его вселенной звуков. И потому остались и живут плоды их. Вот в чём, собственно говоря, истина. А деньги... Да бес с ними, если рассудить, с деньгами. Не вешаться же из-за них. Заработаем как-нибудь. Как люди, так и мы.

— Право, не знаю, Лапа, как теперь мы будем жить, — молвила Тамара, присаживаясь к столу. — Конечно, мне неплохо платят за учеников, но этого, как ты понимаешь, по нашим запросам явно недостаточно.

— Проживём, Лапуля, — твёрдо ответил Борис. — Я послал свой “Сад” в Канаду, Францию, Германию. Авось что-то образуется.

— Может, ты действительно поработаешь для эстрады, — не выдержала Тамара. Эта мысль давно не давала ей покоя. — Отчего же, Лапа? Почему бы и нет? Многие трудятся в эстраде, и довольно успешно. Канада с Германией само собой, а тут...

Борис посмотрел на жену многозначительно долго. Почти как на предателя. Посмотрел и вытащил сигарету. Ему вдруг стало всё безразлично. Собственное здоровье, выращенный в российской глубинке “Сад”, вся музыка, взятая вместе, стылая, ничем не радующая жизнь.

— Великий писатель Андрей Платонов, — произнёс Борис задумчиво, — работал дворником после того, как Сталин запретил его печатать. И писал. К тому же завещал своей жене, Марии Александровне, никогда, ни при каких обстоятельствах не отдавать ни одной страницы на Запад. Вот и я лучше пойду таскать ящики, — добавил он ледяным голосом, — но продаваться не стану. Не буду, Лапуля! — закричал он вдруг так, что Тамара вздрогнула и тихо заплакала. Ей было жалко, что так обречённо неудачлив, пусть и не по своей вине, муж, жалко себя, своей неопределённой будущности.

— Извини, Лапуля, — хрипло выдал из себя Борис. Ему, конечно, меньше всего хотелось, чтобы эта неожиданная распря между ними переросла в серьёзную ссору, каких, по сути, никогда прежде у них не случалось.

На следующий день, когда Тамара отбыла к своим преуспевающим ученикам, Борис сгрёб запыхавшийся баян и отправился с тяжёлым сердцем в переход метро. Прямо скажем, не лежала у него душа к этому нищенскому занятию. Ох, как не лежала! Однако, пересилив себя, пересилив что-то, наступавшее ему прямо на горло, он прибыл на место, извлёк инструмент, оставив футляр открытым для подношений, и начал играть. Пальцы его заметно дрожали от отвращения к такой работе, словно он оказался в клетке и вынужден был из-за решётки развлекать зрителей. Но дело было сделано. Борис уже попал в капкан. Что мешало ему так же, как Тамара, набрать учеников? Или поступить в какой-нибудь клуб массовиком-затейником? Однако такие занятия Борис считал ещё более унижительными. Одним словом, он начал играть, стараясь не глядеть на прохожих. Борис Ганин решил, что он будет исполнять только свой “Сад” и ничего больше. Никаких “Подмосковных вечеров”, “Цыганочек” или “Чёрных очей”.

В переходе было прохладно, руки стыли, пахло мочой. Но Борис всё больше входил в роль, обретая какое-то нездоровое, мстительное чувство и вдохновение. Люди текли мимо плотной массой, как некая тяжёлая вода, и в эту тяжёлую воду Борис сбрасывал спелые плоды своего “Сада”. Прохожие реагировали вяло. Лишь немногие из сочувствия опускали в футляр баяна скудные воздаяния. Чем больше играл Борис, тем тяжелее становилось у него на сердце. Он чувствовал, что играет механически, безо всякого душевного взлёта. Тем не менее, ему виделась в момент игры вся озарённая солнцем сторона Тульской губернии, горделивая изба всемирной старушки бабы Наташи, лес, озеро, цветочные поляны, Тамара, порхавшая в них, словно сатурния, и весь благоуханный в цветении вишнёвый сад.

Произведение своё Борис исполнял долго, но, доиграв до конца одну из тем, понял, что на большее его не хватит. С чувством горечи и досады на себя, на всю тупую, унылую жизнь, на безразличную публику, Борис выбрал из футляра нищенскую мелочь, сложил инструмент и отправился прямым ходом в магазин.

Заработанных денег хватало как раз на бутылку водки. Дома Борис, ещё не раздеваясь, налил полстакана и залпом ахнул. Затем только снял пальто и присел к столу. Перед ним вдруг снова возникли картины былых триумфов, блестящих выступлений, гастролей, овец, восторженная публика и сегодняшняя жалкая игра в заплёванном, пахнущем застарелой мочой

переходе. Возникла вся нелепая картина блистательных взлётов и низкого горького падения...

— Вы только пообещайте, что подарите мне кассету с выступлениями вашего оркестра или, может быть, вашу личную запись. Я, знаете ли, когда-то тоже училась музыке, и для меня это был бы прекрасный подарок, — сказала Борису директриса магазина, куда он пришёл устраиваться грузчиком. Скажем сразу, вспоминая Николая Васильевича Гоголя, с виду это была “дама прекрасная во всех отношениях”. Она давно симпатизировала Борису, знала со слов велеречивой Тамары всю их историю и, что скрывать, имела в отношении Бориса Борисовича тайные мечты.

— Обязательно, Анна Ивановна! — горячо откликнулся Ганин, вспыхнул и весь засиял от очередного заочного признания. — И кассету, и личную запись. Я, пожалуй, запишу вам отрывки из собственной симфонии.

— Это было бы замечательно, — уже совсем пришла в себя Анна Ивановна. — Знаете, признаться, не понимаю, как можно сочинять музыку. Это какое-то высшее таинство. Мне, во всяком случае, оно не доступно. Как вы это делаете?

— Я, собственно говоря, ничего особенного и не делаю, — ответил польщённый Борис. — Просто записываю нотами то, что диктуется мне откуда-то сверху. Ей-богу, сам не знаю, откуда.

— Да-а... — задумчиво произнесла Анна Ивановна. Свет от окна падал на её серебристо-льняные волосы, оттеняя здоровый, абрикосовый цвет щёк. — Но ведь вы, вероятно, учились сочинять?

— Нет, — определённо сказал Борис. — Нас учили музыке. Игре на инструментах. Преподавали историю классики. Нашей и зарубежной. Требовали знания произведений. Но сочинять — это уже было за рамками консерватории. И это давалось немногим.

— У меня такое ощущение, — сказала Анна Ивановна, и глаза её нежно заблестели, — будто мы с вами знакомы уже давно. Просто не виделись и вот встретились снова.

— Может, это так и есть. — И Борис впервые взглянул на Анну как на женщину. Взглянул и смутился, потому что после встречи с Тамарой у него никогда никого не было. До неё — да. Случались и любовные романы, и короткие, ни к чему не обязывающие встречи. Однако после Тамары — никого. И вдруг в глазах Анны Ивановны Борис прочёл и страсть, и скрытую необузданность, и нежность, и, одним словом, пыл любви.

Он интеллигентно покашлял в кулак и как-то очень обыденно спросил:

— В котором часу завтра на вахту?

Анна Ивановна помолчала, изучающе глядя на него, и вздохнула:

— К восьми. Как обычно.

Борис прекрасно знал, что — к восьми. Не однажды с нетерпением ждал этих заветных восьми.

— Рабочая одежда у нас есть. Пожалуйста, не опаздывайте. В восемь, к слову, уже могут быть машины с продовольствием.

Борис не столько вышел сам, сколько вынес внутри себя взгляд и внимание директрисы. Какое-то неясное предчувствие зашевелилось в нём пульсирующим молодым теплом. Понятно, никаких преступных планов он не строил и надежд в отношении Анны Ивановны не питал. И всё же какой-то ласковый зов поселился в его душе.

Тамару Борис неожиданно застал дома. Она была в гипсе, на костылях.

— Вот, Лапа, видишь, шла на работу, поскользнулась и сломала ногу, — весело объяснила она своё положение. — Теперь ты у нас единственный кормилец. Работу я, конечно, потеряла. А “Сад” твой цветёт где-то на другой планете! — И Тамара саркастически засмеялась.

Это больно ударило Бориса.

— Ты мне ничего не скажешь? — слезливым голосом спросила пострадавшая жена.

— Что тут говорить, — холодно ответил муж.

— Как что? — удивилась Тамара. — Что ты меня любишь. Жалеешь. Ну, и всё такое.

— Конечно, люблю. Конечно, жалею. Но “Сад” мой растёт на этой планете. Более того, он в России, и когда-нибудь действительно расцветёт. Пусть даже после моей смерти.

Утром Ганин переоделся в рабочий комбинезон, превратясь из музыканта в грузчика, кормильца семьи. Зарплата не слишком большая, но скромно прожить на неё можно.

Напарником у Бориса оказался некий долговязый человек по имени Серёга и прозвищу Золотой, так как имел во рту целых три бронзовых зуба, похожих на золотые. Золотому Серёге не так давно перевалило за сорок. Был он худым, но жилистым, носил кошку нечёсанных волос, пышные соломенные усы, и у него были бугристые, словно запечённые в глине, руки с навечно чёрными ногтями. Лексикон у Серёги был не хуже, чем у Элочки-Людоедки, но свой, собственный. Жил он одиноко и потому большую часть времени посвящал любимой работе. Борису он сразу представился как Серёга и протянул в знак будущей крепкой дружбы копчёную лапу. Он оказался профессионалом: бросал зыбки, словно семечки щёлкал. С продавщицами шутил плоско и грубо, заливаясь при этом раскатыстым хриплым хохотом и обнажая все три бронзовых зуба. Эта жизнь нравилась Серёге, и другой ему не надо было. Все знали, что Золотой простодушен, честен и никогда от него ничего не прятали, он всегда получал наградной стакан, а к вечеру — и бутылку. Золотой никогда не отказывался ни от какой работы, и порою ночевал прямо в магазине, расположившись на старых фуфайках. Но наутро бывал весел и всегда готов к труду.

Бориса, само собой, Серёга поначалу берёт, стараясь, как опытный, взять на себя основную нагрузку. Но очень обиделся, когда Борис попытался отказаться от винной трапезы.

Так или иначе, с первого же дня они были связаны во всём. Теперь Борис частенько, а вернее, чуть ли не каждый день являлся домой, мягко говоря, с гостинцами, которыми, словно невзначай щедро снабжала его прекрасная и сердобольная Анна Ивановна. Впрочем, доброй и щедрой она была, пожалуй, только с Борисом. С персоналом директриса обходилась довольно строго и бесцеремонно. Но к музыканту явно благоволила, что, между прочим, мгновенно отметила торговая общественность магазина. Рыжая Люська прямо заявила, что у начальницы с Борисом роман, и она самолично наблюдала их в объятиях друг друга непосредственно в директорском кабинете. Конечно, на эту рыжую Люську немедленно донесли, и в сей же день она искала новую работу. Анна Ивановна, понятно, стала осторожнее, но всё равно тайный огонь горел в её пышной груди, и она не в силах была с ним совладать. Дело дошло до того, что музыкант, призванный однажды в кабинет для приватной беседы, после обсуждения производственных процессов был приглашён к Анне Ивановне на именины.

После трудового дня Борис, как положено, вымылся в душе, надушился французским одеколоном, надел белую рубашку, английский костюм и на недоуменный вопрос уже хронически больной жены: “Лапа, ты куда?” — ответил, что идёт на рабочее собрание, а там, понятно, нужно выглядеть прилично. К тому же у Тамары неожиданно обнаружили признаки диабета. А с этим шутки уже куда как плохи. Борис оставил растрёпанную жену наедине с неотъемлемой уже бутылкой и отправился в гости.

Стоит ли говорить, какой у Анны Ивановны оказался стол, как изысканно выглядела она сама, в какую красоту и уют окунулся сам Борис после грязной посуды и деревянных блинов.

— Я не хотела никого приглашать, — призналась Анна Ивановна. — Отпразднуем вдвоём. Если, конечно, не возражаете.

Борис удивился, но не возражал. Чего возражать, раз уж явился, да ещё, тем более, с пышным букетом роз.

И покатился тихий и тёплый, ласковый вечер с милыми, наивными глупостями, лёгким кокетством и хрустальным звоном тонких фужеров. Самое удивительное, Борис не чувствовал угрызений совести. Поначалу — да. Пока

он ехал в метро, затем шёл мимо задумчивых деревьев и кустов, готовых скоро принять близкую весну, какая-то чёрная пиявочка сосала его изнутри, жгла противным сознанием вины перед Тamarой. Но стоило увидеть блистательную Анну Ивановну, не директрису, а просто роскошную женщину, в глазах которой нескрываяемо горела любовь, как червоточина затянулась, а боль совести, прямо скажем, превратилась в обыкновенный пар. Да и вся привычная обстановка европейского былого комфорта, одобренная лирикой Шопена (Анна Ивановна знала, что подобрать к приходу Бориса), унесла музыканта в то далёкое прошлое, где он привык чувствовать себя свободным, независимым, способным совершать чудеса.

Разгорячённый, композитор Ганин снова говорил о Моцарте, Бахе, Чайковском, о незаслуженно забытом Чюрлёнисе, о собственном ощущении этих и других композиторов. К приятному удивлению Бориса, Анна (они уже перешли на “ты”) принимала живое участие в разговоре, проявив немалые познания. Когда же выяснилось, что она в своё время окончила музыкальное училище, Борис и вовсе растаял. Огорчало лишь, что она пошла по торговой части. Ну, что же... Борис тоже не был известным композитором, а сейчас, тем более, значился обыкновенным грузчиком.

— Вот что, Боря, — сказала Анна уже после первого танца и нечаянного и лёгкого, как пльцца бабочки, поцелуя. — Бросай ты эту чёрную работу и пиши следующую симфонию. Та кассета, которую ты мне подарил, потрясла меня, и я, поверь мне, плакала, слушая её. Я, пойми меня правильно, хочу, чтобы ты был настоящим музыкантом. Мне тяжело смотреть, как ты катишься вниз, не думая ни о себе, ни о голосе Бога, посылающего тебе святые звуки как великий дар. Многие мечтали бы слышать, но не слышат. А ты слышишь. Тебе дано. Но ты, прости, плюёшь на это и шагаешь в какие-то грязные грузчики, в друзья к Золотому Серёге. Ты уверен, что поступаешь правильно?

Борис отложил вилку и помрачнел.

— Не забывай, Аннушка, что мы в России, — сказал он глухим голосом. — Можем подковать блоху и умереть в нищете и безвестности. Можем создавать шедевры, а в ходу будет китч. Напишем “Очерки бурсы” и загнёмся от пьянства под забором. Кроме того, мне нужно на что-то существовать. Подвизаться шутком-скоморохом я не могу. Лучше — мешки-ящики.

— Нет! — резко возразила Анна. — Я не дам тебе погибнуть. Потому что...

Возникла пауза, в которой Борис примерно знал, что последует за этим: “потому что”... И всё-таки спросил:

— Потому что — что?

— Потому что я люблю тебя, Боря. Вот почему. Что касается денег — у меня есть вклад в банке на довольно крупную сумму. Я буду отдавать тебе проценты. Не спорь. Это, по крайней мере, больше твоей зарплаты раза в три. Мне проценты не нужны. У меня всё есть. А чтобы ты не думал, мол, я тебя покупаю, договоримся так — отдашь, когда сможешь. И учти, мне от тебя ничего не надобно. Ты абсолютно свободен. Но мой дом для тебя всегда открыт. Захочешь прийти — буду просто счастлива. Так что ступай в мир, Борис Борисович Ганин. Слушай Бога и записывай Его голос так, как ты слышишь. А я... Я тебя увольняю. С завтрашнего дня. По собственному, как полагается, желанию. Я не могу видеть у себя человека, не соответствующего занимаемой должности. Ну, а деньги — дым. Счастья они не приносят. Будут — отдашь. Зазвучит твой “Сад” с большой сцены, тогда и отдашь.

— А если не зазвучит?

— Нужно верить, Боря. Верить и добиваться. И дано тебе будет, говорю библейским языком.

Борис встал и благодарно обнял Анну, обнял нежно и ласково, как обнимают мать после долгой разлуки.

И снежным комом покати́лась ночь. Бурная, жаркая, полная стонов счастья и горячих признаний. Борис сам не ожидал от себя такого пыла, будто впервые познал женщину.

Домой он вернулся под утро, не ведая, как и что говорить Тамаре, поскольку никогда не врал ей и врать не умел вообще. Но она спала во всей наружной одежде, расположившись поперёк дивана. Рядом валялись костыли. Нелепо вывернуто торчала нога в гипсе. Бутылка на столе была пуста.

Борис всё понял. Совесть остро обожгла его, заскреблась где-то под сердцем. Он разделся и лег спать. Проснулся оттого, что услышал знакомый до боли запах блинов. Стал медленно одеваться и решил: “Если что — скажу ей всю правду”. Внутри себя Борис чувствовал, что с некоторых пор за ним тянется какой-то тяжёлый шлейф и то опрокидывает навзничь, то даёт подняться, то снова валит на спину. Какой-то фантом прицепился к его судьбе, но как оторвать его, Борис не знал.

Теперь вот связь с Анной — от себя не скроешь — что-то перевернула в его душе. Но зачем она нужна, эта связь? Что даст она ему в дальнейшем, кроме боли и новых утрат? Он полюбил Анну? Ее страсть, вера, самоотверженность, бескорыстие тёплым бальзамом легли на сердце. Но что с этим со всем делать, тоже не известно.

Тамара стояла на костылях у плиты и жарила очередные деревянные лепёшки. Волосы её, заметил Борис, были спутаны, забинтованная нога неестественно и жалко висела над полом. Он вспомнил вчерашнюю обворожительную Анну, мгновенно вспыхнули в памяти её ласки, и ему стало тоскливо и грустно, словно он увидел на дороге раздавленную кошку.

Борис вдруг совершенно ясно понял, что здесь, среди запылённой мебели, хронически грязной посуды и постоянных печёных деревяшек, называемых блинами, он ничего не услышит, а значит, ничего не создаст. С другой стороны, это была его Тамара, та, с которой он прожил более двадцати лет, где было всё: и любовь, и радость, и счастье, и взлёты, и падения. Бросить её, казалось, невыносимо. Но и оставаться не представлялось возможным. Это значило, убить свой слух, закрыть доступ к высшим звукам, а стало быть, уничтожить себя самого.

Борис кашлянул, чтобы обнаружить своё присутствие. Обернувшаяся от неожиданности Тамара чуть не упала. Борис едва успел поддержать её. Она виновато, ласково улыбнулась.

— Прости, Лапа. Я вчера не дождалась тебя. Уснула. Вы так долго совещались. Какой нынче день?

— Воскресенье, — вздохнул Борис.

— Ты сегодня, я замечаю, какой-то рассеянный. И бледный. Не заболел?

— В общем, так, — мрачно проговорил Борис. — Я начинаю писать новую вещь. А может, это будет продолжение “Сада”.

Тамара саркастически усмехнулась.

— Когда же ты собираешься это делать? Ведь кому-то надо работать. Иначе мы не проживём.

— Проживём, — зло сказал Борис. — Я буду играть на бегах. Или в казино. Мне всегда везло. Помнишь, в Монте-Карло я выиграл сразу пять тысяч.

— Ха, — сказала Тамара. — Что ты сравниваешь? Тогда нам было всё равно. Что выиграть? Что проиграть? Там играли для забавы и веселья, а здесь это вопрос жизни.

Было воскресенье, но Борис знал, что Анна должна быть на работе. Он набрал номер телефона и услышал в трубке, словно из другого мира, знакомый, но строгий голос. В своём кабинете Анна преображалась и принимала образ сугубо деловой женщины. Наверное, в её положении директрисы иначе нельзя.

— Я хочу тебя видеть, — сказал Борис и почувствовал, как она смутилась на другом конце света. Весь её деловой лоск рассыпался. Впрочем, Анна тут же справилась с собой: видно у неё в кабинете кто-то был.

— У меня совещание, — сообщила она голосом из мягкого металла. — Позвоните попозже.

— В шесть я буду на углу. Напротив магазина. Но догонию тебя в сквере. Договорились?

— Хорошо, — ответила она, не меняя бесстрастной интонации.

Тамара ещё спала, утонув в каком-то судорожном, больном сне. Она то вздрагивала, то со стоном сучила руками. Бинт на её ноге был уже несвежим, серым. Рядом сиротливо лежали костыли. От этого грустного зрелища Борису стало не по себе. Он написал записку, что ушёл по делам и вернется не известно когда. Затем достал бутылку, зная, что, проснувшись, Тамара будет метаться в чаду похмелья. С этим, понятно, нужно было что-то делать, но что именно, Борис пока не знал.

Около шести он стоял напротив магазина так, чтобы видно было вход-выход. В руке у него горел букетик нарциссов. Вечер тихо озарял улицы весенним золотым светом. По крышам высотных зданий ползли лёгкие, как вуаль, прозрачные облака. Пахло зеленому кустов и свежестью молодой травы.

Вечер. Зелёный бульвар. Ожидание женщины...

Память!.. Как много в ней всего. Целый мир. От первого поцелуя матери до запредельных видений. Мир, который, хочешь — не хочешь, в конце концов, становится облаком, задумчивой, недостижимой планетой. Но... От кого-то остаётся сверкающий "Сад", а кто-то дарит в наследство жухлые листья. Или ничего. Ничего!

Ровно в шесть Анна вышла из дверей магазина. Строгий чёрный костюм, блестящая лаком сумочка на плече. Она шла чуть раскачанной походкой женщины, знающей себе цену. Борис издали залюбовался ею, зная, тем более, что скрывается под чёрным, элегантным костюмом. Он ощутил в груди лёгкое брожение, похожее на газировку, словно кровеносные ручьи наполнились острыми струящимися пузырьками. Борис вдруг подумал, как далеко сейчас Тамара. На каком-то пустынном острове, куда трудно доплыть.

Анна уже подходила к означенному скверу. Шла уверенно, не оглядываясь. И не суетясь. Борис пересёк улицу и, подойдя к Анне, бережно протянул, как лёгкую птичку, букетик нарциссов. Какое-то время они шли молча.

— Ты сегодня удивительно красивая. Я думал о тебе.

— Что же ты думал?

— Что ты красивая, — рассмеялся Борис. — И, может быть, ты спасёшь мир. По крайней мере, мой. С некоторых пор ты живёшь в нём. И довольно прочно. Согласно прописке, как поётся в известной песне.

— В песне фигурирует девушка Тоня...

— Неважно, кто там фигурирует. Важно то, что, скорее всего, благодаря вам, Анна Ивановна, я начал писать новую вещь. Сегодня, с вашего высочайшего позволения, мы устроим маленькую премьеру.

— Правда? — оживилась Анна. — Ты не представляешь, как ты меня обрадовал. Впрочем, я давно знала, что ты — проводник.

— Откуда это можно знать? Долгое время я был просто музыкантом. И никем больше.

— Тогда тебе этого было достаточно. Проводники не знают, когда им сверху скажут, что они проводники. Скажут на языке красок, слов или звуков. В тот же миг, вероятно, им ставят на глаза некую печать. У тебя она тоже есть. Глаза, словно поселяются в двух мирах. Они и здесь, и ещё где-то. Даже страшновато.

— Ну, тебе бояться нечего.

— Как знать. Я очень привязчива. И потом я тебя...

— Что?

— Ничего. Я хотела сказать, что привыкаю к тебе. Это может родить какие-то требования, условия. Я боюсь их. Мне не хочется ничем тебя связывать. Ты должен чувствовать себя абсолютно свободным. Быт — страшная вещь. Он, как стая крыс, способен перегрызть любые провода. Ты понимаешь, о чём я говорю?

Они спустились в метро, и толчея часа пик задушила разговор. Толпа тесно прижала их друг к другу внутри вагона, и Борис, почувствовав упругое тело Анны, взволновался. Ему отчего-то стало неловко, словно они с Анной были раздетыми среди одетых людей. Анна снизу вверх посмотрела на

него. Во взгляде её были любовь и желание. Она крепко сжала его запястье. У Бориса пересохло в горле.

— Я захватил ноты, — вроде бы некстати сказал он шершавым языком. Анна промолчала. Только ещё крепче сжала его руку.

— Я соскучилась, — сказала она на ухо Борису.

— Я тоже, — ответил он.

За окнами летел в бездну, грохоча на стыках, мрак подземелья. Борис с Анной неслись сквозь чёрное чистилище метро в светлый и уютный рай, берега которого пахли цветами. Тишиной и покоем. Там можно любить и работать, жить полноценной жизнью. Но за пределами этих берегов находилась, будто на распяты, Тамара, обрюзгшая, постаревшая, жалкая. И всё же — родная. Сбросить её в пропасть, оторвать с корнем от души своей Борис не мог и считал преступлением. Он вздохнул, но ещё крепче прижал Анну к себе.

В прихожей, не сговариваясь, они судорожно начали раздеваться. Бросали вещи прямо на пол, обжигая друг друга глазами, путались в пуговицах, застёжках и молниях. В свои тридцать пять она была прекрасна, как луг, залитый солнцем. Борис упал рядом с нею, уже не в силах сдерживать себя.

В какой-то момент Ганин снова услышал музыку. Она плыла из сиреновой долины их общего путешествия. То была музыка рук, губ, волос, всего тела Анны, которое и создано, казалось, только для любви.

Потом они долго лежали в расслабленной неге и слушали тишину. Она накрыла их лёгким пуховым покрывалом, под которым можно было ощутить ровный стук собственного сердца, шелест далёкого океана и шёпот высоких звёзд. Свет и тьма в цветном ожерелье, принесённом на крыльях нездешней птицы, бездонная тишь, мерцание нехитрого, первозданного счастья. Тут, в эти минуты было всё. Вся вселенная. Вся музыка и гармония мира.

Борис посмотрел на Анну. От её красоты можно было потерять зрение. И оглохнуть. Как оглох Бах от шума музыкального водопада. Борис с печалью вспомнил ещё, что такой же красавицей была когда-то его Тамара. Горе и вино сожгли её.

— Я люблю тебя, — сказал Борис и не соврал. — Но...

— Не нужно, — прошептала Анна. — Я всё знаю.

— Вряд ли, — сказал Борис. — Всего знать невозможно.

Борис промолчал. Он представил себе, как Тамара бродит по комнате на косячках. Или сидит со спутанными волосами за столом. А может, валяется на диване, пусто глядя в бездонный потолок.

— Тебе трудно. Я знаю, — сказала Анна. — Я не говорю: выбирай. Это значило бы согнуть тебя. Но ты, наверное, должен всё же...

— Что должен? — резко спросил Борис. Может быть, резче, чем хотел.

— Не знаю, — сказала Анна. — Видимо, придётся что-то решать. В конце концов, ты сам поставил себя перед выбором. Одной лишь фразой: “Я люблю тебя, Анна”. Как ты будешь жить с этим? Тем более писать. Ты не сможешь раздваиваться. Это не в твоей натуре. Видишь, получается, я сама себе противоречу. Но что поделаешь?

— О, Господи! — простонал Борис. — Я не могу бросить её. Она сирота. Никого нет. Кроме меня. Если я её брошу, Тамара покончит с собой. Поверь мне. Всё так и будет. Она как ребёнок. Понимаешь?

Он завернулся в простыню, встал и закурил. Анна легла на бок и, облокотившись на руку, смотрела на Бориса.

— Ты красивый, — сказала. — Не мучай себя. Всё как-нибудь решится само собой. Жизнь мудрее нас. Мудрее сентиментальных заповедей. Хотя, как *посмотришь с холодным вниманьем вокруг...*

— Я сыграю тебе, — не то спросил, не то сказал Борис.

— Боже мой! — вспыхнула Анна. — Мы обо всём забыли. Конечно, сыграй. Я только наброшу халат.

Борис достал ноты и сел за фортепиано. Анна устроилась в кресле, поджав под себя ноги. Он играл вдохновенно, точно, цветисто, со всеми оттенками звуков, отражая, как в зеркале, пережитое в последнее время.

В последние годы, месяцы и дни. Под его руками оживали горе, радость, грусть, отчаяние, кровь, пот и счастье любви. Смерть и жизнь. Одна тема сменялась другой, форте уплывало в пиано, зло сгорало в добре. Благие помыслы плавно поднимались по винтовой лестнице в далёкие, безбрежные небеса.

Потом они сидели за столом и пили за новое сочинение Бориса, за Анну, за любовь, за всю чудесную музыку мира.

— Ты, наверное, устал сегодня? — неожиданно спросила Анна.

— С чего ты взяла? — удивился Борис.

— Тогда иди ко мне. Мы с тобой так редко видимся.

Они снова любили друг друга. Изысканно, томительно, страстно.

Около одиннадцати Борис засобирался домой: его мучили дурные предчувствия.

— Я позвоню, — грустно сказал он перед дверью.

Анна печально улыбнулась.

— Позвони.

Дома всё ещё стоял неистребимый запах блинов. На кухонном столе торчала опорожненная наполовину бутылка шампанского. Две сигареты, затухшие и сконканные, как попало, валялись рядом с пепельницей. Тамара, широко раскинувшись, снова лежала на диване во всей верхней одежде. Большая нога, неловко вывернутая, свисала до пола. На носу виднелась кровавая ссадина. Это значило, что Тамара падала, и Борис представил себе, как она поднималась.

Тамара громко и натужно храпела. От этого храпа хотелось бежать куда угодно. Борис вздохнул и вынул пачку сигарет. Жить здесь у него больше не было сил, но и бросить жену в таком состоянии он просто не мог: слишком многое связывало их. В тупом безмолвии Борис выкурил на кухне сигарету. Тут стояла какая-то могильная тишина, словно кто-то настолько сжал пустоту, что в неё не мог просочиться ни один звук. Дым висел над головой голубыми, застывшими волнами. Где и как он проглядел Тамару? С этим нужно было что-то делать. Только вот что?

Ночь сулила ему череду кошмаров, если вообще сон мог посетить его под аккомпанемент громогласного храпа. Борис зашёл в ванную и принял душ. Тело посвежело, но душу всё равно скребли чьи-то острые когти. Он расстелил постель, выключил свет и лёг. Ужасный храп Тамары, словно в отместку за измену, терзал его. Неожиданно она снова начала стонать, бредить, говорить с кем-то. Борис прислушался.

— Архангел! — отчётливо молила Тамара. — Почему ты молчишь? Уйдите все! Оставьте нас одних. Расходитесь. Оставьте нас одних. Ну, что ты стоишь, Гавриил! Неужели ты не можешь понять? Меня зовут Тамара. Ты же знаешь, мне нужен младенец. Ребёнок, Гавриил! Неужели ты не можешь понять? Осталось совсем немного времени. Бабий век короток.

Потом начался какой-то словесный винегрет, и Борис понял: дело плохо. Он вскочил и набрал номер “скорой”. Машина приехала довольно быстро. Врач и с ним двое подручных медиков осмотрели Тамару. Но и проснувшись, она никого не видела, продолжая говорить с кем-то другим.

— Она верующая? — спросил врач?

— Да, — сказал Борис. — Но не очень.

— Я где-то читал, что глубокая вера приводит к фанатизму, — сказал один из медиков.

— У неё другое, — объяснил Борис. — Она не может родить ребёнка. Поэтому...

— Ясно, — сказал врач. — Мы заберём её. Психоз — это не шутки. Это, может быть, звонок с того света. Правда, — замылся доктор, — потребуются лекарства и всё такое.

Борис понял его и достал из пиджака сто долларов.

— Хватит? — спросил он.

— Для начала — вполне, — ответил врач. — С нами ехать необязательно. Вот адрес. — Он быстро набросал на листочке координаты больницы. —

Дня через три-четыре можете её навестить. К этому времени, думаю, она уже очнётся. Но учтите, лечение долгое. Минимум — месяц-полтора.

Подручные медики осторожно подняли Тамару. Она всё ещё не понимала, что происходит, и водила по сторонам безумными глазами. У подъезда негромко урчал медицинский “рафик”, от которого, казалось, пахло больницей. Перед машиной санитары положили Тамару на носилки, и на колесиках закатали внутрь. “рафик” укатил, дымя синим хвостом.

Борис вернулся домой. Снова ступил в чугунную, давящую тишину, от которой могли лопнуть барабанные перепонки.

— Ну и денёк... — сказал он. — Два-три таких, и можно съехать с ума.

Теперь он работал, сжигая себя. Иногда вспоминал Анну, тосковал о ней, хотел показать уже написанные клавиры, но она была так далеко, словно на другой планете. Борис боялся отрываться.

Тамара медленно поправлялась. Мешки под глазами исчезали. Но вид у неё оставался жалкий. Она выходила к Борису в нелепом халате с покорно-печальной улыбкой, будто потеряла дорогого и близкого человека. По сути, так оно и было.

— Здравствуй, Лапа. — И земля со скрипом поворачивалась на своей оси, возвращая Бориса в их прошлую жизнь. Как в калейдоскопе, за одну минуту пронеслись былые концерты, овации, цветы, города, люди. Что говорить: всё было. Олимп. Высота. А теперь?

— Здравствуй, Лапуля. Как поживаешь?

— Ты совсем зарос. Одичал без меня. Что это с тобой?

— Пишу “Сад”. Третью часть. Ничего не замечаю. Ни одной свободной минутки.

Дальше разговор не складывался и был похож на скомканную бумагу. Тамара чувствовала отчуждение мужа.

— Ты, наверное, сильно устаёшь, Лапа?

— Не знаю, Лапуля. Может быть. Когда работаешь, будто перелетаешь в другое измерение. Ты же знаешь, там всё иначе

— Это верно, — соглашалась Тамара. — Ну, работай. Помогай тебе Господь.

— Я принёс тебе ещё еды. Целый пакет. Потом разберёшь.

На этом разговор и кончался. После вынужденного, недолгого молчания Борис наспех обнимал Тамару и снова превращался в прозрачный, но живой, пульсирующий слух.

Так пронеслись дни, недели. Борис не замечал времени. Не знал, какое число. Даже час. Будильник стоял незаведённый, а наручные часы валялись где-то под умывальником.

И вдруг в один из дней ворота захлопнулись. Канал связи оборвался. Ганнин больше ничего не слышал. Он заметался, как зверь, попавший в капкан. Но даже теней звуков больше не существовало. Мелодии и темы умерли. В ушах стояла зудящая, подземная тишина.

Борис сжал руками голову и упал на диван. Тупо заныло сердце. Какое-то время он лежал неподвижно. Тело будто омертвело. Всё окружающее заполнилось тонким, отвратительным гудением, похожим на неумолчный писк металлических комаров.

Борис поднялся и прошёл на кухню. Достал из холодильника дежурную бутылку и налил рюмку водки. Через некоторое время после выпитого противный писк пропал. Борис немного успокоился. Он знал, что канал связи не может работать непрерывно. Значит, нужно немного переждать. Он посмотрел в окно. Темнело. Густая зелень весны тихо стояла за окном плотной стеной уже народившейся жизни. А над пушистыми деревьями и лиловыми кустами сирени висели яркие, тёплые звёзды.

Он отправился бродить по улицам, а когда вернулся, машинально заглянул в почтовый ящик. Газеты, журналы, рекламные листки, письмо. Борис не стал разглядывать конверт: наверное — Тамаре, подумал он. Ему уже сто лет никто не писал.

Но это письмо пришло от друга из Германии, куда в числе прочих стран были отправлены в своё время клавиры “Сада”. Музыкант почувствовал сильное волнение, руки слегка дрожали, когда отрывал кромку конверта. Два листа. Один, с гербовой шапкой, официально извещал о том, что симфония “Сад” принята к работе Берлинским симфоническим оркестром. Тут же на русском языке приглашение на репетиции. Второй лист содержал дружеское, личное поздравления Курта и пожелание дальнейших творческих удач.

Оказалось, тут ещё одно поздравление. Его прислал главный дирижёр оркестра Ганс Крюгер. Он писал от руки неплохим слогом, что хорошо знает и ценит русскую культуру. Повествовал Крюгер и о том, что, дескать, неоднократно бывал в Москве, начиная с 1945 года, когда ему пришлось в качестве военного заключённого строить в Измайлово жилые дома. Говорил о том, какие сложные чувства ему пришлось испытать к России на протяжении долгих лет холодного непонимания друг друга и как он был по-человечески счастлив, когда бетонная стена, наконец, рухнула. Писал о том, что, несмотря на страшные годы фашизма, войны, мирного отчуждения, у него в России много хороших друзей — музыкантов, поэтов, писателей, художников. Поэтому он чрезвычайно рад, что этот круг людей пополнится ещё одним одарённым и, более того, необыкновенно талантливым человеком. Что он, Ганс, будет просто счастлив работать с Борисом Борисовичем и желает скорее обнять его в стенах Берлинского концертного зала, а ещё больше — у себя дома, где и жена, и дети тоже будут очень рады встрече.

Некоторое время Борис сидел оглушённый. После всего пережитого ему трудно было поверить в случившееся. В висках туго и напряжённо толкалась горячая кровь. Он вспомнил отца. Борис не знал его. Вернее, знал только по фотографиям. Память Бориса-сына не сохранила в сердце человеческих признаков Бориса-отца. Он, отец, был тяжело ранен в Сталинграде, а вернувшись с войны, продолжил боевую деятельность. Но уже на мирном фронте, в милиции. Погиб в пятьдесят пятом в схватке с бандитами. Борис тогда ещё был в бессознательном годовалом возрасте. От отца остался певучий баян да старенькая мандолина. Эти два музыкальных предмета и определили жизненный путь Бориса Ганина.

И вот сейчас он получил признание и приглашение от человека, который, вполне возможно, мог оказаться в те далёкие времена в одном тяжёлом бою с его отцом. Только по разные стороны. А что? Очень даже просто. Нервный смех и рыдания пробили Бориса, словно электрическим током.

— Ах, Россия моя, Россия! — шептал музыкант, размазывая по щекам слёзы. — Красавица. Мадонна. Богиня. И дура! — рыдал и смеялся Борис. — Эх, Россия!.. Твои сыновья дарят тебе бриллианты, а ты выбираешь бижутерию. На стороне. В этом твоя извечная беда. Для кого я писал свой “Сад”? Для кого?!

Утро заплывало к Борису негромким птичьим пением. Форточки были открыты, и душистая весна окропляла в комнате все предметы запахом сирени, одуванчиков и мокрой травы. По подоконнику топталась косяными лапками пара голубей. А на потолке контурный танец заоконной зелени: маленький карнавал теней, который, как правило, освежает поутру душу и отбрасывает в детство. Особенно если рядом с прыгающими тенями пляшут блики солнца. Но радости у музыканта ни от вида весны, ни от долгожданного признания почему-то не было. Почему? Ведь всё уже поросло пыльной травой памяти. Пройдёт время, и Великая Отечественная останется лишь на пожелтевших страницах истории. Кто сегодня, скажем, с болью вспоминает о войне 1812 года? Уже давно нет ненависти к французам, не говоря о поляках, турках, монголах и прочих, прочих. Так что же тебя мучает? Или время ещё не покрывлось сивою мглой? Торчат то тут, то там снаряды и кости погибших. Ещё сверкают в праздник Победы ветераны своими сединами и орденами. И летит над Красной площадью лихая “Катюша”. Ещё стоят у вечного огня с обнажёнными головами обездоленные потомки. В этом-то, наверное, всё дело.

От канала веяло холодком. В небольшом отдалении по воде мягко скользили серебристо-золотые байдарки, управляемые маленькими механическими фигурами гребцов: шла очередная тренировка. Борис сбросил с себя одежду и голышом весело плюхнулся в реку. Поплавал, медленно выбрался из воды, шагая по мелким острым камням. На асфальтовом берегу попрыгал, присел, разогнал кровь и почувствовал себя молодым, здоровым, сильным.

Дома он собрал для Тамары пакет с продуктами, прихватил и письмо из Германии.

Тамара вышла к нему с покорно покаянным лицом, на котором едва теплилась тень тихой монашеской улыбки. Борис вдруг содрогнулся оттого, что, кроме жалости, какую испытываешь, провожая в дальнюю дорогу близкого, тем более, родного человека, ничего к Тамаре не чувствует.

— Ну, как ты, Лапуля? — спросил он чужим, холодным языком, ощущая, что никогда уже не прольётся в его голосе ни любовь к Тамаре, ни счастье, ни радость.

И всё же он поцеловал её в морщинки у глаз. Отвёл в дальний угол к кожаному дивану свиданий. Тамара ещё заметно хромала, и это лишь добавляло их встрече печали и чувства какой-то общей вины друг перед другом. Борис старался быть естественным, раскованным, весёлым, пытался шутить, но по глазам Тамары видел, что это плохо получается, если не сказать, что не получается вовсе. Тогда он вздохнул, опустил голову, помолчал и вынул заветный конверт. Она долго вглядывалась в адрес, словно была близорука и без очков ничего не видела. Однако вдруг какая-то далёкая молния прокатилась по ней. Тамара стремительно достала содержимое конверта и лихорадочно, жадно прочитала. Затем испуганно, словно это была похоронка, взглянула на мужа и снова пролетела по убористым строчкам. Наконец, медленно подняла на Бориса глаза, которые только и остались неизменными — два маленьких, прекрасных серых агата. И упала в тяжёлых рыданиях ему на грудь. Борис вдруг вспомнил, что точно так же Тамара рыдала везде: на улице, в кинотеатрах, в концертных залах, везде, где соприкасалась с убийством, большим горем или, напротив, торжеством добра. Она вздрагивала у Бориса на груди. Вздрагивала всем телом, всем своим существом, всей, в общем-то, не особенно броской жизнью. Вздрагивала вся её любовь, всё её горе и счастье. Борис молча гладил жену по голове и чувствовал, что и по его щеке медленно ползёт горькая, горячая, влажная змейка. Он снова, в который раз утвердился в мысли, что никогда не бросит Тамару, что она, как бы там ни было, — его беда, его счастье, его судьба. Борис в эти минуты твёрдо решил из России не эмигрировать. Ему нужно признание не в Германии, а здесь, на родной земле.

— Я сейчас приду, — решительно сказала она, стремительно поднялась и быстро захромала в конец коридора.

Сколько просидел Борис на кожаном диване свиданий в паутине отчуждения, он не знал. Провалился в какую-то глухую пустоту. Без мыслей. Без чувств. Без ощущений. И зрения. Он в тот момент словно умер, не понимая, где находится. Слышал лишь мягкий шёпот тапочек, чей-то негромкий, с нотами тревоги, разговор, тихий визг проезжавшей каталки. Она захела в отдалённый уголок сознания и там затихла.

Очнулся он от голоса Тамары.

— Пошли! — сказала она весело. — Жизнь продолжается!

Он поднял голову.

Тамара стояла перед ним, одетая в шубу. Глаза её сияли. Борис вдруг увидел её прежней. Такой, какой знал сто лет назад. Юной, прекрасной. Знал и любил.

— Я выписалась! — счастливо выкрикнула Тамара. — Под личную и твою, надеюсь, ответственность. Ты рад?!

И бросилась к нему на шею.

— Мы дожили до победы, родной мой! Я всегда знала, что это будет! Знала! Знала! Ура!

Сборы были недолгими, но тщательными. И всё же Борис попытался представить Тамаре свои аргументы против поездки. В ответ она лишь громко рассмеялась.

— Ты мальчишка, — сказала Тамара. — Глупый мальчишка. За что только я люблю тебя? Музыка космогонична. Она вечна, как любовь. Это одна из эманаций Бога. Музыка принадлежит всем. Неважно, где она прозвучит впервые.

Борис опустил голову. Что тут можно было возразить?

— Давай присядем на дорогу, — сказала Тамара. — Жаль, я не могу поехать сейчас с тобой.

Конечно, Борис знал, что поедет в Германию, что музыка космогонична и вечна, как любовь. Тут Тамара была права. С этим спорить глупо. И всё же какая-то заноза сидела у него в душе.

Вокзал, как улей, наполнился ровным гулом народа. Борис недолго постоял в очереди к билетной кассе. У самого окошка замешкался, словно что-то забыл. Кассирша подняла на него удивлённые глаза. Борис покашлял в кулак. Пауза затягивалась.

— Один до Тулы, — хрипло сказал музыкант и решительно протянул деньги.

Он ехал коридором весны на родину своей музыки. Нужно было поклониться ей, родине, как заветному храму. За окном плотно стояла стена молодой зелени, озаряемая время от времени подвенечной фатою проснувшейся черемухи. Уже вышло на дальние поля шоколадное стадо коров, и клевер сиреновой волной подплывал прямо к колёсам поезда. На горизонте, вдруг увидел Борис, щурясь от солнца, стояла вечная старушка — баба Наташа. Всё в том же цветном платочке.

ОЛЕГ МОШНИКОВ



ОКЛИКАЯ С ЛЮБОВЬЮ РОССИЮ...

ЖИВАЯ ВОДА

Потянулся “журавлик” колодезный вверх,
Да ведёрко взлететь помешало...
От бездумного пала, порушенных вех,
От безлюдья — деревня сгорала.

И открывший колодцы пожарный расчёт,
Зная норы породы звериной,
Водяною струёю всполохи сечёт
Огнедышащей пасти змеиной, —

Будто вправду Добрыня коня понукнул
И махнул рукавицей о стены!
Поселковых бойцов невелик караул,
Да былинные скрепы нетленны:

С Богатырской заставы подмога идёт —
На погибель поганому Змию!..
Над спасённой деревней журавлик плывёт,
Окликая с любовью Россию.

МОШНИКОВ Олег Эдуардович родился в 1964 году в Петрозаводске. Кадровый военный. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Служил в государственной противопожарной службе МВД и МЧС России в Республике Карелия. Работает в одной из пожарных организаций Карелии. Автор множества сборников стихов и прозы. Его произведения публиковались в журналах и альманахах Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири. Член Союза писателей России. Живёт в Петрозаводске.

Набежавшего, тёплого ливня вода
Пепел угольных ран оmyвает:
Всё, к чему на земле прикоснётся она,
И под слоем золы оживает.

* * *

Перед собой
двадцатипятилетним
снямаю каску! —
Не жалел, пострел, беззащитной шеи,
Покидая горящий барак последним, срывая маску...
Видеть зольную бездну меж нами сейчас —
страшнее.

Что ж...
Для вышнего судного дня,
задержав дыхание, разом,
в муть — глотая вино и дым,
из грызущего сердца огня,
с кожей снятого противогаза —
мне не выпорхнуть
молодым...

ОБОНЕЖСКОЕ ЧУДО

Жене Марине

Кружится мир! — с Галилеем в расчёте —
В бездну Вселенскую верует Рим...
В ночь набежавшую позвездочётим,
Рядом на банных дровах посидим:

Дача роднит с тишиною келейной
Дым и смородину, небо и твердь,
В мир — необъятный, душевный, семейный —
До бесконечности можно глядеть.

Тёмными чашами, млечным отливом
Тянется летних деньков бытиё:
Нет уже времени быть несчастливым...
Вот оно, Господи, чудо твоё!

* * *

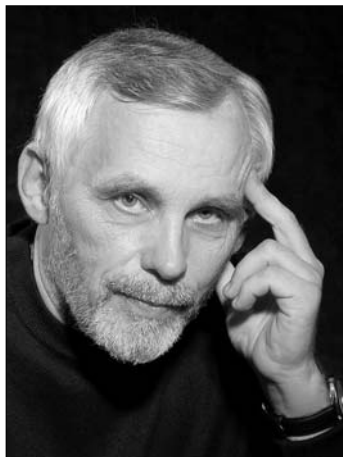
На Пищем болоте — до пояса мох,
И тяжесть воды не случайна,
Когда мимо кочки заступит сапог,
И чёрная, зыбкая тайна
Сомкнёт над звездой холодную синь,
Горящие алые буквы.
И вытянется Слово молитвы: “Аминь”, —
Цепляясь за ниточки клюквы...

Раскинувши руки на острове лечь —
Забыться в осиннике рыжем
И листьев осенних тревожную речь

О скорой разлуке услышать...
Но голос небесный зовёт и зовёт,
Качаясь на нитке недлинной, —
На Пищем болоте на будущий год
Увидеть отлёт журавлиный.

.....
Коллектив редакции поздравляет нашего автора с юбилеем!

ВИКТОР ПЕТРОВ



...МОЙ КИТЕЖ ВО МНЕ!

АНГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ

В. Распутину

Баню растопили по-белому,
Жизнь крутнулась наоборот...
Баба сердобольная беглому
Ставила еду у ворот.

Ох, и веник, розги берёзовые —
Разве нужен мне рай иной?
Споры с мужиками серьёзные
После копанки ледяной.

Пить не пьём, а чинно чаёвничаем,
Может, рядышком дух святой.
Скажут: “Мы живём ничего ещё,
Любим париться, золотой.
Что ж теперь народ искалечился,
Злющий, точно осиный рой?”

...Подорожниковой жалельщицей
Стань, деревня за Ангарой!

ПЕТРОВ Виктор Сергеевич родился в г. Авдеевка Донецкой области. “Рабочими университетами” его были порт, бондарный завод и судостроительный завод, служил он в ракетных войсках. Окончил Ростовский государственный университет. Главный редактор литературно-художественного журнала “Дон”. Автор 17 поэтических сборников. Лауреат Всероссийской премии имени М. А. Шолохова и журнала “Юность”.

Если что-нибудь и осталось
У людей ещё от людей,
Это деревенская жалость —
Устыдись её, лиходей.

КИТЕЖ

Я ветром по свету гоним,
И слышен поруганный гимн,
Как звон колокольный на дне —
Град Китеж, мой Китеж во мне!
Сказал победитель: “Восславь...”
Я славил не сон — славил явь,
И звёздному верил огню,
И мир весь держал за родню.

Отец-победитель, звезда,
Казалось, отец — навсегда...
А в небе не стало его —
И нет на земле ничего.
Я слёзы стираю с лица,
Зову себя сыном конца.
Мне жить остаётся в бреду,
Победу сменив на беду.

Не страшно, что нежить... Страшна
Та музыка скорби со дна.
Я встану при гимне — мечту
Минутой молчанья почту.
Где Китеж?.. Таит белый свет
Во мне ли суровый ответ?..

РЕШЁТКА

Острые звёзды Кремля
Ранили русского зверя,
И задрожала земля,
Веря Христу и не веря.
Лучше страдать на кресте,
А не поддаться расколу:
Тянется крест к высоте,
Прочее клонится долу!
Я загадаю орла —
Выпадет решка, решётка...
ВОхра заломит крыла,
Сплюнет: “Желаешь ещё так?”
Родиной звать не могу
Лобное место для неба:
Кровь запеклась на снегу
После Бориса и Глеба.
Это чужому закат
Вроде бы красные розы —
Мат вопиет, перемат
С ласками лагерной розги.
Эх, без креста — да в Сибирь!
Там ли острожную муку
Вылечит чёрный чифирь
Тягой к сердец перестуку?

МАВЗОЛЕЙ

Я ночью шёл средь бела дня,
А ветер злей и злей...
Пустите к Ленину меня —
Откройте мавзолей!

Увидеться бы надо с ним,
Поверить явью сон:
Вознёсся к небу и судим,
Не умер, мёртвый, он.

Означен псевдонимом вход
Как некий знак и весть;
Я оглянулся: где народ,
Где совесть, ум и честь?

Сама собой открылась дверь,
Повеял холодок...
О, Русь, живучий край потерь,
Не Запад, не Восток.

Я к Ленину вошёл, как в сон,
И умолчу, что там;
Кем был на этом свете он,
Решает каждый сам.

Звезда и крест... На высоту
Их поднимает кол:
Молился век, да не Христу,
Иконой стал раскол.

Помянем, как гремел салют
И белый конь скакал,
И пели то, что не поют —
“Интернационал”.

Вчера — Ульянов-Ленин, вождь,
Сегодня ты — изгой,
Когда брусчатку бросит в дрожь
От музыки другой.

Куда идти во тьме срамной?
Летят из края в край
Два крика над моей страной:
“Умри!” — “Не умирай!”

УРА!

Ура! Фидель освобождает Кубу,
И мы сбиваем самолёт У-2,
И сборная выигрывает кубок,
И первые рифмуются слова.

Худой пацан, примериваюсь к рингу,
Мечтаю быть известным всей стране...
И съездить с мамою охота в Ригу —
Там есть у нас родня... Привет родне!

А в армию идти ещё не скоро,
И Светкин бирюзовый свитерок
Во сне терзает выреза укором,
И я опаздываю на урок.

Залатанный швербот грустит о небе,
Что эхом продлевается в реке,
И золотого солнца скифский гребень
Коня вычёсывает вдалеке.

Свободный конь рванётся... Был — и нету!
Душа моя живая — аргамак:
Ищи-свищи, коль смел, по белу свету,
А только не отыщется никак...

Душа прибьётся к валу крепостному:
Устанет, станет в нимбе царских врат
И вздрогнет, памятуя о постое,
Откуда возбраняется возврат.

* * *

Полудикий табун за рекой —
Гривы длинные, ржание, храп...
Я какой-никакой — хуторской,
Это Гера — заезжий арап.
Он прикупит соседский курень
Да и втридорога запродаст,
Не заметив плакучую тень
Возле белых загубленных астр.
Я хожу, я смотрю на людей,
Но под вечер к Задонью гребу:
Что мне “ящик”, а в нём лицедей —
Лицедея видал я в гробу!
Мне бы только табун отыскать
И арканом словить жожака —
Волчью сыть, сатанинскую статью,
Неклеймённую плоть далека.
А потом — непонятней всего! —
Перерезать арканную нить
И, рукой не коснувшись его,
Отпустить, как себя отпустить.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ



ТИХОНЯ

РАССКАЗ

Прозвище дали в училище. Так и прилипло на всю жизнь. Вначале Владислав обижался, иногда и кулаками доказывал, что никакой он не Тихоня, хоть и фамилия Тихонов. Потом понял — прозвище действительно ему соответствует. Рост скромный. Немногословен. Незаметен. Криком не берет, убедить старается.

Поняли и одноклассники — Тихоня фору даст многим. Учитяся отлично. Первые разряды имеет по нескольким видам спорта. Упорства и воли не занимать. Товарищу всегда поможет. Надежный парень. Те, кто знал Тихоню, не понаслышке, признавали его превосходство, не единожды избирали секретарем комсомольской организации. Владислав общественную работу не любил, но доверие старался оправдать. Слова у него и здесь с делами не расходились.

— Вы, товарищ капитан третьего ранга, на последнем собрании присутствовали?

— Присутствовал, — неуверенно подтверждает командир роты.

— Почему же препятствуете выполнению решения, которое, между прочим, принято единогласно?

— Вы принимали, вы и выполняйте. Я-то при чем?

— Срываете подготовку вечера со студентами.

— Что ты от меня хочешь?

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович родился в городе Коломна Московской области в 1945 году. Более тридцати лет прослужил на Военно-морском флоте. Капитан 1-го ранга в отставке, кандидат исторических наук, доцент Балтийского Военно-морского института. Стихи и рассказы печатались в сборниках "Антология калининградского рассказа", "Балтийский флот", в журналах "Балтика", "Параллели", во флотских газетах и журналах. Живёт в Калининграде.

— Увольнения для участников.

— Откуда ты на мою лысую голову свалился? Давай увольнительные.

С медалью окончив училище, Владислав выбрал корабельную службу на Северном флоте. Женится на однокласснице.

Командир, здоровяк под два метра, офицеров подбирает под стать себе. Поэтому Тихонова встретил не ласково. Не смотрелся Тихоня.

— Может, на берег хочешь? Устрою. Договорюсь с кадрами.

— Зачем? Мне корабль нравится.

— Справишься? Матросов два десятка, мичманам палец в рот не клади — откусят и выплюнут.

— Постараюсь.

Здорово пришлось постараться Владиславу. Досрочно сдал на все виды допуска.

— Хорошо, — отметил командир, — однако это учеба, не служба.

Перед призовыми стрельбами случилось несчастье с родителями у корабельного артиллериста. Убыл в отпуск по семейным обстоятельствам. Командир заволновался. Давай флагманского специалиста трясти:

— Где замена? С кем в море выходить? Не с Тихоней же?

Замены не было.

Все тренировки командир корабля проводил на командном пункте боевой части. Не доверял Тихонову. Тот, не выдержав, заявил:

— Товарищ командир, своей излишней опекой вы мешаете подготовке.

Не волнуйтесь, я постараюсь не подвести.

И не подвел. После стрельб командир сдержанно похвалил:

— Молодец, серьезные вопросы решать можешь.

Доверили Тихоне боевую часть. В передовики он не лез, однако был им всегда. Командование только руками разводило. Как так? Голоса никогда не повысит. Отругать подчиненного по-флотски, со вкусом не умеет. А все крутится будто само собой. Им бы догадаться, несообразительным, что в этом и есть искусство руководства. Да разве поймешь, когда хамство и грубость стали нормой.

Скажет Тихоня седому мичману:

— Валентин Семенович, я вами сегодня не доволен.

Покраснеет Семенов, засопит словно чайник, свирепо на старшин посмотрит. Те на матросов покосятся. Никто спать не ляжет, пока порядка не наведут. Неэффективно выглядит со стороны. Поэтому, когда в очередной раз встает вопрос о выдвижении Тихонова, начальники помнутся, помнутся и, не найдя ничего существенного против, заметят:

— Какой-то он не такой. Тихоня. Пусть еще послужит. Дозреет.

Так и перезрел Тихонов. С кем лейтенантом начинал, кораблями командуют. Замкнулся. Друзей порастерял. Супруга с непонятной радостью сообщит:

— Опять тебя, Тихоня, объехали. Витька Зыков звонил, очередное звание обмывать приглашает.

“Вот язва, — подумает Владислав. — Ну, ей-то не все равно, кто муж: адмирал или мичман”. Однако, поразмыслив, соглашался: наверное, права. Обидно. Понять можно.

Дело свое продолжал исполнять добросовестно. Иначе не мог. Без прежнего, правда, азарта, интереса. Выпивать стал. Напиваться не напивался. Стопку-другую опрокинет в одиночестве. Никому не жаловался, ни с кем мыслями не делился.

Весь экипаж Тихоню уважал и сочувствовал. Не было грамотнее офицера. Казалось, не существует на корабле помещения, устройства, которое бы он не знал. Самоуверенная молодежь сколько раз пыталась его подловить. Безуспешно. Закроет Тихоня на минуту глаза и выдаст информацию, словно компьютер у него, а не военно-морская голова, забитая, как у большинства, ненужными бытовыми мелочами.

В семье разлад начался. Жена недовольна.

— Что я на твои деньги куплю? Детей одеть, накормить надо. Сама как оборвыш хожу.

Молчит Владислав, себя винит, не заметил, как Светик, цветочек ненаглядный, превратилась в сварливую, завистливую бабу.

Терпеть дальше немоготу. Одна радость осталась — дети. Все свободное время проводил с ними. Выберутся в выходной на природу, к кромке леса подойдут. Впереди лишь редкие самые смелые сосны. К морю выбежали. Стволы кривые, крученые, ветви корявые, узловатые. За их спиной остальные. Растут красивые, прямые, стройные, беспечные. Не понимают, какой ценой за их покой заплачено. Ляжет Тихонов на песок, на спину, дети рядом. В синь небесную глаза опрокинет, рассказывает:

— Вон облако на старинный фрегат похоже. Того гляди, засвистят боцманские дудки. Побегут по вантам матросы паруса ставить. Вон другое, словно дядька Черномор от дружины отставший, устало из пены морской выходит.

Таращат ребята глазенки, и верится им, так оно и есть. Вопросы за вопросы цепляются. Время летит незаметно. Солнце вот-вот в море утонет. Пора домой возвращаться.

Когда дочка и сын улеглись и уснули, Владислав позвал жену, смотревшую очередной латиноамериканский сериал:

— Света, подойди. Разговор есть.

— Вечно ты не вовремя, — недовольно огрызнулась она. Но, почувствовав необычность тона, которым слова были сказаны, пришла на кухню.

— Сядь. Вот заявление о разводе. Считай, мечта твоя исполнилась.

— Какая мечта? — Жена оторопело, не понимая происходящего, смотрела на лист бумаги.

— Ты столько лет твердила о том, что ошиблась в выборе мужа. Теперь проблема устранена.

— Славик, не обращай внимания на глупую женщину. Никто мне кроме тебя не нужен. Как я жить-то одна буду?

— Света, у меня пустота в душе. Перегорело. Лучше разрубить, чтобы друг друга не мучить.

Настроение у жены резко изменилось. Она встала, поджала губки:

— Ты еще об этом пожалеешь, Тихоня.

— Может быть, — равнодушно ответил Владислав и пошел в детскую комнату. Пристроился рядом с сыном на кровати.

Утром, как всегда рано, Тихонов поспешил на корабль. При подходе к гавани услышал аварийную тревогу. “Не на нашем ли что случилось?” — мелькнула мысль. Прибавил шагу. Точно. С соседних кораблей аварийные партии толпятся у трапа. Из двери на шкафуте дым валит. Старпом как ужаленный мечется. Матом кроет, усиливая неразбериху. Тихонов по трапу взбежал. Дежурного за руку схватил. Дернул резко:

— Что случилось? Коротко и ясно.

— Пожар в помещении приводов. Задымленность. Ничего не видно. Вентиляцию не включаем, боимся, сильнее полыхнет. Разведчиков посылали в изоляционных противогазах. Те шишки набивали и назад возвращались.

Представил Тихонов, что произойдет, когда рванут ракеты, находящиеся над горевшим помещением, подошел к старпому.

— Чудак ты, Венья, на букву М... Уйди и не позорься, коли руководить не способен.

Старпом глаза выпучил. Силится сказать, да слова в горле застряли. Против правды не попрешь. Только зубами заскрежетал.

Выхватил Тихоня у старшины противогаз, надел и шагнул в дым. Исчез, будто растворился. Отсутствовал недолго. Вынырнул неожиданно. В руке пара полусгоревших яловых ботинок. Выкинул их за борт.

— Вентиляцию включите. Считайте, пожар ликвидирован, — нервно улыбаясь, бросил Тихонов и ушел в каюту.

На подъем флага не явился. Когда командир вызвал его и начал благодарить за смелые и решительные действия, слушать не стал. Протянул рапорт об увольнении из Вооруженных Сил.

Командир, зная характер Тихонова, только головой покачал. Этот от своего решения не отступит. Вслух произнес удрученно:

— Идите, Владислав Викторович, разберемся.

Вызывали Тихоно различные начальники. Объясняли настойчиво, какой он хороший и достойный всяческого и немедленного продвижения. Должности ему предлагали.

В ответ звучало одно:

— Я решение принял. Служить не буду.

Они стыдливо замолкали, понимали — теряют толкового, преданного флоту офицера, из которого мог бы вырасти руководитель высокого полета, не им чета. И подписывали рапорт.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

ГЛАВА 7

БИТВЫ В ИМЛИ

Защита диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук на тему “Становление романа в европейской литературе (XVI–XVII в. в.) состоялась 4 июля 1958 года в присутствии одного из официальных оппонентов – Романа Михайловича Самарина. Второй – Геннадий Николаевич Поспелов – отсутствовал по не известной нам причине.

– Диссертация, которая представлена сегодня вниманию Учёного совета, – начал своё выступление Кожин, – посвящена проблеме становления романа. В этой работе мне хотелось выяснить вопрос о том, когда, как и почему формируется один из ведущих жанров новейшей европейской литературы.

... Уже Гегель со всей силой подчеркнул, что литература создаёт преимущественно образы царей, полководцев, выдающихся деятелей. И по отношению к античной и средневековой литературе это совершенно верно. Как известно, Гегель объяснял данный факт тем, что высокое положение героя даёт ему свободу в волеизъявлениях и действиях, а это, в свою очередь, имеет громадное значение для художественной полноценности.

Это объяснение Гегеля по-своему спорно; но вместе с тем оно явно односторонне. Главное состоит в том, по-видимому, что литература Античности и Средневековья вообще не могла отразить своё общество, не обратившись к фигурам предводителей и героев, ибо только в них с действительной полнотой воплощались черты этого общества, поскольку именно они действительно представляли, олицетворяли в себе свой родовой или политический коллектив. И эти герои “свободны” в своих поступках как раз потому, что они представляют целую человеческую общность, которая и даёт им волю и силу.

В романе, формирующемся в период разрушения феодального общества, выступают совершенно иные герои, которые уже не являются подобными политическими представителями. Это “частные”, погружённые в свои личные дела и интересы люди. Образы царей, полководцев, предводителей отступают на второй план.

Столь значительное изменение предмета изображения, а значит, и самого содержания эпоса обусловлено глубокими преобразованиями в самой

действительности. Феодалные сословия и касты разрушаются, и люди оказываются связанными друг с другом, по выражению Маркса, “только узами частного интереса”. Человек впервые начинает выступать как личность, как самостоятельная индивидуальность, а не как член определённой корпорации. Но разрушение феодалных перегородок ведёт также и к тому, что “частный”, погружённый, казалось бы, в свои узкие отдельные интересы человек оказывается всесторонне, универсально связанным со всеми другими людьми, с целым обществом, и поэтому как бы вбирает в себя черты целого общества.

Тем самым становится возможным воплотить основные особенности и тенденции целого общества, изображая личную судьбу и переживания отдельного частного человека, что было немыслимо в предшествующие эпохи.

Именно это обстоятельство определяет, по-видимому, возникновение и развитие романа как новаторской формы эпоса. . .

Далее Кожинов кратко охарактеризовал содержание каждой из глав диссертации и сформулировал её основную задачу – “показать глубокую закономерную связь одного из важнейших литературных жанров с самой действительностью, с эпохой в её целостности, с жизнью широких народных масс”.

– Роману, – подчёркивал исследователь, – свойственна эстетическая “нейтральность”, “многогранность”: он вбирает в себя и сливает в неразложимое единство многообразные эстетические линии и оттенки. Это отличает роман как от эпических форм прошлых эпох, так и от “сатирических” и “высоких” жанров нового эпоса и драмы. . . Создавая “объективированное” изображение действительности, картину развёртывающихся во времени и пространстве человеческой жизни, роман с наибольшим успехом достигает “иллюзии” жизни, создаёт ощущение “достоверности” изображаемого. С другой стороны, эпическая форма способствует изображению действительности в её многогранности (в отличие от известной “однолинейности” драмы), позволяет охватить мельчайшие подробности и детали. . .

Иначе говоря, в эпосе наиболее полно воплощается природа новой художественности. Поэтому именно роман (а не драма, как в литературе Античности, Возрождения, классицизма) является центральным жанром новой литературы.

Роман – это не только эпическое произведение (к эпосу принадлежат также новелла, определённые виды очерка и т. д.), но и произведение эпопейное, имеющее цель дать широкий охват действительности, картину целой сферы жизни. . . Роман обладает отчётливо выраженной сюжетностью. . . Сюжетность выступает в романе как определённое следствие более глубоких особенностей романа: его объекта, его эпической природы, присущего ему изображения “естественного” течения жизни. . . Наконец, в силу своих особых черт роман является принципиально письменным жанром. Если героическая эпопея и даже рыцарский эпос могли плодотворно развиваться в устной традиции, то для романа это исключено: его специфическая природа находит действительное осуществление лишь в письменности. Это обусловлено. . . его несовместимостью с традиционными, “постоянными” приёмами устной поэзии (роман как раз стремится к “неповторимости” содержания и формы) и, с другой стороны, его большим объёмом, рассчитанным на охват широчайшего материала. Между прочим, роман в силу всего этого и не может получить значительного развития до распространения книгопечатания. . .

Я хорошо осознаю, что извлечённые из диссертации, эти положения выглядят, быть может, слишком общими и абстрактными. В диссертации я стремился подтвердить свои выводы на конкретном историко-литературном материале, стремился проследить, как вызревали эти черты романа на раннем этапе его развития. Если это в какой-то мере удалось мне, я мог бы считать свою задачу выполненной.

После слова Кожинова были зачитаны отзывы Самарина и Пospelова, после чего синклит приступил к обсуждению диссертации.

Г. Л. А б р а м о в и ч. . . Мне. . . представляется. . . что основные положения диссертации, рассматривающие возникновение и становление первоначального романа в связи с определёнными условиями социальной жизни,

не вызывают сомнения. И всюду делается акцент на этом объективном начале, и это объективное начало не всегда связывается с субъективным осознанием, чувствованием рассматриваемой диссертантом эпохи... это, пожалуй, как говорил т. Кожин в своём вступительном слове, объяснялось тем, что, увлечённый идеей показать, что связывало роман с теми объектами, которые выдвигались жизнью, он вторую сторону — отражение в самом субъекте — несколько упустил...

Большая заслуга диссертанта заключается в том, что он не только рассмотрел роман внутри данного одного рода, но показал глубокую и широкую связь романа и с фольклором в смысле первоисточка, и с новеллистикой, и с сатирой Возрождения, и с народным романом, т. е. он брал литературный процесс в целом и соотносил все свои суждения с самым широким фоном, на котором всё это было представлено.

Здесь отмечалось, что некоторые страницы диссертации читаются с увлечением. Я читал с увлечением страницы, посвящённые “Дон-Кихоту”, которые производят впечатление понимания широчайших связей с литературой того времени, так что об этом можно было бы читать в специальной диссертации, посвященной Сервантесу.

Далее Абрамович перешёл к замечаниям. У него вызвало очевидное неудовольствие “превращение термина “роман” в оценочный эпитет”, то, что “роману приписывается демократизм содержания и формы”. Но здесь Григорий Львович от теории плавно перескочил на идеологию, от демократизма жанра как такового он перешёл к “демократическому наполнению” содержания. “Роман роману рознь, — заявил он, — и то, что может быть отнесено к реалистическому или прогрессивному роману, не может быть отнесено к романам Коллинза, романам второго сорта или, например, к романам Всеволода Соловьёва...”

И, наконец, главная претензия: “Некоторая натяжка и в том, что решительно противопоставляется сатира роману”.

Эта же тема была затронута и в отзывах оппонентов.

И Кожин оппонентам ответил.

— Особо следует отметить, что ряд положений диссертации вызвал у оппонентов противоречивую оценку. Так, например, если Роман Михайлович (Самарин. — С. К.) отрицательно отнёсся к положению о самостоятельности сатирических эпопей Рабле, Свифта, Вольтера, об их принципиальном отличии от романа, то Геннадий Николаевич (Поспелов. — С. К.) поддержал это положение.

Вопрос о сатире очень сложен и очень интересен в теоретическом отношении. В нашей современной науке существуют, как известно, самые разные концепции сатиры. Так, например, если Роман Михайлович и ряд других литературоведов отказываются считать сатиру самостоятельным жанром, то Я. Э. Эльсберг в своей недавней книге о сатире определяет последнюю как самостоятельный поэтический род.

Словом, совершенно очевидно, что данный вопрос выходит далеко за рамки обсуждаемой работы и решить его можно лишь на самой широкой арене нашей науки. Мне представляется всё же, что сатира, в особенности монументальная эпическая сатира Рабле, Свифта, Вольтера, Щедрина, Франса, Чапека, являет собою глубоко самостоятельный жанр, имеющий свои законы и качественно отличный по своей природе от романа.

Он возражал оппонентам и по поводу одного из основных положений диссертации, “что авантюрно-бытовой роман XVII века не является реалистическим, но скорее “натуралистичен”. И Самарин, и Поспелов были с этим категорически не согласны, и Кожину пришлось дополнительно обосновать свою точку зрения.

— В диссертации я стремился показать те особенности авантюрно-бытового романа, которые позволяют ставить вопрос о его натуралистичности.

Это, прежде всего, отсутствие глубокого взаимодействия характеров и обстоятельств, несвязанность, “параллельность” героя и мира, которые скорее сосуществуют, чем взаимодействуют.

Это, во-вторых, “случайность” в перипетиях сюжета, случайность, становящаяся здесь осознанным художественным принципом... Эта “случайность”, если можно так выразиться, далеко “не случайна”.

Дело в том, что в феодальном обществе отношения между людьми и даже их судьбы были строго регламентированы, устойчивы, “закономерны”. Поэтому в период распада феодального строя, в период, к которому и относится авантюрно-бытовой роман, условия жизни, как говорит Маркс, представляются людям совершенно случайными.

Лишь значительно позже люди и, разумеется, художники ощутили, а затем и познали те невидимые, но тяжкие и неумолимые цепи, которые приковывают отдельную личность к целому буржуазному обществу. Но на первых порах это сознание было невозможно. И случайность, царящая в “художественном мире” ранних романов, таким образом, исторически обусловлена.

Наконец, ещё одна черта авантюрно-бытового романа, которую следует указать, состоит в отсутствии цельной художественной концепции. Романы эти, как правило, состоят из совокупности или, точнее, цепи отдельных, пёстрых, слабо связанных эпизодов и зарисовок. Легко видеть, что это также определяется характером самой исторической действительности периода распада старого общества и только лишь начавшегося формироваться нового.

Эти и другие подобные соображения позволили мне поставить вопрос о неправомерности отнесения авантюрно-бытового романа XVII века к реализму. И дело здесь заключается, прежде всего, не в слабости или неспособности романистов “подняться” до реализма, но в особенностях самой эпохи. На данном примере, как мне кажется, хорошо видно, что реализм есть не степень таланта автора, но исторически обусловленное явление.

Стоит ещё остановиться на отдельном замечании Г. Абрамовича, подхваченном им у Р. Самарина:

— Я совершенно согласен с Романом Михайловичем, который выражает сомнение в отношении преувеличения значения “Жития” протопопа Аввакума. Говорить о “Житии” протопопа Аввакума как о первом великом романе и от него проводить нить к “Путешествию” Радищева, к “Былому и думам”, к произведениям Достоевского... Это, конечно, преувеличение.

Эта реплика осталась без ответа. Кожинов и не собирался вступать здесь в полемику, ибо глава о “Житии” была одной из ключевых в его диссертации, легшей в основу будущей книги “Происхождение романа”. Анализ европейского плутовского романа, “Дон Кихота”, “Принцессы Клевской”, “Манон Леско”, как и анализ ренессансной новеллы в России и художественного мира аввакумовского “Жития”, явленные через несколько лет не учёному филологическому синклиту, а широкому читателю, создали Вадиму Кожинову бесспорную репутацию не только крупного учёного, но и литературоведа, в книге которого роман словно сам рассказывает о своём происхождении. И рассказ получается увлекательнейшим.

“...Невозможно уяснить ни что такое роман, ни историю его рождения, оставаясь только в плоскости формы, — утверждал исследователь, — ибо форма возникает в процессе освоения нового содержания, вбирает его в себя и как бы становится его концентрированным выражением, отпечатком... Цель... не в том, чтобы исследовать до сих пор не освещённые литературные факты, но скорее в том, чтобы по-новому осмыслить более или менее известное”.

Но именно это “осмысление более или менее известного” и стало неожиданностью для читателя, уже загипнотизированного рассуждениями, исподволь кочевавшими по литературным статьям и докладам о том, что старый реализм умер, что время традиционного романа кончилось, что “нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно”. Преимущественно подобные идеи озвучивались писателями, критиками и литературоведами Западной Европы и США, но и в СССР они находили немало сторонников, обалдевших от только-только прочитанных Пруста, Джойса, Камю и стремившихся поэтому похерить как старый добрый русский, так и мировой роман, как “воинствующе несовременный”.

Кстати сказать, небезынтересными были выступления на периодически проходивших в это время в ИМЛИ советско-чехословацких симпозиумах, на одном из которых Кожин, при полном одобрении присутствующих (отнюдь не “догматиков”) заявил, что настоящие художники всегда были противниками формализма, а чешский литературовед М. Томчик сформулировал своё несогласие с западными “мэтрами” по основному пункту:

“... Вопреки пророческим предсказаниям Берля, Анри Масси, Андре Жида и многих других, убеждённых в том, что эра романа ушла в прошлое, что вместо физического времени в центре эпических произведений должно быть время лирическое, эгоцентрический или совсем обезличенный герой, развитие романа не остановилось”.

Борьба молодых теоретиков, “романтиков реакции”, как их изволили тогда называть, с разными “новациями” (в частности, отрицанием романа) на страницах четырёхтомной “Теории литературы” была как никогда ко времени и к месту. Ничего удивительного, что одни “замшелые догматики” защищали эту дерзкую молодёжь от других – ничуть не менее “замшелых”... Кожин в протяжении своей диссертации практически не вступал в прямую полемику (он отдал ей минимум места в книге). Все атаки на роман он опровергал самими строем и логикой исследования о его происхождении.

Прежде всего, он “реабилитировал” испанский рыцарский роман конца XV – начала XVI века: “Консерватизм и невежество многих позднейших исследователей породили совершенно ошибочное представление о “рыцарских романах” этого времени как о нелепых, бессмысленных рассказах чисто развлекательного свойства. Одной из причин этого послужило поверхностное восприятие той критики рыцарских повествований, которая содержится в “Дон Кихоте”... Небывало широкое увлечение литературой, которое вызвали ренессансные “рыцарские романы”, закономерно породило, – очевидно, впервые в истории литературы – то, что мы теперь назвали бы халтурой – бездарные и подражательные книги. Но лучшие “рыцарские романы” по праву входят в сокровищницу искусства Возрождения”... Но рыцарское повествование и роман в современном смысле – “это два существенно различных эпических жанра”, притом “рыцарские повести и поэмы... не предшествуют роману, как часто думают. Народные романы, подобные “Тиллю Уленшпигелю”, складываются... одновременно с ренессансной рыцарской литературой...” Более того, к “предроманной” стадии, на которой формируется “стихия художественности, “монументальным”, воплощением которой явится роман”, он относит итальянскую новеллу XIV века.

Чистая теория... Что называется, для учёных, для “своего цеха”... Но на наших глазах начинает оживать сам роман в его зарождении, становлении, расцвете. И вместе с жанром оживает само время, воплощённое в слове, будь это итальянская “фацетия”, “Жизнь Ласарильо с Тормеса” или “Забавное чтение о Тиле Уленшпигеле”, оживают человеческие типы, воплощённые на страницах древних книг, оживают в восприятии читателя XX столетия.

“Если в книге новелл была только совокупность проявлений частной жизни, её вспышек, обусловленных той или иной конкретной ситуацией, то в повествованиях, подобных народной книге о Тиле Уленшпигеле, герой уже сам по себе непрерывно излучает стихию частной жизни; она заключена в нём как некое внутреннее пламя. Он уже словно вобрал в себя скрытые, рассеянные в жизни токи нового мироощущения и нового практического отношения к окружающему”.

И в скитаниях и приключениях самого Тиля Кожин видит “своего рода социально-историческое озорство, какая-то человеческая тенденция целой эпохи... Герой, выпавший из отведённой ему ячейки в феодальной системе, отправлялся в вечное, прерываемое только смертью странствие и тем самым обретал личную, частную судьбу... Тиль был уже похож скорее на бездомную осу, которая летает сама по себе и подчас жалит добродетельных пчёл во встреченных на пути ульях. В основе содержания книги лежит такое живое противоречие, которое способно непрерывно излучать художественную энергию, богатый человеческий смысл”.

В этом заключена тенденция переломного времени, в чём-то, возможно, совпадающая с тем переломом, который происходит на глазах автора “Происхождения романа”. Кожин не упустил случая подчеркнуть, что “и плутовские романы именно теперь имеют живое современное значение. Ибо сама

эпоха распада и умирания капиталистической цивилизации (напомним, всё это пишется в конце 1950-х, когда не только в СССР, но и на самом Западе многие и многие жили в ожидании конца капиталистического мира. — С. К.) во многом родственна тому времени, когда плутовское повествование было основной формой романа... Люди без паспорта, дезертиры, авантюристы, люди, презревшие своё общественное положение и профессию, — вот герои многих романов Хемингуэя, Ремарка, Стейнбека, Сарояна, Олжингтона, Дос Пассоса, Ромэна, Бёлля и других современных писателей. Это и Феликс Крулль, и джойсовский Улисс, и в особенности новейшие герои литературы “сердитых молодых людей и битников”...

... Так творится новая, “ещё не известная повествовательная форма”, где “относительное *равновесие*, равновеликость частного, опирающегося лишь на себя человека и целого мира составляет нерв нового эпоса, ядро его художественного смысла”. И происходит это именно в конце эпохи Возрождения — не раньше и не позже. “Роман скорее результат, вывод этой эпохи, чем её собственный жанр”.

Время рассматривается через нового героя, эпического героя, “стремящегося изменить целый мир, а не устроить замкнутый мирок для себя”. Но это лишь начальная стадия становления жанра. И Кожинов подробно рассматривает такое особое явление, как “историческое бродяжничество”, в котором “выплавлялись и совершенно новый человеческий тип, и столь же небывалые отношения индивида и целого”. Бродяга и плут, лишённый “всех традиционных источников и гарантий существования”, прозаический, низменный герой, в котором “содержится... и стихия человечности, и неистребимая, трепещущая сила жизни”... “... Сама художественная тема реальной и прозаической борьбы человеческой личности за существование предстаёт с такой прямоотой и определённой *впервые* в мировой литературе”.

И сам роман под пером исследователя “прорастает из-под *развалин* основных эпических форм предыдущей эпохи, ибо во время возникновения романа происходит именно разложение прежнего эпоса”. И само слово в романе “выступает не только как *средство* изображения, но и как *предмет* изображения... Иначе говоря, в романе происходит настоящий переворот и в области художественной речи”.

Самое главное, что пытается донести до читателя исследователь: “переход от героического рыцарского эпоса к низкому плутовскому — это переход не от идеального к реальному, но к новой реальности”, который “совершился в силу всеобщего сдвига самой жизни” в условиях, когда “освобождающаяся энергия как бы не может найти для себя русла, необходимого пути, и в результате наступает время общественного хаоса”... Лишь через 20 лет выйдёт в свет книга великого Алексея Фёдоровича Лосева “Эстетика Возрождения”, после которой никакая идеализация той эпохи станет в принципе и невозможной, и неприемлемой. Кожинов подступил к разработке этой темы в конце 1950-х.

В анализе “Дон Кихота” обращает на себя внимание не только подробный анализ побудительных мотивов главного героя в эпоху “противоречивого сочетания феодально-рыцарской формы и ренессансного содержания”, что было “неотъемлемой закономерностью жизни Испании конца XV — начала XVI века” (попутно автор отметил, насколько искажён смысл романа в снятом по нему отечественном кинофильме, где главную роль исполнил Николай Черкасов). “Дон Кихот прав и одновременно неправ в своем бунте против мира, — утверждает Кожинов, — сталкивающиеся с ним простые люди неправы и вместе с тем правы, когда они отвечают градом насмешек или даже камней на его поступки. Многогранность смысла сервантесовского повествования... с очевидностью выступает в художественном сопоставлении Дон Кихота и пикаро Хинеса де Пасамонте”.

Кожинов, пожалуй, был первым исследователем, обратившим внимание на этого персонажа, который, в отличие от главного героя, “говорит на языке реальной жизни, который неизбежно снижает и теряет открытую высоту и глубину бесконечного человеческого духа” — и он же покоряет зрителей своим кукольным представлением. “Всё дело в том, что Сервантес сознаёт ценность и необходимость обеих сторон и с горечью изображает их разорванность и несовместимость в современном мире. Однако величайшее значение романа Сервантеса состоит не только в том, что он обнажает эту разорванность,

сколько в том, что он *преодолеывает* её...” Ибо “сама эта грубая и непросветлённая жизненная материя таит в себе подлинную идеальность”.

Здесь Кожинлов уловил и выявил основную суть жанра, в котором “именно взаимопроникающая цельность героики и прозы, возвышенного и низкого, трагичности и комизма, их неожиданная “взаимооборачиваемость” составляют внутреннюю природу романа, вытекающую из природы самой человеческой действительности эпохи его становления и развития”.

“Принцессу Клевскую” Мадлен де Лафайет Кожинлов охарактеризовал, как первый в истории литературы психологический роман. Более того, “в романе Лафайет едва ли не впервые создаётся *психологический эпос*; движение чувств воссоздано так же эпически, как жесты, поступки, вещи, предметные события”.

Совершенно новую стадию развития романа Кожинлов увидел в “Манон Леско” Антуана Прево. Он охарактеризовал книгу, как “первый образец подлинно *великого романа*”. “Этот роман, — писал исследователь, — имеет первостепенное значение и ценность не только как предвосхищение будущего, но и как определённое завершение прошлого. И с этой точки зрения никак нельзя ограничиться проблематикой одного лишь образа Манон. В высшей степени знаменательно, что роман, названный автором “История кавалера де Гриё и Манон Леско”, с XIX века известен под именем “Манон Леско”. Можно с серьёзными основаниями утверждать, что для восприятия XVIII века на первом плане был именно де Гриё с его поражающе сильной и глубокой любовью, а не объект этой любви — “плутовка” Манон...” Кожинлов подчёркивал, — вопреки парадоксальным, но устоявшимся мнениям литературоведов, — что роман Прево предшествует “Памеле” Ричардсона, романам Мариво и “Новой Элоизе” Руссо, из которых его ранее “выводили”. “В повествовании Прево впервые выступают в полном смысле “средние” характеры, и это есть одно из главных открытий романа”. Более того, “роман Прево не только предшествует книгам Стерна; через голову Стерна он предвосхищает, например “Пармский монастырь”... Финал “Манон Леско” Кожинлов дерзко и красиво сопоставил с финалом “Тихого Дона”, что дало ему возможность сделать непреложный вывод: “В этом эстетически многогранном стиле повествования трагизм, конечно, не исчезает, не растворяется; он просто не выступает в чистом концентрированном выражении, но освещает изнутри все частности, движется через них как не ослепляющий глаза и всё же видимый, осязаемый внутренний ток. Так создаётся своеобразное и незаменяемое “обаяние” формы романа — формы, которая в книге Прево, разумеется сложилась стихийно и незавершённо. В шолоховской сцене похорон Аксиньи эти образательные принципы предстают в неизмеримо более развитой и углублённой форме. Но в романе Прево, созданном за два столетия до того, новая художественность одержала, пожалуй, первую великую победу. “История кавалера де Гриё и Манон Леско” показала, в частности, что роман может занять законное и необходимое место в сфере большого искусства — в одном ряду с высокими трагическими драмами и поэмами”.

А теперь вспомним слова оппонентов о “преувеличении” значения “Жития” протопопа Аввакума. Это “преувеличение”, по сути, не было аргументировано, ибо представление обсуждающих заиклилось на “средневековости” и “реакционности” самой фигуры Аввакума. Кожинлов в главе, посвящённой Аввакуму, и сам допустил иные непродуманные формулировки, вроде следующей: “Возглавленное им движение было бесплодно и быстро выродилось в реакционную секту...” На самом деле староверчество никогда не вырождалось “в секту”, оно сохранило до наших дней духовные устои, завещанные русскими первосвященниками. Но сама фигура Аввакума как писателя в кожинловской интерпретации обрела смысл совершенно “революционный”, особенно если учесть время написания диссертации.

Он предстаёт под кожинловским пером как фигура, сосредоточившая в себе кричащие противоречия русского XVII века. И “само его повествовательное искусство совершенно ново по своей природе, ибо Аввакум непосредственно изображает человеческую личность и её всецело личные отношения с другими личностями... Средневековый характер носят многие *идеи* Аввакума, но не его человеческое существо. Как тип человека Аввакум, напротив, далеко “обгоняет” своих противников... Как раз противники Аввакума обладают средневековым сознанием: вся ответственность с их точки зрения лежит на

царе, который, в свою очередь, установлен Богом и обычаем, а человек должен исполнять только высшую волю. Между тем Аввакум — всего лишь протопоп, к тому же расстриженный, — утверждает и берёт на себя личную ответственность за судьбы мира”... Развивая эти мысли далее, Кожин, по сути, начинает отрицать и “средневековость” идей Аввакума, рисуя его как *ренессансную* фигуру, ибо идеи, за которые протопоп пошёл в огонь, неотделимы от его человеческого существа, его духовной основы. “...Эта тенденция (ренессансная. — С. К.) едва ли не наиболее ярко проявилась в Аввакуме, его человеческом существе. Он апеллирует к прошлому и насаждает церковное благочестие, но он утверждает старые идеи сам, от себя, в то время как в средневековом обществе они утверждаются верховной властью или силой обычая... Аввакум, пытающийся сам, лично, вопреки верховной власти и уже изменённому обычаю, вернуть прошлое, предстаёт всё же как совершенно новый тип человека, немислимый в Средневековье... Кроме того, защита старины у Аввакума часто выражает вовсе не его идейную реакционность, но его демократизм... И сама религиозность Аввакума пронизана именно демократическим духом, как бы возвращающим христианской идеологии её первоначальную свежесть...”

Отсюда следует вывод, совершенно не тривиальный как для эпохи нового взрыва фанатического “богочерчества”, так и для литературы о “Житии” в целом, когда непримиримо разделялись художественная значимость этого великого произведения и “реакционность” мировоззрения его автора: “...Каким образом идейный вождь фанатичных русских раскольников XVII века мог обрести столь мощный и буйный ренессансный дух, как могла вырасти в этих условиях столь яркая и дерзкая личностная энергия? И вот с этой точки зрения нет противоречия между судьбой Аввакума — вождя старообрядцев — и существом его личности; первое всецело определяет второе... Переполнившая личность Аввакума духовная мощь даёт ему возможность чувствовать себя словно равным целому миру, вмещать в себя “небо, землю и всю тварь”. И это происходит не несмотря на борьбу Аввакума за старое благочестие и не вопреки его роли вождя раскольников (а именно такие объяснения нередко даются исследователями), но закономерно рождается в этой борьбе и в этой исторической роли. Противоречивость Аввакума — не столько результат его личной исключительности, сколько отражение противоречивости русской жизни второй половины XVII века, а значит, и последующего развития, ибо “узел” завязывается здесь. Именно поэтому творчество Аввакума, запечатлевшее противоречия его личности и эпохи в целом, обладает громадной ценностью, **которая только возрастает со временем** (выделено мной. — С. К.).

Дерзость исследователя здесь сродни дерзости автора “Жития”. “...Аввакум в самом деле осознаёт глубокое новаторство своего повествования, — с гораздо большей ясностью, чем позднейшие исследователи, — утверждал Кожин. — ...Происходит рождение новаторской литературы, которая исходит не столько из предшествующей традиции, сколько из самой жизни. Поэтому профессиональное творчество (а оно к XVII веку было достаточно высоко развито на Руси) вдруг словно растворяется, сливается с народным. Литература как бы начинается заново, на пустом месте... Крайне существенно уже то, что автобиографический роман Аввакума (именно так к финалу главы определил “Житие” Кожин. — С. К.) изображает духовные искания, идейную борьбу, которая станет определяющей темой позднейшего русского романа”.

Это было смело, непривычно, явно “не традиционно”... И тем не менее, все присутствующие были покорены исследовательским стилем, подлинно писательским в о с к р е ш е н и е м жанра в его исторической эволюции. Лишь один человек из девятнадцати проголосовал против присуждения степени (им был испанист Михальчи, пытавшийся уличить Вадима Валериановича в “фактических ошибках”). Кожин стал кандидатом филологических наук.

Через несколько лет на основе диссертации он издаст книгу “Происхождение романа”. Докторскую он защищать не будет, приоритеты станут совсем иные. И неоднократно пересмотрит свои взгляды и на жанр, и на природу романного слова.

“Как литературовед, — вспоминал Георгий Гачев, — он (Кожин. — С. К.) был хорошо, лучше меня начитан и в мировой науке, и в советской: в частности, прекрасно знал труды ОПОЯЗа, формалистов, гриба, Виноградова

и многих других. И “Эстетические взгляды Дидро”, книгу моего отца Дмитрия Ивановича Гачева, читал и ценил... И на обсуждениях был щедрым генератором идей — и знаний, и ассоциаций... В Вадиме немало эпох отложилось и сказалось — культурных слоёв, рудоносных жил... И его жизнь, и то, что написал — книги, статьи, — это всё “исповедь горячего сердца”. Да, когда мы, уже став друзьями в ИМЛИ в конце 1950-х годов, “три мушкетёра” теории литературы: Кожин, Бочаров и я (Гачев “выпустил” здесь четвёртого — Палиевского, — что, впрочем, объяснимо его последующей ассоциацией. — С. К.) — приравняли себя к братьям Карамазовым; Кожин выходил Митя, Бочаров — Алёша, я же — Иван”. Почему Митя? Потому что “открыто страстный — и потому контактный”...

“Учитесь мыслить смолоду”, — этот завет Ильенкова Кожин и его друзья восприняли как жизненную заповедь. Кожин всю жизнь учился мыслить. Огромная начатность, “проработанность” прочитанного и — страсть, страсть первооткрывателя таившихся смысловых пластов в хорошо известных и, казалось бы, многожды изученных произведениях в неразрывном слиянии с воплощениями изменений человека в истории — вот что открывало в Кожине даже не исследователя, а своего рода литературного “археолога”, и одновременно — “волшебника”, под пером которого оживают эпохи, герои, персонажи... Он заражал своим вдохновением, полётом своей мысли, поначалу столь непривычной... Работал быстро и убеждал своей уверенностью в абсолютной возможности подъятия неподъёмных глыб, в том числе и своих соратников. Статья “Художественный образ и действительность” для 1-го тома “Теории литературы” была написана им практически мгновенно после разговора, во время которого один из друзей выразил сомнение в самой возможности в ближайшее время создать подобную теорию. “Это работа на сто лет”, — услышал Кожин и ответил: “Поступим так. Дайте мне три дня, и я принесу готовую статью”.

Друзья работали, подчас выбиваясь из плановых графиков Института, за что на них периодически “катило бочку” начальство. Эльсберг, всегда готовый встать на их защиту, и тот однажды не выдержал. На одном из собраний дирекции он, выслушав все нападки на теоретическую группу, согласился с тем, что имеют место “... иждивенческие настроения (с сатирическим преувеличением: я такой умный и талантливый, что государство должно мне платить, а сколько я сделаю — это неважно), ослабление дисциплины и самодисциплины, опоздание с представлением работ, нежелание регулярно и ежедневно работать, поиски так называемого творческого вдохновения как жизненного условия, стремление лишь к формальному выполнению планов, о чём говорил У. Гуральник, “скряжничество” в этом отношении в наибольшей степени выявились у С. Бочарова, П. Палиевского, Е. Ермиловой. Известным извинением для П. Палиевского и Е. Ермиловой служит то, что они вообще пишут мало и что работа Палиевского для сборника “Литература и новый человек” получила высокую оценку всех, читавших её...”

То есть результат работы Палиевского оказался гораздо значительнее всей “самодисциплины” и “формального выполнения планов”. Но факт остаётся фактом: “теоретическая группа” имела репутацию самых настоящих вольнодумцев, которых время от времени огревали по голове, но с которыми всерьёз сделать ничего было невозможно: больно хорошие результаты выдавали, да и прикрытые “мастодонтами” кое-что значило!

Но были разборки в ИМЛИ и посущественнее.

Крайне интересно проходила защита кандидатской диссертации Людмилы Фёдоровны Киселёвой на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме “Теоретические и творческие искания Фадеева в связи с развитием художественного метода социалистического реализма”.

Самоубийство Фадеева произошло тремя годами ранее. Слухи о предсмертном письме распространились не только среди жителей Переделкина, но и в широких писательских кругах, и не могли не дойти до сотрудников института. Конечно, никто из них не знал и не мог знать горчайших слов этого послания: “Литература — эта святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых высоких трибун — таких, как Московская конференция или XX партсъезд, — раздался новый лозунг “Ату её!” Тот путь, которым собираются “исправить” положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей,

находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой всё той же “дубинки”... Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных...” Мало кто знал и о последней встрече Хрущёва и Фадеева за два дня до самоубийства писателя, когда Александр Александрович бросил Хрущёву в лицо, что тот — бывший троцкист, а Хрущёв прервал встречу со словами: “До лучших времён” (об этом уже на склоне лет рассказала присутствовавшая при этом Валерия Борц).

Но правительственное издевательство над Фадеевым видели все, читавшие некролог, где писатель был объявлен жертвой алкоголизма. По коридорам шелестело, что Фадеев не выдержал угрызений совести, ибо сам “подписывал приговоры писателям”, что он, кончившийся как художник, удостоверился в бездарности своего последнего романа... И вот на фоне происшедшего, на фоне всех разговоров и разговорчиков, соискательница представляет диссертацию, в которой объявляет весь творческий путь прозаика и бывшего генерального секретаря Союза писателей непогрешимым и имеющим огромное значение для будущего... И вот после вступительного слова Людмилы Фёдоровны слово взял “оппонент”. Не оппонент официальный, а оппонент всей концепции — из многих, присутствовавших на защите.

А д ж а м я н:

— Я думаю, что было бы вполне закономерно, чтобы после стольких благодарностей, которых удостоился ряд товарищей из института, дать повод нашей уважаемой диссертантке выступить уже не с перечнем благодарностей, а с резкими полемическими выводами для того, чтобы можно было бы сегодняшний диспут о диссертации сделать более плодотворным и интересным.

Хочу обратить внимание на некоторые недостатки работы.

...Небольшой недостаток диссертации — это то, что диссертантка настолько хорошо ознакомилась с архивом писателя, настолько перевоплотилась в самого писателя, что стала смотреть на вопросы творчества Фадеева так, как смотрел сам Фадеев...

И, конечно, товарищи, все те потуги, всё то совершенно не нужное усердие, которое применяет Людмила Фёдоровна для того, чтобы доказать, что “Чёрная металлургия” — это произведение очень большое, очень обещающее, жаль только, что оно не было закончено и т. д., — ни к чему. Потому что “Чёрная металлургия” ещё не является литературным фактом создания художественного произведения для читательских масс... В данном случае мы знаем положение этого романа, так же, как и романа “Последний из удэге”...

Я уже не говорю о другом недостатке, о котором здесь было сказано и официальным оппонентом: относительно того, что почему же всё-таки нет достаточного взгляда на то, как много весили на чаше весов попутчики. Ведь попутчики, в конце концов, победили, одержали победу над РАППом перед непредвзятой и справедливой совестью и судом нашей партии. Дело в том, что РАПП неслучайно встал на путь келейности и сектантства. Это сектантство было заложено в психике РАППа, будь лидером Авербах, Фадеев, Ермилов или кто-либо другой. Этого порока наша диссертантка не заметила. И жаль, что в этом отношении диссертантка не поняла того большого значения, которое представляет собой талант... Отсутствие понимания того, что в наших условиях революционных преобразований в стране сам талант весит очень много, и, наоборот, притязательная бездарность является в высшей степени большой помехой, отсутствие этого понимания является, как мне кажется, другим небольшим недостатком данной диссертации.

Но мне хочется говорить о главном недостатке этой работы. Здесь мне ясно, что диссертантка, будучи под непосредственным начальством и научной опекой своего руководителя, могла, конечно, очень много пострадать. Если она мало пострадала, то это делает ей честь, что она вышла из этого поединка не с такими большими поражениями.

Но тем не менее, нисколько не желая сказать, что в этом большом основном недостатке виноват т. Щербина, — наоборот, считаю, что в этом виноваты и Щербина, и Анисимов, и сама диссертантка.

Понятно, что это выступление не могло остаться без ответа, и начался диалог на повышенных тонах.

И. Анисимов:

— Виноват. И виноват ещё в том, что я не регулирую регламента. Вы насчёт РАППа говорите такое безобразие! Вам диссертант ответит, но надо взвешивать свои слова, когда Вы говорите. У нас учёный совет.

Аджамян:

— Во-первых, Вы забываете, что Вы не можете регламентировать. Вы забыли, что Вы здесь не для того, чтобы окриками мешать.

Анисимов:

— Вы изволили говорить, что партия уступила “Перевалу”. Слышали вы это?

Голоса с места:

— Слышали.

Анисимов:

— Я не могу позволить Вам говорить такую чушь!

Аджамян:

— Не перевирайте мои слова! Я сказал, что попутчикам было отдано предпочтение перед РАППом.

С места:

— Это тоже неверно.

Аджамян:

— Пожалуйста, выступайте. Я выступаю не с истиной, истину можно говорить только начальству вроде Щербины или Анисимова.

Повторяю, основной недостаток в том, что диссертантка полагает, что Фадеев является образцом, носителем социалистического реализма. И вот этот недостаток является главным, против чего я считаю своим долгом выступить.

Дело в том, что метод социалистического реализма, который был признан методом всех наших лучших советских и зарубежных прогрессивных писателей, может быть допустим в той мере, в какой это относится к идеологии, но отнюдь не прибегая к такой натяжке, как вопрос о творческом методе: одно — дело творческий метод и совершенно другое дело — идеология, политика, философия и проч. Почему? Потому что под творческим методом мы понимаем нечто такое, что не является непосредственно социологическим понятием, творческий метод — это эстетическое понятие. Если эстетическое понятие — творческий метод — свести к формации и сказать: “творческий метод социалистического реализма” — это всё равно, что открыть путь той догматике, которой как раз РАПП долгие годы занимался...

С места:

— Социалистический реализм существует?

Аджамян:

— Он существует, но как идеология, а не как творческий метод.

Анисимов:

— Я прошу Вас заканчивать.

Аджамян:

— Я просто критикую ваши глубочайшие ошибки, которые очень дорого обходятся нашей культуре. Я уже несколько раз пытался этот вопрос ставить и в вашем институте, но Вы, как председатель, всё время меня прерывали.

Анисимов:

— Я прошу Вашу речь заканчивать.

Аджамян:

— Вы заботитесь о своей репутации, а эта репутация не очень высока.

...Мы не можем продолжать такие разговоры, что Говард Фаст (в своё время мы очень много говорили о Говарде Фасте, что он мастер, сейчас не говорим), Олдридж и Фадеев — мастера. Это надо отбросить. Потому что никогда формационные понятия не могут стать понятиями эстетическими...

Главное, что является недостатком данной диссертации, это то, что Фадеев берётся как истинный носитель социалистического реализма как творческого метода... И мне кажется, что здесь мы идём по линии непозволительной аналогии и продолжаем ту линию, которая у нас была ещё до XX съезда. Вообще XX съезд ещё нашей литературой в достаточной мере не оценён, а ин-

ститут вовсе и не хочет считаться с выводами XX съезда. Пора, товарищи, понять, что именно на XX съезде окончательно был дан отпор тому чудовищному культу личности, с которым нельзя не бороться. А если уж мы будем бороться, то нельзя этот вопрос не ставить в прямую связь с публицистическим наследием Фадеева. Фадеев не является, уважаемая диссертантка, автором большого литературного наследия эстетического порядка, как Вы утверждаете. У него очень богатое наследие по линии литературно-политического жанра. Это литературная политика, очень оторванная от эстетики, очень оторванная от истоков искусства и того прекрасного, что является зерном всякого искусства и всякой эстетики. В конце концов, конечно, это привело к очень большим потерям в нашей литературе: очень многие мастера пострадали, а то и погибли при этом...

Конечно, институт и наши литературоведческие работники могут сказать, что мы огромную работу провели в борьбе с ревизионизмом. Но грош цена этой борьбе, если эта борьба велась с позиций догматизма... Хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы могли покончить с этим злом, чтобы идущее к нам молодое научное поколение избавилось от всего того, что мы видим даже в такой хорошей диссертации.

Нетрудно увидеть, что свою полемику с диссертанткой неведомый Аджамьян построил исключительно на идеологических, но никак не на эстетических принципах, ратуя при этом за эстетику и высокую художественность. И ответный разговор пошёл именно в предложенном тоне и в заданных категориях. В унисон с Анисимовым ("гангстером от литературоведения" в либеральном понимании) тут же выступил Юлиан Оксман.

Ю. Оксман:

— Я имею удовольствие работать в том же секторе, в котором работает Людмила Фёдоровна, я должен, прежде всего, сказать, что во время обсуждения её диссертации все мы с большим удовлетворением отмечали её вкус к теории, умение передать дыхание истории, входя глубоко в материалы, характеризующие творческие поиски в 20-х годах, её подлинную влюблённость в тот предмет исследования, которым она занимается... И хотя, может быть, и нельзя согласиться с рядом частных положений, с отдельными оценками в её диссертации, но главное, как нам всем думалось и думается и теперь, сделано Людмилой Фёдоровной на очень высоком уровне и показывает тот большой вклад, который внёс Фадеев в область именно разработки вопроса о художественном методе, методе социалистического реализма.

Мне кажется, что Людмила Фёдоровна очень убедительно и правильно показала трактовку Фадеевым вопросов, лозунгов, которые были подняты тогдашним РАППом, и своеобразную его позицию, которая, по сути дела, предвосхищала многие находки и открытия в области социалистического реализма позднейшего времени...

И меня крайне удивило выступление предыдущего оратора, который говорил о том, что Людмила Фёдоровна не учла того, что, с его точки зрения, является главным, а именно того, что попутчики, как он выразился, победили РАПП и всех пролетарских писателей, и что поскольку эта сторона не была освещена, то тем самым не были освещены тягчайшие ошибки пролетарских писателей, в том числе и Фадеева.

Мне кажется, что Людмила Фёдоровна прекрасно дифференцировала и показала, что позиция Фадеева была именно партийной, правильной позицией... Когда речь шла о передовой, авангардной роли пролетарских писателей... РАПП играл прогрессивную роль. Когда же враждебные элементы пробрались в РАПП, когда РАПП на новом историческом этапе к 30-м годам перестаёт играть сколько-нибудь прогрессивную роль, а становится тормозом для развития, тогда распускаются все эти организации, создаётся Союз советских писателей. И только так обстояло дело.

О какой победе, кого над кем шла речь? . Разве наряду с А. Толстым, Фединым, меньшую роль играли писатели типа Фадеева, Либединского, Николая Островского? Что это за противопоставление? Как можно противопоставлять?..

То, что здесь говорил предыдущий оратор — это какое-то разделение писателей, которое совершенно неправомерно и которого диссертант ни в какой мере не хотел делать.

Меня тягостно поразило и само отношение к Фадееву, которое здесь было высказано. Мы помним образ этого писателя, автора “Разгрома”, “Молодой гвардии”. Когда слышишь, что это вне эстетики, что это писатель, который не вошёл в то прекрасное, что создано нашей литературой, то мне просто больно и тягостно это слышать.

Конечно, не мог не вмешаться присутствовавший на защите главный редактор “Вопросов литературы” Александр Дементьев, полностью поддержавший Оксмана, того самого Оксмана, в котором его коллеги по работе, естественно, не видели и не могли увидеть никакого “диссидента”.

А. Дементьев:

— ...Я думаю, что выражаю мнение всех членов учёного совета, когда заявляю самый решительный протест против заявления т. Аджамяна о том, что институт, все научные работники, весь наш коллектив не ведёт борьбы против догматизма. Это бездоказательное утверждение не нуждается в опровержении, я не собираюсь полемизировать с Аджамяном, но я только хочу сказать, что если выдвигается такое обвинение, то оно должно быть доказано... Полемизировать против бездоказательного выступления не будем, но протестовать мы обязаны.

Решительно протестую против той характеристики, которую Вы даёте Фадееву. Это безобразие, это клевета! Никто Вам не позволит выводить Фадеева за пределы советской литературы и представлять его литературно-политическим деятелем, не имеющим отношения к эстетике. Решительно отвожу это и не советую Людмиле Фёдоровне по этому поводу даже и выступать.

...Я знаю т. Киселёву, знаю её работу, при мне печаталась её статья в “Вопросах литературы”. Как раз её облик молодого творческого работника диаметрально противоположен какому бы то ни было догматизму... И поэтому навешивать на молодого исследователя совершенно высосанный из пальца непродуманный ярлык — совершенно ни к чему. Это опять-таки не вызывает у меня желания полемизировать, но вызывает чувство протеста, и думаю, что это чувство протеста разделяют все присутствующие (*Голоса с мест: “Правильно!”*).

Надо Аджамяну сказать, что это не мнение начальства, не мнение председателя Ивана Ивановича, которого мы все уважаем и в отношении к которому Вы ведёте себя недостойно. Это мнение всех присутствующих, которые давно работают в литературе и которые не могут позволить Вам выступать с такого рода бездоказательными, порочащими людей заявлениями.

Аджамян:

— Рабский характер проявили.

Анисимов:

— У нас учёный совет, у нас не принято так вести себя.

Л. Ф. Киселёва:

— ...Если т. Аджамян выдвигает все эти обвинения, то ему, в первую очередь, надо обращаться не сюда, а в какие-то более серьёзные инстанции, потому что политика партии шла именно в том разрезе, который поддерживает вся наша страна, наши товарищи, члены учёного совета, и если Аджамян считает эту политику неправильной, то ему это надо заявлять туда, куда следует, а не здесь вести агитацию...

...Пройдёт три десятка лет — и все эти темы, идеи, страсти, вся эта борьба выплеснется за пределы академических комнат в открытую печать, на улицы, приобретая характер не литературной полемики, а гражданской войны, переходящей из “холодной” стадии в “горячую”... Но сейчас, отталкиваясь от услышанного, стоит поговорить о том, какой смысл вкладывался в то время в изруганное и, в конце концов, выброшенное за борт понятие “социалистический реализм”.

Надо отдельно сказать, что авторы “Теории литературы” имели свой взгляд на сей творческий метод, взгляд, который невозможно назвать ни “ортодоксальным”, ни “сверхноваторским” в смысле полного отрицания. В чём же — в их глазах — заключалась суть этого метода?

“Ревизионисты и буржуазные теоретики, — утверждал Юрий Боров, — пытаются представить социалистический реализм случайным аномальным или декретированным сверху явлением. На самом деле социалистический ре-

лизм порождён долгим историческим процессом развития литературы и является столь же необходимым продуктом мирового литературно-художественного процесса, сколь необходимым и закономерным продуктом экономического и политического процесса является социализм. Важно понять социалистический реализм как законного преемника и наследника общемирового художественного процесса, понять законы и особенности современной литературы как внутреннюю логику художественного процесса, определённую воздействием новой действительности”.

“Просвещение” настоящего будущим, — писал Сергей Бочаров, анализируя творчество Шолохова, — изображение революционного мира, в котором на почве классовых битв рождается образ нового характера, новых человеческих отношений, отмеченных чертами коммунистического завтра, — не только явление индивидуального творчества Шолохова, а закон времени, утверждённый Великой Октябрьской социалистической революцией. Неразрывное сплетение ближайших классовых задач, в частности, задач диктатуры пролетариата, и конечных целей построения бесклассового коммунистического общества — таков движущий принцип развития нового общества, закреплённый в методе социалистического реализма. . .

Тогда, в 20-е годы в литературе шла во многом предварительная, но грандиозная работа по изучению “народного моря”, литература обнаружила в нём неисчерпаемое многообразие, многослойность, многосоставность, выявила его основные силы и тенденции, — вывела и определила “закон масс”, закон победоносного утверждения в мире революционных сил истории. . .”

Кожин и Гачев пошли ещё дальше: “. . . Никогда ещё борьба в литературе не была столь глубокой и всеобщей, как в XX в. Ибо теперь встал вопрос не о замене одной формы эксплуататорского общества другой, но об уничтожении эксплуататорской формы общества вообще. И в этом смысле были далеко не случайны слова Маяковского, обращённые к Пушкину: “Битвы революций посерьёзнее “Полтавы”, и любовь пограндиознее онегинской любви”. Он был прав — в истории человечества не было более грандиозных явлений и событий”.

Молодые люди и сами чувствовали себя носителями “победоносного утверждения в мире революционных сил истории”, их всемирного смысла. Стоит вспомнить здесь ещё раз, как Кожин обнаружил черты древнего эпоса в фадеевском “Разгроме”, ивановских “Партизанских повестях”, серафимовичском “Железном потоке”, фурмановском “Чапаеве”, островском “Как закалялась сталь”. . . “В романе социалистического реализма люди дерзко врубаются в этот мир, ломают его сопротивление и творят его в соответствии со своей волей”. . . Здесь уже совершенно иное отношение к “ломке”, которой поётся настоящий литературоведческий гимн.

Внимательное чтение этих произведений, внимательное вглядывание в героя, который “идёт напролом”, позже волей-неволей вызовет вопрос о цене этого “врубания” и этого “пролома”. Обнаружится, что, по сути, достаточно умерить восторги по поводу “ломания сопротивления” мира, и эта “классика социалистического реализма” окажется “воспитателем” в подлинно антиреволюционном духе, которым Кожин со своими друзьями ещё успеет пропитаться.

Рядом с этими творениями, как бледная тень, будет воспринят и пастернаковский “Доктор Живаго”, о котором в ближайшие дни будут болтать и судачить на всех перекрёстках.

Одно из самых запоминающихся собраний в институте этих лет было заседание учёного совета, состоявшееся 3 ноября 1958 года, первый пункт повестки которого был следующий: “О действиях Б. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя”.

Прежде чем дать слово участникам этого собрания, восстановим краткую хронологию событий.

В январе 1956 года Борис Пастернак отдал машинопись романа в редакции “Знамени” и “Нового мира”. Весной того же года экземпляр романа был передан писателем для издания в Польше. 20 мая ещё один экземпляр был передан Серджио д’Анджело. 30 июня Пастернак подписал договор на итальянское издание. В августе ещё один экземпляр романа увёз в Англию Исайя Берлин. В сентябре члены редколлегии “Нового мира” отправили Пастернаку пространное письмо с отказом печатать роман. 7 января 1957 года Гослитиздат заключает с Пастернаком договор на издание “Доктора Живаго”. 13 августа

идёт уничтожающий разбор романа на заседании секретариата Союза писателей, после чего ни о каком советском издании нет и речи. 23 ноября роман выходит на итальянском языке, 27 июня 1958 года — на французском. В начале августа — при содействии ЦРУ — на русском в голландском издательстве “Мутон”. 23 октября Пастернаку присуждается Нобелевская премия по литературе.

Ещё до того, как роман был выдвинут на Нобелевскую премию Альбером Камю и Андре Мальро, Глеб Струве в “Новом русском слове” объявил, что “появление “Доктора Живаго”... даёт полное основание выдвинуть кандидатуру Пастернака на Нобелевскую премию по литературе”. И он же через несколько дней пишет в журнале *Nation*: “Могут быть и есть произведения объективно контрреволюционные. Таким произведением, что бы ни говорил сам Пастернак, является его “Доктор Живаго”... Поскольку он дойдёт до советского читателя (а тем более, если он дойдёт до него тайно), он не может не сыграть роли контрреволюционного фермента”.

Через 2 дня после присуждения Нобелевской премии в “Литературной газете” публикуется отзыв редколлегии “Нового мира”: “Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. Встающая со страниц романа система взглядов автора на прошлое нашей страны и, прежде всего, на её первое десятилетие после Октябрьской революции... сводится к тому, что Октябрьская революция была ошибкой, участие в ней для той части интеллигенции, которая её поддерживала, было непоправимой бедой, а всё происшедшее после неё — злом... Ощущение побеждающей революции до такой степени угнетает Живаго, что он готов проклинать себя, — нет, не за дела и поступки, совершённые во имя революции, таких дел и поступков за ним не числится, а всего лишь за одно минутное восхищение первыми декретами Советской власти!.. В Вашем представлении доктор Живаго — это вершина духа русской интеллигенции. В нашем представлении — это её болото... Есть в романе немало первоклассно написанных страниц, прежде всего, там, где Вами поразительно точно и поэтично увидена и запечатлена русская природа. Есть в нём и много откровенно слабых страниц, лишённых жизни, иссушенных дидактикой... Что же касается уже не самой Вашей идейной позиции, а того раздражения, с которым написан роман, то, памятуя, что в прошлом Вашему перу принадлежали вещи, в которых очень и очень многое расходится со сказанным Вами ныне, мы хотим заметить Вам словами Вашей героини, обращёнными к доктору Живаго: “А Вы изменились. Раньше Вы судили о революции не так резко, без раздражения...”

Это письмо опубликовала новая редколлегия журнала во главе с главным редактором Александром Твардовским, снабдив его соответствующим “словом от себя”: “Будучи издана за границей, эта книга Пастернака, клеветнически изображающая Октябрьскую революцию, народ, совершивший эту революцию и строительство социализма в Советском Союзе, была поднята на щит буржуазной прессой и принята на вооружение литературной реакцией”.

И в последующих комментариях, статьях, выступлениях Пастернак уже не отделялся от всего “контрреволюционного” контекста, в котором его роман обсуждался на страницах зарубежной печати, и в этом же контексте, естественно, шёл разговор о Нобелевской премии. Вместе с письмом редколлегии печаталась редакционная статья “Провокационная вылазка международной реакции”. Далее тональность разговора всё более ужесточалась, и доходило уже до прямых оскорблений. 26 октября в “Правде” появляется статья Давида Заславского “Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка”, где Пастернак фигурирует, как “озлобленный обыватель”. На следующий день состоялось заседание Правления Союза писателей (речи ораторов многократно печатались и цитировались). 29 октября Владимир Семичастный произносит речь на заседании по случаю 40-летия ВЛКСМ, где сравнивает Пастернака со свиньёй (не в пользу свиньи!) и называет его “внутренним эмигрантом”.

И уже после всего происшедшего, после отказа Пастернака от Нобелевской премии, после его покаянного письма в “Правду”, сочинённого Ольгой Ивинской, состоялось заседание учёного совета ИМЛИ.

Сейчас очень легко (и абсолютно безопасно!) было бы полить участников этого собрания потоками грязи. Но здесь лучше всего вспомнить слова самого Кожина о том, что прошлое бессмысленно критиковать — его нужно научиться понимать. А понять здесь нужно главное: после речи Хрущёва на XX съезде, после разоблачения “культа личности” Сталина, после того шока, который ещё недавно испытала страна, единственное, что могло удерживать людей в сознании справедливости сущего — культ Великой Октябрьской революции и Ленина. Своего рода символом этого культа стало открытие в конце июля того же года памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади.

Переиздание книг репрессированных писателей — Бабеля, Ивана Катаева, Павла Васильева, — которые расхватывали с прилавков советские граждане, также свидетельствовало о “вечно живой Революции”, для которой “серёдки нету”, как выражался один из героев “Тихого Дона”. Тем более, что многие из выступавших были современниками этого великого (без всякого преувеличения!) события.

Раскрыв синий томик избранных стихотворений и поэм Павла Васильева, жадно читали строки никому дотоле не известной поэмы “Одна ночь”, словно завещание следующим поколениям.

*...Но сыновья
Умней и хитрей,
Слушают трубы
Любви и боя,
В покое оставив
Матерей,
Споры решают
Между собою.
Они обветрели,
Стали мужами,
А мир
Разделён,
Прекрасен,
Весом.
Есть чёрное знамя
И красное знамя...
И красное знамя —
Мы несём.
Два стана плечи
Сожкнули плотно,
И мечется
Между ними холуй,
Боясь получить
Смерти почётный
Холодный девический
Поцелуй.*

Последние строки многие могли отнести прямо к пастернаковскому герою.

Не стоит также забывать, что победа в Великой Отечественной войне осветила и оправдала в сознании миллионов и миллионов весь путь, пройденный страной после Октября.

Итак, собрание в ИМЛИ...

Председатель В. Р. Щ е р б и н а:

— Советская писательская общественность единодушно осудила предательские поступки Бориса Пастернака, не совместимые со званием советского гражданина и советского писателя, и обратилась к правительству с просьбой лишить его советского гражданства. И мы должны со всей полнотой осознать справедливость заявления ТАСС.

Цель заседания нашего учёного совета, прежде всего, — присоединиться к общему голосу нашей литературной общественности и осудить недостойное

поведение Бориса Пастернака. Но, кроме этого, нам нельзя ограничиться только этим выражением нашего общего отношения... Нам как научно-исследовательскому учреждению необходимо разобраться в ряде связанных с этим событием историко-литературных и теоретических вопросов, подойти к ним как учёным-марксистам.

Опубликованный зарубежными врагами социализма роман Пастернака "Доктор Живаго", проникнутый клеветой на наш народ и страну, предельно обнажил подлинную политическую и эстетическую сущность его творчества.

...Вспомним статьи Лежнева, Гутнера, Тарасенкова и многих других, занимавшихся апологией Пастернака и ополчавшихся против верных критических оценок творчества Пастернака. И, как ни странно, голоса этих апологетов звучали гораздо громче, нежели трезвые марксистские характеристики эстетско-индивидуалистской основы его творчества.

Здесь придётся, как это ни грустно, отвести ряд опубликованных ранее, но недавно переизданных статей Анатолия Тарасенкова, длительное время выступавшего в качестве яростного защитника Пастернака... Не секрет, что недавно исследовательскую и политическую незрелость или детскую болезнь... проявили и некоторые наши сотрудники. Я имею в виду статью тов. Синявского, вызвавшую расхождение в секторе советской литературы, отвергнутую дирекцией. Не оказался на высоте в оценке данной статьи и заведующий сектором Леонид Иванович Тимофеев, решивший оспаривать решение дирекции, направив эту статью на отзывы рецензентам Отделения литературы и языка, но пытавшийся отстаивать там свою точку зрения.

"Центрифуга..." Обычно всегда отмечается лишь формалистический характер этой группировки, но почти никогда нельзя узнать из работ об этой группировке о воинствующей позиции этой группы против революционной эстетики, против Белинского, Чернышевского, Добролюбова, против принципов марксизма...

Не следует прикрывать именами Блока и Брюсова символизм, именем Есенина – имажинизм и широкой спиной Маяковского – футуризм и, кстати, декадентскую программу Пастернака.

Разные околотературные обыватели всё время твердят, что Маяковскому нравились некоторые строфы из стихов Пастернака, они говорят об их дружбе, но не говорят о различии позиций Маяковского и Пастернака, о пропасти, разделявшей их впоследствии. Они не говорят о том, что, собственно говоря, легенда о гибели Маяковского одновременно с принятием им революции была пущена Пастернаком. Маяковский – по выражению Пастернака – имел отношение к искусству только до революции. После "Сто пятьдесят миллионов" Маяковский уже умер как поэт задолго до своей физической смерти.

...Говоря о поэзии Пастернака, я коснусь ещё одной стороны, которая наглядно до пределов определилась в романе "Доктор Живаго", – это подчёркнутое пренебрежение к народу, к изображению простых людей. Они у него представлены антиподично, снижено. Лица у них – как тыквы, как срез мещерского сыра. Они фордыбасовы, соседи по коммунальной квартире, уплотнители. Как это не похоже на фигуру Пастернака как якобы невинного певца одного непосредственного восприятия природы и личной жизни, тончайших переживаний.

И мне кажется, что сейчас нам нужно иметь в виду замечательные слова Белинского, который говорил о том, что, когда речь идёт о вопросах литературы, чтобы верно о ней судить, нужно понять, что превыше всего: понять, что речь идёт о судьбе народа, что речь идёт об истине, о России, о Родине. Вот этим нам нужно руководствоваться в решении всех вопросов, которые жизнь ставит перед нашим институтом.

Я. Эльсберг:

– ...Корни этого романа, несомненно, находятся во всём прошлом творчестве Пастернака, и, вместе с тем, мне кажется, что этот роман является совершенно естественной частью буржуазной идеологии в том её виде, в каком мы знаем эту буржуазную идеологию по западноевропейской литературе... В этом смысле не случайным является то, что Пастернака приветствовал Камю.

Дело в том, что по основным положениям можно привести ряд несомненных и строгих параллелей между творчеством Камю и творчеством Пастернака,

в особенности как оно выразилось в романе “Доктор Живаго”... Это, во-первых, утверждение, что одиночество является единственно достойной для интеллигенции позицией, потому что только сознательное одиночество даёт независимость, даёт сознание свободы... Свободы от высоких идейно-моральных требований, от требований передовой мысли, от требований народа.

...С этим связано неверие и решительное отрицание возможности построения разумного общественного строя. Разумный общественный строй, с точки зрения, в данном случае, Камю... построить невозможно. Это утопия.

...Нетрудно убедиться, что в романе “Доктор Живаго” выражены эти же самые настроения, эти же самые взгляды, потому что из этого вытекает и отношение к народу. Народ отрицается.

В речи, посвящённой получению Нобелевской премии, Камю говорил, что он обращается к миллионам одиночек. Это говорится и в романе. В письме “Нового мира” говорится, что в центре стоит одиночка, что принадлежность к организации – конец человека, что мысль о переделке жизни вызывает отчаяние. Тут хорошая иезуитская политика...

...Определённым кругом интеллигенции, который представляет Пастернак, начало революции воспринимается как смелая утопия, смелая по мысли, но как только эти революционные идеалы стали воплощаться в действительность, по мере того, как они входили в народную жизнь, они становились совершенно неприемлемыми для Пастернака.

...И в “Докторе Живаго” мы видим это: с одной стороны, безоговорочные декреты, а с другой стороны, они вызывают отвращение, и человек из народа рисуется как воплощение бесчеловечности и варварства.

...Мне недавно пришлось быть в институте философии на защите одной диссертации, где выступал в качестве оппонента Константинов, и он говорил о том, что в настоящее время буржуазная идеология изменила свою направленность в отношении СССР, свою агрессивность в том смысле, что она перестала делать ставку на крестьянство; буржуазия убедилась, что это бесполезно. Сейчас основную ставку буржуазная пропаганда делает на научную интеллигенцию, даже не на производственную интеллигенцию, поскольку производственная интеллигенция считается слишком непосредственно связанной с хозяйственным строительством, со строительством советского общества.

...Самое главное, товарищи, в этой истории с Пастернаком, что она говорит об острой идеологической борьбе в самых неожиданных формах, которые эта борьба может принимать. Нельзя было предвидеть чего-нибудь подобного, а вот как получилось. И мы должны помнить одно: что все мы являемся не только исследователями классовой борьбы, но и её непосредственными участниками.

И. А н и с и м о в:

– ...Мы на нашем собрании должны поговорить... каким образом происходило на протяжении послевоенных лет постепенное вовлечение Нобелевской премии по литературе в “холодную войну”.

Мы не забываем о том, что эта премия в своё время имела серьёзное значение, что её получили очень крупные писатели XX века – Анатолий Франс, Бернард Шоу и даже Ромен Роллан и что за последнее время эта премия утрачивает или уже утратила такое значение.

Достаточно сказать, что премия 1947 года... была присуждена Андре Жиду, и, конечно, не за его творчество, а за ту реакционную позицию, которую он занимал после своего предательства Советского Союза. В 1948 году премия была присуждена Элиоту – и, конечно, тоже с полным учётом его реакционнейшей идеологической позиции. В 1954 году – Черчиллю, причём с очень интересным обозначением: “За совершенство, с которым он пишет о биографических и исторических предметах, а также за блестящее красноречие, сделавшее из него защитника высоких человеческих ценностей”.

Это пример лицемерия, с которым формулируются эти признания чело- века лауреатом Нобелевской премии.

В прошлом году премию получил Камю. И, наконец, в этот ряд встал Пастернак...

Если не трогать очень интересного, по-моему, вопроса о Толстом... то премия 1933 года, т. е. после воцарения Гитлера, была дана Бунину, – конечно, против нас, конечно, не за его литературные достоинства, а за его антисоветские писания.

Бунин получил премию с такой формулировкой: “За строгую артистичность, с которой он продолжал классические русские традиции в прозе”. Так, вы знаете, Пастернак получил премию тоже с формулировкой “за продолжение традиций русской прозы”.

Я считаю, что наше дело, дело учёных как следует поговорить по этому поводу, потому что шведы — их имена нам не известны, — решающие вопрос присуждения Нобелевских премий, заигрывают с традициями русской прозы и твёрдо стоят на этой позиции.

Как они могут судить о традициях русской прозы? Я считаю, что у них нет никакого права судить о традициях русской прозы и спекулировать на традициях русской литературы! Они не имеют никакого права играть с традициями русской литературы, с нашими священными традициями. Мы не должны это позволить...

Я не читал роман “Доктор Живаго”... но ведь мы читали другую прозу Пастернака. Вот Владимир Родионович говорил относительно “Охранной грамоты”. Там двуличия и цинизма достаточно, и не надо долго об этом рассказывать. Мы почему-то положили это в архив и давным-давно об этом не говорили. Там есть даже прямые совпадения с Камю... У Камю много циничных рассуждений о том, что человечество и человеческая история — это галеры. Внизу работают рабы, а наверху иногда литератор может писать на палубе. В “Охранной грамоте” вы тоже найдёте этот ужас... Делается вид, что это воспоминание об обучении философии у Когена. Оно написано для того, чтобы отгородиться от Маяковского, чтобы сказать, что Маяковский кончился, написав свою первую большевистскую революционную вещь. А мы довольно спокойно кладём всё это в архив и делаем вид, что к этому не следует возвращаться...

Вчера я читал в газете *Neues Deutschland* статью, которая называется “Случай с Пастернаком. Заговор шпионов”. Это ссылка на изложение материалов, которые напечатаны в гамбургском журнале “Шпигель”.

Мы все знаем, что итальянское издательство “Фельтринелли” получило от Пастернака право на издание его книги. Мы слышали о том, что на Брюссельской выставке имелся павильон Ватикана, в котором эта книга вручалась. Но сейчас рассказывается, что за этим скрывается. Я не был на Брюссельской выставке, но слышал об этом не один раз. Там существовала особая комната, куда некоторых, особенно русских, приглашали... Там был стол, на столе лежала книга и сидел человек, который назывался патером Антонио. При нём был человек, обыкновенный, не монах, который назывался переводчиком. Происходила какая-то беседа, и человеку, который пришёл туда, вручался русский текст этого произведения.

Выясняется, как был получен русский текст. Получило его голландское издательство “Мутон”. Вы должны знать, что это за издательство. Мы с ним встретились во время славистского конгресса. В этом издательстве были напечатаны все материалы американских господ, которые пытались скомпрометировать наше литературоведение. Издательство “Мутон” — это специализированная фирма, и этому издательству было поручено напечатать русский текст “Доктора Живаго”.

Дальше говорится, что в это издательство является в один прекрасный момент какой-то человек, который попросил напечатать ещё тысячу экземпляров. Он вынул из портфеля фотокопию всей рукописи с пометками самого Пастернака.

Издательство “Мутон” имело какой-то вариант, который в этом количестве изготовило, и он быстро был забран издательством “Шпигель”...

Делается невероятно интересное изобличение. В конце концов, удалось установить, кто такое этот переводчик, который занимался распространением этого издания. Здесь мы переходим из области литературы в область заговора шпионов, но это не от нас зависит. Пастернак вступил на эту дорогу, и мы должны это исследовать.

И вот выяснилось, что этот самый переводчик не кто иной, как Владимир граф Толстой, один из служащих американского шпионского агентства, которое называется “Свободная Европа”, который летом этого года был в Советском Союзе (“Вечерка” сфотографировала Толстых, в том числе графа Владимира Толстого). И сказано, что он был у Пастернака в Переделькино, этот самый Владимир граф Толстой.

С места: “Круг замыкается”.

Таким образом, круг замыкается, и я не знаю, надо ли что-нибудь ещё говорить.

... Это обязывает нас сделать вывод для историков литературы и исследователей литературы — о необходимости большей требовательности и полного уничтожения беспредметного либерализма в наших суждениях о тех явлениях, с которыми приходится встречаться.

К. Зелинский:

... Я читал, как и все, письмо Пастернака Никите Сергеевичу Хрущёву и нашему правительству, напечатанное в газетах вчера. Это письмо труса, письмо человека, который подумал, прежде всего, о своей шкуре — не о том, чтобы заглянуть в глубину своих ошибок... “Положа руку на сердце” он ещё говорит о каких-то своих заслугах перед советской литературой. Противно было читать, и хорошо, что ему ответили, что, если тебе здесь плохо дышится — можешь уезжать...

О самом романе “Доктор Живаго”. Я его читал внимательно, месяца три, с карандашом в руках. И вы можете мне поверить, что если бы каждый из нас имел возможность прочесть этот роман, то чувство глубокого возмущения и омерзения охватило бы каждого. Это действительно философско-политическое евангелие современной антисоветчины, индивидуализма, декадентщины. Это до такой степени цельное в идейно-художественном смысле произведение, противостоящее нам, оно так поучительно каждой своей строкой, что иногда зарождается мысль, что, может быть, действительно было бы полезно ознакомить хотя бы научные круги с этим произведением.

На страницах этого романа развёрнута философия одиночки самгинского типа, который умел поставить своё мнение между “да” и “нет”. Там есть такие страницы, где придаётся большое значение мимикрии... Народ там избражён в самых отвратительных чертах. Некоторые страницы (это довольно странно читать у Пастернака) он пишет под фольклор — разговор мужиков. У него сусальные мужички в лагере партизан. ...

Это звери, убивающие детей, женщин. Там говорится, что это человек, погрузивший себя в кровавую колошматину и человекоубийство. И в это состояние перешла вся Россия после революции.

Дореволюционную Россию Пастернак характеризует такими словами: “Это было девичество России, нежно-сиреневого цвета. Все жили по совести. Редко можно было услышать об убийстве человека”.

И вдруг всё это погрузилось в кровавую колошматину, это дореволюционное сиреневое девичество России.

Для того, чтобы принизить всё, что связано с революцией, Пастернак делает командира партизан кокаином.

Я сказал корреспонденту итальянской газеты, бравшему у меня интервью: “Пойдите сами, на любой улице спросите любого прохожего, мог ли русский мужик в 1921 году в уральских лесах оказаться кокаином? Это абсолютный бред”.

Корреспондент ответил: “Вы рассуждаете с точки зрения социалистического реализма, а с художественной точки зрения это очень ловко”.

Политический комплекс, заключённый в этом романе, до такой степени заполнен этим восхищением монархической сиреневой Россией, что Пастернак договаривается до такого софизма: (разговор происходит между Живаго и Ларой). Большинство интеллигентов, живущих в городе, имеет половину своих знакомых среди евреев. Конечно, это отвратительно — погромы, преследования, которым подвергаются евреи. “Но, — пишет Пастернак, — мне их не жалко, и вот почему”. И дальше он развивает тему, почему ему не жалко евреев. Потому что они после революции остались евреями. Вот какие простые антисемитские ноты в романе!

С места: “Он сам еврей!”

Он еврей, но он до такой степени идейно несостоятелен, идейно-политическая несостоятельность романа доходит до того, что автор его докатывается до антисемитских настроений.

Каждая страница вызывает глубокое возмущение, чувствуешь себя оплётанным, оплётанным за твою жизнь, твои упования, твои надежды.

И немудрено, что именно это произведение было взято на вооружение самой разнузданной реакцией на Западе.

Я только что приехал оттуда. При мне была присуждена Нобелевская премия Пастернаку. Я был участником международного конгресса писателей в Неаполе, и меня окружала вся эта газетная свистопляска, которая развернулась вокруг имени Пастернака.

Например, американская газета, которая издаётся на английском языке в Риме, вышла с портретом Пастернака, и в ней сказано, что присуждение премии Пастернаку — это литературная атомная бомба против коммунистического режима и условий существования литературы в России. Тут же говорится, что это удар в лицо советскому правительству — это присуждение премии Пастернаку. И тому подобные вещи.

Я не буду говорить всё то, что пишется и писалось в буржуазных газетах. Я хочу повторить то, что я говорил на Московском собрании писателей, что было бы неправильно делать такой вывод, что будто вся интеллигенция на Западе — за Пастернака и будто там он имеет какую-то особую славу.

...Имя Пастернака подхвачено только реакционными, самыми правыми буржуазными газетами, потому что имя Пастернака — это значит — война, Пастернак — это знамя “холодной войны”.

И все честные интеллигенты, хотя многие из них, из итальянских писателей, были сбиты с толку этой буржуазной печатью, подходили к нам, пожимали нам руку. И наша делегация, с одной стороны, стала объектом нападок буржуазной печати и, с другой стороны, объектом для выражения симпатий советской литературе, всем нам.

О встрече с римской интеллигенцией в обществе Италия-СССР. Я сказал, что позвольте нам, русским, говоря о мотивировках Нобелевского комитета, знать, что такое традиции русской прозы, мы знаем, что значит настоящий русский роман и какое к этому отношение имеет роман Пастернака. И это было встречено аплодисментами.

...Я помню год 29-й, когда Пильняк опубликовал свой клеветнический роман “Красное дерево” за границей, в белогвардейском издательстве в Берлине, роман, где клеветой обливались коммунисты и вся жизнь советской России.

Как же был возмущён Маяковский! Он просто места себе не находил! Он говорил, что это выдача оружия врагу — передача романа, не принятого нашей печатью, для напечатания за границей...

Следующим выступил Андрей Синявский. Пикантность ситуации заключалась не только в том, что он был автором статьи о Пастернаке, обсуждавшейся на секторе советской литературы в ИМЛИ и раскритикованной там. Он ещё за два года до Пастернака отправил через свою подругу по МГУ Элен Пельтье-Замойску свои прозаические сочинения на Запад. Но их художественный уровень был таков, что орудием в “холодной войне” именно в этот период они послужить не могли. Нужно было произведение более серьёзное, нужен был “таран”, освящённый гораздо более громким именем. За “Доктора Живаго” хватились множество рук, сплошь и рядом крайне нечистоплотных.

А. Синявский:

— Всех нас очень больно задела история с Пастернаком. И лично я очень тяжело переживал эти события и переживаю, особенно в связи с тем, что мне пришлось в недалёком прошлом заниматься творчеством Пастернака, поскольку мне была поручена статья о его творчестве для истории советской литературы.

К сожалению, когда я работал над этой статьёй, я не был знаком с романом Пастернака “Доктор Живаго”, — к сожалению, потому, что, я думаю, такое знакомство очень многое прояснило бы для меня в предшествующем творчестве этого поэта.

Статья, подписанная редколлегией “Нового мира”, опубликованная недавно в “Литературной газете”, с моей точки зрения, очень развёрнуто, аргументированно освещает это произведение. И вот исходя из того представления, которое складывается о романе Пастернака при прочтении этого документа, я должен со всей ответственностью заявить, что вынужден пересмотреть своё понимание Пастернака, как оно нашло отражение в моей статье.

И сразу после Синявского выступил Кожинов.

Позже он сделал всё, чтобы забыть об этом своём выступлении, тем более, что никаких подобных поступков за ним не было на протяжении всей его дальнейшей (весьма некороткой) жизни. Но когда уже во время “перестройки” (в литературной жизни это было время новых идеологических погромов и повсеместного сведения счётов) ему напомнил об этом громивший в своё время “космополитов” Зиновий Паперный, Вадим Валерианович счёл нужным посвятить той истории несколько слов в одной из своих статей:

“Конечно, это очень неприятный эпизод моей жизни, — наверно, самый неприятный. Но всё же не могу не заметить, что речь идёт о моём выступлении на собрании Института мировой литературы, состоявшемся уже после того, как Пастернак был единогласно исключён (за что проголосовал, вместе с другими, и обвиняющий меня теперь критик). Я входил тогда в группу молодых (всем нам ещё не исполнилось тридцати) сотрудников Института мировой литературы, которые незадолго до того начали работу над трёхтомной “Теорией литературы”, явившейся, по общему признанию, весомым вкладом в литературоведение. Все мы имели прочную репутацию “крамольников”, и нам было сказано от имени дирекции, что, если никто из нас не выступит на собрании о “деле Пастернака”, нашу группу разгонят. При решении вопроса, кому именно выступить, выбор моих сотоварищей по группе пал на меня (в частности, потому, что за мной числились наиболее “крамольные” высказывания, — например, на обсуждении романа В. Дудинцева “Не хлебом единым”).”

Конечно, это никакое не “оправдание”. Кожин и не думал оправдываться, тем более перед теми, кто не имел никакого права бросать ему подобные обвинения. Но возвращаясь памятью к этому, действительно, неприятному эпизоду своей биографии, он не мог заново не пережить всю сложность той ситуации.

Романа он не читал, да и большинство выступавших не читало, основываясь, черпая его содержание и смысл исключительно из опубликованного письма редколлегии “Нового мира”. И какие были основания не верить двум редколлегиям, освящённым именами двух главных редакторов — Константина Симонова и Александра Твардовского? Они-то роман читали. Как и Зелинский — единственный из выступавших в ИМЛИ.

В. Кожин:

Мне как человеку очень молодому и неопытному, трудно выступать после тех квалифицированных выступлений, которые здесь были, и я скажу только несколько слов.

На днях в “Литературной газете” было опубликовано письмо рабочего-строителя Сталинградской гидроэлектростанции, который сказал, что он не читал Пастернака и читать его не собирается.

И этот человек совершенно прав — ему незачем тратить время на чтение Пастернака, потому что он знает, что в нашей стране есть отряд людей, которые занимаются изучением литературы и призваны выражать её интересы.

Поэтому мне хочется подчеркнуть, что наш долг не только в том, чтобы дать оценку тому политическому факту, что Пастернак получил Нобелевскую премию за антисоветский роман, — наш прямой долг состоит в том, чтобы научно, по-марксистски рассмотреть определённое литературное явление.

Некоторые товарищи полагают, что раз перед нами враг, то и говорить о нём нечего. Это неверно. Чем враждебнее нам то или иное явление, тем более внимательно мы должны следить за его развитием. Так всегда поступал и учил поступать Ленин.

Именно такое серьёзное научное исследование является наиболее правильным путём борьбы.

Я не читал романа Пастернака, но познакомился с письмом редколлегии “Нового мира”, которое было опубликовано.

Нетрудно заметить, что все выступления в печати и устные выступления исходят из этого документа, находят в нём прочную опору именно потому, что в этом письме редколлегии дан всесторонний объективный анализ, и именно поэтому оно беспощадно раскрывает существо романа.

Эта статья доказывает, что Пастернак как автор романа совершенно не понимает Октябрьской революции, представляет её себе как бессмысленную и бесчеловечную катастрофу.

Такой взгляд не может быть ничем оправдан. Такой взгляд обрекает человека на идейно-философское убожество. Наша революция была величайшим переворотом в исторических судьбах всего мира, переворотом, который определял, определяет и будет определять развитие человечества. Это поняли многие даже буржуазные писатели современности из числа наиболее глубоких и чутких.

И даже в том специальном вопросе, который особенно привлекает внимание Пастернака, в вопросе о судьбах искусства, творчества в революцию, даже в этом вопросе Пастернак даёт совершенно извращённую картину.

Кому не известно, что именно революция и только революция дала таких великанов, как Маяковский, Шолохов, Шостакович? Социалистическая революция порождает новое, высшее художественное творчество.

Как же могло получиться, что Пастернак выписал роман со столь убогим и враждебным ленинизму идейным содержанием?

Мне представляется это известной виной нашей науки о литературе, нашей критики.

Наша критика в течение многих лет пыталась как-то подтянуть Пастернака к советской поэзии, твердила о том, что он постепенно приближается к рабочему классу и идеям социализма.

Мне кажется, что значительно более верное представление выражено в эпиграмме известного пародиста Архангельского, который заметил:

*Всё изменяется под нашим зодиаком,
А Пастернак остался Пастернаком.*

Я, повторяю, не читал романа Пастернака, но мне известна его поэзия, и мне представляется, что мировоззрение, которое выразилось в романе, оно в равной степени выражено в поэзии Пастернака на всех этапах его развития. . .

И вот мне представляется, что, долгие годы борясь против вульгарного социологизма, мы в известной мере забыли о необходимости чётко определить социально-классовую позицию писателя. Мы в известной мере отвлеклись от этого необходимого требования марксизма.

Я отлично понимаю, что мне, который в 30-х годах был в дошкольном возрасте, очень легко говорить о том, что раньше было значительно труднее и сложнее. Я понимаю, что критика 20–30-х годов, избегая резко определить оценку социальной позиции Пастернака, исходила из поставленной важной задачи: стремилась, грубо говоря, “перевоспитать” Пастернака. Но, во всяком случае, мне представляется, что в настоящий момент нашей основной задачей является именно чёткое определение социального смысла поэзии Пастернака.

В школьные и студенческие годы Кожинов переписывал стихи Пастернака в свою тетрадь. И долго не отходил от него. Потом мировоззрение изменилось, и на первый план вышел Маяковский (не отменявший для Вадима русской классики XIX века). . . Кожинов через много лет писал, что он “говорил по принципу “абы что-нибудь сказать”. Но говорил он не “абы что”. Молодой 28-летний теоретик был человеком абсолютно “левых” убеждений. Святость Октября не подлежала сомнению. И прочитанное, и услышанное о Пастернаке, включая почти детективную конспирологическую материю, озвученную Анисимовым, придало дополнительный импульс. Тем более, что нужно было найти внутри себя некие серьёзные основания для пущей убедительности. И Кожинов их нашёл.

— И мне кажется, что правильно будет сказать, — продолжал Кожинов, — что Пастернак был и остался певцом той социальной категории, которую политически определил Ленин и художественно освоил Горький: категории мещанства. Это слово часто употребляется не только в быту, но и в науке в бранном, ругательном смысле, я имею в виду совершенно не это, я имею в виду очень точное научное понятие, которое неоднократно использовал Ленин. Именно идеология этого социального слоя нашла выражение в поэзии Пастернака. Если воспользоваться марксистским определением соотношения писателя и его социального слоя, то он в своей поэзии никогда не поднимался

выше уровня мещанства. И этот социальный слой, склонный рассматривать свою гибель как вселенскую катастрофу, всегда вдохновлял Пастернака. Это выражается в образном строе его поэзии, в том, что он привлекает очень обильно предметные детали из мещанского быта.

Я думаю, что и к революции Пастернак всегда подходил с позиций мещанства. Именно отношение мещанства к революции запечатлелось в его поэмах и, очевидно, в романе.

Мне кажется, что его поэма о 905-м годе, которая столь часто поднималась на щит критикой, является мещанским представлением о революции.

Я приведу строки из предсмертного монолога Шмидта:

*Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним — карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.*

Таким образом, здесь революция 1905 года представляется, как бессмысленная и хаотическая.

Ещё более знаменательны слова Пастернака, обращённые к палачу, о том, что палач — это только жертва века.

И неслучайно, что наиболее восторженное стихотворение Пастернака посвящено такому чисто мещанскому герою, каким был Керенский.

В заключение мне хотелось бы указать на следующее.

Пастернак, как мне кажется, является одним из крупнейших поэтов мещанства. Именно поэтому он вызывает такой восторг у мещан на Западе. И не правы товарищи, которые говорили, что Пастернак не был известен на Западе, что он стал известен только после опубликования этого романа. Это неверно. Конечно, он был известен и раньше, причём напрасно некоторые думают, что этой ошибкой мы помогаем в борьбе. Дело заключается именно в том, что Пастернак, давно известный на Западе, получил премию тогда, когда он опубликовал роман художественно неудачный, но отражающий его политическую позицию.

Это очень характерно. Основные произведения Пастернака были изданы до 1934 года. После этого он писал очень мало. В 1934 году вышел односторонний его поэзии, но Нобелевский комитет не присудил ему премии. Они ждали того момента, когда он опубликовал свой антисоветский роман.

...Пройдёт время — и отношение к “мещанству” у Кожина претерпит кардинальные изменения. И он напишет в уже упоминавшейся статье: “Вскоре после этого собрания я понял, что выступать не следовало, — независимо от всех соображений. И мне тяжело вспоминать об этом эпизоде. И всё же я убеждён, что у критика, который теперь бросает мне обвинение, нет никакого морального права это делать. Он вообще как-то чрезмерно героически “защищает” сегодня Пастернака, Ахматову и других; впрочем, этой запоздалой героикой грешит не только он...”

Впрочем, время персонажей, подобных этому “критику”, наступит через три десятилетия... Тогда же Кожин не мог не успокаивать себя мыслью, что сам он находится по одну сторону не столько с Заславским и Семичастным, сколько с высоко ценимыми им Борисом Слуцким, Леонидом Мартыновым, Александром Твардовским...

Впрочем, *независимо ни от каких соображений*, он очень скоро расценил своё выступление как тяжёлую ошибку. И не могла послужить утешением ни его вынужденность, ни сознание того, что выступил он уже по следам всего происшедшего.

...А собрание тем временем продолжалось.

Б. Бялик:

— ...Это факт прямого предательства наших интересов, это факт передачи в руки врага оружия. Факт этот оценен в нашей печати, является фактом позорным, и никаких переоценок этого факта быть не может.

...Кто-то из выступавших вчера на собрании говорил о том, что Пастернак — хитрый, изворотливый враг. Я не знаю лично Пастернака, не живу в Переделкине и не общаюсь с ним, но если говорить о нём как о поэте и писате-

ле, то мало кто в литературе так откровенно выражал свои идейные и эстетические позиции на протяжении всего своего творческого пути. Это не только “Охранная грамота”, это “Высокая болезнь” с теми стихами, которые цитировал Владимир Родионович. Они кончались так:

*Какое скрытое сцепенье
Соединяет с годом год!
Предвестьем льгот приходит гений
И гнётом мстит за свой уход.*

... Нельзя сказать, что Пастернак писал всё время такие вещи, о которых мы сейчас говорим. Если бы была всё время декларация крайнего субъективизма, то, вероятно, он давно поставил бы сам себя за пределы самого понятия советской литературы. Но у Пастернака были разные токи, была попытка выйти за пределы субъективизма. Это “1905-й год” и “Лейтенант Шмидт”, которые тоже не идеальны, но которые всё-таки отличались от других его произведений, в которых были сильные строки, яркие образы. А вообще надо говорить обо всём так, как это есть, брать факты в том виде, как они существуют, во всей сложности.

И вот эти самые поэмы – “905-й год” и “Лейтенант Шмидт” – являются в идейном смысле самой высокой точкой в развитии литературно-эстетическом Пастернака. И тем интереснее, как отнёсся к этим поэмам Горький.

Горький похвалил эти поэмы, увидел в них попытку Пастернака подняться до высоты социальной поэзии. Но он увидел и то, что там мешает этому, что там образы героев мельчат тему...

... Пусть не обидится на меня т. Зелинский. Я второй раз слышу его выступление, и меня поражает одно обстоятельство: он имел рукопись романа, три месяца его читал. Я не читал этого романа, и вообще его читали десятка два человек. И эти люди, которые читали роман, должны понимать, что на них лежит большая ответственность, если они читали этот роман и знали, что вокруг него идёт свистопляска в печати.

Мы не понимали, что происходит. Мы знали, что есть плохой роман, но мы его не читали. А тов. Зелинский читал, и роман вызвал у него отвращение.

Что же Вы молчали? Почему Вы – критик – не пытались от себя самого этот вопрос поднять?

(К. Зелинский: “Я поднимал этот вопрос”).

Я не слышал об этих попытках. Значит, они были не очень решительные, потому что уже год идёт свистопляска.

Насколько было бы политически выгоднее для всех нас, если бы мы, не дожидаясь Нобелевской премии, сами бы наступали, а не оборонялись от этой свистопляски в мировой печати.

Самый факт передачи рукописи в издательство – и здесь руководство Союза писателей несёт большую вину – не должен был быть оставлен без внимания. Это не подлежит спору, немедленно надо было реагировать на то, что рукопись передана в иностранное издательство и что вокруг неё идёт свистопляска.

Сейчас Корнелий Люцианович говорит, что хорошо было бы кое-кого познакомиться с этим романом. Тогда надо было знакомить, а не сейчас. Зачем нам сейчас читать этот роман? Может быть, только специалистам. А тогда познакомиться было бы неплохо, может быть, нашлись бы из прочитавших этот роман товарищи, у которых хватило бы силы воли сказать там, где надо было сказать об этом романе. Нельзя прощать такого рода вещи.

... Ведь это факт, что он оказался почти в одиночестве, что все писатели, которые недавно допускали большие ошибки, даже те, на которых хотел сослаться Пастернак в объяснение того, почему он передал этот роман, даже все они единодушно, искренне осудили то, что произошло, – настолько нашей среде в целом глубоко враждебны такого рода факты, настолько факт морально-политического единства стал основным и решающим фактом в нашей жизни и во всём том, что мы творим в науке, в литературе.

Я не знаю, что означает это письмо Пастернака, – трусость или нет. Я должен сказать, что я прочитал это письмо с облегчением. Один рабочий из района, где я живу, сказал: “А всё-таки заговорила совесть”. Я думаю, что

в этих словах есть своя истина, что какой-то грани Пастернак не смог, может быть, перейти, он гораздо раньше почувствовал в какой-то мере, что это реально означает. Может быть, это не только трусость, может быть, это мощь общественного мнения, которое не могло не сказаться, если у человека осталось что-то в душе.

В. Озеров:

— ...Все те, кто не любил творчество Пастернака, всегда почти чувствовали, что перед нами поэт-эстет, страшно далёкий от жизни, но в моральном отношении определённо честная, чистая личность.

И вот такой культ личности поэта, биографический культ существовал длительное время: аполитичный человек со своими субъективистскими устремлениями.

Эта легенда рухнула, и не только потому, что Пастернак совершил акт морального предательства, но и потому, что держал он себя эти последние годы не как мог и должен был держать себя морально честный человек.

И вот с чувством глубочайшего возмущения и омерзения слушало писательское собрание текст письма Пастернака в Президиум Союза писателей, в котором автор отстаивал правильность всех мыслей своего романа, уже когда шла свистопляска на Западе. Он утешал нас, участников собрания: я, Пастернак, не вино вас за то, что вы должны меня осудить, но история нас рассудит, и я буду со временем прав.

Вот такое высокомерное письмо, полное пренебрежения к своим товарищам! Оно вызвало шум в зале и многочисленные реплики выступавших. Выступали и Слуцкий, и Антонов, и Мартынов, и Николаева — все они говорили о чувстве личной неприязни и омерзения, которые вызвал в них Пастернак за последнее время.

...Рухнула легенда о том, что аполитичная поэзия может быть в наших условиях, в условиях классовой борьбы остаться поэзией чистой. Рухнул... старый миф о *башне из слоновой кости*, куда якобы уходят от общественной жизни.

...Две линии в развитии нашей поэзии: одна из них отчётливо обозначена титанической фигурой Маяковского, а другая отчётливо обозначена фигурами поэтов типа Пастернака — создателя «Охранной грамоты» с их антимаяковской позицией. Все собравшиеся помнят два предшествовавших литературных происшествия, которые очень совпадают с последним происшествием: я говорю о поступке Замятина и о поступке Пильняка, опубликовавших свои контрреволюционные произведения в иностранной печати. Совпадение удивительное, показывающее, к чему приводит позиция, якобы аполитичная. Это совпадение может многому научить наших читателей, нашу молодёжь, тем более, что последний предательский случай произошёл на 41-м году жизни нашего общества...

В этой связи стоит вспомнить ещё об одной легенде, которая распространена в литературоведческих и критических трудах. Это те труды, где Пастернак оценивается наступательно, и вместе с тем он представляется огромным мастером формы: мы не согласны с ним по поэтическим и политическим выводам, но он владеет арсеналом поэтических средств.

Наверное, надо эти труды посмотреть — в какой мере оправданы эти восторги, и дать возможность убедиться, что за распадом мысли, распадом гражданского содержания поэзии появилось то, что сделало Пастернака не читаемым народом, не признаваемым народом.

...Это тем более важно, что мэтром по стиху Пастернак нередко оказывается для поэтической молодёжи. Нередко приходится наблюдать, что начинающие поэты, говоря, что они не разделяют позиций Пастернака, говорили в то же время, что необходимо учиться у него мастерству.

Я помню, в 1956 году некоторая поэтическая молодёжь оказывалась в салоне Пастернака. О некоторых таких юношах говорилось на собрании — там были и хорошие стихи, и плохие стихи, написанные с рабским подражанием: поэты не способны были дать дыхание жизни этим стихам...

В заключение я должен сказать, что этот вопрос обсуждался работниками сектора советской литературы. И я должен заявить, что все сотрудники сектора советской литературы единодушно и очень горячо выражали своё гражданское и личное возмущение антипатриотическими действиями Пастернака

и считали правильным тот голос писательской общественности, который заклеил позором эти действия...

Товарищи, выступавшие на собраниях, выразили неудовлетворённость выступлением на этом собрании Андрея Донатовича Синявского, который не дал развёрнутой оценки всего происшедшего. Товарищи из сектора выразили надежду, что Андрей Донатович ещё внимательно продумает всё это дело, которое произошло на глазах, и вместе с тем сказали, что время торопит его, что додумать эти вещи надо, что должно сложиться ясное, правильное, партийное поведение.

Мы надеемся, что наш товарищ в этом смысле сделает необходимые выводы и найдёт хорошие слова, чтобы правильно оценить всё, связанное с этим конкретно поступком и связанное вообще с ходом нашей литературы.

К. Зелинский:

— Тут тов. Бялик поставил правильно вопрос: почему раньше не выступили в печати те товарищи, которые читали роман... Спрашивается, почему не было опубликовано письмо членов редколлегии журнала "Новый мир", почему эти товарищи, которые прочитали роман, в своё время не предприняли никаких мер и почему Союз писателей занял вообще такую позицию замалчивания этого романа?

Это справедливый вопрос, и я считаю, что этот справедливый упрек должен быть адресован, главным образом, конечно, Союзу писателей, который считал, что поднимать разговор об этом романе в советской печати трудно, поскольку роман не опубликован.

Поверили Пастернаку, поверили его телеграмме, которую он послал в издательство в октябре прошлого года: "В процессе дальнейшей работы над рукописью романа "Доктор Живаго" я пришёл к глубокому убеждению, что написанное мною нельзя считать законченным произведением. Находящийся у вас экземпляр рукописи этого романа рассматриваю как нуждающийся в серьёзном совершенствовании предварительный вариант будущего произведения. Издание книги в таком виде считаю невозможным. Это противоречило бы моему правилу издавать только законченные произведения. Благоволи-те распорядиться о возвращении по моему московскому адресу в возможно короткий срок рукописи романа "Доктор Живаго", крайне необходимой мне для работы. Пастернак".

...Но Пастернак обманул... Послав эту телеграмму, он одновременно другим путём дал знать издательству, что оно может этот роман издавать. Этот роман был издан на итальянском языке.

Тогда, несомненно, руководство Союза писателей совершило ошибку, что не подняло вопрос о передаче рукописи романа издательству "Фельтри-нелли", т. е. об акте предательского характера.

Все товарищи, которые читали роман, — Федин, Симонов, Агапов, Сурков, Рюриков — не выступили, в том числе, не выступил и я, но я выступил по поводу этого романа в итальянской печати и по польскому радио, потому что там этот роман был известен.

Вот вкратце история этого вопроса — почему не выступили товарищи, которые этот роман читали: это было связано с решением секретариата Союза писателей.

Тов. Бялика порадовала проснувшаяся совесть, которую проявил Пастернак в этом письме. Тов. Бялик говорит, что человек, с одной стороны, совершил предательство, а с другой стороны, его радует проснувшаяся совесть. Посмотрим, что скажет эта совесть. То, что в этом письме было сказано, ещё слишком мало для того, чтобы выражать по этому поводу какую-то радость. Ещё рано об этом говорить.

В Щербина:

— ...Я должен от Президиума учёного совета и от группы научных сотрудников выразить неудовлетворение выступлением т. Синявского.

Тов. Синявский написал статью совершенно определённой концепции. Эта статья несколько месяцев тому назад была подвергнута критике и снята из состава сборника, куда она была включена.

У т. Синявского было несколько месяцев, чтобы подумать над концепцией этой работы. Эта работа не описательная, т. Синявский обладает данными, чтобы в этом разобраться. Есть люди, не способные широко мыслить. С них и спрос другой: рад бы, да не может. Но здесь мы имеем дело с человеком

творческим, и, выходя на трибуну, он порадовал нас только тем, что он постарается пересмотреть свои положения. Так неужели же Вы не пересмотрели? Несколько дней тому назад это заявление было сделано на заседании коллектива сектора советской литературы.

Я считаю, что это очень неопределённые и беспредметные обещания. Нам хотелось бы по крайней мере услышать направление размышлений т. Синявского.

...История с Синявским ещё получит своё продолжение. А сейчас самое время закончить разговор о “Докторе Живаго”.

Нетрудно заметить: отдельные положения письма “Нового мира” (желающие могут найти и прочесть полный текст) практически текстуально совпадают с оценками романа, которые давали в частных разговорах и воспоминаниях Анна Ахматова, Лидия Чуковская, Александр Гладков. В особенности это касается самого доктора Живаго – совершенно неживой фигуры. Как тут не вспомнить и о признании Пастернака Корнею Чуковскому: “Роман выходит банальный, плохой”. Но, как говорил поэт уже Серджо д’Анджело в мае 1956 года, “в СССР роман не выйдет. Он не вписывается в рамки официальной культуры”, – и сделал ставку на западные издания. Иван Толстой в изданном несколько лет назад очень фактологически ценном сочинении “Отмытый роман Пастернака. “Доктор Живаго” между КГБ и ЦРУ” совершенно справедливо на многочисленных фактах отметил что Пастернак-“небожитель” был стратегом. И прекрасно рассчитывал все свои ходы.

Поневоле вспомнишь американского советолога Эрнста Симмонса, удивлявшегося: “Вы сами делаете из него мученика!” А также Шолохова, совершенно справедливо утверждавшего, что “Союз писателей потерял хладнокровие” и что нужно было издать роман на Родине и отдать автора на “растерзание” читателям, которое (вот тут можно быть уверенным!) в то время не преминуло бы воспоследовать. И при любом отношении к Борису Бялику нельзя не согласиться с ним, что этот роман нуждался в гласном обсуждении и реагировать нужно было заранее.

(Продолжение следует)

ВАЛЕРИЙ СДОБНЯКОВ

ГОСТЬ НОВОГО ВЕКА

К 80-летию русского поэта Юрия Адрианова

I. Необходимое вступление

Для чего пишутся воспоминания? Чтобы оставить о ком-то добрую или не очень память. Или, наоборот, рассказывая о чьей-то интересной, значимой судьбе, и самому засвидетельствовать собственное пребывание в этом мире. А может быть, они пишутся для того, чтобы ещё раз “побыть рядом” с дорогим тебе человеком, поговорить с ним, повспоминать, пообщаться — подышать воздухом былого и ощутить, как он всё-таки был хорош. Хорош потому, что оставил след в твоей памяти, а значит, и в судьбе. Но иногда воспоминания пишутся, наверное, и для того, чтобы вновь оценить, осознать прошлое, и тогда за что-то его поблагодарить, в чём-то перед ним покаяться.

А правильнее, видимо, будет считать, что пишем мы их, исходя из всех перечисленных поводов сразу. Ибо, вспоминая, мы опять проживаем-переживаем, сопереживаем, мучаемся, страдаем, любим, ненавидим, раздражаемся, сочувствуем... Одним словом — живём. Но разве в нашей жизни есть что-то однозначное, раз и навсегда устоявшееся, решённое, неизменное?

За весь тот срок, что как-то причастен я к нижегородской журналистике и литературе, я лишь несколько раз брал на себя смелость писать о ком-то, вспоминая его в прошлом, прошедшем времени. Но тогда я писал о людях, оставивших во мне, в моей душе совершенно особый и по сию пору не тускнеющий след. Писал не по заказу, не к юбилею, а по зову сердца, по невозможности не писать. Мне никто эти воспоминания не заказывал, и писал я их в никуда, для себя, в стол. Но судьба распорядилась иначе, и все они были опубликованы.

Что же касается моего общения с Юрием Андреевичем Адриановым, то я твёрдо решил для себя обязательно об этом написать, но много позже, когда

СДОБНЯКОВ Валерий Викторович родился в 1957 году в Красноярском крае. С 1962 года живёт в Горьком (ныне Нижний Новгород). Участвовал во Всероссийском совещании молодых писателей, с февраля 1994 года — член Союза писателей России. С 2001 года — главный редактор литературно-художественного журнала “Вертикаль. XXI век”. Журнал отмечен премией Нижегородской области имени М. Горького (2004) и всероссийской премией имени Александра Невского (2015), многими другими наградами. В 2012 году избран председателем Нижегородской областной организации Союза писателей России и переизбран в 2017 году. Живёт в Нижнем Новгороде.

всё в памяти спокойно уляжется, в душе успокоится. Но вот позвонила Наталья Адрианова – муза и ангел-хранитель покойного поэта. Оказывается, она готовит книгу воспоминаний о Юрии Адрианове. Ни секунды не колеблясь, я ответил, что рукопись обязательно подготовлю к указанному сроку.

Пообещать-то пообещал, а когда приступил к работе, сразу осознал всю её сложность. Юрий Андреевич Адрианов был не только талантлив, трудолюбив, умён – он был ещё и поистине светлым, несущим свет человеком. Как это передать на бумаге? С чего начать?

II. Первая встреча

Вообще-то, ту встречу назвать первой в полном смысле этого слова нельзя. Да, наше личное знакомство состоялось 26 февраля 1985 года в квартире поэта на улице Белинского. Но ещё задолго до неё мы много раз “сталкивались” в здании Союза писателей на ул. Минина, в литературном музее М. Горького, на юбилеях знакомых писателей, на выставках, просто на улице. Меня Юрий Андреевич тогда не знал, хотя “знакомым лицом” я для него, конечно, был. За несколько лет подобных случайных встреч примелькался. Главное же то, что я к тому времени знал его хорошо. Вернее сказать, хорошо знал его творчество, его стихи, публицистику, краеведческие статьи, которые часто, просто каким-то валом печатались в наших нижегородских газетах, а на полках магазинов в ту пору с завидным постоянством появлялись новые книги его стихов, с которыми у меня уже были свои истории. Но об этом чуть позже, просто необходимо сделать небольшое отступление от главной темы.

Очень часто сейчас приходится слышать, что литература “советского периода” была якобы низкого качества и мало востребована современным читателем. Я думаю, что это сознательная ложь. И в первую очередь, она нужна тем, кто хочет скрыть свою малообразованность и малоначитанность.

Литература 60–80-х годов прошлого века (проза, поэзия, критика, публицистика) вышла на такой интеллектуальный рубеж разговора с читателем, который в сегодняшних условиях засилья на печатных страницах попсы и кича трудно себе представить. И мы, те, кто в конце 1970-х начинали свою литературную биографию, росли именно на таком максимально уважительном отношении к книгам и к тем, кто их пишет. Мы знали, любили литературу и потому с глубоким уважением относились к местным писателям, к их труду – читали все нижегородские литературные новинки, участвовали в обсуждении этих книг, писали рецензии. И в своё время, становясь членами Союза писателей, мы продолжали преемственность в нижегородской литературе. Эта преемственность проходила естественно, эволюционно. Поэтому я совершенно не могу понять принципа, по которому формируется членство в наших теперешних Союзах. Принимаются (и, похоже, при полном безразличии, а то и при нежелании принимающихся) какие-то совершенно посторонние, малообразованные и почти не знающие литературу люди, написавшие одну-две книжки, к тому же невероятно слабые, самодельные, любительские... При этом они обязательно подчёркивают, что никого из современных литераторов не знают. В подтексте же звучит, что и знать-то некого, а если брать больше, то вся отечественная литература им почти незнакома и малоинтересна. “Чукча не читатель, чукча – писатель”. И я совершенно не понимаю, зачем всех этих случайных людей с таким упорством и настойчивостью “тащат” в писательские ряды. Не хочется верить, что делается это ради количественного показателя и по принципу личной преданности, но другого объяснения создавшемуся положению я не нахожу.

Я отвлёкся на “большую” писательскую тему только потому, что мы много говорили об этом с Юрием Андреевичем.

Но вернёмся к книгам Юрия Адрианова. Как я уже отмечал, с некоторыми из них у меня связаны свои истории.

К восьмидесятому году ушедшего века я подошёл с рукописями трёх повестей, у меня было более десятка больших рассказов и множество всякой мелочовки. Уже состоялась моя первая литературная дебюта в “Горьковском рабочем” – новеллы, зарисовки, короткие рассказы. Через год мои рассказы опубликует “Учительская газета” и журнал “Рабоче-крестьянский корреспондент”. Начинаясь период творческого общения и учёбы в Доме учёных –

в литературном объединении “Воложка” под руководством писателя Валентина Арсеньевича Николаева. Но чем больше я “увязал” в литературе, тем беспокойнее и тревожнее становилось на душе – слишком большое и ответственное дело затягивало меня в свой водоворот. В то время я много и жадно читал (не была исключением и запрещённая литература – В. В. Розанов, С. Нилус, “Выбранные места из переписки с друзьями” Н. В. Гоголя и т. д.), думал над происходящим в стране, но главное – о том, что происходит в самом человеке, в его сердце, в его душе. Я ещё не понимал отчётливо, но уже ощущал те глубины, что скрыты в человеческом сознании, и то, что это как-то неотъемлемо соотносится с мистической составляющей мира.

Как зверь, который, заболев, ищет в лесу для выздоровления спасительные травы, корешки, кору деревьев, я так же интуитивно искал ответы на возникающие вопросы в книгах. Причём в каких книгах их искать, подсказать мне было некому. Самообразовывался, трудно отыскивая то, что мне в тот момент было необходимо. Часами пропадал в книжных магазинах. Просматривать и перебирать книги на полках было одним из самых любимых моих занятий, что вызывало недоумение и даже раздражение у моих знакомых и близких. Впрочем, в этом отношении мало что изменилось и теперь.

Вот в такое душевно-смутное время поздней осенью 1980 года и попал мне в руки только что вышедший в Москве в издательстве “Современник” сборник стихотворений Юрия Адрианова “Пламень костров и листьев”. Открыл я книжку наугад и тут же у стеллажей прочитал:

*Осиновые осени России
Свою открыли огненную суть,
И краски семицветья пригласили
Сердца и крылья собираться в путь.
Второе вековечное движенье,
Весеннему возникнув вопреки,
Колышется в горячем озаренье
И вносит в душу тишину тоски.
Ведь и любовь, и чувства человечьи
Подолгу помнят только рубежи:
Года разлуки и мгновенья встречи
Храним мы свято в кладовых души.
И если бы сейчас меня спросили,
Что я сберёг, тоскуя и любя?
Осиновые осени России,
Предчувствие разлуки и тебя.*

И странное дело – что-то во мне после этого прочтения изменилось, укрепилось, будто нашёл я в долгом, изматывающем споре верного друга, сподвижника, опору. Эта давняя книжка, первая купленная мной книжка Юрия Адрианова и теперь хранится у меня на стеллаже, только уже среди всех остальных изданных поэтом книг.

Понятно, что так можно писать о многих книгах поэта – с каждой из них связана своя история. Но я всё-таки не могу умолчать ещё об одной. К тому же это уже будет переход к нашему непосредственному общению.

Июнь 1983 года, здание Союза писателей. Хоронят Николая Ивановича Кочина – известного в своё время романиста, отсидевшего в тридцатые годы десять лет в лагере, написавшего после этого ещё немало книг, ставшего лауреатом Государственной премии. . . Нас, молодёжь, которая уже как-то причастна к литературе, пригласили прийти и, если будет надобность, помочь в процессе похорон. Такая надобность действительно оказалась. В те времена спиртное отпускали в магазинах строго в назначенное время (по этому поводу было принято какое-то очередное постановление), а так как на поминки вовремя его не закупили, то мы, взяв с собой газету с некрологом, отправились в универсам “Нижегородский” договариваться о приобретении необходимого напитка. Пока мы стояли в общей толпе у дверей Союза, решали, что да как, с папочкой под мышкой в хорошем весёлом настроении подошёл к собравшимся Юрий Андреевич. Оказывается, о печальном событии он не знал

и нёс в Волго-Вятское издательство, находящееся в Кремле, корректуру своей книги “Добрый серпень”.

Конечно, об издательстве было тут же забыто, корректура отвезена домой, а мы в это время полностью справились с поручением, и хотя в универсаме не знали, кто такой Кочин, просьбу нашу уважили.

Хоронили Николая Ивановича с достоинством, пронесли гроб по улице Минина до Института инженеров водного транспорта. Помню, что мне пришлось нести красную подушечку с лауреатской медалью Государственной премии РСФСР им. М. Горького. Затем кладбище, поминки, воспоминания о нелёгкой судьбе писателя в годы репрессий. Когда расходились, я увидел, как бережно и терпеливо, по-сыновьи Юрий Андреевич вёл под руку Бориса Ефремовича Пильника, только что похоронившего своего последнего друга.

Вскоре книга “Добрый серпень” появилась на книжных полках. Я её, конечно, купил, совершенно не предполагая, что совсем скоро сборник станет первой книгой, подаренной мне самим автором.

А пока мне хочется вспомнить ещё одну нашу случайную встречу.

В залах Нижегородского художественного музея проходила выставка работ народного художника СССР Ильи Сергеевича Глазунова. Выставка шумная, вызвавшая много споров, яростную критику недоброжелателей в кулуарах. Художника откровенно не любили местные коллеги. Его успех, популярность, удачливость — всё раздражало. Обвиняли Илью Сергеевича (разумеется, заочно) в том, что его работы — это кич, игра на публику, искусственный вызов властям, хотя с властями он тесно взаимодействует, заигрывает.

Но зрители всего этого не знали. Залы Художественного музея буквально кишели ими. Необычность выставки, манера работы автора, сюжеты картин (особенно исторических) никого не оставляли равнодушными. Люди тут же у картин делились впечатлениями, что-то высказывали.

И здесь, в одном из залов, я столкнулся с Адриановым. Мы посмотрели друг другу в глаза, узнали друг друга. Юрий Андреевич был непривычно возбуждён, порывист, беспокоен, я бы даже сказал — азартен. Ещё несколько раз в этот день я видел его в залах музея, и всегда он с кем-то говорил, что-то объяснял, доказывал, убеждал. Позже, когда в “Горьковском рабочем” была напечатана его статья “Споры и чувства. Заметки писателя о выставке”, многое для меня прояснилось.

“И на вернисаже, и в последующие дни, слыша случайно отрывки разговоров, я ещё раз утвердился во мнении, что есть три типа посетителей художественных выставок. Одни идут, потому что это “престижно”. Вторые, заходя не любя художника, идут, чтобы шумными эмоциями посеять сомнения в “душу ближнего”. Третьи — спешат, давно ощущая в искусстве мастера родство и созвучие чувствам и мыслям своим. Художник творит для третьих”.

И далее:

“Да, творчество Глазунова тематикой, образностью, символикой, историчностью требует подготовленного зрителя. Это не картинка!

Глазунов открывается на выставке как автор широкой галереи наших современников, художник-публицист, побывавший в сражающемся Вьетнаме, и человек, духовно обручённый с древними традициями народного искусства, художник, необычайно разнообразный в технике: от станковой графики до коллажа. . . Думаю, всякий человек, которого волнуют страданные письма русской истории, образы русских женщин, мудрость стариков, кто через страницы нашей великой литературы ищет нравственную “дорогу к себе”, не уйдёт с этой выставки холодным, пресыщенным созерцателем”.

Когда в среде художников, к которой всегда был близок Адрианов, Глазунова ругали, над ним насмехались, тогда требовалось определённое мужество, чтобы публично заявить свою позицию, подставить себя под удар авторитетных искусствоведов, да и просто недоброжелателей. Пожалуй, именно тогда я впервые осознал самостоятельность и непреклонность выработанных взглядов поэта. Его уверенность в своей правоте. Уверенность эта зиждилась на великой основе русской истории, русской культуры, русской нравственности. Юрий Андреевич ощущал себя гражданином тысячелетней страны, а не только той, что пыталась вести свою историю с 1917 года. Он был русским советским человеком. Он был плоть от плоти своей земли и не представлял для себя другой. Адрианову всё в истории нашего Отечества было близко.

ПСКОВСКИЙ КОЛОКОЛ

*За какие-то звуки дерзкие,
За слова, что рубил напрямик,
Его били, вырвав язык,
И запрятали... в Белозерске.*

*Грубо брошенный в травы росные,
Триста лет, словно камень, нем,
Весь избитый и безголосый,
Всё равно он похож на шлем.*

.....
*В меди скрыты рыданья всполошные —
Сколько б мёртвой она ни была!
Ничего нет страшней и тревожнее,
Чем молчащие колокола!*

И вот 26 февраля 1985 года.

С шумного дня рождения (пятидесятилетия) местного поэта Виктора Ку-макшева, куда по недоразумению мы с приятелем забрели, ушли, не разде-ваясь. Тогда-то он и предложил пойти к Адрианову. Позвонили ему и поеха-ли на улицу Белинского.

Юрий Андреевич нас уже ждал. Был приветлив, доброжелателен и как-то сразу по-человечески открыто к себе располагал.

Оказывается, он по каким-то причинам не поехал на юбилей друга, пото-му-то мы и застали его дома.

Адрианов сразу показал только что написанные им этюды — яркие, соч-ные, — именно тогда я впервые увидел его знаменитую ветку рябины. Этот сюжет сопутствовал ему до конца жизни. Количество написанных им этюдов с веткой рябины, думаю, исчисляется десятками. Но тогда я увидел это чудо впервые и был восхищён скрытой жизненной энергией, исходящей от работы художника. Думаю, и сам Адрианов скрытую энергию чувствовал, потому так много писал свою рябину, дарил друзьям, близким, потому она и стала, мож-но сказать, его художественной визитной карточкой.

Тогда я ещё не знал стихотворения “Рябина”, которое позже покорило моё сердце.

*Там, где согнул пригорок спину,
Где церковь ветхая молчит,
Такая горькая рябина,
Что даже в воздухе горчит.*

*Густого пламенного цвета,
Как будто сжечь пришла жильё,
Как будто все закаты лета
Вобрали ягоды её,*

*Горит по замершим долинам,
В сады заходит и леса,
Такая красная рябина,
Что розовеют небеса.*

*И вновь уводит от порога,
Призывную приносит весть
Такая дальняя дорога,
Как будто жизнь вторая есть.*

Очень скоро за столом стало оживлённо, весело. Пришла Наташа — су-руга поэта. Она выгуливала борзых — собак удивительной красоты, ума и преданности.

Несколько часов, до самого позднего вечера, мы проговорили о литера-туре, поэзии, живописи, истории, путешествиях. Сидели вокруг стола и гово-рили. На полу у наших ног лежали борзые. Комната с высокими потолками

заставлена шкафами и стеллажами с книгами. Свободное пространство занимают картины. Они висят над тахтой, над дверью — там, где пространство стены не занято книгами и фотографиями близких.

Совершенно особый, неповторимый уют и искренняя теплота человеческого общения окружали нас. И мы радовались этому, принимали в свои сердца благодатное чувство, будто догадывались, что следующая подобная встреча будет нескорой.

На прощание Юрий Андреевич и Наташа подарили мне две книги. На сборнике стихотворений “Добрый серпень” Адрианов написал “Рад знакомству и беседе: Валерию Сдобнякову с пожеланием доброго серпеня и вообще светлого и предоброго, что есть на Руси. Юрий Адрианов. 26. II. 85 г.”.

А на только что вышедшей второй книге очерков “Нижегородская отчина” он оставил такой автограф: “Валерию Сдобнякову, встрече с которым рад, потому что есть те общие чувства и свежие русские ветры, которые и будут залогом добрых встреч. На память о моей “Белинской”. Ю. Адрианов. 26. II. 85 г. Н. Новгород”.

Увы, забегая вперёд, должен сказать, что добрые наши встречи возобновятся намного позже. Правда, это уже совсем другая история, о которой я расскажу ниже. А в этот поздний вечер, почти ночь, я возвращался домой с ощущением праздника в душе. Впечатление от общения было столь сильным и глубоким, что во сне я продолжал наши разговоры, и чувство тепла и света не покидало меня.

III. Провинциальная литературная жизнь

Что за термин такой и чем это отличается — литературная жизнь в столице от провинциальной? Внешне, можно сказать, практически ничем. Только страстишки в провинции помельче, задачи, которые ставят перед собой литераторы, послабее, интрижки — погрязней и поподлей, так как строятся для достижения целей ничтожных, до неприличия мелочных, “копеечных”. Идёт борьба не за идеи, не за славу — за “выживание” в среде местных “классиков”.

Адрианов возвышался над этой борьбой благодаря своей образованности, начитанности, талантности, порядочности, совестливости, непродажности.

У нас не получилось дальнейшего общения после первой встречи только потому, что я не посмел ещё раз прийти в дом поэта. Я не был ему равней, мне нечего было ему сказать, а потому и не смел переступить порог этого дома. А жизнь шла своим чередом. Я что-то писал, публиковал, но в самом Союзе писателей появлялся редко, а после неожиданной смерти писателя Василия Фёдоровича Осипова, служившего там, и вовсе перестал бывать.

Времена же в стране наступали смутные. Противно было смотреть, как вчерашние борцы за коммунистическое будущее бросились предавать свою идеологию, своих хозяев, своих друзей и наперегонки побежали к новым властителям, ожидая от них подачки, пытаясь рядом с ними обустроиться, выкопать своё лежбище.

Сердце разрывалось, видя всё это, не верилось, что до такой низости способен опуститься человек. Ладно — новые политики “демократической волны”. Они пришли ниоткуда и начали захватывать абсолютно пустое, оставленное на разграбление для них прошлой трусливой властью пространство. Но идеологические наёмники, которые до этого верно служили их врагам, почему они вновь оказались у трона, подобострастно готовые броситься в бой с теми, кто пытался отстаивать честность и справедливость, совестливость окружающей жизни?

В это время нигде, ни в одной подлой тусовке не был замечен Юрий Адрианов. Хотя он-то новые времена переживал как никто — и духовно, и физически. Духовно потому, что хорошо знал мировую историю и на её примерах мог судить о том, что ждёт в скором времени его страну, которую он так преданно любил. Физически потому, что жил поэт только своим литературным трудом, получая гонорары за изданные книги, напечатанные статьи и стихи. Но платить в газетах и журналах стали до неприличия мало, просто крохи. Книги же прекратили издавать вообще.

Я знаю со слов Наташи и Юрия Андреевича, как они в эти времена жили, перебиваясь помощью друзей, голодали, впадали в отчаяние, но никогда,

Мы поговорили, распрощались, я положил трубку и тут же подумал: если сейчас всё не решить, то пройдёт время, которое может нас отдалить друг от друга. Я вновь набрал номер Адрианова и предложил встретиться. Юрий Андреевич с готовностью согласился.

Так судьба вновь привела меня в этот удивительный, добрый дом. Опять в этот вечер были подарены книги с неравнодушными пожеланиями, этюды, в том числе и “Рябина”. Теперь и у меня в рамке на стене висит этюд с “Адриановской веткой дружбы” – желтеющие листья, красные гроздья – символ прохождения времени и жизнеутверждения его. Символ вечности.

Щедрый, бескорыстный дом, привыкший больше отдавать, чем брать. Сколько бы я ни приходил сюда, почти всегда меня ждал уже приготовленный подарок – книга. Я был свидетелем, с какой щедростью, от души дарились этюды другим людям. И в связи с этим хочется вспомнить один особый случай.

Как-то я пришёл к Адриановым и обратил внимание: в прихожей, громоздятся стопки книг многолетних подписных изданий А. Грина, О. де Бальзака, серии “Предприниматели России”. Особого значения я этому не придавал. Когда же уходил, Юрий Андреевич, несколько даже смущаясь, предложил мне все эти книги забрать.

– У тебя есть дети, пусть читают.

Зная материальные затруднения семьи, я предложил Юрию Андреевичу:

– Отдайте лучше в букинистический магазин.

Адрианов “вспыхнул”, но вслух возмутился сдержанно.

– Зачем? Я лучше тогда в какую-нибудь библиотеку отнесу.

Нестыжание, понимание чести и справедливости были у него в крови, на генетическом уровне. Потому и все сомнительные сделки с совестью по написанию неких заказных статей, как бы ни тяжело было без денег, он отвергал. Чувство совести и чести не позволяло. Тем более, он не мог себе представить, чтобы какие-то вещи, принадлежащие лично ему, могут приносить доход, быть кому-то проданы. Юрий Андреевич получал вознаграждения только за свой творческий труд, только за то, что было приобретено им самим в труде, своим интеллектом, в огранке Богом данного таланта.

Как же мне было неловко в тот раз за своё предложение...

В другой раз Адрианов узнал, что у меня только что был день рождения, и, позвонив, предложил заехать к нему на Белинского. Были у меня в тот день какие-то дела, я несколько опоздал к назначенному сроку, а когда пришёл, то тут же, при встрече, Юрий Андреевич вручил мне свой этюд “Перечитывая А. А. Фета” – тёмный, сумрачный лес, барское крыльцо с колоннами, слабые отблески закатного солнца – всё в этой работе говорит о глубокой сосредоточенности, задумчивости.

Прошло уже много лет, а подарок этот так и остаётся для меня одним из самых дорогих и памятных, потому что был приготовлен заботливо, продуманно и от чистого сердца.

О любви поэта к своему городу я, думаю, будет написано ещё много. Да и не только к городу, а ко всей Нижегородчине, ко всему поволжскому (и заволжскому) краю. Но в последние годы он жил литературным затворником, редко бывая на каких-то презентациях и торжественных встречах, посвящённых юбилейным датам. И потому время от времени он тосковал без общения с городом. В творческом, духовном плане его затворничество было самодостаточным, но с дорогами его сердцу улицами и дворами Юрия Адрианова связывала память. Работа же над рукописью воспоминаний “Память Дятловых гор” обостряла желание вернуться туда, в своё прошлое, к родным людям, соприкоснуться с ними воочию.

*Я гость двадцать первого века,
Столетия минувшего сын...*

Наши переговоры о подготовке к выездам в город обычно затягивались на долгие недели, но каждый раз всё-таки поездки осуществлялись. Удивительно то, что маршрут их был неизменен. На машине я подъезжал к дому Адриановых. Оттуда сразу отправлялись на улицу Ульянова, где прошло детство Адрианова. Напротив дом, где жил знаменитый конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев. Всё это старая, исконная часть города. И дома здесь низкие, двухэтажные, дореволюционные, с тихими двориками.

Оттуда — на улицу Алексеевскую. Затем Волга, Печерский монастырь. Закончилось же наше короткое путешествие в прошлое неизменно у храма Жен Мироносиц. Это была для него необъяснимо мистически-притягательная точка.

Иногда Юрий Андреевич отправлялся в поездки по городу самостоятельно. Выходил из дома, садился в трамвай и ехал, глядя в окно на изменяющиеся в последнее время, вновь застраивающиеся улицы. После таких поездок он звонил друзьям, знакомым, в том числе и мне, делился впечатлениями столь непосредственно, искренне, доверительно, что невольно думалось о нём — человек с чистой душой, как у ребёнка.

Да и вообще его искренность и чистота в общении как-то не очень вязалась с нравами теперешнего времени. Адрианов, если мы долго не виделись или не разговаривали по телефону, мог позвонить и напрямую спросить:

— Ты чего-то пропал? Может быть, я обидел тебя? У Наташи спрашивал, она говорит, что вроде бы не обижал...

Или вот, говоря о фотографии в очередном номере “Вертикали”, мы не согласились друг с другом по поводу качества их воспроизведения. Прощаясь в большой прихожей, Юрий Андреевич окликнул меня уже от двери и так незащитно посмотрел, так удивлённо-непонимающе пожал плечами (значит, почувствовал, что невольно обидел, и не хотел, чтобы я уходил от него с этим чувством в сердце), что тёплая волна прокатилась у меня в груди. Как я мог допустить, чтобы эта чистая душа несла по моей вине какую-то тяжесть! Я тут же вернулся, и мы крепко обнялись.

Не помню, чтобы ещё с кем-нибудь во мне появлялось такое чувство покаяния и стремления к миру в отношениях. Но рассказанное выше вовсе не означает, что Адрианов был таким рохлей, бесхребетным добрячком в творческих оценках. В том, что касалось дела, он был твёрд, бескомпромиссен и категоричен. При этом Юрий Андреевич с глубоким уважением относился к творческому труду, какого бы уровня и качества он ни был. Что же касалось непосредственно оценки этого труда — тут да, существовала строгая и опять же бескомпромиссная градация. Но это уже дело другое, это оценка не просто труда, а профессионализма. Так, в наших разговорах стоило мне “увлечься” и чьё-то творчество подвергнуть критике, как Адрианов жёстко (не грубо, а именно жёстко, немедленно, категорично) говорил, как отрубал — нет, этот писатель талантлив. После такой оценки тут же понимаешь — дальнейший разговор в этом ключе и в этой тональности невозможен, бессмыслен.

В то же время мне не раз приходилось слышать от других литераторов снисходительно-насмешливую оценку стихотворений самого Юрия Андреевича. Мол, это всё скучно, вторично, нет в них ничего нового, привлекательно. Ну, что тут можно сказать...

Я думаю, эти досужие разговоры шли от непонимания того внутреннего, творческого состояния поэта, которое он переживал. И его затворничество, нежелание ходить на публичные встречи, “появляться в обществе” тоже провозгласило эти разговоры. Но ведь в таком его образе жизни не было ничего нарочитого. Глубокое осмысление прожитого и узанного требовало сосредоточенности, отвергало суету. Последние его земные годы — не жизнь в привычном понимании этого слова, а ощущение себя в истории и истории в себе. Процесс этот проходил вне зависимости от воли поэта — мою мысль подтверждает количество и качество им написанного. Особенно в стихах.

Как-то в одну из наших встреч Юрий Андреевич прочитал несколько новых своих стихотворений. Они мне очень понравились своей философичностью, мудростью.

— Какое понравилось больше всех? — спросил Адрианов.

Я ненадолго задумался, а потом прочитал небольшое, в две строфы, стихотворение, которое почему-то сразу запомнил. Хотя вообще-то с запоминанием поэтических строчек у меня проблема.

*Зрелый жёлудь — это капля вечности,
Миг, что должен жизнью прорасти!
По ночам потоком звёздной Млечности
Неба обозначены пути.*

*Тишина просторная, усталая
Залегла в дубовые леса,*

*Где в земле сокрыта капля малая —
Древа плодоносная слеза.*

Несколько позже, совсем неожиданно для себя, я увидел это стихотворение опубликованным в еженедельнике “Земля нижегородская” с посвящением мне и был этим чрезвычайно тронут. Потом мы напечатали стихотворение ещё раз в подборке с другими новыми произведениями поэта в одном из выпусков “Вертикали. XXI век”.

Вспомнил я об этом стихотворении не случайно. На его примере можно с достаточной убедительностью подтвердить ту мысль, что сформулирована мной немного выше.

Поэзия Адрианова на протяжении всего его творческого пути и особенно последних лет жизни пространственна. Она в своих ощущениях воспринимает историческое время в целостности, в едином объёме, как единую составляющую мироздания, не разбитую на условные периоды. И потому, говоря о каком-то историческом факте или, как в нашем примере, о всего лишь лесном желуде, упавшем с ветки, он видит, ощущает этот факт в объёме, в непрерывности времени. Прошлое, сегодняшнее время и будущее в Адрианове существует единым фактом. Точно так же, как и микромир в равной степени соединён с макромиром, с бесконечностью — в ощущениях поэта они взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимопроникаемы. Ведь зрелый жёлудь — капля, но не уничтоженного мира, а вечности. Микрособытие равно бесконечности истории. Следующая строчка это подтверждает — “миг, что должен жизнью прорасти!”. В том, что это событие равно грандиозности Мироздания, поэт убеждает нас, заставляя взглянуть на Млечный поток, где “неба обозначены пути”. И тут же космическую тишину неба вновь уравнивая с тишиной дубового леса, где она “просторная, усталая”, он, будто проникая взором в земную твердь, доверительно с нами делится знанием, что там, в глубине, “сокрыта капля малая”, являющаяся залогом будущей жизни — “плодоносная слеза”.

Всё это показано, ощущено в едином образе вечности. Млечный Путь немислим без жёлудя, и наоборот. Так движение жизни, движение времени ощутить дано далеко не каждому. Передать же это в поэтической строке — только истинному таланту, только человеку, глубоко мыслящему и размышляющему над прожитой собственной жизнью, над её значимостью, ценностью и ответственностью.

Потому к неблагоприятным, низким поступкам других он относился столь серьёзно и требовательно. Я думаю, что эта сверхчувствительность к нравственной оценке поступков лежит в той же плоскости, в первую очередь, в требовательности к себе.

Адрианов легко прощал ошибки и заблуждения, он был открыт сердцем. Вот почему так тяжело его всякий раз ранили сознательные предательства.

Знаю, многие расценивали его ранимость как некий каприз человека, избалованного судьбой и талантом. Я же склонен считать это потрясением от вопиющей несправедливости, возможно, даже подлости, потрясением от поступков, которые сам он никогда бы совершить не смог. Конечно, это всего лишь мои предположения, и, вполне возможно, я многого не знаю. И всё-таки выпало и на мою долю кое в чём убедиться, кое-что испытать. А ряд событий свёл нас с Адриановым как невольных участников.

В один из вечеров мы встретились по делам журнала с Адриановым. В разговоре коснулись темы предстоящей смены председателя в нашем отделе Союза писателей. Юрий Андреевич рассказал, что его всячески уговаривали приехать на собрание и проголосовать за одну из кандидатур, но он однозначно отказался. А вот кто будет ещё на выборах выдвинут, он не знал. Я сознался, что дал согласие на участие в выборах. Адрианов обрадовался, одобрил моё решение. Опять встал вопрос — ехать или нет на собрание. Я попросил его этого не делать.

— Кто-то должен оставаться независимым, быть над схваткой. Слишком высока и дорога для многих ваша репутация, — сказал я тогда Юрию Андреевичу.

Описывать, как проходило перевыборное собрание, думаю, нет необходимости. При подсчёте голосов оказалось, что я проиграл в один голос. Я вздохнул с облегчением. Пронесло! Чуть было не ввязался в совсем не нужное для меня дело.

Адрианов происшедшим был глубочайше возмущён. Он звонил мне, жалел, что не поехал на собрание, возмущался подтасованным результатом... Я его успокаивал, убеждал, что вовсе не расстроен и что так для меня и журнала лучше.

— Да, иначе они бы тебе мстили. Может, и действительно, так спокойно, — подвёл итог нашего разговора Юрий Андреевич.

Адрианов искренне, заинтересованно меня предостерег.

Больше к этой теме мы не возвращались.

V. Журнал “Вертикаль. XXI век”

К тому времени, когда Юрий Андреевич начал сотрудничать с “Вертикаль”, вышло уже три книжки альманаха. Альбина Петровна Гладышева, обозреватель по культуре газеты “Земля нижегородская”, предложила Адрианову познакомиться с ними и, если будет для поэта интересно, откликнуться рецензией.

Юрий Андреевич прочитал книжки альманаха, содержание понравилось, и вскоре в еженедельнике появилась статья “Альманаха голос доверительный”, в которой он писал: “. . . Осенью прошлого года внезапно появился небольшой уютный альманах “Вертикаль”, издаваемый под редакцией члена Союза писателей России Валерия Сдобнякова. . . Думаю, что это не только новое лицо в культурной жизни области, но явление и выстраданное, и долгожданное. . . Если бы можно было позволить себе говорить о литературном издании, как о произведении живописи, то я бы сказал, что редакционным советом найдена верная тональность. Интонация беседы с читателем доверительная и негромкая, как в общении с добрым человеком.

Даже в раздумьях о современной России нет визгливых мнений и базарного крика. Есть момент исповедальности. . .

Всё содержание нового издания обращено к надежде на обретение человеческой душой вечных нравственных истин.

Оглядываясь назад, на прошлые времена, размышляя над потоком нынешних дней, проза, поэзия, публицистика на страницах альманаха “Вертикаль” ищет негромко и нешумно, но достойных ответов на смысл бытия. . .

Альманах невелик по объёму, он не мечется на случайные тропы или боковые просёлки. . .

Утренняя тишина рождает погожий день. Рождение “Вертикали” было тахим. Да пусть в этом будет добрый знак! Главное начать, благословясь”.

Это была своевременная поддержка изданию, так как вокруг альманаха начала складываться неприятная, враждебная обстановка. В чём тут причина — я и сейчас понять не могу. Но я обратился к Адрианову с предложением дать что-либо из вновь написанного для публикации в “Вертикали”. Он с готовностью откликнулся. Так в альманахе появились первые публикации любимого нижегородцами поэта — цикл стихов “Из тетради 2002 года” и статья “Запечатлённая память”, где он предлагал:

“Нижегородская, печерская земля — зримое начало нашей письменной истории, первый свод знаний о родине. . . (Здесь, на этой земле была написана известная “Лаврентьевская летопись”. — **В. С.**). Думаю: нижегородцам надо достойно прославить это место. Необходимо установить недалеко от Спасской церкви, в Старых Печерах, памятный Знак. Наверное, лучше всего его сделать из скромного известняка, которым всегда и любовно пользовались древнерусские зодчие. Это родной камень! И пусть надпись на нём сообщает грядущим поколениям о славном деянии, что свершилось на этой былинной земле. Ведь окраина Старопечерской слободы — бесспорно, одно из красивейших, согретых Богом, мест нашего города. Здесь великий след Истории!”

С этого момента творческая связь поэта с журналом (а с начала 2003 года периодичность уже журнала “Вертикали. XXI век” возросла до четырех выпусков в год, увеличилась и печатная площадь издания, обложка стала цветной и индивидуальной: журнал “приобрел лик” — и, наконец, он был зарегистрирован в соответствующем государственном органе как литературно-художественный) уже не прерывалась до самой кончины поэта. Ещё печатались стихи, несущие в себе чувство ностальгии по прошлому:

*Переулоч, временем забытый,
Где блестит бульжничок под дождём.
Палисад с калиткою открытой,
Старый дом, где никого не ждём.*

*Скользкие дощатые ступени,
Что порой вздохнут едва-едва.
Сумрак, где ветшают даже тени!
Живы только памяти слова.*

*Распростёрся тусклый жёлтый вечер
Над былым у смертного конца.
Лишь обрывки доброй русской речи
Шелестят, как листья у крыльца.*

Но главным произведением Адрианова, которое мы публиковали в “Вертикали. XXI век” (к сожалению, оставшимся неоконченным) стала его книга воспоминаний “Память Дятловых гор”.

С первого же нашего контакта Юрий Андреевич полностью принял идею издания, горячо и заинтересованно её поддержал. Он вообще был человеком неравнодушным – всё, что происходило на литературном поле Нижегородчины (как и вообще в России), его чрезвычайно интересовало. Для него это было, как дышать воздухом. Казалось, он знает о творчестве всех, кто когда-то работал или сейчас работает в литературе. И относился к этому труду, каково бы качества ни был, с уважением, хотя при этом мог многое у автора не принимать, не разделять его взглядов.

Я ни разу не слышал от Адрианова в отношении к чьему-то творчеству высокомерно-презрительной оценки “графоман”. Он знал истинную цену труду над неподдающимся, неукротимым словом и потому уважительно относился к авторским поискам, хотя конечного итога мог и не принимать. Это всегда оставалось личным делом сочинителя, исключительно редко афишируемым, если, по его мнению, конечный результат оказывался отрицательным. Все-му же достойному он искренне радовался и делился этой радостью с каждым, кто был готов её воспринять. Щедро высказывался по этому поводу в печати. Талант – только от Бога.

Вот написал я сейчас эту фразу и подумал: а сколько “литературных начальников”, особенно в провинции, ставят себя “на место Бога”, решая, кто имеет право писать, а кто – нет. Кого объявить гением, кого – графоманом и недостойным внимания. И как, к сожалению, часто творчество людей, особенно если оно самостоятельно и нестандартно, тяжело в таких условиях пробивалось и пробивается к читателям. Какой же неоценимой поддержкой для таких литераторов служат оценки истинных писателей, бескорыстно преданных литературе творцов! Как был бы сер и убог мир без их жертвенности, без их “высшей справедливости”, без их способности радоваться милости Божией, дарованной всем нам через талантливые поэтические строки, через прозаические художественные образы, через горячее публицистическое слово!

В этот период мы очень часто встречались. Только Юрий Андреевич, единственный, мог позвонить и порадоваться вместе со мной по поводу печатного доброжелательного отклика в газете, будь то центральная “Литературная газета” или наша местная периодика, на очередной выпуск журнала.

Конечно, и это было совершенно естественно, он вошёл в редакционный совет “Вертикали”, причём не на правах “свадебного генерала”, а как работающий, заинтересованный в конечном результате её член.

Как-то он даже мне обмолвился:

– Ты ждёшь от меня помощи. Но что я могу? И себе на книжку достать денег не получается.

Я начал заверять Юрия Андреевича, что совершенно об этом не думаю и что доволен главным его сотрудничеством – творческим. Вроде бы на этом “инцидент” был исчерпан.

Но через какое-то время, зайдя к Адрианову, я получил от него пакет с письмом, адресованным бывшему нашему Нижегородскому губернатору И. П. Складову. Подписан конверт был так: “Председателю Фонда владыки

Николая от Адрианова Юрия Андреевича (Почётного гражданина Нижегородской области)».

В этом письме поэт писал:

Дорогой Иван Петрович!

Извините, но беспокою Вас по делу, что Вам по сердцу, как русскому человеку! Уже 5 раз в нашем Нижнем выходил альманах “Вертикаль” – издание православных писателей. Его знают и в столицах, и в православных храмах Европы. Его поддерживают и печатаются в нём лучшие писатели России – Вас. Белов и Вал. Распутин. № 6 они хотят посвятить св. Серафиму. Не можете ли помочь изданию?.. Дело святое! Язык издания русский, чистый; мысли – добрые. Я – член редколлегии. Кроме меня, там нар. артист России В. Никитин, академик геологии Коломиец. Редактор В. Сдобняков – ученик Валентина Распутина.

Вы понимаете, что это за издание?! Врагов много!

*С уважением к Вам, Юрий Адрианов.
1 марта 2003 г.*

Конечно, я не верил в действенность письма (привык, что помощь “Вертикали. XXI век” почти всегда приходит провидчески, почти мистически и зачастую не оттуда, откуда её ждёшь), но, чтобы не оставить столь искренний порыв Юрия Андреевича – помочь журналу – без внимания (а дела тогда с финансированием журнала в очередной раз были крайне тяжёлыми), я всё-таки сходил в кабинет к высокому чиновнику и передал послание поэта.

Сразу скажу – ничего, кроме глубокого разочарования, эта встреча во мне не оставила. И не потому, что было отказано в помощи. Нет, не в моей гордыне тут дело. Мне было горько за поэта, за его чистый порыв, за открытый тон послания, за высокие слова, обращённые к равнодушному чиновнику, пропитанному ощущениями и впечатлениями своего бывшего губернаторства.

Тут меня могут упрекнуть, что я необъективен. Напомнят, как Скляров выделил деньги на издание книги Адрианова “Нижегородская отчина”. Всё это я знаю. Но вижу и другое – чиновники считают писателей никчёмными попрошайками. А ведь писательский труд, сейчас почти не оплачиваемый, рассчитан не только на сиюминутное служение, но на служение во времени. И Склярова, может быть, со временем вспомнят лишь потому, что выделил он бюджетные (не от себя, родимого, копеечку оторвал) деньги на издание книги Адрианова “Нижегородская отчина”, которая будет служить верой и правдой не одному поколению нижегородцев. Конечно, не всем скопом, а только тем, кто захочет быть причастным к великой истории своей страны, к истории и жизни своих предков.

И ещё я пишу эти строки в назидание для того, чтобы помнили наши власти: вы останетесь в памяти отечественной истории (хоть и не велика в подавляющем случае будет эта историческая зарубка) такими, как о вас, о вашей деятельности расскажут писатели. Не услужливые журналисты, которые ежедневно с экранов телевизоров льют елей вам в уши и заполняют газеты вашими фотографиями, а именно писатели. Их вдумчивое перо, их этическая и нравственная оценка ваших поступков могут послужить будущим поколениям и как повод для восхищения вами, и как повод для осмеяния ваших пороков и недостатков. Помните об этом. Знаю, бывает и писательское перо продажным, но далеко не всякое и далеко не всегда.

О том, что Юрий Андреевич болен, я узнал от Наташи. И всё-таки надежда теплилась – как-то он свою хворь преодолееет. В худшее верить не хотелось никак. Потому, когда узнал, что это всё-таки произошло, и Адрианов в больнице, – в тоске сжалось сердце от предчувствия большой беды.

Болезнь Юрия Андреевича совпала с завершением публикации последних переданных нам глав книги “Память Дятловых гор” у нас в “Вертикали. XXI век”. Но обложка ещё свёрстана не была. И я попросил Наташу – дай этюды Юрия Андреевича, любые, на свой вкус. Порадуем его. Пусть не только проза, но и его живопись украсят журнал. Наташа быстро откликнулась, принесла два этюда Адрианова – “Берёзовая опушка. Полдень” и “Покров”. Оба они были напечатаны – один на первой странице обложки, другой – на

четвёртой. Как только получили книжку журнала из типографии, я с Алексеем Марковичем тут же поехал в областную больницу им. Н. А. Семашко – передать автору его публикацию.

Юрий Андреевич нас встретил радостно, но болезнь слишком быстро прогрессировала. Смотреть на него было больно, как на всякого человека, глубоко страдающего.

Мы попытались немного его развлечь, разговорить. Помогли получше усесться в кровати, так, чтобы дневной свет из окна доставал до изголовья.

Пришло время прощаться.

Я уже стоял поодаль от кровати, ближе к двери, готовясь выйти из палаты, когда Юрий Андреевич позвал меня. Я вернулся, и он тихо попросил: “Обними меня”. Мы обнялись. У него были худые, обессиленные болезнью руки.

Вернувшись к себе и сев за письменный стол, я всё продолжал и продолжал думать об этом нашем прощании. В то же время бессознательно теребил в руках книжку последнего номера журнала, буквально накануне полученную из типографии. И вдруг невольно задержал свой взгляд на тех живописных работах, что были на обложке. Насколько символичными они мне вдруг открылись.

Полдень. Опушка берёзового леса. В облаках небо. Всё насыщено жизнью, наполнено цветом. Но в глубине берёзы облиты жёлтым, и от этого весь пейзаж несёт в себе предчувствие некой неосознанной, ожидаемой грусти. Нет в нём видимых причин грустить, но мы-то видим – полнота жизни на картине столь конечна, что после неё неминуемо придёт увядание, осень, зима, пусть не вечная, но смерть. Я резко перевернул журнал.

Замерзшее озеро, запорошённые первым снегом прибрежные камыши, и одинокая покинутая лодка у берега. Больше ей уже никуда не уплыть. Это её предел, её вечное пристанище.

Ох, Наташа, Наташа... И как только тебя угораздило подобрать именно эти этюды, что пророчески легли на обложку с последней прижизненной публикацией Юрия Андреевича?..

VI. Последняя книга

Наташа позвонила утром. Я ещё не ушёл на работу. Она рыдала и как закливание повторяла:

– Юра умирает. Пожалуйста, привези срочно из типографии университета его книгу “Провинциальные Гомеры”. Пусть он успеет подержать её в руках.

Наташа звонила ещё, когда я собирался выходить из дома. Торопила и торопила. А я, честно признаюсь, всё это отнёс на импульсивность женской природы и до конца её словам не поверил. Да разве можно было в это поверить, что Юрия Адрианова вдруг не станет среди нас. Не будет его новых книг, статей, стихов, не будет телефонных звонков с искренними впечатлениями от только что прочитанного, увиденного, сделанного им самим.

Типография Нижегородского государственного университета мне хорошо знакома. Получив малую часть тиража книг, я спешно поехал в больницу, где понимала приближение наступающей беды, но ещё надеялась на чудо Наташа Адрианова – жена поэта.

Вообще, у книги “Провинциальные Гомеры” трагическая судьба. И не только потому, что она оказалась последним изданием, вышедшим при жизни автора. Просто я знаю, как она писалась, готовилась к изданию. По поводу неё мы часто говорили с Юрием Андреевичем и по телефону, и у него дома, и во время наших поездок на машине по городу. Бывало, закончив подготовку очередной главы, он звонил вечером мне домой в хорошем, неподнятом настроении и как бы между прочим, например, сообщал:

– Закончил сегодня ещё одну главу.

И я понимал – это для Адрианова и есть главное событие последних дней.

Но, говоря о трагической судьбе книги, я, в первую очередь, имел в виду то, что все герои напечатанных в ней очерков – духовно близкие Адрианову люди (Б. Е. Пильник, Н. И. Кочин, Н. Г. Бирюков, А. П. Бринский, Ф. Г. Сухов, А. И. Люкин...) – покинули этот мир, кто давно, кто сравнительно недавно. Юрий Андреевич разговаривал в книге с прошлым, оценивал его, проецировал на сегодняшние времена.

И это проецирование, это сравнение отражалось болью в сердце поэта. А ещё он понимал свою ответственность перед памятью ушедших и то, что, кроме него, эту книгу уже никто не напишет. Эта ответственность довлела над ним, поэтому Адрианов так стремился дописать и издать свой труд, поэтому так ждал его выхода. Он понимал: книга нужна для будущего, для преемственности поколений в нижегородской литературе, вообще – в культуре.

Сейчас, когда эта книга у нас есть, мы можем по-разному к ней относиться. Но я твёрдо знаю – будут на Нижегородчине разные времена. И в каждое новое время книга будет читаться по-своему, каждому времени она будет давать что-то своё.

Когда я вошёл в палату, был поражён тем, как часто, глубоко, с хрипом дышит Юрий Андреевич. Грудь его часто и высоко вздымалась, глаза были почти закрыты, руки, щёки, лоб были бледны и мертвенно холодны.

Я распаковал пачку. Наташа взяла книгу и с приговариванием, в слезах, будто твердя заклинание, вложила её в руки Юрия Андреевича. И тут я понял – это было последнее, на что она надеялась, как на чудо, что ещё могло вернуть нам поэта. Его долгожданная книга. По тому, как повёл в сторону глаза Адрианов, мне показалось, что он всё понял. Но невыносимая боль затмевала всё в сознании.

На некоторое время Наташа вышла из палаты, оставив нас одних.

Я сидел рядом с кроватью, у изголовья, держал свою ладонь на холодной руке поэта и говорил ему то, о чём много раз думал, но не произносил вслух. Я хоть и прощался, но в то же время понимал: очень много Юрий Андреевич оставил нам своего, потаённого в стихах, прозе, живописи. А значит, уходит он от нас как бы не полностью. Часть его души, его света, его голоса теперь неотлучно будет с нами.

Вернулась Наташа. Я стал прощаться. Наклонившись в последний раз, я приобнял и поцеловал в щеку дорогого мне человека и пообещал, что приеду вечером или завтра утром.

Через час нижегородские телевизионные каналы сообщили, что Юрия Андреевича Адрианова не стало.

В одном из номеров “Вертикали. XXI век”, как бы отвечая будущим своим клеветникам и недоброжелателям, поэт опубликовал такое стихотворение:

*Я часто был слугой греха,
Но не позорного порока!
Державе русского стиха
Служил без страха и упрёка!*

*И даже в самый смутный час
Я верность сердца не нарушил
И счастлив тем, что всё же спас
От суеты и честь, и душу.*

*Чтил память предков, память всех,
Друзей не отдал на закланье,
И лишь исконный русский грех
Себе оставил в назиданье.*

.....
17 января 2003 г.

Только тем, что служил “державе русского стиха”, мы и будем помнить русского поэта Юрия Андреевича Адрианова.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ЗА СВЯТЫНИ ОТЕЧЕСТВА

К 80-летию Юрия СЕЛЕЗНЁВА

Когда Юрия Ивановича Селезнёва провожали в последний путь, было сказано много горьких, покаянных, высоких слов о нём как человеке и писателе, о его драматичной судьбе литератора и редактора, но самой запоминающейся стала фраза Вадима Валериановича Кожинова: “Есть люди, о которых говорят, что на них земля держится. Юрий относился именно к таким людям. И сейчас, после его ухода, у меня есть ощущение, что земля пошатнулась”.

Справедливость этих слов становится всё более очевидной по истечении десятилетий, когда многожды раз в кругу друзей и единомышленников повторялось одно: “Как же его сейчас не хватает!” И, действительно, в тот или иной роковой эпизод нашей истории конца XX века не оставляло ощущение, что не хватает его прямого взгляда, его точного, объёмного и страстного слова, его пристальной и пронизательной оценки того или иного явления в литературе и жизни. Он умел схватить самую суть происходящего, дать необходимый и верный в своей убедительности анализ вроде бы не очень значительного внешне, но имеющего реально насущный смысл того или иного события. И многие его современники, в первую очередь, вспоминали именно это его свойство, говоря о необходимости Селезнёва в нашей жизни.

“Я бы сказал, что у него было своеобразное, скульптурное мышление. То есть не одномерное, не плоскостное, а всеохватывающее, что позволяло ему представить явление во всей его целостности, идя при этом от главного. Отсюда его постоянные обращения к проблеме народности, к теме патриотизма, долга и совести” (Валерий Ганичев).

“Что бы он ни делал в эти годы – слушал, читал, писал, вёл беседу, да же попросту общался с людьми, – во всё он вкладывал прямо-таки исключительную духовную энергию. Это было непрерывное горение, непрерывная и полная самоотдача” (Вадим Кожинов).

“...Разнообразные интересы объединялись... в высшей степени присущим Юрию Ивановичу Селезнёву обострённым чувством национального в культуре. По его убеждению, глубинное, подлинно национальное, выражающее исторический опыт и дух народов – основной критерий причастности к общечеловеческим ценностям, к мировой культуре... Отсюда, наверное, очень искреннее и как-то особо подчёркнутое его уважение к каждому большому и малому народу, самобытно живущему на своей земле, говорящему на своём языке и творящему свою культуру – вклад в мировую духовную сокровищницу... Он ощущал себя и был на самом деле доблестным воином в сра-

жениях за духовные и культурные ценности своего народа, за святыни Отечества...” (Валерий Сергеев).

“Он становился возвышен, когда говорил о русской классике. Я не знаю среди его оппонентов и единомышленников человека, который мог бы с ним соперничать в этом самозабвении, в этой способности подчинить себя великому духу, воплощённому в творениях наших гениев, с любовью (то есть совершенно) раствориться в нём, понимая, что только так, только отказываясь от самого себя, и можно стать самим собой” (Евгений Лебедев).

“Чувствовалось... что для него главное – в возможности работать: не важно, где, в каких условиях, но работать над тем, что тебе действительно дорого. Продвигаться шаг за шагом к намеченной цели, иступлённо трудиться (а трудиться и именно иступлённо, самозабвенно он умел), не обращая ни на что внимания, на высоте, где захватывает дух, – без спасательного пояса и каски” (Олег Михайлов).

“Для него литература – не механическая сумма писателей и национальных достояний, но их непрекращающееся взаимодействие, в котором нет деления на живых и мёртвых. Так и в русской литературе видит он дело соборное, все голоса для него сливаются в одно стройное звучание... Я немного видел в жизни людей, которые бы всем своим существом так устремлялись – без насилия над собой, легко и радостно – к идеалу человека” (Юрий Лошиц).

* * *

Юрий Селезнёв родился 15 ноября 1939 года в Краснодаре. В детстве пережил немецкую оккупацию. После армии окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института.

Сухие биографические факты не в состоянии, естественно, передать того постоянного духовного взросления, которое сопровождало Юрия Ивановича на протяжении всей его короткой жизни. Время Краснодарского педагогического института и Кубанского сельхозинститута, где он преподавал русский язык иностранным студентам, было временем запойного чтения русской и мировой классики, временем пристального изучения творчества Фёдора Михайловича Достоевского, будущего главного героя селезнёвских “штурдид”. За считанные годы он перерос провинциальную литературную среду и рвался в столицу. В 1970 году переступил порог дома Вадима Валериановича Кожина.

“Зазвонил телефон, – вспоминал Кожин. – Незнакомый певучий голос... заговорил о моих книгах и статьях, о надежде на встречу... В его лице и даже в самом его стане ясно выражались несгибаемая душевная крепость и чистота... Быстро удалось ввести его в тот характерный русский разговор – внешне хаотичный, неожиданно перескакивающий с одного на другое, – который всё же захватывает вдруг самое важное и глубокое. Стало очевидно, что Юрий Селезнёв жаждет большого, настоящего дела на ниве русской культуры – дела, для которого тогда, полтора с лишним десятилетия назад, в его родном крае не было необходимых условий...”

С этого разговора и начался постепенный вход Селезнёва в московскую литературную жизнь. В 1971 году он стал аспирантом Литературного института и начал работать над диссертацией “Поэтика пространства и времени романов Достоевского”. Готовую работу он защищал уже в Институте мировой литературы. И в 1975 году состоялся его подлинный литературный дебют – публикация в журнале “Молодая гвардия” статьи о школьных букварях и книгах “Родная речь” – “Словом всё делается”.

Статья, по сути, была страшной. В ней со вполне спокойной интонацией, но с нарастающим внутренним напряжением рассказывалось о том, как уродуется художественный вкус маленьких читателей в самом начале его становления. Причём уродуется в учебных изданиях, рекомендованных министерством образования.

Этой статьёй, как и предыдущей, – “Зачем жеребёнку колесици”, посвящённой детской литературе, – Селезнёв разворошил осиное гнездо. Много позже мне в руки попала машинописная стенограмма заседания представительской секции детской литературы, состоявшегося тогда в Ленинграде. С кем только не сравнивали тогда ещё молодого критика... Статью сравнивали –

ни больше, ни меньше – с докладом Жданова “О журналах “Звезда” и “Ленинград”...

Последствия, впрочем, были диаметрально противоположны последствиям ждановского доклада. Были приняты соответствующие организационные меры.

“За публикацию моей статьи и ещё одного парня из Ленинграда в сборнике “О литературе для детей”... сняли первого директора издательства ленинградского отделения “Детской литературы” (акция эта была осуществлена при непосредственном участии Галины Брежневой. – С. К.) – случай в последние годы уникальный и настораживающий, – писал Селезнёв Александру Федорченко, – не помогло даже заступничество его родного брата – Б. Стукалина, председателя Госкомиздата СССР, то есть, по существу, министра печати...”

И вся его дальнейшая литературная жизнь проходила в атмосфере боя на литературной ниве – за душу человеческую, за совесть человеческую, за русскую гармонию. Главным полем битвы в 1970-е годы стала русская классика.

Статьи критика о Гоголе, Тютчеве, Тургеневе, Чехове не просто вскрывали потаенные смыслы их произведений. Классические творения рассматривались в контексте единого, непрерывного потока, несущего благотворную духовную влагу со времён “Слова о законе и Благодати” и вплоть до наших дней. Они рассматривались в русле народного мироотношения: “Дело не в том, сколько представителей народа стало героем того или иного романа, а в том, что все без исключения герои времени оценивались писателями только по тому, как их жизнь соотносилась с жизнью народной, с народными делами и устремлениями. Именно идеалы народные были тем последним судом, которым судили русские писатели своих героев”.

“На судьбу мне жаловаться нечего, – писал он Александру Федорченко в 1975 году. – Я ведь, по существу, делаю первые шаги, но уже награждён судьбой. Мне довелось уже услышать добрые слова (правда, не лично) от Шолохова и Леонова, а лично (и не просто добрые, а прямо-таки высокие) от Белова, Астафьева, Потанина, Кожина и других. А всё это люди серьёзные и слов на ветер не бросают. Всё это мне очень дорого и заставляет собираться и “дерзать”...”

В этом “дерзать” ощутим ироничный оттенок. Но тем не менее всю творческую жизнь Юрия Селезнева вполне естественно оценить словом “дерзание”.

После кратковременной работы в отделе критики журнала “Знамя” и в отделе прозы журнала “Молодая гвардия” он пришёл на работу в серию “Жизнь замечательных людей”, с которой был связан несколько последующих лет. В том же году вышла его книга “Вечное движение”, где были даны настолько яркие и запоминающиеся портреты Астафьева, Белова, Лихоносова, Носова, Шукшина, Потанина, Василя Быкова (ещё не “классиков” в сознании читающего населения, но уже классиков по сути), что Селезнёву была присуждена за неё премия Ленинского комсомола – не отметить эту книгу как наиболее выдающуюся из числа тогдашней “молодой литературной критики” не представлялось возможным. И этот же год во многом стал для него рубежным, ибо в журнале “Москва” была опубликована его новая, необычная даже для него по остроте статья “Мифы и истины”.

Полемистом Юрий Селезнёв был отменным. Он никогда не клеил “ярлыков”, не занудствовал “академически”, не бранился, не язвил и не юлил. Позиция его была отчётливой и бескомпромиссной, а система ценностей очевидной для читателя. Он приглашал оппонента к разговору спокойному, уважительному и даже, если будет позволено так выразиться, нежному. Рассматривая тезисы своего противника с разных сторон, он так умел осветить их, рассмотреть под таким оригинальным углом зрения, что дополнительных “уничжающих определений” не требовалось. Деятель, отплясывающий чечётку на ниве русской классики или творчества особо ценимых Селезнёвым Белова, Распутина и Лихоносова, был обречён. Он предстал в виде совершенно обнажённом – Юрий Иванович как бы одной фразой, одним движением лишил его всей словесной драпировки. И перед нашими глазами предстал тот замшелый мастодонт, плохо разбирающийся даже в тех цитатах из классиков марксизма-ленинизма, с помощью которых он расстреливал всё не угодное ему лично, то закоренелый русофоб, гримирующийся под “свободную личность” с диссидентским душком.

Но статья “Мифы и истины” выделяется из общего ряда селезнёвских полемических сочинений. Слишком серьёзен был повод, слишком нетривиален был сам предмет критики. И слишком небезобиден подтекст появления на белый свет книги Олжаса Сулейменова “Аз и Я”, чтобы можно было вести разговор о ней в доброжелательно-ироничной интонации.

Юрию Селезнёву предложили написать об этой книге, сопроводив заказ буквально следующими словами: “Победишь – прекрасно, а проиграешь – тебя выбросят из Москвы и более ты нигде и никогда не сможешь печататься”. По сути, это был вызов. И Селезнёв его принял.

Не в первый раз уже ему приходилось выходить в открытое поле и принимать удар на себя. Порой создаётся впечатление, что его словно испытывали на прочность, о чём он ещё в 1972 году писал Владиславу Попову: “... Не можешь ли ты достать мне адрес... Виктора Лихоносова?... В журнале “Москва” мне дали “для проверки” работу – статью о его творчестве... Он ушёл из “Нового мира” и его начали ругать там, а “Новый мир” тем же, по существу, и остался... т. е. задача у меня из труднейших, а отказаться от “проверки” нежелательно, так как выбирать мне не приходится – не хочешь, не надо. А пробиваться в журналы необходимо, тем более, что “Москва”, кажется, наиболее спокойный...”

Почему “задача из труднейших”? Потому, что в литературном мире все прекрасно помнили, что Лихоносова как писателя открыл Твардовский и неоднократно печатал в “Новом мире”. При этом тот же “Новый мир” бомбил “Молодую гвардию” – бывшего заместителя Твардовского Александра Дементьева трясло от одного доброго слова о так называемых “мужиковствующих писателях”... И новая критика Лихоносова в “послетвардовском” “Новом мире” (в статье Мариэтты Чудаковой) была выдержана в духе и стиле дементьевских поношений... Поистине, в этой ситуации оставалось выбирать “наиболее спокойный” журнал.

В этой же “наиболее спокойной” “Москве” и появилась статья “Мифы и истины”.

“В те годы он резко критически отозвался об одной книге, – вспоминал Александр Ольшанский, – в которой предпринималась попытка доказать, что автором “Слова о полку Игореве” был не древний русич, а кипчак. Юрия Ивановича очень беспокоили тенденции, отголоски которых нашли какое-то отражение в этом сочинении. Мы читали и другие произведения, и становилось всё более очевидным, что в Казахстане растёт, как на дрожжах, агрессивный национализм...” Об этом же писал и один из ближайших друзей Селезнёва Валерий Сергеев: “Когда появились у нас публикации, фальсифицирующие культурно-исторический контекст “Слова о полку Игореве”, Юрий Иванович опубликовал статью, как всегда, яркую, страстную, и при этом со столь точно и всеобъемлюще аргументированными возражениями, столь богато научно, академически оснащённую, что эта работа вызвала исключительно высокую оценку со стороны ведущих специалистов по литературе Древней Руси...”

Ни Ольшанский, ни Сергеев не назвали открытым текстом предмет критики Селезнёва. Сборник воспоминаний о Юрии Ивановиче появился в 1987 году, когда О. Сулейменова как “несправедливо гонимого в годы застоя” тронуть никто бы не позволил. А тогда, после подробного и уничтожающего разбора его сочинения на “круглых столах” и в “Вопросах истории”, и в “Вопросах языкознания”, “гонимый” писал секретарю ЦК КП Казахстана “Открытое письмо”, делая попутно совершенно поразительные признания: “Меня не поразила горячность, с которой большинство выступавших отвергли все до единого положения книги. Это было зеркальное отражение стиля, присущего многим страницам книги, где, не приведя особых доказательств (здесь и далее выделено мной. – С. К.), автор покушался на устои в с е й индоевропеистики, археологии и тюркологии...” Незадолго до выхода своей книги этот “осуждаемый кочевник” (по собственной характеристике) в докладе на пленуме Союза писателей Казахстана (читанного Селезнёвым) призывал “знать и оценивать историю с классовых, марксистских позиций” и с этих позиций в духе тогдашних идеологов обрушивался на “деревенскую прозу”, в которой “внесоциальные, абстрактно-гуманистические трактовки духовных ценностей деревенского мира оборачивались идеализацией патриархальщины”. На этом он не остановился, продвинувшись гораздо дальше: “Прошое, проклятое прошое гнездится в закоулках души, на сгибах карт. Оно доходит до новых поколений со

старыми песнями. Оно — в уцелевших царских, генеральских названиях городов и сёл. Оно пышным цветом распускается там, где пассивен учёный и невежествен критик...” Селезнёву было совершенно очевидно (что, увы, тогда не было очевидно нам, только вступающим в сознательную жизнь и без разбору тянувшимся ко всему “нетривиальному”): он имеет дело не с увлекшимся “тюркологическими штудиями” неопитом, не с обуреваемым завиральными идеями стихотворцем. Он имеет дело с врагом.

В открытую об этом сказать, понятное дело, тогда не представлялось возможным. Даже в завуалированном виде никто не позволил бы подобного по отношению к лауреату премии ЦК ВЛКСМ, премии Казахской ССР имени Абая, заместителю председателя Советского комитета по связям со странами Азии и Африки. Пришлось в разговоре о культуре и истории выйти на грань допустимого по тем временам — было не до разбора отдельных удачных наблюдений автора книги посреди совершенно бессмысленных “подтягиваний” текста “Слова о полку Игореве” к тюркоязычной стихии: “Открытия” О. Сулейменова доводят стереотипность определённого образа мышления до такой крайности, что его выводы, наконец, обнажают всю нелепость и беспомощность утилитарно-практического истолкования наследия древности... Разумеется, не мог Селезнёв пройти мимо рассуждений Сулейменова о “главном народе”, “избранном народе”, то есть о семитах-иудеях... “Пикантность” ситуации заключалась в том, что при всей официальной борьбе советской идеологии с “сионизмом” подобные откровенно расистские пассажи беспрепятственно печатались и воспринимались тогдашней “либеральной тусовкой” как очередная тактическая победа в противостоянии с “режимом”, а любая попытка обратить на них внимание тут же квалифицировалась как проявление “антисемитизма”.

“В очень сложной обстановке приходится работать, — писал Селезнёв Вадиму Неподобе. — Но, слава богу, опыт понемногу приобретается, и нередко удаётся заставить считаться со своим мнением и своих, и чужих, как это было со статьёй об Олжасе Сулейменове, когда на меня набросились обе стороны: одни — как на “погромщика”, другие — как на неосмотрительного человека, вызвавшего бурю, которая может потопить и наши корабли. Теперь, когда после моего выступления книга О. С. получила отпор и со стороны “академиков”, все если не признали в душе мою правоту, то вынуждены считаться...”

Но это были только первые схватки в открытом поле. Решающие кампании ещё предстояли.

* * *

В 1976 году по книге “Вечное движение” Селезнёв представил в приёмную комиссию Союза писателей рекомендации Льва Аннинского, Евгения Осетрова и Валентина Распутина. Пожалуй, в открытой печати при жизни Юрия Ивановича нигде не появлялось столь объёмных, восторженных и, по сути, точных характеристик его творческого мира, как в этих бумагах “для служебного пользования”. Аннинский, отнюдь не единомышленник Селезнёва, не жалел высоких слов:

“Анализируя главные явления современной прозы (статьи об Астафьеве, Быкове, Белове, Битове, Шукшине, Распутине), Ю. Селезнёв стремится связать и соотнести усилия теперешних писателей с традициями русской классики, понятыми не как склад неопровержимых достижений, а как завещанные проблемы. Не случайно поэтому являются у Селезнёва серьёзные работы о Достоевском и Пушкине (мысль о большом времени, имплицированном в “простых” пушкинских сюжетах). Твёрдость и жёсткость Селезнёва-критика вряд ли когда-нибудь позволят ему стать всеобщим любимцем. Я и сам далеко не всегда бываю с ним согласен. Не думаю, например, что в статье о книге О. Сулейменова “Аз и я” стоило в ответ на “тюркские амбиции” последнего фиксировать “славянские амбиции” — это малоперспективный метод решения подобных проблем (Аннинский, судя по всему, не слишком внимательно прочитал статью — не в этом была суть полемики Селезнёва с Сулейменовым. — С. К.) — но и в этой спорной статье Ю. Селезнёва привлекает полемическая сила, блеск письма и убеждённость, подкреплённая знанием русской истории...”

“Юрий Селезнёв с первых шагов заявил о себе, как о несомненном и неоспоримом духовном явлении, — писал Евгений Осетров. — Давно мы мечтали, чтобы критик совмещал в себе учёного-литературоведа с современным задорным полемистом...” Но особо ценной была характеристика Валентина Распутина, будущего героя селезнёвских статей: “В его статьях есть одно важное отличительное свойство — они внутрилитературны, т. е. как бы естественно вытекают из литературного процесса, а не стоят над ним со строгой и печальной выжидающей позой: вот, мол, пройдёт десять лет, тогда и посмотрим, кто прав, а кто нет, а пока растянем удобные сети теоретических изысканий. Ю. Селезнёв берётся говорить сразу, его статьи порой остры и полемичны, но они доказательны, в них молодость выступает рядом с опытом, эмоциональная напряжённость — рядом со строгой логикой. И что тоже немаловажно — они никогда не подчинены конъюнктуре лиц, а написаны по внутренней убеждённости...” На бюро творческого объединения критиков и литературоведов основной доклад делал Игорь Золотуский, и, думается, мало о ком он говорил в подобных выражениях: “Ю. Селезнёв явился в критику недавно, но явился, без сомнения, не как пришелец, а как законный участник... Селезнёв — критик и полемист социальный. Всякий раз, когда он пишет о литературе, он пишет и о жизни, в его оценках литературы присутствует равно как эстетическая, так и историческая и, пожалуй, государственная точка зрения... Уроки мастерства Достоевского... выглядят... не только как уроки профессиональные — и не столько как они, — а как уроки духовные. Ю. Селезнёв безошибочно чувствует связь между словом и смыслом, между формой и энергией внутреннего развития писателя, которые приводят к ломке и преобразению формы... Ю. Селезнёв видит сопричастность текущей литературы всей литературе, он не просто вписывает современные книги в исторический контекст, но и мыслит при их разборе широко, не ограничиваясь злобой дня. Это даёт его рассуждениям ощущение пространственности и временной глубины. Анализ не топчется на куцем клочке минуты — он протягивается и в прошлое, и в будущее... Иногда его полемика убедительна, иногда — нет. Но всегда за его страстными тирадами стоит иной взгляд, а не эгоистическое несогласие. И я с готовностью принимаю их именно как взгляд, как позицию, как линию жизни, если хотите, хотя, может быть, и не схожусь с тем, что говорит Ю. Селезнёв...”

В открытой печати Селезнёв даже не мог надеяться на хотя бы отдалённое подобие объективности от своих литературных оппонентов. Впрочем, едва ли он уповал на некое “признание”. Главным для него было — “слово, слово — великое дело!” (по выражению Ф. М. Достоевского). И в первую очередь, это относится к его деятельности на посту главного редактора популярнейшей серии “Жизнь замечательных людей”.

— Что голая информация? — говорил он Виктору Лихоносову. — Надо воздействовать на душу. Страшно подумать, сколько людей воспринимают личности Пушкина, Достоевского, Толстого через книги, затмевающие подлинное величие этих писателей... Дело же не в том, чтобы выпустить книгу о Жуковском или Аполлоне Григорьеве, какую — неважно. Нет, чтоб это была такая книга, которая оставила бы глубокий след в сердцах, стала частью чьей-то жизни...

Книги Михаила Лобанова, Сергея Семанова, Олега Михайлова, Игоря Золотусского, Валерия Сергеева, Юрия Лощица, вышедшие в то время в этой серии, читателя рвали из рук, сметали с прилавков книжных магазинов. Русская литература и искусство в своём подлинном значении, в своей адекватной интерпретации, очищенные от всех накопившихся за десятилетия вульгарно-социологических и “либерально-прогрессистских” напластований, вставали с их страниц. Селезнёв и здесь, на ниве литературной политики в высоком смысле этого слова, был на высоте. Его незримое влияние как издателя и редактора на самого читающего человека той поры отрицать невозможно.

Естественно, он нажил себе массу врагов. И здесь неизбежно сомкнули ряды официальные представители апологии “социалистического реализма” с неофициальными, “подпольными” литераторами диссидентского толка.

Василий Кулешов, Юрий Суровцев, Александр Дементьев, Феликс Кузнецов горохом рассыпали в разные стороны словески “патриархальщина” и “внеисторичность”. С ними в унисон запел бывший редактор серии ЖЗЛ, позже сбежавший из Советского Союза, Семён Резник. Соцреалистических

“мастодонтов” здесь поистине невозможно отличить от “диссидентов” – одни и те же формулировки: “историческая правда подменяется мифами”, “проводятся идеи, направленные на подрыв нравственных ориентиров”, “всё передовое, прогрессивное, революционное в России XIX века предаётся... поруганию, а всё реакционное и лакейское превозносится”, книги “пропитаны дремучим национализмом... и замешаны на патологическом страхе перед прогрессом”, “группа... литераторов почти открыто взяла на вооружение идеологию национализма, шовинизма и антисемитизма”, а сам Селезнёв “бросается спасать... всю русскую культуру от посягательств каких-то интриганов и злодеев” и т. д. Книги, изданные в ЖЗЛ, “разносились” почти во всех литературных и идеологических изданиях – от “Коммуниста” до “Москвы” (печатавшей при этом Селезнёва), “Знамени” и “Вопросов литературы”.

“...Знаю, не всё даром, было, наверное, и что-то дельное, – писал Юрий Иванович Виктору Лихоносову, – не случайно же книжки жеззэловские сейчас до пены доводят кое-кого и расправы требуют, и немедленной, – значит, работают. А ведь в этих книгах и я есть, невидимо, но есть, я-то знаю: некоторые мною же и задуманы, и авторов нашёл, и убедил их написать (и не побоялся написать). Тратил время – не рабочее... Вечера и ночи, часто напролёт, опять рукописи, рукописи, письма – так что написать человеческое письмо другу физически порой невозможно... А ведь хотелось ещё и самому что-то написать, но больше писал не от того, что хотелось, а потому, что это было кому-то нужно: то ли судьба чьей-то книги решалась, а то и просто судьба, – знаешь, часто от одной несчастной рецензии, от одного упоминания имени судьба решается и так, и эдак... Никогда не ждал да и не имел никакой благодарности за это, кроме немногих добрых, порой просто обязательных в таких случаях слов, да и не ради них работаешь, не в словах дело: из неприятностей вылезти и не рассчитываю – при моей работе и при моём характере это невозможно, угроз давно не пугаюсь, обид тоже...”

Но это обращено лишь к самым близким друзьям (которых, как известно, наперечёт). На людях – лёгкость, жизнерадостность, абсолютная убежденность в своей правоте, непреклонность и доброжелательное участие. Таким, во всяком случае, Селезнёв запомнился мне, и я знаю, что здесь я не одинок.

“Мы работали с ним над моей книгой “Гоголь”, – вспоминал Игорь Золотусский... – Против издания книги были многие – начиная от редактора и кончая директором издательства. И если книга вышла, то это во многом заслуга Юрия Селезнёва. Ему грозило снятие с работы – не только из-за моей книги, но из-за той твёрдой позиции, которую он занимал, – но он стоял насмерть. Дело было не в его личных симпатиях к тому или иному автору (в данном случае ко мне), а в том, что он придерживался с автором одних и тех же взглядов. Он был человек идейный, человек убеждённый”.

– Нужно действовать... Ведь кто-то должен. Разве мы не у себя дома живём? Не в России?... Неужто станем бояться? Надо спокойно делать дело своей совести... – эти слова Селезнёва запомнил Николай Бурляев.

Он и действовал. И одним из решающих его шагов стало выступление на дискуссии “Классика и мы”, начавшееся с обращения к Достоевскому – самому современному, как он подчеркнул, писателю наших дней.

Прозвучавшие тогда его слова об идущей третьей мировой войне заставили окаменеть распалившийся, бьющийся в антикультурной истерии зал. Селезнёв не открывал “америки” – это был, по сути, его ответ идеям, уже всюю “обкатывавшимся” на страницах печати Западной Европы. Вот что, в частности, публиковалось на страницах западногерманского журнала “Верскулде” в середине 1960-х: “Психологическая война не знает границ между войной и миром. Она ведётся непрерывно как в военной, так и в гражданской областях... Современная война проходит не только в воздухе, на суше и на воде, но она охватывает и четвёртую сферу – духовный мир человека. Третья мировая война в этой сфере уже началась...” И кто скажет, что эти слова не имеют отношения к сегодняшнему дню?

Речь Юрия Ивановича не забылась и поныне, более того, она остаётся, как никогда, актуальной, ибо пророчество его оправдалось полностью. Сегодня, после очевидного крушения ценностной иерархии в культуре, разложения смыслов, отрыва художественного слова от реальной жизни, строки, написанные Селезнёвым более трёх десятилетий назад, снова наполняются жгучими токами современности:

“Необходимость учёбы у классиков, необходимость творческого восприятия уроков мастерства диктуется задачей не возвращения вспять, но потребностью нашего времени, потребностью возрождения высоких критериев художественности и духовности слова, литературы. Ибо и в наше время слово – великое дело. А великое дело требует и великого слова”.

“Мера нашей памяти о прошлом, мера нашего понимания цели и смысла, подвижничества великих предков – это мера уровня нашего сегодняшнего сознания, нашего собственного отношения к нравственным, духовным, культурным проблемам современности. Это и мера нашего долга перед будущим, основы которого закладываются сегодня”.

Тогда, в 1970-е годы подобные заключения были своего рода “моветон” в становящемся всё более “амбивалентным” литературном мире. И уже после дискуссии “Классика и мы”, когда “дело” Юрия Селезнёва рассматривалось на приёмной комиссии, разгорелась настоящая схватка. Вадим Кожин не скупился на высокие слова: “Лишь в последние годы начал складываться новый (а на самом деле – возрождающий лучшие традиции классики) тип критика, который обладает исторической широтой взгляда, позволяющей мыслить не в ограниченных рамках сегодняшней литературной ситуации, но познавать настоящее как шаг на пути из прошлого в будущее. Юрий Селезнёв принадлежит именно к этому типу критика. В поле его критического мышления – вся тысячелетняя история отечественной литературы... и вершины мирового искусства слова. Ясно, что такой подход к делу создаёт особенные, подчас немалые трудности, ибо необходимо суметь точно соотносить творчество наших современников с классикой, не принижая сегодняшние искания и в то же время не выдавая им заранее патент на бессмертие. На мой взгляд, Юрий Селезнёв в целом успешно решает те нелегкие задачи, которые он отваживается перед собой ставить...”

Тут же выскочил Валентин Оскоцкий – будущий пламенный обвинитель русских писателей в “фашизме”. Он заявил, что “... и в своей любви, и в своей нелюбви Ю. Селезнёв, к сожалению, очень избирателен и иногда досадно ограничен. Вот, скажем, в многообразии современной литературы он выделяет так называемую “деревенскую прозу”, называя её “традиционной школой”. У меня не было бы возражения против этого термина, если бы за ним не прочитывалось стремление автора единственно “деревенской прозе” отдать монополию на традиции русской литературы, на верность заветам национальной классики (типичная демагогия ортодоксального марксиста, быстренько позднее сменившего строгий “коммунистический” костюм на либеральное одеяние. – С. К.)... Главным методом автора... становится сталкивание лбами разных писателей... Для Селезнёва нет более пренебрежительных слов, чем “научно-техническая революция”, “технизация”, “рационалистичность”... Кто, спрашивается, дал Ю. Селезнёву право оставлять за Виктором Лихоносовым и самим собой монополию на патриотические чувства и отказывать в патриотизме оппоненту?... Ю. Селезнёв, к сожалению, ещё не дорос до соблюдения элементарных этических норм работы критика... Ю. Селезнёв... в рецензии на книгу (“Аз и Я”. – С. К.) с серьёзного спора срывается на оскорбительные для писательского достоинства обличения, цитируя в назидание Олжасу Сулейменову “Майн кампф” Гитлера... Необходимые нравственно-этические нормы литературно-критической работы Юрию Селезнёву пока что неведомы...”

Весь арсенал приёмов, которые потом выльются в открытую печать, был здесь блистательно продемонстрирован. Слава Богу, в комиссии сидели серьёзные, вменяемые, опытные литераторы, которые не поддались на эту истерику. Страстно и жёстко выступил Олег Михайлов: “... Критика удобно подделывается под партийные нормы. Какая была полемика в XIX веке между критиками! И вот появляется живой человек, и тут же появляется бритва, которой эта голова должна быть срезана. Я не понимаю, о чём идёт речь?... Я буду считать величайшим позором для нас, если мы не примем в Союз Ю. Селезнёва...” Его поддержал один наиболее авторитетных филологов страны Сергей Макашин: “Я был на последнем заседании конференции по Достоевскому и могу сказать, что выступление Селезнёва очень хвалили. У него есть великолепная статья о Достоевском, если вы не читали, почитайте обязательно, это доставит вам истинное наслаждение: он так глубоко проникает в ткань повествования Достоевского. А то, о чём вы говорите, это, конечно, полемическое заострение, и это нужно отнести к достоинствам критика, а не к недостаткам...”

“Быть судьёй и не только судьёй, а палачом нашего товарища, — возмущался поэт Виктор Гончаров, — который успешно работает... Нехорошо! Я за приём”. Точку в этом обсуждении поставил Дмитрий Урнов:

“Книга Сулейменова стала предметом академического разбора. К чему свёлся этот разбор? Все говорили о несерьёзности этой книги. Серьёзные люди, серьёзные историки вынуждены были заняться несерьёзной книгой, потому что автор этой книги несерьёзно касается серьёзных вопросов. Вот чем было вызвано заседание высокоавторитетного органа по поводу этой книги. Ваше вступление, Валентин Дмитриевич (Оскоцкий. — С. К.), было полемическим выступлением против позиции Ю. Селезнёва. Но это именно полемическое выступление, имеющее свои основания и права. Я лично во многом с вами согласен, я тоже расхожусь в оценке многих вещей, в частности, “Прощание с Матёрой” не считаю лучшим произведением Распутина, но он так пишет, что мы зажигаемся его идеями”.

Селезнёв, действительно, умел “зажигать”. И идеями, и стилем, и самим взглядом на предмет разговора. “Делом своей совести” он считал (и справедливо) книгу о Достоевском в серии “Жизнь замечательных людей”, ставшую лучшей биографией классика.

* * *

Ранее в книге “В мире Достоевского” он сделал всё, чтобы снять с Достоевского напластования “достоевщины”. Но главное всё же в другом. Достоевский Селезнёва — личность соборная, всем своим творчеством, всей своей сутью отрицающий некое “право” отдельной личности вершить чужие судьбы. И мир его, утверждал Селезнёв, не полифоничен (бахтинская концепция полифонизма мгновенно вошла в широкую моду), но соборен. “В полифоническом мире вообще невозможно художественно поставить в центр слово народа — осуществить ту идею и ту задачу, которую, по нашему убеждению, смог осуществить Достоевский и которую он мог и сумел воплотить уже не на уровне полифонизма, но на уровне соборности. Здесь слово народа, даже и безмолвствующего народа, даже и вовсе не явленного сюжетно, может проявить себя не только наряду с другими, но и внутри каждого из равноправных участников диалогических взаимосвязей и через них...” “Преклонение перед правдой христианской”, “народную правду, правду совести” выделял он как основополагающую черту романов Достоевского.

Сплошь и рядом в многочисленных книгах, посвящённых Достоевскому (от Шкловского и Кирпотина до Юрия Карякина), утверждалось противостояние Достоевского-художника Достоевскому-религиозному проповеднику. От этой фальшивой схемы Селезнёв не оставил камня на камне, обосновав величие Достоевского как писателя, чей художественный и проповеднический дар существуют в нерасторжимом гармоническом единстве. В ответ со страниц “Вопросов литературы” раздался истерический вопль Бориса Бялика: “Не хочу я такой гармонии. Из любви к Достоевскому не хочу!” Самораздевание ещё одного ортодокса произошло буквально у всех на глазах. Но ведь то же самое, по сути, повторил один из авторитетнейших исследователей биографии и творчества Достоевского Г. М. Фридендер (благодаря ему полное академическое собрание классика, остановленное на несколько лет, было продолжено, и без всяких цензурных сокращений вышел в нём “Дневник писателя”, что представлялось тогда практически невозможным): “Вопреки мнению Достоевского. именно религиозная этика ведёт не к возвышению, а к принижению человека. Доказывая, что человеку нужна религиозная узда, Достоевский, по существу, снимает с него ответственность за самого себя”. После этих сентенций Фридендер счёл необходимым особо напомнить Селезнёву слова из письма Ленина к Горькому: “Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства... ничуть не больше, чем жёлтый чёрт отличается от чёрта синего”, полностью игнорируя исторический и смысловой контекст этого высказывания.

Именно опираясь на Достоевского, прочитанного им в контексте всей тысячелетней русской литературы, Селезнёв сделал непреложные выводы, которые воспринимаются, как будто сформулированные в наши дни: “Возрождение и потребительство — два резко противоположных отношения к культуре.

Задача истинной критики – воспитывать в обществе сознание Возрождения и бороться с психологией потребительства. Задача – мироотношенческая, идеологическая. Ответственнойшая”. Он всю свою сознательную жизнь был непримиримым и бескомпромиссным противником потребительства и животного себялюбивого индивидуализма – всего того, что возобладало в России в последние годы и утверждалось в том числе и с высоких государственных трибун. “Личность начинается не с самоутверждения, – утверждал Юрий Иванович, – но с самоотдачи, с самоограничения, с самопожертвования ради другого. Но в том-то и “диалектика”: через такого рода отречения, через отказ от индивидуалистического эгоцентрического “я” человек из индивидуума перерождается в личность”. “Не мир удивить, не себя показать, но мысль разрешить”, – формулировал он сверхзадачу героев Достоевского.

Безусловно лучший отзыв на книгу Селезнёва принадлежит Михаилу Лобанову. Свою статью “Найти в человеке человека” Михаил Петрович завершил словами, которые сейчас перечитываются с особым вниманием и чувством:

“... Книга Ю. Селезнёва при всей своей исследовательской оснащённости – более чем литературоведение. И она – факт более чем литературный. Дело в том, что каждый великий художник живёт не только своим наследием как таковым, но и теми живыми силами, которые воспринимают его, готовы воспринимать его как явление современное, им необходимое... Это главное в судьбе творца (поэтому, вероятно, и нет для него более сокровенного желания, чем видеть свой народ всегда и вечно духовно дееспособным)... Вопрос и в том, какие силы “поднимают” Достоевского – здоровые или декадентские, народные или индивидуалистические, созидательные или разрушительные – всего этого, как в самой жизни, довольно у Достоевского, творчество которого и есть полнота жизни, где человек волен делать свободно свой нравственный выбор... Подход того или иного критика к Достоевскому характеризует не столько Достоевского... сколько самого критика, уровень его мыслительных данных, духовно-нравственного развития... нельзя же духовному убожеству обнять внутреннее богатство великих творений, так же как мало одной сноровки наклеивать социологические ярлыки, чтобы считать себя выше Достоевского по передовому прогрессу и присваивать себе право учить отсталого писателя... Книгу Ю. Селезнёва о Достоевском тоже можно считать продуктом времени. Написанная с горячим увлечением и убеждением, она не просто обращена к Достоевскому и поучительна не только пониманием созидательного значения его творчества. Эта книга свидетельствует, сколько здоровых сил в современном литературно-критическом и – шире – общественном сознании, как рвутся наружу эти силы и жаждут истины. И это отраднo, ибо классики... живут этим откликом, этими здоровыми силами общественной жизни”*.

* * *

В самом деле, разговор о Юрии Селезнёве невозможно замкнуть лишь в рамках собственно литературной критики или собственно истории литературы. Этот разговор неизбежно касается всей русской жизни, выраженной в слове, разговор, который подразумевает полемику не столько даже с откровенными противниками или врагами, но и с кругом друзей и единомышленников.

* Михаил Петрович Лобанов оказался прав во всех отношениях. Не только здоровые силы “рвались наружу”. Одним из признаков грядущего развала и распада в годы так называемой “перестройки” стало фактическое уничтожение “Театра юного зрителя”, когда пришедшая туда в качестве главного режиссёра Генриэтта Яновская утвердила на сцене спектакль своего мужа Камы Гинкаса “Записки из подполья” (якобы по Достоевскому). Спектакль, насыщенный “натуральными” сценами, сексуальными ужимками и прыжками, ничем не замаскированными оскорблениями зрительного зала, воплощавший эстетику вселенского безобразия и человеческого свинства, был таков, что родители отказывались водить на него детей. В это же время газета “Правда” (центральная партийная газета, если кто не помнит) воспевала это творение режиссёрской похотливости как “величайшую бережность и любовь к оригиналу” и декларировала “новые пути развития, которые соответствовали бы действительно изменяющемуся времени”. Из величайшего русского писателя (более, чем писателя!) конструировали орудие разрушения психики и морали русского человека. Грядущие потоки крови предвидеть было не трудно.

Так, одну из глав книги “Глазами народа” он посвятил тонкой, тактичной, мягкой и в тоже время очень обстоятельной полемике со своим другом и учителем Вадимом Кожинным, и касался он вопроса об эпохе ренессанса в русской классической литературе. Юрий Иванович чётко разграничил понятия “ренессанса” и “возрождения”. “Ренессанс” в России он отнес к XVIII веку, а “русское возрождение”, отталкивающееся от Ренессанса в его западноевропейском понимании и во многом противостоящее ему, — к началу XIX века, в первую очередь, к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Отсюда и выросла его главная мысль — литература глазами народа, — которая потом органично и естественно переходила в следующую: литература, рожденная собственно народом. И опять же эта проблема рассматривалась им в общем контексте всей истории русского художественного, публицистического, религиозного слова, начиная с первых рукописных памятников.

“Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”, — часто повторял Селезнёв эти слова Дмитрия Карамазова, переночевав наблюдая, как дьявол “брал своё” в сердцах тех, кто, по идее, мыслился им как единомышленник. Перейдя из издательства “Молодая гвардия” на должность первого заместителя главного редактора в журнал “Наш современник”, он рассчитывал сделать из него боевое русское издание, которое во многом могло переломить ситуацию в преддверии грозных времён, наступление которых он ощущал с чуткостью сейсмографа. Он всерьёз рассчитывал возглавить журнал в будущем — и потому вёл себя, как *право имеющий*. Он стал, по сути, единственным составителем знаменитого 11-го номера журнала за 1981 год, объединив в нём повесть Владимира Крупина “Сороковой день” (с предельно резкими выпадами против отечественного телевидения); статью Анатолия Ланщикова “Достоевский и Чернышевский” (обосновывавшую как взаимоотталкивание, так и взаимопритяжение двух писателей, что выглядело тогда, как явная “идеологическая невыдержанность”); разгромную рецензию находящегося на грани исключения из КПСС и под надзором КГБ Сергея Семанова на роман Марка Еленина “Семь смертных грехов” — “История и сплетня” (с явной симпатией к великим деятелям отечественной культуры, эмигрировавшим после революции)... И главное — статья Вадима Кожиннова “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, написанную к юбилею Ф. М. Достоевского.

Он воспринял эту статью как полемику со своей собственной, незадолго до того опубликованной работой “Чтобы старые рассказывали, а молодые помнили”, с той её частью, что касалась монгольского ига и Куликовской битвы. Воспринял как продолжение спора, о котором позже писал Кожиннов: “... Спор — то есть острый, напряжённый диалог — был главной формой нашего общения с Юрием Селезнёвым с первой и до последней встречи”. И, несогласный со многими положениями этой статьи, Селезнёв без тени сомнения отправил её в печать, рассчитывая в дальнейшем на серьёзную дискуссию.

Но вместо дискуссии последовали статьи исключительно погромного характера, после которых состоялось заседание Секретариата правления Союза писателей РСФСР. Сергей Викулов выставил Селезнёва как редактора, обманувшего его доверие, взяв на себя всю полноту ответственности. Феликс Кузнецов не сдерживал никаких эмоций: “Убей меня Бог, но я никак не могу понять, как можно было подписать этот номер к печати, — не могу! Для этого нужно быть или колоссальным глупцом, или сумасшедшим... Почему Фёдоров, Флоренский за счёт Чернышевского, Лермонтова, Добролюбова, за счёт декабризма? Почему люди, стоящие на этой позиции, претендуют на то, что они патриоты, а те, кто не стоит на этой позиции, — это, что же, антипатриоты? Это, в конечном счёте, приводит к очень тяжёлым последствиям. Это приводит к тому, что мы разоружаем себя идеологически и теоретически”. Тон был задан, и единственный, кто выбыл из него на этом заседании, был Пётр Проскурин.

Селезнёв умно и доказательно защищал свою позицию, проигнорировав, пожалуй, самые главные слова на этом собрании: “Вопрос в том, что антирусские течения, русофобство стали одной из главных форм антисоветской пропаганды... Советский характер сегодня — это не нечто рождённое. В основе его лежит то, что мы называем русским характером. А сейчас на Западе начали говорить, что в основе русского характера лежат шовинизм, терроризм и т. д.... Не во всем с Кожинным... можно согласиться, но основная его мысль, — что сама природа русского национального характера состоит не в замыкании на самом себе, а в стремлении к братству со всеми людьми,

в интернационализме, — говорит не о превосходстве одной нации над другой, а говорит, что сила русского характера не в том, что он признаёт превосходство над другими, а в том, что готов признать в чём-то превосходство других народов над собой.

... При всей дискуссионности этой статьи, при многих положениях, с которыми нужно спорить, ничего страшного в этом нет. Мы публикуем вещи, с которыми нужно спорить... Я не вижу, что эти публикации как-то серьёзно подорвали в сознании сегодняшнего читателя утвердившийся авторитет “Нашего современника”...”

Совершенно иначе думали как секретари СП, так и работники журнала, даже через много лет не скрывавшие своей ненависти к Селезнёву. Это же кажется и так называемых “единомышленников”.

Как же характерны записи в дневнике Сергея Семанова, одного из “героев” той давней истории! “Споры вокруг Гумилёва и статьи Кожинова вызвали чудовищный раздрызг среди “наших”. Чивилихин полчаса задыхался, что Кожинов защищает Гумилёва, что статья русофобская, как можно ссылаться на уничтожения Пришвина и сомнительного Бахтина, почему мы хуже всех и нам отказывают в национальной гордости и т. д. Естественно, что А. Кузьмин тоже осуждает Кожинова. Оба они ещё обижаются на немарксистские обстоятельства... Палиевский: статья Кожинова написана для скандала, об этом он и мечтал, но это плохо для дела: тема, которую он затронул, будет надолго закрыта, неверно, что только у русских есть всемирность; статья написана для самоутверждения, чтобы ходить, выпятив грудь вперёд, Селезнёва он обманул, Селезнёв невежествен... Великие нестроения начались вокруг “Нашего”. У них на летучке уже произошёл раскол, Устинов выступил против, Васильев вроде бы тоже. Чивилихин пышет злобой... меня ругал: как можно сочувствовать Деникину... Предполагается, что накажут Юру (Селезнёва)... Обиднее всего, что бьют нас руками наших же. Бондарев недоволен Кожиновым (тот о нём никогда не упоминал). Чивилихин кричит: Гумилёв, Бородай, Кожинов и Селезнёв — одна линия!.. 7 декабря был Секретариат России... Решение не принято, но Викулову велено убрать Юру. В редакции раскол, Устинов, Васильев и почти все прочие ругали Крупина и Кожинова. Юра, конечно, задумал и провёл операцию твёрдо и точно... оттеснил слабого Викулова, выдал неслыханно скандальный номер и получил немислимую славу героя и мученика. Как всякий себялюбец и славолубец, он наплевал на окружающих: журнал погубил, своих покровителей подвёл, вызвал раскол и смуту. А всё же — это всё правильно! Эти поганые кулаки, питомцы совпартшкол, тупицы и духовные расстриги, эти кулаки, запросто покупаемые Сионом, нам не друзья и не союзники. Своей тупостью, бескультурьем и хамством они были только гирей у нас на шее, тянули нас на илистое дно... Все эти Ивановы, Чивилихины, Софроновы, Исаевы и прочие “русские”, прежде всего, бездарны, поэтому могут существовать только на пониженном уровне культуры, малообразованны и негибки, отсюда маловосприимчивы и нетерпимы, они корыстны и безбожны, а раз так — легко покупаются. Что и случилось... Юру будут выгонять. Но в любом случае он выиграл”.

Здесь замечательно всё: и обстановка в самом “Нашем современнике” в годы пребывания там Селезнёва, и мнение, что “статья Кожинова написана для скандала” (Кожинов скандала не исключал, но сверхзадача его была совершенно иная!), и что он “обманул” Селезнёва... И слова самого Семанова, что Селезнёв — “себялюбец и славолубец”, который и “журнал погубил”, и “своих покровителей подвёл”... Искреннего убеждения, действия ради истины — эти люди — русские люди! — не понимали и понимать не желали. И не понимали главного: Селезнёв не “играл” — он выходил в бой с открытым забралом.

Его рассуждения о “партии народа” в те годы, когда с официальных трибун звучали только слова о партии как об “авангарде пролетариата”, его принципиальный отказ видеть в Достоевском и Лермонтове “злых гениев” и обоснование этого отказа, утверждение, что главное в их творчестве “конфликт” западного сознания и стихии русской народности, — всё это вызывало приступы бешенства как у врагов, так и у “сотоварищей” — мелких завистников или бюрократов “по нужде”...

Описывая в книге “Достоевский” взаимоотношения своего героя с Николаем Страховым, Селезнёв волей-неволей проецировал цитируемые воспоминания современников на происшедшее с ним самим.

“Одна из участниц вечеров у Елены Андреевны Штакеншнейдер записывает в дневнике свои впечатления:

— Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно-возбуждённое, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: “Какие они единомышленники? Те любили то, что есть и было, он распинается за то, что придёт или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждёт, так жаждет этого, что должно прийти, стало быть, он не так-то уж доволен тем, что есть...”

Селезнёв не сдавался. В оставшееся ему время он пытался продолжить разговор, начатый статьёй “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”. В № 4 за 1982 год в “Нашем современнике” появилась заранее подготовленная им статья Аполлона Кузьмина “Писатель и история” — разгром псевдолитературоведческого фолианта В. Оскоцкого, полемика с Кожинным — и — размышления о современной русофобии. Это была последняя капля. В письме, адресованном в ЦК КПСС за подписью заведомо пропаганды ЦК Е. Тяжельникова и заведомо культуры ЦК В. Шауро, сообщалось, что “за допущенные ошибки в работе первый заместитель главного редактора журнала “Наш современник” т. Селезнёв Ю. И. освобождён от занимаемой должности”.

Но по сути он был отстранён от должности ещё раньше.

4 февраля 1982 года отстранён писал Александру Федорченко:

“... У меня дела пока неважные — всё по-прежнему: без службы и без работы. Вообще не вижу пока для себя никаких возможностей выступить как критику — некуда даже писать — всё перекрыто... Времена нелёгкие, в очень трудном положении Лобанов и др. Несладко сейчас и в ЖЗЛ. Юра Лощиц ушёл — жить на “свободных хлебах” рискованно, но и служить клерком — не слаще.

Был я на партсобрании в “Нашем современнике” — ужаснулся, едят друг друга со сладострастием. Нужна мне была характеристика для загранпоездки (я ещё у них на партучёте) — Викулов отказал, сославшись на то, что мое имя нежелательно для работников ЦК и проч.

Я не отчаиваюсь, есть, слава Богу, небольшой, но надёжный круг близких друзей, с которыми выжусь и которым сейчас не слаще моего...”

Через 10 лет после кончины Селезнёва Юрий Лощиц воспроизвёл в стихотворении, ему посвящённом, их некогда случившийся диалог:

*“Нас будут выбивать по одному, —
сказал мне друг, сутулясь и мрачняя, —
вразброс, не всех подряд, а потому
не всполошится, не поймёт Расея”.*

*“Ты прав — к несчастью.
Я же — к счастью, — прав, —
и глянул я в глаза его родные. —
По одному уйдём мы, не узнав,
На ком из нас опомнится Россия...”*

* * *

В последние годы жизни Селезнёв работал над книгами “Глазами народа” и “Василий Белов”, книгами, в основе которых лежат взаимопроникающие смыслы.

В первой книге критик охарактеризовал так называемую “деревенскую прозу” как новую литературу, в которой в полной мере реализовался идеал классиков XIX века — “возрождение в народности”. Он говорил о писателях, которым было суждено “подняться непосредственно из народа до вершин мировой и отечественной культуры”, о литературе, которая “осознала народ главным, решающим деятелем и творцом истории”...

“Может быть, мы серьёзнее смотрели бы на себя и своё будущее, если бы лучше знали и ценили... нравственные силы, потрудившиеся для нас в прошедшем...” Опора на эти силы придавала сил и энергии ему самому. И он спешил как подвести итог прежним размышлениям, так и протянуть свою мысль к будущим свершениям.

“Стоит задуматься... о трагичности отрыва “ветров века” от традиционных общечеловеческих ценностей... Всё это, может быть, выглядит слишком сентиментально для рационального сознания, но, говоря словами Достоевского, “было бы смешно, если бы не грозило будущим”...”, — писал он в книге “Василий Белов”.

Давно это было... Но уже тогда, в начале 1980-х годов, на нашей памяти, Селезнёв, опираясь на творчество Белова, говорил о вещах сугубо современных, о тенденциях, набиравших силу и временно восторжествовавших в России. Он писал о сверхзадаче книги “Лад”: “... Не реставрация традиционных форм жизни и культуры прошлого, но именно — возрождение тех оснований человеческого бытия, вне которых это бытие не может существовать ни как человеческое, ни как вообще — бытие”.

Селезнёв дал неожиданную сейчас для многих, но абсолютно точную характеристику времени, на которое пришёлся расцвет творчества Белова и которое наши не слишком умные современники, называвшие и называющие себя демократами, окрестили “эпохой застоя”. “Я убеждён, — писал он, — что это была поистине целая литературная эпоха... — эпоха просветления в общественном сознании истинных идейно-художественных ценностей. Она расставила всё на свои места, прояснив, что есть что и кто есть кто”. Воистину так! “Шестидесятые”, столь любезные нашим “либералам”, знаменовали собой разброд и шатание, уничтожение ценностной иерархии во многом и, в частности, в литературе. Достаточно вспомнить реакцию нашей “передовой общественности” на вручение Шолохову Нобелевской премии, зазирающие творчество Леонида Леонова, пренебрежение, а то и откровенную агрессию (разумеется, со ссылками на марксизм-ленинизм!) по отношению к великому фантасту Ивану Ефремову, зубодробительные атаки как ортодоксов, так и либералов на публицистику журнала “Молодая гвардия”, вспомнившую об отечественном наследии. Именно тогда и возникли эти уничижительные определения: “тихая лирика”, “деревенская проза”... Селезнёв со всей очевидностью показал, что числить художественный мир Белова по ведомству “деревенской прозы” всё равно, что называть Шолохова “казачьим писателем”. Более того, он обнажил бесплодность всех попыток “измерить белого героя “агличками” мерками — поверить, насколько он соответствует прогрессивным ветрам века, дующим, по мысли некоторых критиков, главным образом, из Европы”. При этом он вписал Белова-художника в круг мировых литературных величин XX века, величин, которые критик совершенно справедливо отнёс к “почвенническому” направлению: Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Скотт Момадея, Джона Гарднера, Габриэля Гарсиа Маркеса... Кстати, Евтушенко однажды сильно удивился, услышав, что один из любимых писателей Белова — Фолкнер. Это удивление жестоко высмеял Вадим Кожин, объяснив читателю абсолютную естественность подобного притяжения.

... Незадолго до смерти Юрий Селезнёв был полон литературных планов. Уставший, порядком измотанный жизненными невзгодами, он ни на мгновение на людях не терял присутствия духа (я тому непосредственный свидетель), более того, иронически, насмешливо реагировал на периодически появляющиеся доносные статьи в свой адрес. Он готовился писать в серии “Жизнь замечательных людей” биографию Лермонтова, принёс в издательство “Современник” заявку на книгу “У вещего дуба” — о народных преданиях и мифологических сюжетах. Бился за издание книги “Глазами народа”.

Летом 1984 года он отправился в Германию к их общему с Кожинным другу, немецкому слависту Эберхарду Дикману. В его доме в Берлине у Селезнёва и остановилось сердце.

Вот как о прощании с ним вспоминал прозаик Евгений Чернов:

“... В Центральном доме литераторов прощались с Юрием Селезнёвым.

Писателей было маловато. Художников — больше. Но ещё больше было юношей в одинаковых тёмных костюмах, с широкими плечами и девичьими талиями. И ещё некто крупный, с правительственной наградой на груди, с вековой меланхолией в глазах, стоял чуть поодаль и внимательно и напряжённо всматривался в приходивших, как бы ведя учёт.

С фотографии, очерченной чёрным прямоугольником, живо, чуточку насмешливо, смотрели прекрасные Юрины глаза. Смотрели, не мигая. Сильный, красивый, высокий во всех отношениях человек — Юрий Селезнёв. Кто

знал его, болезненно недоумевали: как же так – в такой мощной груди могло разорваться сердце?

Была пора, когда каждый мечтал дружить с ним, как металлические крошки устремлялись к магниту. А он всё ближе подбирался к пониманию тайного механизма, о котором говорить никому не было позволено. Дух тревоги витал, сгущаясь над магнитом. И первыми это почувствовали друзья. И отшатнулись. И получилась удивительная вещь: у всех были какие-то свои оч-чень значительные дела, а у него, Юрия Селезнёва, как бы и не было ничего...

А потом выносили тело. Зашумели моторы автобусов. Кто мог ехать на кладбище, занял места.

И тут на плечо опустилась рука, расслабленная и тяжёлая.

Анатолий Передреев.

Повернув голову, он молча, приспустив веки, смотрел, как медленно, словно наощупь, удалялись машины...

– Вот и всё, – наконец, сказал он. – Делай правильные выводы: не высовывайся...

А через несколько лет и его не стало, высокого, красивого, хранителя русского слова...

Последний приют Юрий Селезнёв нашёл на московском Кунцевском кладбище.

* * *

В одном из разговоров Юрий Иванович “изливал”, как пишет Виктор Лихосов, “свои восторги перед древнерусской литературой”.

– Сколько там неоткрытых, неведомых даже нашим литераторам удивительных образов, мыслей. Господи, как подумаешь, что ничтожная идея европейской легенды о Фаусте стала под пером Гёте всемирным творением – оторопь берёт. Куда эта легенда хотя бы в сравнении с нашим “Путешествием Иоанна на бесе в Ерусалим”? Здесь же бездны духа, бытийные проблемы добра и зла и в таких внешне простых образах. И идея, какая широта, простор во всём: поступок, всякое движение ума и души проходят у нас перед лицом всего мира...

Незадолго до конца, выступая на воскреснике по реставрации часовни Рождества Богородицы, он говорил, что “война за Россию никогда не прекращалась и сейчас обострилась”. И в этой войне он обращался за помощью к великим предкам, к уникальной энергетике древнерусских книг, оставляя нам своё завещание на грядущие дни, завещание, не дающее возможности впасть в уныние: “Реакционный, в точном смысле слова, идеал единства русской земли, упорно отстаиваемый русской литературой, действительно находился в полном противоречии с объективным ходом истории. Но это был и не благодушный идеал только прошлого, эта идея несла в себе значимость не столько прошедшего, сколько будущего. Поэтому оценка русской литературы периода раздробленности являлась не столько похоронной песней прошлому, сколько приговором будущего настоящему. Русская литература её древнего периода уже умела смотреть на современность и судить её глазами будущего. Идеал прошедшего единства давал лишь убеждённость, небеспочвенность веры в единство грядущей Руси. Прошлое становилось образом возможности и неизбежности возрождения Руси, достойной его идеала”.

Хорошо бы нам всем почаще перечитывать Юрия Ивановича, ибо слишком велик был соблазн последних десятилетий погрузиться в состояние чёрного неподвижного пессимизма. Мне думается, что всей своей жизнью – короткой и яркой – он являл пример для каждого из нас. Кто-то ведь и сейчас может сказать – был такой великий и благодушный идеалист. Нет, не идеалистом он был, а реалистом. Реалистом будущего.

Весь строй его сочинений был живым отвержением подхода к литературному произведению с формальными отмычками, столь модному ныне. “Астафьевский рассказ стал, по сути, первой публицистически-открытой экспликацией рессинтементных эмоций...” – вот так теперь принято писать в псевдонаучном сообществе. Селезнёв издевался над подобными писаниями ещё в 1970-х годах: “...На свет божий появляются “научные” откровения, вроде следующего: “В девятой строфе автор обращается к Богу с дезидератами...”

В очередной научной статье речь идёт о стихах Ап. Григорьева, который, ей-же-ей, не только к Богу, но и к чёрту ни с какими “дезидератами” не обращался, а предпочитал говорить о “желаниях”, “страстях”, “вопросах”... Но сказать по-русски исследователю (а не поэту) представляется слишком уж примитивно, ненаучно”.

И этого ему не могут простить до сих пор. Ему не могли простить при жизни и не прощают ныне возвеличивания русского слова, русского образа, самого русского мира в творчестве классиков и современников, отношения к слову, как к великому делу, глубинного и деятельного патриотизма, не стесняющегося самого себя. Ему не могли и не могут простить блестящего анализа троцкизма в разговоре о беловских “Канунах”, троцкизма не как политического течения, но как умонастроения и образа действий – справедливость селезнёвской оценки была подтверждена самой жизнью на рубеже 80–90-х годов прошлого века.

Ему не могут простить его пророческих слов о третьей мировой войне в области духа: сейчас, по сути, мы слышим то же самое с самых высоких трибун, но при этом никто не вспоминает о Селезнёве. Его, мечтавшего об издании многотомного собрания памятников мирового эпоса, и поныне записывают то в “русские националисты” (выходят даже псевдонаучные труды на подобную тему), то объявляют его мысли “параноидальными”, в частности, в учебном пособии по истории русской критики XX века, выпущенном журналом “Новое литературное обозрение”.

А это значит, что его слово живёт, работает, борется. И его книги написаны не только для своего времени. Они – и для наших дней. И для грядущих.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ*

ГЛАВА 1

“В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...”

Литература в России — это вторая религия. “Пушкин — наше всё”. Не Менделеев, не Циолковский, не Суворов, не Ленин, а именно Пушкин! Недаром в XVIII веке Ломоносов, Державин были почётными гостями при императорском дворе. Недаром Николай I беседовал с Пушкиным и называл его “умнейшим человеком в России”, недаром Есенина приглашали читать стихи царской семье, а Горький и Шолохов были постоянными собеседниками Сталина. Что бы ни писали, как бы ни спорили наши историки об истории России, русский читатель всегда будет судить о доправославной жизни русских племён по былинам, о княжеских междоусобицах — по “Слову о полку Игореве...”, о борьбе с татаро-монгольским игом — по песням и пословицам начала XVII века, о Смутном времени — по пушкинскому “Борису Годунову”, о петровской эпохе — по “Полтаве” и “Медному всаднику”, о пугачёвщине — по “Капитанской дочке”, об отношениях с Польшей — по “Тарасу Бульбе”, о войне 1812 года — по “Войне и миру”, о революции 1917 года и гражданской войне — по “Тихому Дону”, об Отечественной войне — по “Василию Тёркину”, по песням на слова Исаковского, по повестям Астафьева и Бондарева.

Наверное, в единственной нашей стране города и посёлки носят имена писателей и поэтов (“Горький”, “Пушкино”, форт “Шевченко”, райцентр “Льва Толстого” и т. д.). У нас во многих городах есть улицы имени Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Есенина, Рубцова, Маяковского. Ясная Поляна, Михайловское, Болдино, Тарханы, Константиново, Вёшенская для нас — святые места. Повторяю, что литература для русских — это вторая религия. У нас немало Нобелевских лауреатов по физике, химии, медицине и т. д., но в народе они мало известны. В народе больше знают Нобелевских лауреатов по литературе: Бунина, Шолохова, Пастернака. Поэтому сокращение учебных часов на занятия литературой (она, а не математика с физикой формирует мировоззрение!), изгнание литературы из школы похоже на гонения на Церковь в начале 20-х годов. Невозможно себе представить, чтобы в Америке во время президентских выборов кто-либо из кандидатов, желая овладеть сердцами избирателей, стал читать стихи Уитмена или Аллена Гинзберга.

* “К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи” (Б. Ахмадулина)

А у нас Владимир Путин во время выборов на второй президентский срок, выходя в Лужниках, взлетел своей упругой спортивной походкой на трибуну и прочитал Сергея Есенина: **“Если крикнет рать святая: // “Кинь ты Русь, живи в раю!” // Я скажу: “Не надо рая, // Дайте родину мою!”** И я уверен, что эти четыре строчки русского гения добавили Путину многие тысячи голосов, поданных за него.

В русской культурной традиции XIX века писатель, создающий “образы” своих героев, глядя на которых реальные люди-читатели выстраивали свои собственные судьбы, являлся, в сущности, родоначальником целого родословного дерева онегиных, печориных, чичиковых, обломовых, базаровых, рахметовых... А сколько создали русские писатели женских образов, глядя на которые реальные женщины XIX столетия старались быть похожими на Татьяну Ларину, на Катерину из “Грозы”, на Анну Каренину, на Веру Павловну с её снами, на трёх сестёр... Да и в советское время образы Григория Мелехова, Павла Корчагина, гайдаровского Тимура и даже Остапа Бендера властно влияли на создание подобных характеров в реальной жизни.

Именно поэтому вклад известных писателей-шестидесятников в разрушение советского общества и государства был куда более значителен, нежели вклад научных работников, технарей, интеллектуалов, актёров, военных людей, спортсменов, партийных функционеров и прочих персонажей культурной жизни. Лужники, зал Чайковского, Политехнический были переполнены, когда там выступали Евтушенко, Окуджава, Рождественский, чему я, тоже не раз выступавший вместе с ними, должен быть честным свидетелем. Именно благодаря культуре литературы, сложившемуся в XIX веке и продолженному в XX Блоком, Ахматовой, Есениным, Маяковским... Именно поэтому пускай кратковременное, но чрезвычайно сильное действие на читательские массы производили романы и повести Астафьева и Шукшина, Айтматова и Распутина, и даже Пикюля с Юрием Трифоновым, Василем Быковым и Анатолием Рыбаковым... Их “образное” влияние на общество было не менее сильным (а может быть, и более), нежели постановки театра на Таганке или даже скандальные, а во многом искажающие реальную историю фильмы вроде “Покаяния”. Что ни говори, а мы, может быть, на горе себе были действительно “самым читающим народом в мире”, верящим, что “в начале было слово...” И шестидесятники умело и цинично использовали эту благородную и наивную особенность нашего народа. Я говорю “цинично использовали”, потому что помню стихотворное хвастовство Евтушенко:

*Мы лицедеи, богомазы,
дурили головы господ.
Мы ухитрялись брать заказы,
а делать всё наоборот...*

Нашёл, чем гордиться, — своей органической способностью к лицемерию...

* * *

60 с лишним лет тому назад в феврале 1956 года состоялся XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, на котором партийный авантюрист Никита Сергеевич Хрущёв ради захвата высшей власти в стране выступил с печально знаменитым докладом, оклеветавшим трагическую и героическую сталинскую эпоху.

Племя литературных приспособленцев, для которых этот доклад стал “учебником жизни” и “руководством к действию”, назвало самих себя “шестидесятниками”, если говорить точнее — “детьми XX съезда”, а эпоху, которая наступила после съезда, — “оттепелью”. Судьба этих “детишек” сложилась в основном удачно. Они стали любимцами партийной элиты, отрекшейся от сталинской эпохи, и все, как один, присягнули “ленинскому” времени в стихах и поэмах: “Казанский университет” и “Братская ГЭС” (Е. Евтушенко), “Лонжюмо” и “Секвойя Ленина” (А. Вознесенский), “Двести десять шагов” (Р. Рождественский), “Ленин, том 54” (В. Коротич), “От января до апреля” (О. Сулейменов), “Ленин в Шушенском” (Р. Бородулин) и т. д. Словом, “дурили головы господ” — хрущёвых, брежневых, суловых... Всех поэтов-шестидесятников,

воспитанников “партийного детсада”, вложивших свой вклад в повторную “ленинизацию” нашей жизни, перечислить трудно, да и незачем. Достаточно вспомнить лишь самых “хрестоматийных”. Кстати, трогательнейший цикл стихотворений, посвящённых Ленину, был опубликован и одним из самых знаменитых шестидесятников – Булатом Окуджавой – в книге “Лирика”, изданной в Калуге в 1956 году аккурат к XX съезду партии. В следующих книгах поэт уже не перепечатывал эти стихи, но, как говорится, “что написано пером – не вырубишь топором”.

У русских поэтов не “партийной”, но “национальной, простонародной ориентации” – Н. Рубцова, А. Бородина, В. Сорокина, Ю. Кузнецова, А. Передреева, В. Соколова, Ст. Куняева, В. Казанцева, В. Лапшина и многих других, в основном, вышедших из рабоче-крестьянского сословия, – таких “охранных грамот” не было, да и быть не могло, поскольку никто из них не был способен заявить, подобно Р. Рождественскому, “по национальности я – советский”. Они жили в советской эпохе, но ощущали и осознавали себя людьми с русской душой и с русской судьбой.

Семена того, что Хрущёв лукаво именовал “ленинизмом”, были посеяны в души творцов новой “ленинианы” в 1956 году. Но узнать сущность этого посева по плодам общества пришлось почти через 40 лет, в 1993-м...

Один из самых шустрых “детей XX съезда” летом 1993 года написал стихотворение, посвящённое Р. Рождественскому, объясняющее их общую судьбу: “Кто были мы, шестидесятники? // На гребне вала пенного // в двадцатом веке, как десантники // из двадцать первого. <...> Давая звонкие пощёчины, // чтобы не дрыхнул, современнику, // мы прорубили зарешёченное // окно в Европу и в Америку. // Мы для кого-то были “модными”, // кого-то славой мы обидели, // но вас мы сделали свободными, // сегодняшние оскорбители. <...> Пускай шипят, что мы бездарные, // продажные и лицемерные, // но всё равно мы – легендарные, // оплёванные, но бессмертные!”

“Окно в Америку” прорубили и первыми нырнули в него Евтушенко с сыном Хрущёва Сергеем, предатель из КГБ генерал Калугин вместе с министром иностранных дел Козыревым, главный редактор “перестроечного” “Огонька” Коротич, какой-то из засекреченных учёных Роальд Сагдеев и многие другие, о которых один поэт из русского простонародья написал:

*Через Атлантику опять
Летят за долларовой фигой
Демократическая блядь
С коммунистическим расстригою.*

Зажав одной рукой дипломатический паспорт, выданный ему Козыревым, Евтушенко другой спешно дописывал для умирающей советской прессы своё последнее политическое завещание о необходимости реабилитации невинно расстрелянных Бухарина, Якира, Блюхера, Гамарника:

“Я счастлив тем, что являюсь одним из свидетелей и участников Великой Реабилитации: реабилитации революционных идеалов, ленинской демократии, социалистической гласности.

Начало этой Великой Реабилитации положил XX съезд партии. Затем в стрелку на часах истории вцепились руки тех, кто боялся правды. Но стрелку удалось только замедлить, а не сломать. Сама История голосом апрельского Пленума нашей партии объявила продолжение Великой Реабилитации.

На стороне перестройки – все лучшие силы нашего общества, ибо только перестройка есть гарант развития духовного и материального, и всё прогрессивное человечество, ибо только перестройка есть гарант безопасности всех народов”.

Где и в чьей памяти остался этот “исторический” “апрельский пленум”? Куда подевалось “прогрессивное человечество”? Обо всём этом и о том, в каких оборотней выродились “верные ленинцы” после 4 октября 1993 года, высказалась Валерия Новодворская в статье, названной строчкой из стихов Булата Окуджавы “На той единственной гражданской” (“Огонёк”, № 2–3, 1994).

“Я желала тем, кто собрался в Белом доме, одного – смерти. <...> Они погибли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполняли приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами...”

Статья была написана от имени всех 42-х подписантов позорного известинского письма (5.10.1993), подписанного “шестидесятниками” А. Адамовичем, Б. Ахмадулиной, Г. Баклановым, А. Борщаговским, А. Гельманом, А. Дементьевым, Р. Казаковой, А. Ивановым, Ю. Карякиным, Ю. Левитанским, Б. Окуджавой, Р. Рождественским, Ю. Черниченко и другими “детьми XX съезда КПСС”. В этом письме защитники Дома Советов, убитые в те дни, были названы “красно-коричневыми оборотнями”, “убийцами” и “хладнокровными палачами”, как будто не их тела октябрьской ночью были погружены на баржи и увезены в неизвестном направлении, а трупы Ельцина, Лужкова, Гайдара и прочих “гуманистов” и “реформаторов”. Так что кровь 1993 года – на ваших руках, “бессмертные и легендарные”. Не отмоешь.

Даже умеренный либерал Лев Иванов-Аннинский, сын репрессированного отца (донского казака) и репрессированной матери (еврейки), не выдержал пошлой и невежественной евтушенковской болтовни и заявил, как честный историк, в письмо в журнал “Огонёк” (№ 36, 1987): “Евгений Евтушенко в стихотворении о памятниках, которые надо поставить жертвам необоснованных репрессий, пишет: “кровавые слёзы Блюхера // в металле ещё отольются, Якир с пьедестала протянет // гранитную руку стране”. Хотелось бы знать, как Евгений Евтушенко относится к тому факту, что подписал Блюхера в 1937-м году стояла под обвинительным приговором Якиру?” А писатель Олег Васильевич Волков, сын известного депутата дореволюционной Государственной Думы, прошедший четверть века в тюрьмах, лагерях и ссылках, прочитав евтушенковскую болтовню о “ленинских нормах”, сказал мне с негодованием: “Да, при Сталине таких, как я, преследовали и часто судили несправедливым судом. Но те, кто требует восстановления “ленинских норм”, забывают, что при этих нормах ставили к стенке безо всяких “троек” и безо всяких судебных разбирательств”. Несомненно, что, говоря это, Олег Васильевич имел в виду “декрет о борьбе с антисемитизмом”, составленный рукой Якова Свердлова, подписанный Лениным 30 августа 1918 года и гласящий, что за антисемитизм, выраженный в любой форме, виновных надо ставить к стенке “без суда и следствия”. Но самая крупная свинья фанатикам и дельцам перестройки была подложена не Евтушенко или кем-то из “42-х” подписантов, а той же Валерией Новодворской, которая выболтала о кровопролитии 4 октября то, о чём все другие молчали: “Я благодарна Ельцину... пойдём против народа. Мы ему ничем не обязаны. Мы здесь не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле и очень важно научиться стрелять первыми, убивать <...>

Такие, как я, вынудили президента на это решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: “Кровь Его на нас и на детях наших”. Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ”.

Так вот почему российский Парламент и его защитники были расстреляны с такой ветхозаветной жестокостью...

С той поры много воды утекло, и в 2016 году “шестидесятники” начали праздновать полувековую юбилейную годовщину их антисталинского XX съезда, и вот уже три года прошло, а шабаш не затихает, а, наоборот, разгорается с новой силой.

Столетний юбилей Солженицына провели так, будто он ещё едет, как в 1994-м, из Владивостока в Москву. Памятники ему, как грибы, выросли по всей стране, от Тихого океана до Белгорода. В Москве сам президент вместе с вдовой один из памятников открывал. В школьную программу его “Архипелаг”, за исключением наиболее лживых и позорных страниц, втиснули. Улицу Коммунистическую его именем назвали. Стену скорби на проспекте Сахарова соорудили. Вокруг Соловецкого камня на Лубянке “шестидесятники” вместе со своими потомками собираются чуть ли не ежемесячно.

Телевизионные юбилеи Рождественского, Вознесенского, Высоцкого прошли блистательно с привлечением всех шоу-звёзд, всех жён, всех любовниц. Войновича похоронили, как одного из величайших классиков литературы XX века. Центр культуры имени Вознесенского вдова открыла и несколько вечеров подряд вещала с телеэкрана о всех подробностях их общественной и личной жизни.

Телевизионный сериал “Таинственная страсть”, показанный в лучшее время, приковал к себе внимание миллионов соотечественников, пытавшихся разгадать, кто из великих скрывается под кино-псевдонимами сериала.

Ну то, что музеи, носящие их имена, существуют в Переделкино, в Архангельском селе, в Москве, на станции Зима, в сибирском селе Косиха, в Нижнем Тагиле, в Санкт-Петербурге, что изваяния этих “легендарных” и “бессмертных” стоят во дворе Санкт-Петербургского университета, в тихой Тарусе, на Бульварном московском кольце – это само собой разумеется. Я уж не говорю о том, что много раз за истекшие три года на самых популярных каналах ТВ повторялась демонстрация культовых фильмов, созданных “шестидесятниками” Георгием Данелия и Марленом Хуциевым.

Подытоживая эту историческую эпоху, “шестидесятники” из журнала “Знамя” издали в августе 2018 года специальный номер, посвящённый с первой до последней страницы и XX съезду КПСС, и “утопленному в крови” венгерскому восстанию 1956 года, и появлению в Праге 21 августа 1968 года советских танков. На обложке номера прямо под словом “Знамя” я прочитал: “Тема номера – памяти “оттепели”, то есть некролог”, – а перевернув обложку, чуть не прослезился над душераздирающей эпитафией, как будто выгравированной на кладбищенской плите, под которой покоятся все мечты и надежды нашей пятой колонны:

“Этот номер посвящён “оттепели” – короткому, но яркому периоду, когда наше общество и культура, выбираясь из-под глыб тоталитаризма, открывали для себя ценности свободы, равенства и братства (лозунг кровавой Французской революции 1793 года!).

“Оттепель” – это время творческого расцвета Анны Ахматовой и Бориса Пастернака, Дмитрия Шостаковича и Георгия Товстоногова, Варлама Шаламова и Александра Солженицына. Это непотускневшие страницы “Нового мира” Александра Твардовского и “Юности” Валентина Катаева. Это начало творческого пути Иосифа Бродского и Андрея Тарковского, это звёздный час “Современника” и Таганки, всего того поколения молодых бунтарей, которых назовут “шестидесятниками”.

“Оттепель”, как стало теперь ясно, вошла в историю как время жестоких разочарований. Но и как время ослепительных надежд.

Этим надеждам, вспыхнувшим в марте 1953 года, суждено было оборваться 21 августа 1968-го, когда советские танки вошли в Прагу, а у нас начались очередные “заморозки”.

С той поры отшумело 50 лет, и мы уверены, что вернуться к урокам “ОТТЕПЕЛИ” особенно важно именно сейчас”.

Ошеломляющим выглядит список авторов этого номера – инвалидов и ветеранов “оттепели”, доживающих свой век кто на вождённом Западе, кто в земле обетованной, кто в холодной и “немой” России. А кто-то – уже на безмолвных берегах Стикса...

Леонид Зорин, Евгений Рейн, Александр Кушнер, Валерий Хаит, Яков Гордин, Ефим Гофман, Анатолий Найман, Борис Заборов, Ольга Розенблюм, Александр Даниэль, Людмила Штерн, Юрий Ряшенцев, Елена Шварц, Ирина Зорина, Ирина Булкина... Ирина Роднянская, Вениамин Смехов, Леонид Бахнов, Вячеслав Бахмин, Денис Драгунский, Мариетта Чудакова, Нина Бялосинская, Борис Слуцкий...

В этой толпе дочерей и сыновей избранного народа, оплакивающих “оттепель”, рыдающих, подобно своим предкам на реках вавилонских, случайно мелькнули три русские фамилии – “Сидоров”, “Чупринин”, “Егоров”, – видимо, ради соблюдения процентной нормы для коренного государствообразующего народа. А ведь когда я работал в 60-х годах в журнале “Знамя” при главном редакторе Вадиме Михайловиче Кожевникове и его заместителе Борисе Леонтьевиче Сучкове, русских авторов в каждом номере “Знамени” было не меньше половины, да и разделение на “патриотов” и “либералов” в те времена не было столь демонстративно катастрофическим. Однако вернёмся к юбилейному “оттепельному” номеру “Знамени”. Из воспоминаний Ирины Зориной, бывшей сотрудницы журнала “Проблемы мира и социализма”, издававшегося в 1960-е годы в Праге:

“От “оттепели” не осталось лужицы. Подморозили всё. Пришлось, конечно, кого-то выслать на Восток, в лагеря, кого-то упрятать в психушки, кого-то отправить на Запад. И пошла Россия привычно по своему историческому кругу.

Боюсь только, нашему поколению уж не придётся дожить до новой “оттепели” и тем более до настоящей весны. Великий век тех “шестидесятников”

скончался. Не сразу. На это ушли два трудных, вязких десятилетия. Его добивали грубо, варварски, и всё же добились”.

Подумать только, с такими мыслями и чувствами Зорина обучалась и работала в журнале, изучавшем “проблемы социализма”...

Из воспоминаний Людмилы Сергеевой, вдовы поэта Андрея Сергеева: “Среди арестованных “врагов народа” – выдающихся врачей нашей страны – были два доктора с распространённой еврейской фамилией Коган. <...> Моя мама тоже носила фамилию Коган. И хотя эти знаменитые доктора не приходились нам роднёй, при жизни Сталина у меня всё равно не было никаких шансов поступить в МГУ и учиться на филологическом факультете, о чём я так мечтала с отрочества. <...> Для меня “оттепель” началась со смерти Сталина”.

Ну, как я могу верить бедной Людмиле Сергеевой, если сам поступал именно на тот же филологический факультет того же МГУ при жизни Сталина в июле 1952 года! Нас было принято на первый курс филфака, находившегося на Моховой, около двухсот юношей и девушек. Я до сих пор помню почти все фамилии студентов и студенток, моих однокашников и однокурсников. Человек двадцать из них носили фамилии Кацев, Блаунштейн, Орёл, Подольский, Шталь, Шипелевич, Коварская, Комиссарова, Ситель и т. д.

Так что не надо Людмиле Сергеевой выдумывать, что не было у неё “никаких шансов” с её материнской фамилией Коган для поступления на фил-фак МГУ.

Незнакомая мне литераторша Инна Булкина, вспоминая стихи Олега Чухонцева о Курбском и Давида Самойлова об Иване Грозном (1968), пишет в “оттепельном” номере “Знамени”:

“За более чем год до появления стихов о Курбском и Грозном, за которыми, – повторю, – вдумчивые читатели (в том числе из ЦК КПСС) узнали Сталина и Власова, были написаны культовые в известных кругах стихи Ст. Куняева “Карл XII” (“А всё-таки нация чтит короля...”). Риторически эффектная баллада, лишённая какой бы то ни было исторической связи с персонажем, при этом откровенно просталинская: автор не скрывал, что стихи написаны к 10-летию постановления “О преодолении культа личности и его последствий”. И нет ничего странного, что читатели Куняева точно так же, как читатели Самойлова или Чухонцева, “вчитывали” эзоповы коннотации в стихи о шведском короле, о грозном царе и мятежном “беглеце”- эмигранте”.

Я помню, как Александр Чаковский уверял меня, что это моё стихотворение написано “о Сталине”, но я, в отличие от Булкиной и Чаковского, знал, что оно написано после того, как, будучи в Стокгольме, я увидел, как ранним утром пожилой швед кладёт цветы к памятнику Карлу XII. И я подумал, что тоска по доблести и былому величию отчизны привела его, жителя мирной, благополучной, антивоенной Швеции, к подножию памятника короля и полководца и что подобное чувство свойственно людям всех времён и всех значительных или великих держав... Ни о каком Сталине я тогда и не думал. Думал о человеческой жажде “крупнозернистой жизни”, говоря словами Мандельштама.

А что касается негодования Булкиной по поводу того, что в августе 1944 года “советские танки, стоявшие за Вислой”, “цинично ожидали, когда немцы расправятся с повстанцами варшавского гетто”, то негодует она впустую, потому что вся эта жуткая картина есть плод её большого воображения.

Восстание в варшавском гетто евреев, не пожелавших отправляться по приказу гитлеровцев в Освенцим, началось не в “августе 44-го”, а 19 апреля 1943 года. Через 2 месяца, к 20 мая 1943-го немцы беспощадно подавили его. Более пятидесяти тысяч восставших были убиты или сожжены живьём, остальные отправлены в Трешлиньский лагерь смерти. Никакие воинские части польской армии Крайовой, находившиеся в варшавском подполье, и пальцем не шевельнули, чтобы помочь несчастным евреям.

А “советские танки” в это время, вопреки вашему, гражданка Булкина, лживому утверждению, стояли не на “берегах Вислы”, а на берегах Оки и Десны, в тяжелейших боях освобождая от оккупантов Калужскую и Брянскую области.

Не лезьте в историю, которой вы не знаете, как не знают её многие авторы “оттепельного” номера “Знамени”, с восторгом вспоминающие общий для российских и польских “шестидесятников” лозунг “За вашу и нашу свободу”, результатом действия которого стала свобода уничтожения надгробий над

воинами, освобождавшими Польшу. О том, как боролись поляки за “общую” для польских евреев и шляхтичей “свободу”, убедительно вспоминал Ержи Эйхарн, выдающийся шведский врач, освобождённый советскими солдатами из Ченстоховского гетто:

“За пределами гетто полно профессиональных доносчиков-поляков, специализирующихся на распознавании евреев... они бегут за одиночками евреями и кричат: “Jude! Jude!” – чтобы немцы поняли... Евреям было запрещено выходить из гетто, и за каждого обнаруженного вне гетто еврея польский доносчик получал 2 кг сахара”. Недаром израильский историк М. Даймонт, объясняя, почему немцы создали самые крупные концлагеря для уничтожения евреев не в Западной Европе, а именно в Польше, писал: “Иначе обстояло дело в Восточной Европе. Самым постыдным было поведение поляков. Они безропотно выдали немцам 2 млн 800 тыс.<яч> евреев из 3 миллионов 300 тысяч, проживающих в стране”.

Вот о какой “свободе” мечтали поляки – о “свободе” Польши от евреев.

А ещё, гражданка Булкина, вы напрасно восхищаетесь строчками Олега Чухонцева из стихотворения “Репетиция парада” о том, что “имперский позор” России “до сих пор” “у варшавских предместий смердит”... Неужели вы не помните, что ода “Клеветникам России” написана Пушкиным в ответ не полякам, а парижским “витиям”-парламентариям, которые после неудачного польского мятежа 1830 года открыто призывали Европу объединиться в очередную Антанту вроде наполеоновской и наказать непокорную Россию. Они, эти витии, забыли, что в составе наполеоновских “двунадесяти языков” было более ста тысяч польских жолнеров под командованием маршала Понятовского. Сто тысяч! Это чуть ли не четверть всей наполеоновской общеевропейской армады... Хорошо они погуляли в Москве, немало поубивали людей, немало награбили добра, вволю покощунствовали в православных храмах. Вы, Инна Булкина, не чувствуете, что великие русские стихи Пушкина (“Клеветникам России”), Лермонтова (“Бородино”), Тютчева (“Блажен, кто посетил сей мир // в его минуты роковые...”), которые Рассадин назвал “бездарными”, а вы осмелились повторить его хамскую глупость, написаны столь честно и вдохновенно и вплетены в ткань нашей истории настолько плотно, что они есть и будут её вечными крепостями, ракетами любой дальности, что они по прошествии веков до сих пор оберегают наше место под солнцем и в мировой истории.

*И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..*

Всем, кто сегодня глумится над чувствами людей Крыма (он же – Таврида!), кто трясётся от ненависти к русской “империи”, Александр Пушкин бросает в их перекошенные злобой лица:

*Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..*

И этими стихами Пушкин проголосовал два века назад вместе с народом Крыма (“Таврида”) и Абхазии (“Пламенная Колхида”) за то, чтобы оба этих

благословенных края, всегда бывшие российскими со времён Екатерины Великой, в очередной раз по высшей воле и воле народа снова срослись с Россией. Такова мистика истории, таково пророчество Пушкина, который “наше всё” — и наша демократия, и наша диктатура... Вы не согласны с Пушкиным, господа либералы из журнала “Знамя”? “Так высылайте к нам, витии, своих озлобленных сынов”...

* * *

Самым главным событием истории, сильно подействовавшим на нервную систему “шестидесятников”, было подавление нашими войсками Будапештского мятежа в ноябре 1956 года и вторжение танковых армий в Прагу в августе 1968-го...

Последнее событие считается у “шестидесятников” окончательной катастрофой “оттепели”. Но подавление венгерского мятежа авторы юбилейного номера “Знамени” считают особенно страшным преступлением советской системы.

Из воспоминаний питерского поэта Дм. Бобышева, ныне живущего в штате Иллинойс, США:

“Между тем, положение было тревожное, советская империя трещала по швам. Польша... Венгрия... В Венгрии тоже всё началось со студенческого кружка по изучению поэзии Шандора Петёфи, и вдруг они ощутили себя свободными и пошли освобождать страну. Такие же, как мы, в зелёных плащах и чёрных беретах... Но — с автоматами. Хрущёв бросил туда танки, полилась кровь.

Вечером я читал стихи “К Венгрии” в ЛИТО при Доме культуры Промкооперации (сокращённо “Промка”). Вот как вспоминает это выступление Давид Шраер-Петров:

“Внезапно поднялся Бобышев. Встав передо мной, готовый бросить перчатку. “Как ты можешь писать Бог знает о чём, когда пролилась кровь наших братьев — венгерских интеллигентов? Я прочту стихи, посвящённые памяти героев венгерского восстания”. Бобышев читал. Помню, там звучали... горячие слова, вырывающиеся и продолжающие вырываться из уст русских поэтов вот уже два века... Слезы и яростное проклятие душителям свободы”.

Из воспоминаний Л. Сергеевой, которая присоединяется к бобышевской оценке венгерского восстания:

*“Именно после венгерских событий рухнули все мои надежды на справедливость и гуманность советской власти. Я поняла, что **социализма с человеческим лицом** нам не суждено построить: СССР будет всегда силой подавлять всякое стремление к свободе, независимости, инакомыслию. Травля Пастернака после присуждения ему Нобелевской премии, Берлинская стена, возведённая посреди города в 1961 году, Карибский кризис, буйство Хрущёва в Манеже против молодых художников, а потом и писателей, суд над “тунеядцем” Иосифом Бродским, арест Синявского и Даниэля за то, что опубликовали свои произведения на Западе, наконец, Прага 1968 года только подтверждали безнадёжный диагноз советской системы.*

Так, в 1956 году, вместе с кроваво подавленным венгерским восстанием, закончилась для меня короткая “оттепель” в нашей стране”.

Поскольку весь материал, касающийся “оттепели” в юбилейный августовский номер “Знамени” не уместился, то следующий, сентябрьский номер так же был “оттепельным” со стихами Игоря Волгина, жителя Нью-Йорка Бахыта Кенжеева, дневниками Раисы Орловой, похороненной в Кёльне, и романом Марии Рыбаковой “Если есть рай” (“училась в России, Германии и США”). О чём роман? Ну, конечно, о Венгрии. Об её незаконной оккупации советскими войсками в 1945 году и о кровавом 1956-м... Чтобы была понятна мировоззренческая сущность романа, процитирую несколько отрывков из него. Первый — о венгерском революционере Бела Куне, известном в нашей советской истории тем, что он вместе с “демоном революции” Розалией Землячкой-Залкинд и с красным комиссаром Ионом Якиром прибыли в 1920 году в Крым, где находилось около двадцати тысяч казаков — белых офицеров, не успевших эмигрировать в Турцию и добровольно сдавшихся в плен, поскольку они получили заверение от командующего красноармейскими частями

Фрунзе, что всем им будет сохранена жизнь. Однако тройка в составе Землячки-Залкинд, Ионы Якира и Бела Куна пренебрегла обещанием Фрунзе и, по согласованию с наркомвоенмором Троцким, жесточайшим образом приговорила к расстрелу и утопила в море всех этих врагов революции в течение нескольких дней.

О романе Марии Рыбаковой о жизни венгерского палача Бела Куна рассказывается в “Знамени” с благостным восхищением:

*“Я вспомнила о вожде Венгерской Советской Республики девятнадцатого года товарище Бела Куне. Бела Кун был сначала журналистом, потом служил в армии, стал военнопленным, в русском плену открыл для себя марксизм, пошёл в революцию. Как потом тайно перебрался обратно в Венгрию и агитировал рабочих за то, чтобы поднять восстание. Как его посадили в тюрьму и как он потом стал “виднейшим революционным деятелем” в течение тех четырёх месяцев, которые просуществовала Венгерская Советская Республика. После того, как Советскую Республику утопили в крови, товарищ Бела Кун вернулся в Советскую Россию и сражался с белогвардейцами. Победив белогвардейцев, товарищ Бела Кун отправился в Германию, чтобы бороться за дело мировой революции. Но это опять почему-то не получилось. Поэтому товарищ Бела Кун вернулся в Россию, чтобы отстаивать идеалы коммунизма в **одной, отдельно взятой стране**. За героическую борьбу Бела Кун был награждён орденом Красного Знамени в 1927 году. Умер в тридцать девять”.*

От себя добавим: есть версии, что этот якобы венгр погиб то ли на Лубянке, где его допрашивали соплеменники, подчинённые Генриха Ягоды, то ли его придушили уголовники в одном из бараков “Архипелага”.

Мария Рыбакова уверяет в своём романе читателей “Знамени”, что режим послевоенной Венгрии был навязан ей захватившими в 1945 году эту благостную страну “венгерских интеллигентов и студентов из кружка Шандора Петёфи” году “оккупантами”, то есть советскими войсками. А описание того, в каких условиях жили и погибали 500 тысяч венгерских военнопленных, находившихся в наших лагерях после войны, затмевает все ужасы Освенцима, Трешлинки и “Архипелага ГУЛАГ”:

“Они годами работали на строительстве каналов и железных дорог, чтобы потом умереть от истощения. Или умирали сразу, от болезней или от пули надзирателя. Или оказывались в сумасшедшем доме, где все о них забывали, где их держали десятилетиями, потому что врачи забыли, кто они, эти бывшие военнопленные, и никто не понимал, на каком языке они говорят. Но вот только выйти никак нельзя было, ни из психушки, ни из лагеря, и надзиратель продолжал кричать, и пуля убивала.

А те, кто кричал и бил их, кричали на них по-русски, и по-русски же матерились, и по-русски же обсуждали друг с другом насущные проблемы лагерной жизни — каких заключённых на какие работы направить, кого лишить пайка, на кого натравить собак”.

Надо умудриться, чтобы так опозорить репутацию одного из старейших толстых журналов России...

На самом деле правду о характере венгров и об истории венгерского восстания 1956 года надо искать не в лживых сочинениях “шестидесятников”, а в свидетельствах очевидцев и участников трагедии 1956 года, которая началась в 1944 году, когда “в течение 42 дней, начиная с середины мая, более чем четырёхста тридцать семь тысяч венгерских евреев были отправлены в Освенцим — Биркенау... в конце 1944 ещё около тридцати тысяч евреев погибли во время так называемых “маршей смерти” к австрийской границе или от рук венгерских нацистов”... (“Передайте об этом детям вашим. История Холокоста в Европе 1933-1945. М., 2000).

Да, вклад Венгрии в “Холокост” был, пожалуй, самым впечатляющим из всех стран фашистской Европы — почти полмиллиона евреев!

Венгерское восстание 1956 года — самое тёмное пятно в советской историографии. Что случилось той осенью в Будапеште? Какие силы (помимо американо-советских) столкнулись в этой короткой, но отчаянной и кровопролитной схватке? Историки советской эпохи, как черти от ладана, отворачивались от этого выброса почти инфернальной ненависти.

А на деле в Венгрии произошла необыкновенно жестокая вспышка гражданской войны венгерских националистов с проеврейской коммунистической и чекистской властью.

Националистическая венгерская прослойка попыталась повторить то, что уже происходило в Венгрии в 1919 году, когда было потоплено в крови правительство Бела Куна — еврейский спецназ, представлявший элиту европейского и мирового интернационала, когда сам вождь вместе со своими соратниками-соплеменниками Матиасом Ракоши, Эдвардом Гёре, Тибором Самуэли были вышвырнуты озверевшим народом в центр мировой революции — в Москву, в советскую Россию.

Вот что сообщает американско-еврейская газета “Форум” (от 3 августа 2007 года) о режиме Бела Куна:

“Среди 48 народных комиссаров (министров) его правительства 30 были евреями, а среди 202 высших должностных лиц евреев было 161.

Может быть, именно потому венгерское восстание 1919 года против Бела Куна и его клики было столь яростным и кровопролитным.

В 1956 году произошло нечто похожее: для еврейской властной структуры, возглавляемой уже не Бела Куном, погибшим в 1939 году, а его постаревшим сподвижником Матиасом Ракоши и воцарившейся в послевоенной Венгрии с помощью наших танков и штыков еврейской партийно-чекистской бюрократии, наступил своеобразный 1937(или 1919?) год. Историк Г. Костырченко в книге “Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм” так характеризует венгерскую послевоенную высшую элиту:

“М. Ракоши, будучи сам евреем (как М. Фаркаш, Й. Реван, Э. Гере, Г. Петер и другие его ближайшие соратники)... ещё в мае 1945 года проинформировал Москву о массовом вступлении евреев в ряды компартии Венгрии, назвав это серьёзной угрозой для её будущего. Свои опасения Ракоши мотивировал пропагандой враждебных буржуазных сил, которые распространяли слухи о том, что венгерская компартия — это “еврейская фашистская партия” и что повторяется 1919 год, когда руководство состояло исключительно из евреев во главе с Б. Куном...”

После окончания войны прошло всего лишь одиннадцать лет. Прослойка бывших венгерских фашистов, в числе которых было почти полмиллиона возвратившихся из советского плена 35—40-летних крепких мужчин, обученных воевать, поддерживаемая националистической молодёжью — венгерским “гитлерюгендом”, — в течение нескольких дней смела венгеро-советскую власть. Восставшие понимали, что Америка во имя борьбы с СССР закроет глаза на вспышку венгерского антисемитизма — и это развязало им руки. Трупы сотен евреев из госбезопасности и ЦК венгерской компартии валялись на улицах и площадях Будапешта, висели вниз головами, подвешенные за ноги на венгерских липах...

Из воспоминаний генерал-лейтенанта А. Малашенко: “Особый корпус в огне Будапешта”:

“В толпе раздавались свист и выкрики: “Нам не нужны гимнастёрки”, “Долой Красную звезду!”, “Долой коммунистов!”, “Долой евреев!” (ВИЖ, № 10, 1993).

Из статьи венгерского историка Йожефа Форижа:

“Проявлением этого национализма был немедленно всплывший антисемитизм... старшего лейтенанта Яноша Бачи, попавшего в плен при осаде здания радио, повесили во дворе, потому что его посчитали евреем”.

Из книги В. А. Крючкова “Личное дело” (М., Эксмо. 2003. С. 45):

“Лозунги провозносились самые разные — от социалистических до откровенно фашистских <...> тотчас же после ухода наших войск начался дикий разгул грабежей и насилия. Самосуды вершились один за другим. В Будапеште на фонарных столбах вешали коммунистов, “агентов Москвы”. “О контрреволюционном характере событий свидетельствуют идеи, провозглашённые участниками: антикоммунизм, национализм, антисоветизм, антисемитизм” (с. 51.)

Поэтому, видимо, весьма недвусмысленно и твёрдо прозвучали слова из приказа Главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами Варшавского пакта маршала И. С. Конева, повелевающие раздавить венгерских мятежников:

“События показали, что активное участие в этой аванюре бывших хортистов ведёт к возрождению в Венгрии фашизма и создаёт прямую угрозу нашему Отечеству... нельзя забывать, что в минувшей войне хортистская Венгрия выступала против нашей Родины вместе с гитлеровской Германией”.

В августе 2008 года я получил письмо из белорусской Орши от Сергея Лысковского, служившего в нашей армии осенью 1956 года в Венгрии и видевшего путч своими глазами. Вот несколько отрывков из его письма:

“С 26 по 30.Х в пригороде Дебрецена банды уничтожали семьи наших офицеров и тех, кто их приютил <...> Утром вижу у казармы – листовок полно! На фото – наши солдатики без голов, за ноги привязаны на вагонах-телятниках <...> на дорогах оставляли младенцев. Вылезет сердобольный наш танкист убрать с пути – и гибнет <...> Один танк, сбив перила моста, слетел в реку – и все погибли: не мог водитель задавить дитя”.

На такого рода садистскую жестокость едва ли были способны венгерские студенты – по официальной версии якобы главная сила венгерского путча. Это дела и опыт бывших оккупантов – солдат рейха. И ещё из письма Лысковского: *“ЕБН (Ельцин. – Ст. К.) покался перед хортистской Венгрией”.*

Вчерашние венгерские военнопленные подтвердили в те дни свою репутацию жесточайших карателей, которую они заработали на оккупированной советской земле... И у Москвы, конечно, независимо от решения “еврейского вопроса” в Венгрии, был единственный выход: раздавить эту попытку фашистского реванша танками и посадить во власть вместо ненавидимых венграми евреев коренных, но умеренных венгров, вроде Яноша Кадара.

Писатель Сергей Небольсин, жена которого была венгеркой и в доме которого постоянно гостили венгерские историки и филологи, недавно рассказал мне следующую историю:

– Приехал к нам профессор-литературовед Кроль, разговорились, и он поделился с нами воспоминаниями о 1956 годе.

“Мне было всего шесть лет. Однажды, в разгар восстания, я вышел на улицу и увидел, что на дверях нашего дома появилась надпись: “На этот раз мы не доведём вас до Освенцима”...

Я вернулся в дом и спросил отца: что значит эта надпись?

Отец смутился, но потом, понизив голос, сказал мне:

– Сынок, тебе надо знать, что мы не венгры. Мы – евреи”.

Но одно меня озадачивает до сих пор: почему наши еврейские либералы всю последующую историю восхваляли венгерский 1956 год как восстание против советского тоталитаризма, как борьбу под лозунгом “За нашу и вашу свободу”? Или их ненависть к социализму и латентная русофобия настолько мутила разум, что они в упор не видели антисемитской закваски венгерского взрыва и, проклиная сталинский 1937 год, одновременно оплакивали поражение венгерского антисемитского бунта?

Полвека прошло с тех пор, и всё равно у нашей либеральной образованщины в душе ещё чадит это антисоветское пламя (с антисемитским отблеском!). Свидетельство тому – шабаш на радиостанции “Свобода”, где в ноябре 2006 года собравшиеся на этот кровавый юбилей восстания кадили ему славу и читали стихи своих кумиров, прославлявших в 1956 году антисоветский и антисемитский путч. Конечно, вспомнили стихи Манделя-Коржавина:

*Я живу от нужды без надежды,
Я лишён и судьбы, и души,
Я однажды восстал в Будапеште
Против фальши, насилья и лжи.*

(Цитирую, как запомнилось, со слов кого-то из выступавших, кажется, Натальи Ивановой из журнала “Знамя”.)

Своим хрипловатым тенорком делился воспоминаниями о пятьдесят шестом годе Юз Алешковский: *“Свет промелькнул! Мы ненавидели советский режим и с радостью сообщали друг другу, что Венгрия восстала”.* Хорошо бы спросить Юза Алешковского вместе с Наумом Коржавиным, а от кого, по-ихнему, бежало в ноябре 1956 года во Францию семейство Саркози – от советских танков или от венгерских антисемитов?

Как же надо было страстно и слепо ненавидеть свою родину, свой народ, свою трагическую историю, чтобы забыть о том, сколько горя принесли нам венгерские оккупанты во время войны, чтобы не понимать антисемитскую подкладку будапештского бунта, чтобы забыть, как чешские легионеры дважды прошли с огнём и мечом по нашим землям – в 1919 году в составе чехословацкого корпуса (о чём я слышал в тайшетских сёлах песню со словами:

“Отца убили злые чехи, // А мать живём в огне сожгли”), и в 1941–1945 в составе гитлеровского рейха.

А чтобы не быть голословным, приведу статистическую таблицу количества военнопленных в советских лагерях послевоенного времени из книги австрийского историка Стефана Карнера “Архипелаг ГУПВИ”, переведённую на русский язык и изданную в Москве в 2002 году. В советском плену после войны содержалось 2 млн 388 тысяч немецких военнопленных, 513 тысяч – венгерских, 187 тысяч – румынских, 156 тысяч – австрийских, 70 тысяч – чехословацких, 60 тысяч – польских, 48 тысяч – итальянских... Далее шли французы (23 136 человек), югославы (видимо, хорваты – 21 тысяча 830 человек), и совсем понемногу этот букет был разбавлен голландцами, финнами, бельгийцами, датчанами, испанцами и “разными прочими, – говоря словами Маяковского, – шведами”.

* * *

В сентябре 2008 года я участвовал в телевизионной передаче, посвящённой гибели “оттепели”. Наталья Иванова, ведущий критик нынешнего журнала “Знамя”, вспоминала стихи своего покойного мужа Александра Рыбакова. Я не запомнил их полностью, но строки: *“Ах, романтика, синий дым, в Будапеште советские танки”* – остались в памяти, тем более, что в конце с пафосом были причитания: *“Сколько крови в подвалах Лубянки”*... А сколько еврейской крови было на улицах Будапешта? Об этом, конечно, не желали думать ни Наталья Иванова, ни её муж, сын писателя Анатолия Рыбакова (Аронова), автора известных в своё время романов “Дети Арбата” и “Тяжёлый песок” – романов о еврейских судьбах.

* * *

Отрывки из дневников Раисы Орловой, жены Льва Копелева, под заголовком “Родину не выбирают” (“Знамя” № 9, 2018):

“Грубость и хамство наших в Румынии (в 1945 году). Провожая меня домой после публичной лекции “Облик советского человека”, румынский искусствовед Мирчи Надежды рассказывал, как он и его друзья ждали Красную армию, как надеялись, что придут русские, и ночь сменится днём.

– А ваши солдаты отняли у меня часы насильно. Оскорбило насилие. Я сам отдал бы им всё по первой просьбе.

Как он обрадовался моему французскому языку и “налёту” интеллигентности!”

Некрасиво, конечно, поступили русские солдаты, но надо было Раисе Либерзон-Орловой, происходящей из крупночиновничьего советского истеблишмента 1930-х годов, напомнить румынскому искусствоведу, которого советские солдаты освободили из фашистской “ночи”, что после войны в наших лагерях для военнопленных Вермахта сидели и работали более 146-ти тысяч румынских солдат, офицеров и генералов. И каждого из них можно было судить за военные преступления, совершённые на оккупированной территории Крыма, Краснодарского края, Одесской и Сталинградской области. Но она, умершая и похороненная в эмиграции (г. Кёльн), всю жизнь была обуреваемая жадной совсем другого трибунала:

“Я одержима идеей возмездия. Необходим был Нюрнбергский процесс (в эпоху “оттепели”. – Ст. К.) Теперь, конечно, время упущено. Если бы были тайные судилища, сама пошла бы и убивала бы тех, кто сейчас сажает розы и клубнику” (“Знамя” № 9, 2018).

Помню эту даму, добродушно улыбающуюся всем знакомым в ресторане Центрального дома литераторов...

Отец “шестидесятницы” Раисы Орловой-Либерзон был крупным советским чиновником. Ездил в 1920–1930 годы для переговоров с Горьким на Капри, работал в знаменитом ВОКСе (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей). Условия жизни семьи Орловой-Либерзон были исключительными. Они жили в одном из лучших домов Москвы (ул. Горького, д. 6), напротив Центрального телеграфа. Квартира была в сто квадратных метров,

в несколько комнат. В одной из них жила, естественно, русская домработница, как и в семьях других “шестидесятников” – Д. Самойлова, А. Межирова, Б. Слуцкого.

Из книги “Воспоминания о непрошедшем времени” Р. Орловой-Либерзон: **“Выпускники 1939, 1940, 1941 годов не искали работы – работа искала выпускников. Я заполнила анкеты в десяти учреждениях, среди них ЦК, Наркоминдел Совнарком. У меня, как и у большинства из нас, была возможность выбора”**. Кто это “большинство из нас”? “Ифлицы”, дети “пламенных революционеров”, будущие “шестидесятники”...

У отца Раисы Орловой, как вспоминает она, “был пистолет”, в “период хлебозаготовок, куда его посылали, он получил право на владение оружием”. Её последний муж также раскулачивал крестьянство. Никакого чувства вины перед своими братьями по перу из раскулаченных семей – Михаилом Алексеевым, Виктором Астафьевым, Александром Яшиным – ни “копелевы”, ни “либерзоны” никогда не испытывали ни до XX съезда партии, ни в “оттепель”, ни в перестройку...

Из её же воспоминаний:

“В город Маркс (Саратовской области) надо было поехать, надо было увидеть эти чудовищно грязные сортиры во дворе, колонки. Плохие дороги, быт, как в каменном веке ... пока Лёва (Копелев. – Ст. К.) читает лекцию, я хожу по городу. Дощечки с названиями улиц: Бебеля, Либкнехта, Сад Свободы, Маркса, Энгельса. Что было с этими великими теньями, когда их соотечественников за сутки выселили отсюда? Город тогда назывался Марксштадт”... (“Знамя”, 09.2018). Замечу вскользь, что в город Маркс рвались не кто-нибудь, а тоже “соотечественники” того же Маркса, но в форме солдат Вермахта.

А какая для Либерзон трагедия – сортиры на улице и колонки... Да я всё своё детство и юность – до 18 лет – прожил в военные и послевоенные годы в Калуге на скрещении улиц Циолковского и Пушкинской, и сортир, сколоченный из горбыля, у нас аж на целых три многосемейных дома был один во дворе, и на колонку за водой, которая была одна на целый квартал, я ежедневно ходил с двумя вёдрами. И ничего, выжили, выучились, и школу с медалями окончили. Я – с золотой.

А что касается города Маркса, населённого до войны немцами Поволжья, то их действительно, когда немцы подходили к Волге, переселили на восточный берег реки из городов Энгельс и Карлмарксштадт в лагерь временного проживания. Среди интернированных переселенцев был будущий знаменитый в сфере космонавтики учёный Борис Раушенбах, который вспомнил в одном из интервью, что американцы, на землю которых не ступала ни одна нога иноземного захватчика, устроили на своей территории в годы Второй мировой концлагеря для исконно живших в США японцев, а на вопрос журналистки: “Почему вы были противником распада СССР, вы столько претерпели от советской системы?” – ответил не только журналистке, но и всем “шестидесятникам” вроде Орловой-Либерзон:

– Я никогда не чувствовал себя обиженным, считая, что посадили меня правильно. Это был не 37-й год. Шла война с Германией. Я был немцем. Потом в лагерях оказались крымские татары, чеченцы. Те же татары во время оккупации Крыма всё-таки работали на фашистов. Среди немцев если и были предатели, то полпроцента. Но попробуй их выявить во время войны... что говорить, было очень плохо, но в условиях войны власть приняла совершенно правильное решение”.

Вот мужественные слова вложившего все свои горести, всю свою судьбу в исполинский поток истории XX столетия настоящего большого человека и верного сына России, немца по происхождению, похороненного по заслугам рядом со сталинскими маршалами, писателями и учёными великой эпохи – на Новодевичьем. А злобная “шестидесятница” Орлова-Либерзон покоится в Кёльне, в немецкой земле, на родине “великих теней” и своих кумиров Бебеля, Либкнехта, Энгельса... И кто там будет приходить на её могилу? Кому она там нужна? Словом, всё происходит согласно песенке “шестидесятника” Окуджавы: “Всё по ровну, всё справедливо”...

Жёлчью, глупостью, злобой, глумлением переполнены воспоминания “знаменских” “шестидесятников” о загубленной советскими танками “оттепели”:

“сталинские репрессии, подавление Венгерского восстания 1956 года, разгром Пражской весны в 1968 году”... **“последнее событие мне особенно памятно, так как изменило мировоззрение, я стал другим человеком”**... Каким? Автор воспоминаний, Борис Егоров, доктор филологических наук из Санкт-Петербурга, впадая в социальную шизофрению, исповедуется:

“Дважды пытался распространять антисоветские листовки (особенно после войны потрясли высылки на Восток целых народов, якобы сотрудничавших с фашистами... редакция “Библиотеки поэта” помещалась на самом верхнем, седьмом этаже ленинградского Дома книги. Так что листовки логично было бросать из форточки прямо на Невский проспект. В период перестройки я в статье, опубликованной в Праге на русском языке, напомнил о кучке смельчаков на Красной площади, осуждавших вторжение наших войск в Чехословакию, о Сергее Юрском, бросившемся в чешский госпиталь сдать кровь, о Высоцком, Окуджаве, Евтушенко, тут же откликнувшихся своими стихами. ...На перестроечной волне 1990-х годов я вдруг встрепенулся. Написал утопическое послание к азербайджанской интеллигенции: проявите восточную мудрость и уговорите своё правительство, подарите Армении несчастный Карабах... Увы, азербайджанские коллеги ответили мне вежливыми объяснениями: какие армяне плохие люди, как они варварски завоевали Карабах...”

Казалось, что дальше некуда, но температура социальной шизофрении по мере того, как я перелистывал страницы “Знамени”, всё повышалась. Анатолий Найман с восхищением вспоминал о знакомстве в 1968 году с молодой семьёй чехов, рассказавших ему, как они жили в пражском общежитии:

“Он рассказывает, как, учась в университете и живя в студенческом общежитии, дожидаясь, чтобы вся комната заснула, зажигал настольную лампу, раскладывал на столе газету “Руде право”, прочитывал номер от начала до конца, раскрывал складной нож и, по возможности тихо, искалывал мелко-мелко, рубил, как капусту, газетный лист. Она говорит, что с приходом Дубчека пришло и сексуальное раскрепощение, и в подтверждение достаёт фотографию, где они с мужем сняты голые на фоне леса”.

Одним словом, оба они похожи на Либерзон-Орлову, которая, по собственному признанию, “если бы были тайные судилища”, “сама бы и убила бы” своих идейных врагов.

* * *

Но наши отечественные “шестидесятники” по накалу психопатических припадков и по соревнованию в глупости не уступали чешской паре. Владимир Радзишевский вспоминает о том, как Евтушенко отозвался на события августа 1968-го:

“Из Коктебеля Евтушенко отправляет телеграмму протеста на имя Брежнев и Косыгина. От отчаяния и беспомощности примеривается к самоубийству (! — Ст. К.). И стихи пишет, как предсмертную записку. Поэтому и заканчивает их эпитафией:

*Пусть надо мной — без рыданий —
просто напишут, по правде:
“Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге”.*

Стихи оказались такой силы, что спасли автора от него самого. Самым прямым результатом их воздействия стал отказ от самоубийства”.

Но Радзишевскому мало диагноза, который он ставит Евтушенко (склонность к суициду), он восхищается способностями Евгения Александровича, а заодно и Андрея Андреевича (Вознесенского) переписывать в наступившую эпоху перестройки хрестоматийные стихи о самом Ленине и утаивать их от нового поколения читателей:

“Генеральной расчисткой поэмы автор занялся в перестройку. И эта расчистка не в последнюю очередь коснулась неприкасаемого ранее Ленина.

Так, в главе “Идут ходоки к Ленину”, где Ленин, понимая все их беды, шёл навстречу ходокам, возникает совсем другой расклад:

*Волга дышит смолисто,
Волга ему протяжно:
“Что,
 гимназист из Симбирска,
 править Россией тяжко?
Руководил ты,
 не робок,
 лишь заговорщиков горсткой.
Что же ты хлеборобов
начал душить продрозвёрсткой?
Мягкую ссылку попробовал,
вообразив —
 это благо...
Росчерк твой станет проволокой
первого в мире ГУЛага.*

По-другому поступил Андрей Вознесенский, ограничившись косметической правкой. Когда появилась возможность переиздания, просто перестал печатать избыточно льстивые стихи:

*Уберите Ленина с денег,
он — для сердца и для знамён”.*

Но в чём Радзишевский прав: соперничество двух поэтов в “антиленинизме” достигло в эпоху перестройки кульминации. Вспомним “хирургическую операцию”, которую совершил Евтушенко со своим суперпатриотическим знаменитым стихотворением “Идут белые снеги”, в котором строфа, написанная в советскую эпоху о том, как он любит Россию: “**дух её пятистенков и её кедрача, её Пушкина, Стеньку и её Ильича**”, – в эпоху антисоветскую стала ещё гениальней: “**дух её пятистенков, дух её сосняков, её Пушкина, Стеньку и её стариков**”. И после этой творческой удачи Евгению Александровичу уже не было нужды “примериваться к самоубийству”: “К предательству таинственная страсть”, говоря словами Ахмадулиной, спасла его репутацию, как и репутацию многих других “шестидесятников”. Правда, ему пришлось в поэме “Братская ГЭС”, переиздававшейся в 1990-е годы, пожертвовать главой о партбилете (Марк Захаров поступил проще: он сжёг свой партбилет в телевизионной передаче на глазах у всей страны). Но Евтушенко доказал, что пословица “написано пером – не вырубишь топором” в эпоху исторических потрясений теряет свою силу. Однако не все поклонники поэта одобрили его самоцензуру. С одним из них я поговорил по телефону. Это был геофизик Марчук, давний приятель Евтушенко, о котором поэт в поэме “Братская ГЭС” привёл строки популярной песенки: “Марчук играет на гитаре, а море Братское поёт”. Но ничего не поделаешь – “к предательству таинственная страсть” оказалась сильнее, нежели память о дружбе с Марчуком, и когда я по телефону спросил Марчука, как он относится к тому, что во времена перестройки Евтушенко изъясил из поэмы “Братская ГЭС” центральную главу о партбилете, Марчук с печалью ответил: “Конечно, это горестно, но всё равно Евтушенко великий поэт”.

Ну, что делать! Все “шестидесятники” были “великими”. А разве не прилипло это слово к Остапу Бендеру – “великому комбинатору” своей эпохи? Вспомним также, что задолго до истории с “Лениным” и “партбилетом” ещё один “шестидесятник”, воспевший строительство Иркутской ГЭС в романе “Продолжение легенды”, выхлопотал себе командировку в Англию якобы для того, чтобы собрать материал к книге о Ленине, проводившем в 1905 году съезд РСДРП в Лондоне. Но, соблазнившись образом жизни туманного Альбиона, этот певец комсомольских строек, даже позабыв о том, что когда-то дружил с Евтушенко и водил его к Бабьему Яру, стал невозвращенцем. Поистине Лондон и весь англо-американский мир являются каким-то магнитом, притягивавшим во все времена наших “революционных романтиков” – Пече-

рина, Герцена, Суворова, Резуна, Гордиевского, Березовского, Жореса Медведева, Буковского, Скрипаля и т. п. Как бы то ни было, “шестидесятники”, бросившиеся в середине прошлого века воспевать стройки коммунизма, быстро скисли вместе со своими поэмами и романами. . .

А после великой и честной прозы Валентина Распутина, Виктора Астафьева и Василия Белова жалкие потуги “шестидесятников”, прославляющих стройки коммунизма, окончательно обнаружили свою ничтожность.

* * *

Из воспоминаний Леонида Бахнова, журнал “Знамя” (№ 8, 2018).

“Лично для меня “оттепель” навсегда окрашена голосом Окуджавы. . . Читал “Звёздный билет” Аксёнова. До полного посинения и знания текста чуть ли не наизусть. . . Шолохов вылез, старая гнида, призвал поставить к стенке предателей”.

Из воспоминаний художника Бориса Заборова:

“Изъеденный оспой тиран издыхал на полу своего многолетнего заточения. Беспомощный. Жалкий. Ненавистный. Соратники, обступив его, смотрели с ужасом и надеждой. Наконец смерть бросила упыря на потеху всем чертям”. . . Белорусского художника Бориса Заборова я знал по советскому Минску. Сейчас он живёт во Франции. Если он попадёт в психиатричку от ненависти к Сталину, это будет естественно, и более того, справедливо, потому что Борис потратил столько душевных и физических сил на эту ненависть, что выдающегося художника из него не получилось, и он стал ремесленником, рисующим портреты по фотографиям. . . Все мы бренны, но думаю, что, в отличие от Сталина, который похоронен в столице страны, где прожил всю жизнь, где принимал победные парады 1941-го и 1945 годов и где, несмотря на все крики Заборова: “Издыхал! . . тиран! . . изъеденный оспой. . .”, ему кладут цветы на могилу. А Борис Заборов будет удостоен какого-нибудь парижско-еврейского кладбища, на которое, как и к Орловой-Либерзон, и придеть-то после его смерти будет некому и незачем.

* * *

Из воспоминаний Мариэтты Чудаковой, подписавшей 5 октября 1993 года письмо “42-х” и заявившей в том же октябре на страницах “Литературной газеты”: “не уходит за десятилетия из памяти то августовское утро. . . короткая демонстрация семи храбрецов на Красной площади. Среди них – выпускница нашего филологического факультета, всем нам, его окончившим, хорошо известная Наташа Горбаневская. . . И вот с конца августа 1968 года я не знаю покоя. И приближаюсь к мысли выйти куда-то с плакатом про Прагу. И всё пытаюсь приучить себя к дальнейшему существованию в лагере. . . И, наконец, делюсь этими мыслями с Сашей” (“Знамя”, № 8. С. 187).

Поскольку я учился на филфаке МГУ в одни годы с Чудаковой и её мужем Александром, поскольку она в октябре 1993 года кричала в Бетховенском зале на встрече писателей-демократов с Ельциным: “Борис Николаевич! Действуйте!” – поскольку после расстрела Парламента и его защитников из народа она заявила в “Литературной газете”: “В октябре мы спасали демократию от Куняева”, – я имею полное моральное право предположить, что Мариэтта Омаровна если не по крови, то по складу природы похожа на многих фурий октябрьской революции и гражданской войны – на Розалию Землячку-Залкинд, на Евгению Бош, на Ларису Рейснер, о которых Ярослав Смеляков писал в стихотворении “Жидовка”: “Ни стирать, ни рожать не умела, // никакая ни мать, ни жена, // лишь одной революции дело // понимала и знала она”.

А что касается “легендарной семёрки” храбрецов, вышедших в августе 1968 года во главе с малым ребёнком Наташи Горбаневской на Красную площадь, то об этой компании можно сказать, что они были всего лишь навсегда предтечами отвязанных феминисток из “Пусси-райт”, сделавших себе позорную известность плясками на амвоне перед алтарём и фотографиями из Зоологического музея, где были изображены стоящими на четвереньках уличными сучками, на которых взгромоздились двуногие кобели.

Так что наши “шестидесятники” из “Знамени” и прочих СМИ рискуют своей репутацией, когда вспоминают о “великолепной семёрке” на Красной площади или о “великолепной четвёрке” из Храма Христа Спасителя и Зоологического музея.

* * *

“Танки на Вацлавской площади, ненависть чехов, отчаянные выкрики, как плевки в лицо оккупантам, небезобидные стычки, огонь, стрельба... И очень ровно, как кордебалет Большого, стояли танки, танки, танки, и им не было конца...”

(Из воспоминаний Натальи Зимяниной, дочери секретаря ЦК КПСС Зимянина, сотрудники издававшегося в Праге журнала “Проблемы мира и социализма”, где вместе с ней работали лидеры “шестидесятничества” и будущие “творяне” перестройки Юрий Карякин, Мераб Мамардашвили, Ирина Зорина, Кирилл Хенкин, Владимир Лукин и др.)

“Летом 1967 года мы все (я имею в виду нашу большую ленинградско-московскую компанию) очень внимательно следили и по нашим газетам, и, естественно, по всем доступным “вражеским” голосам за так называемой “Пражской весной” и невероятно радовались и переживали за чехов”. (Из воспоминаний киноактёра Л. Прыгунова)

* * *

А теперь нам остаётся поглядеть и оценить чехословацкие события августа 1968 года в контексте большого или, как его называл Осип Мандельштам, “крупнозернистого времени”.

29 сентября 1938 года в Мюнхене западные демократии сдали Чехословакию Гитлеру. Утром 30 сентября президент Бенеш получил из Берлина ультиматум о том, что в течение 10 суток Судетская область должна перейти под власть Германского рейха. Чехи не стали ждать десять дней, посовещались полтора часа, и премьер-министр республики Ян Суровы сообщил Берлину и гражданам своей страны, что ультиматум принят. Во время полуторачасового обсуждения германской ноты министр иностранных дел чешского правительства Камилл Крафта заявил своей политической и военной элите:

“Теоретически ультиматум можно отвергнуть. За этим последует война, в которой никто нас не спасёт”.

Когда немецкие войска вошли в Чехословакию, многотысячные толпы народа приветствовали их во всех городах и весях, в том числе и в Праге, где дед и тёзка будущего президента нашей эпохи крупный коммерсант Вацлав Гавел приветствовал гитлеровцев с балкона своего, как сказали бы сейчас, супермаркета... Вот так Чехословакия в марте 1939 года стала протекторатом великой Германии, и в июле 1941 года президент протектората чех Эмиль Гаха обнародовал послание гражданам, в котором говорилось:

“Для того чтобы чешский народ принял участие в великой борьбе немецкого народа и внёс свой вклад в дело его победы, ему были определены задачи, особенно в области снабжения и вооружения... Военный взнос в 5 миллиардов крон был нами сделан ввиду того, что чешский народ непосредственно не участвует в войне”.

Откупились. И на эти 5 миллиардов крон началась работа “чешского народа” “в области снабжения и вооружения” гитлеровского вермахта. 122 чешских военных завода, 12 000 средних и мелких предприятий, два с половиной миллиона самых квалифицированных в Европе рабочих и технических специалистов, начиная с 1939-го и по 1945 год ковали мощь вермахта, снабжая гитлеровскую армию танками, самоходными орудиями, грузовиками, пушками, автоматами, винтовками, револьверами, снарядами, патронами...

Гитлеровские офицеры, получив отпуска с фронта, стремились именно в Чехословакию, которая предоставляла им все возможности для восстановления сил и здоровья, потраченных на Восточном фронте, о чём знаменитая киноактриса Ольга Чехова писала в своих воспоминаниях: “Злата Прага не утратила своего блеска; и в гастрономическом отношении она предлагает

удовольствия, которых в рейхе для простых смертных уже давно не существует. Короче: Прага – отдых от войны”. Даже в Париже, где для гитлеровской офицерни пели в ресторанах Ив Монтан и Эдит Пиаф и которых обслуживали проститутки и многие честные женщины Парижа, не было столь комфортных условий для отдыха оккупантов. Всё-таки во Франции какое-то, хотя и жалкое, сопротивление было. А в Чехословакии не было ничего опасного – ни сопротивления, ни партизан – сплошной комфорт. . .

Марина Цветаева, прожившая в Чехословакии после эмиграции из России более десяти лет и переехавшая в 30-е годы во Францию, писала во время Мюнхенского предательства возвышенные стихи о приютившем её славянском народе:

*Его и пуля не берёт,
И песня не берёт!
Так и стою, раскрывши рот:
— Народ! Какой народ!
Когда ни сила не берёт,
Ни дара благодать, —
Измором взять такой народ?
Гранит измором взять!*

Бедная, наивная, экзальтированная, умевшая зомбировать самое себя Марина Цветаева! Хорошо, что ничего не узнала она о позорном лакействе её любимой Чехии, её прекрасной Богемии, её сказочной Моравии! Хорошо, что она не знала о том, что в составе гитлеровского рейха, топтавшего её родину Россию, было около ста тысяч коричневых швейков, шестьдесят тысяч из которых после окончания войны работали у нас как военнопленные, восстанавливая наши города, разбитые “тиграми”, самоходными орудиями, бомбардировщиками, которыми управляли и командовали её любимые чехи.

Слава Богу, она не узнала о том, что президенту протектората Эмилю Гахе, через месяц после 22 июня 1941 года торжественно сообщившему о “военном взносе” чешского народа в военную промышленность рейха в размере 5 миллиардов крон, в канун 50-летия победы над фашизмом была открыта в Праге мемориальная доска “за вклад в сохранение Чехословакии” в годы Второй мировой войны.

Слава Богу, что Марина Цветаева так и не узнала слов американского посла в послевоенной Чехословакии Штейнгарда, который сказал: **“Чешский народ всегда отдавал предпочтение жизни без напрасной борьбы, нежели борьбе за свою свободу”** . . .

Остаётся только вспомнить её искренние и предельно наивные строки:

*Так и стою, раскрывши рот:
— Народ! Какой народ!*

Что же касается известного поэта-“шестидесятника”, вышедшего из семьи советских чекистов, Юрия Ряшенцева, то у него есть весьма выразительные воспоминания о политической обстановке в Чехословакии в мае 1969 года. Ряшенцев работал тогда в журнале “Юность” и был послан в Прагу для освещения того, как будет проходить празднование нашей победы над фашизмом. Но на глазах у Ряшенцева во время встречи с активистами чехословацко-советской дружбы в пионерлагере на лесистой окраине Праги произошла ссора и даже драка между чехословаками, которые поддерживали наше вторжение в Прагу, и теми, кто ненавидел нас за это. Кончается это воспоминание Ряшенцева так:

“Я сидел на пеньке в лесу, глядя на громадный валун, на котором мелом был нарисован танк с флагом, на котором в звезду была вписана свастика. Насколько помню, я плакал” (“Знамя” № 8, 2018. С. 198).

Если бы стопроцентный “шестидесятник”, мой бывший знакомый Юра Ряшенцев вспомнил, как в 1939 году немецкие танки с настоящими свастиками на броне въезжали в столицу по дороге, усыпанной цветами, под ликующие возгласы народа, он сразу позабыл бы о каком-то советском Т-34 с флагом “со звездой и свастикой”, намалёванной мелом.

Но мало того, что журнал “Знамя” посвятил в 2018 году сентябрьский и октябрьский номера героям и врагам “оттепели”... Редакция устроила в одном из московских ресторанов торжественный вечер, посвящённый этой эпохе, о чём подробно рассказала “Литературная газета” (№ 39, 2018) в заметке “Вспышки памяти”:

“Во второй четверг сентября в одном из залов ресторана “Петрович” состоялся вечер журнала “Знамя” под названием “Памяти “оттепели”.

По сути, он представлял собой **презентацию августовского номера, посвящённого эпохе “оттепели”. 50-е, 60-е – XX съезд, ожидания, надежды и умонастроения молодых людей, ощутивших дыхание перемен, и разочарования, связанные с крушением этих надежд, – всё это нашло отражение и в текстах, опубликованных в номере, и в выступлениях участников вечера.**

“Бывают звёздные часы и звёздные годы человечества. К ним, несомненно, относятся 50–60-е годы XX века”, – сказал Сергей Чупринин, главный редактор журнала “Знамя”.

Лев Рубинштейн подчеркнул, что Пражская весна 1968 года стала причиной раскола поколения на тех, кто всё ещё верил в **социализм с человеческим лицом**, и тех, для кого светлое социалистическое будущее превратилось в утопию. Сходную мысль высказал и Юрий Ряшенцев, который во время трагических событий оказался в командировке в Чехии от журнала “Юность”: по его собственному признанию, эта поездка изменила его взгляд на мир. Игорь Волгин сравнил 60-е годы XIX и XX века и отметил, что оба периода по своему стали “звёздным часом” русской истории и литературы. “Хорошо, что журнал “Знамя” об этом вспомнил, потому что сегодня один за другим уходят живые свидетели эпохи”, – сказал Волгин.

Вообще мысль о том, как важно сохранять эти “вспышки памяти”, прозвучала на вечере не раз. Так, Мариэтта Чудакова высказала идею, что августовский номер “Знамени” нужно издать отдельным сборником, чтобы как можно больше людей узнало о том, какими были эти противоречивые годы. А Евгений Сидоров призвал всех собравшихся записывать воспоминания и делиться ими, невзирая ни на маленькие тиражи, ни на другие препятствия. <...>

Завершила собрание заместитель главного редактора журнала “Знамя” Наталья Иванова, пообещав, что тема “оттепели” продолжится и в осенних номерах”.

Как бы ни изощрялись авторы юбилейного номера “Знамени” в злопамятстве, в проклятиях по адресу эпохи, обманувшей их надежды, в конечном счёте, самый точный диагноз психического состояния мемуаристов выразил в стихах постаревший “шестидесятник” Игорь Волгин:

*В памяти твёрдой и ясном уме,
не говоривший ни бе и ни ме,
я заявляю публично:
прошлое мне безразлично.*

*Что там мутилось за гранью веков,
кто пробирался к царице в альков —
я разбираться не стану:
мне это по барабану.*

*С кем А.С. Пушкин шампанское пил,
кто там геройствовал у Фермопил,
быстры ли струги у Стеньки —
мне это, в общем, до феньки.*

*Цезарь ли кем-то когда-то убит,
Ленин ли пестует Брестский гамбит,
Данте ль откуда-то выжит —
это меня не колышет.*

*Вправду ль крестили кого-то в Днепре,
что написали Мольер и Рабле —
вместе, а может, отдельно —
мне это всё параллельно.*

*Плачет ли сердце в гитарной струне,
тень ли мелькает в туманном окне
тютчево-блоково-фетово —
это мне всё фиолетово.*

*Сиюминутность ценя одному,
я без оглядки отныне живу.
Кушаю рябчиков с грядки,
ибо живу без оглядки.*

*Сонму тупых исторических лиц
предпочитаю смешливых девиц,
чей без сомнений и споров
ум занимает Киркоров.*

Такого мертвенно холодного и цинично безразличного признания бессмысленности Слова, которое “было в начале”, нет даже у безнадежно отравленного “скепсисом бытия” Иосифа Бродского. Это ближе к песенке из кинофильма “Бриллиантовая рука”: “А нам всё равно!” А как назвал свою стихотворную книгу главный редактор “Нового мира” Андрей Василевский? Да так же: “Всё равно”.

(Продолжение следует)

ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

доктор юридических наук

КРИМИНОЛОГИЯ ИМПИЧМЕНТА

I

Весь мир обсуждает возможный импичмент Трампа. Конституция США даёт Конгрессу право отстранить действующего президента от власти, если законодатели решат, что **глава государства “совершил измену, был уличён во взяточничестве или других серьёзных преступлениях и правонарушениях”**.

В истории США о начале процедуры импичмента объявлялось трижды. В 1868 году Конгресс попробовал отстранить от власти президента Эндрю Джонсона, а в 1998 импичмент был объявлен Биллу Клинтону. Тем не менее, Сенат позднее заблокировал обе эти инициативы, и политики сохранили президентское кресло. В 1974 году Ричард Никсон из-за угрозы импичмента добровольно покинул президентское кресло, не дожидаясь решения Конгресса.

А что же считается преступлением, из-за которого назначают импичмент? Конституция США рассматривает это понятие весьма широко, допуская, что **поводом для импичмента может быть не только формальное нарушение закона, но и использование президентом служебного положения в личных целях**.

Как известно, для Билла Клинтона, например, поводом для начала процедуры импичмента стало то, что президент США солгал об отношениях со стажёркой Белого дома Моникой Левински под присягой.

24 сентября 2019 года спикер Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о том, что Палата представителей готова начать “официальную” процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля 2019 года.

Во время беседы президент США якобы потребовал от украинских властей начать расследование в отношении своего возможного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Импичмент президенту в США объявляет Палата представителей, большинство в которой сегодня принадлежит демократам. Но последнее слово остаётся за Сенатом, а его контролируют республиканцы.

В случае Трампа шесть различных комитетов Палаты представителей ведут свои собственные расследования в отношении него и принадлежащих ему коммерческих предприятий.

Закон также позволяет Конгрессу создать специальный комитет, который будет рассматривать обвинения против президента.

Собрав, как они считают, достаточные доказательства, комитеты Конгресса рекомендуют полному составу палаты проголосовать за импичмент.

Для принятия этого решения достаточно простого большинства голосов членов палаты.

Затем эти обвинения должен рассмотреть Сенат в ходе слушаний, напоминающих настоящее судебное заседание. Председательствует на этих слушаниях глава Верховного суда США, в его обязанности входит следить за соблюдением процедуры, которую, впрочем, устанавливают сами сенаторы по своему усмотрению.

Группа членов Палаты представителей является на этих слушаниях стороной обвинения, президента в ходе заседания защищают его личные адвокаты, а сенаторы играют роль суда присяжных.

Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент считается состоявшимся, глава государства покидает свой пост, а его место занимает вице-президент США.

Пока подобных прецедентов в истории Соединённых Штатов ещё не было.

В любом случае, **ситуация с импичментом, прежде всего, не политическая, а уголовно-правовая, криминалистическая и криминологическая.**

Должно быть преступление. Оно должно быть доказано. И должны быть понятны мотивация, причины, условия и последствия этого преступления.

Но разговор Трампа с Зеленским никак не подходит для такого криминального жанра.

Как пишет профессор права из Университета Чикаго **Эрик Познер**, “начав процедуру импичмента против Президента Дональда Трампа, американские демократы допустили серьёзную ошибку. Они повторяют республиканский импичмент Билла Клинтона в 1998 году, бесполезное занятие, которое скомпрометировало республиканцев, усилило власть Клинтона, а также нанесло институциональный ущерб” (*Project Syndicate, 01.10.2019*).

Общим фактором двух импичментов, пишет Э. Познер, является то, что с самого начала было очевидно, что Сенат США никогда не признает президента виновным, для чего требуется большинство в две трети голосов. 45 демократов Сената были не в восторге от того, что Клинтон лжесвидетельствовал перед большим жюри, препятствовал правосудию и имел внебрачную сексуальную связь со стажёром Белого дома Моникой Левински. Но **они не верили в то, что такое поведение служит основанием для отстранения от должности. Поведение было не настолько вопиющим, чтобы преодолеть их политическую лояльность президенту, который оставался популярным среди избирателей.**

Парадокс нынешней ситуации с импичментом заключается в том, что, начиная данную процедуру, **демократы бьют сами по себе.** Ведь Трамп обвиняет своего будущего соперника на выборах в тяжком преступлении. А по сути, **там было не одно преступление, а целый каскад.** В одних преступлениях Байден – непосредственный соучастник, другие совершены при его попустительстве и при попустительстве правивших в тот период демократов в целом.

Первая криминальная история (основная)

Белый Дом опубликовал распечатку стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

В ходе опубликованного разговора Трамп несколько раз упоминал Байдена, утверждая, что Байден содействовал отставке генерального прокурора Украины, чтобы помочь компании, в которой работал его сын.

Роберт Хантер Байден родился 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне. В 1992 году он закончил принадлежащий Ордену иезуитов Джорджтаунский университет в Вашингтоне, получив степень по истории, и в течение нескольких лет был волонтером в одной из церквей в Портленде.

В 1996 году он закончил Йельский университет, получил степень доктора юриспруденции, работал старшим вице-президентом компании MBNA America Bank, занимающейся выпуском кредитных карт, а затем тогдашний президент США Билл Клинтон назначил его директором по электронной коммерции в министерстве торговли США.

Позже Байден стал соучредителем лоббистской фирмы Oldaker, Biden & Belair. В 2007 году президент Джордж Буш-младший назначил его членом совета директоров железнодорожной компании Amtrak.

Когда его отец занял пост вице-президента Соединённых Штатов, он ушёл в отставку, чтобы не создавать конфликт интересов, и основал инвестиционную компанию Rosemont Seneca Partners.

Он также начал работать в качестве юриста в фирме Boies Schiller Flexner LLP. В 2013 году вошёл в совет директоров компании BHR Partners, занимавшейся поиском инвестиций для китайского бизнеса.

С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в правление украинской нефтегазовой **компании Burisma Holdings**. Как известно, Украина при президентстве Петра Порошенко назначала на политические и экономические должности иностранцев, чтобы укрепить связи с Западом и бороться с коррупцией.

Компанию в 2002 году создал бизнесмен **Николай Злочевский**, которого называют близким другом и соратником Виктора Януковича. Burisma зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited, также принадлежащую Злочевскому.

Она занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине и владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях. Весь добытый газ – около миллиарда кубометров в год – частная газовая компания Николая Злочевского продаёт на внутреннем рынке.

В 2003 году Злочевский занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины. В 2010 году бизнесмен был назначен министром экологии в администрации Януковича.

В 2014 году на Злочевского и его компании Генпрокуратура завела несколько уголовных дел по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. После этого он покинул территорию Украины.

Когда Байден вошёл в совет директоров компании в апреле 2014 года, вышел пресс-релиз, в котором говорилось, что он возглавит «юридическое подразделение компании и будет оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями». При этом сам Хантер Байден в интервью американской газете New York Times это отрицал.

В следующем году после прихода Байдена Burisma провела свой первый форум по энергетической безопасности в Монте-Карло при поддержке князя Монако и Atlantic Council. Местом встречи был выбран яхт-клуб Монако, где форум с тех пор проходит каждый год.

СМИ пишут, что Хантер Байден ежемесячно получал гонорар **в размере 50 тысяч долларов – или 600 тысяч долларов в год. Всего за пять лет на принадлежащий ему счёт в одном из банков США Burisma перечислила 3,1 миллиона долларов.**

Вашингтонская газета Hill утверждала, что Генпрокуратура Украины под руководством **Виктора Шокина** выяснила, что **Burisma перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более 160 тысяч долларов ежемесячно, и это – компания Хантера Байдена и его партнёров.** Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Шокина уволили.

В сентябре того года в Сети появились показания Шокина по данному вопросу: «...Обстоятельства моего увольнения были таковы, что подали просьбу о моей отставке из Рады по адресу президента Порошенко. Порошенко попросил меня уйти в отставку из-за давления, в частности, со стороны администрации президента США, в частности, со стороны Джо Байдена, который был вице-президентом США. Байден угрожал удерживать 1 миллиард долларов в виде субсидий Украине до тех пор, пока меня не отстранят от должности. После того как я уступил просьбе президента и подал свою добровольную отставку, Порошенко прокомментировал это в СМИ. Он сказал, что я провёл колоссальный объём работы в качестве генерального прокурора, чего не смог сделать ни один из моих предшественников, особенно в том, что касается моей работы по реформированию различных органов прокуратуры, по созданию Специализированной антикоррупционной прокуратуры...»

...Официальная причина моего увольнения заключалась в том, что я якобы не сумел завоевать доверие общественности. Порошенко и другие государственные деятели, в том числе и представители администрации президента США, никогда ранее не имевшие никаких претензий по поводу моей работы,

однако не выражали никаких претензий ко мне или каких-либо обвинений в преступлениях, которые я совершал или любые связанные с коррупцией (или, действительно, любые другие) уголовные преступления...

... Правда заключается в том, что **меня вынудили уйти, потому что я вёл широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings (“Бурисма”), компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров. Я предполагаю, что Burisma, которая была связана с добычей газа, имела поддержку вице-президента США – Джо Байдена, потому что его сын был в совете директоров.**

Несколько раз президент Порошенко просил меня взглянуть на преступника и свернуть дело против “Бурисмы”, и рассмотреть возможность сворачивания следственных действий в отношении этой компании, но закрывать это расследование я отказался. Поэтому я был вынужден покинуть свой пост под прямым и интенсивным давлением...”

Как уже было отмечено, газодобывающую компанию Burisma создал в 2002 году Николай Злочевский – бизнесмен и политик, который при президенте Украины Викторе Януковиче был министром экологии и природных ресурсов. Кроме того, он входил в совет национальной безопасности и обороны Украины.

После свержения Януковича в марте 2014 года власти Великобритании заблокировали счета Burisma **на сумму около 23 миллионов долларов США из-за подозрений в отмывании денежных средств**, в том числе полученных от ближайших соратников экс-президента. Они обратились к Украине с просьбой провести собственное расследование. Следственные органы Украины начали проверку на предмет того, как не использовал ли Злочевский своё служебное положение для ухода от налогов и для получения газовых лицензий. Чуть позже Хантер Байден вошёл в состав совета директоров фирмы. При этом, по данным The Washington Post, некоторые из её ближайших партнёров отказались от аналогичного предложения, опасаясь нестабильной обстановки.

В декабре 2014 года США выразили обеспокоенность в связи с тем, что украинские следственные органы не оказывают достаточного содействия в деле Burisma. В январе 2015 года суд в Великобритании закрыл дело, а счета фирмы были разморожены.

Как пишет The Washington Post, чем конкретно занимался Хантер Байден, остаётся неизвестным. При этом, **по данным американских СМИ, с начала работы в Burisma и только до конца 2015 года он получил около 850 тысяч долларов.** Выплаты продолжались вплоть до его отставки в апреле 2019 года.

Уже в конце 2015 года в нескольких американских СМИ, включая The Wall Street Journal и The New York Times, появились статьи, в которых говорилось, что участие Хантера Байдена в совете директоров Burisma может подорвать доверие к работе Джо Байдена на украинском направлении.

Вскоре после того, как в Великобритании закрыли дело против Burisma, генпрокурором Украины стал Виктор Шокин, заместитель предыдущего генпрокурора. Как пишет The Washington Post, уже через несколько месяцев он подвергся публичной критике со стороны американских дипломатов в Киеве за недостаточные усилия по проведению антикоррупционных расследований. Одна из высказанных тогда претензий была напрямую связана с делом Злочевского и Burisma: якобы вместо того, чтобы предоставить британским властям необходимую информацию, Украина отправила письмо о том, что дело не ведётся, – по этой причине британский суд заставил прекратить расследование в самой Великобритании.

В декабре 2015 года, выступая в Верховной Раде, Джо Байден заявил, что генеральная прокуратура Украины нуждается в реформах, поскольку саботирует борьбу с коррупцией. В марте 2016 года Шокин был отправлен в отставку. Несколько лет спустя **Байден рассказывал, как заставил украинские власти принять это решение, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий по кредитам на 1 миллиард долларов.** В конце 2017 года, когда у власти в США уже был Дональд Трамп, дело против Burisma закрыли, а Злочевский затем вернулся на родину.

В 2018 году правый американский публицист **Питер Швейцер** посвятил главу в своей книге “Тайные империи. Как американский политический класс

скрывает коррупцию и обогащает семьи и друзей” конфликту интересов в семье Байденов.

По данным Швейцера, в 2013 году фирма сына вице-президента Байдена получила **кредит на 1,5 млрд долларов у Банка Китая** всего через десять дней после того, как Байден с сыном вернулись из Пекина; эти деньги были вложены в “китайско-байденский” фонд (Bohai Harvest RST), который стал одним из ведущих инвесторов в компанию China General Nuclear, позже обвиненную ФБР в краже американских ядерных секретов.

Весной 2019 года консервативное американское издание The Hill рассказало, что Шокин был отправлен в отставку не за то, что саботировал расследование против фирмы, в которой работал Хантер Байден, а, наоборот, за то, что активно занимался им. В письменном интервью автору издания **Джону Соломону** Шокин заявил, что перед отставкой готовил следственные действия против всех руководителей Burisma, включая сына тогдашнего вице-президента США. Главный вопрос, который генпрокурор хотел задать Байдену-младшему, — за какую конкретно деятельность он получает свою зарплату.

В мае 2019 года Шокин дал интервью изданию “Страна.иа”, в котором заявил, что собирался допросить Байдена-младшего. Он также утверждал, что последней каплей для вице-президента США стало то, что “2 февраля 2016 года мы вышли в суды с ходатайствами о повторном наложении арестов на имущество Burisma”.

После начала процедуры импичмента против Трампа Соломон опубликовал ещё одну статью в The Hill, в которой доказывал, что юристы компании Burisma были непосредственно причастны к увольнению Шокина, встречались с американскими дипломатами в Киеве, а через них добивались встречи с самим Шокиным и Юрием Севрюком, который временно сменил его на посту генпрокурора.

Репортёр-расследователь Джон Соломон утверждает, что у него есть **документы на 400 страницах, которые поставят Джо Байдена в центр украинского скандала**. Соломон говорит, что **документы доказывают: Байден уволил прокурора, чтобы защитить своего сына и себя самого**.

Именно публикации в The Hill, по версии сотрудника американской разведки, написавшего жалобу на Дональда Трампа, натолкнули окружение американского президента на поиск компромата против Байдена.

Сменивший Шокина на посту генпрокурора **Юрий Луценко** в интервью Bloomberg заявил, что собирался передать информацию о Хантере Байдене американским властям для того, чтобы они проверили, платил ли он налоги со своих доходов.

Как видим, в основном криминальном сюжете, связанном с сыном Байдена, на самом деле не одно, а сразу несколько разнообразных преступлений. При этом мы ещё не указали на **факты получения сыном Байдена бриллиантов в качестве взяток от китайских бизнесменов**, что подробно рассмотрено в опубликованном в популярном американском издании The New Yorker 8 июля 2019 года в журнальной версии (в рубрике “Отец и сын”) сенсационного материала “*Не пустит ли Хантер Байден под откос предвыборную кампанию своего отца?*” Объёмное журналистское расследование (свыше 25 страниц печатного текста) в подробностях раскрывает удивительные перипетии личной жизни одного из фаворитов американских президентских выборов-2020 в США — демократа и бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Вторая криминальная история

Американский политолог **Тейлор О’Нил** написал статью о том, что Байден с помощью украинского олигарха **Игоря Коломойского** вывел через “Приват-Банк” 1,8 млрд долларов из трёх, предназначавшихся для помощи Украине. **Они бесследно исчезли, и никто их судьбой почему-то не интересуется**.

Третья криминальная история

Опять о Коломойском. В период, когда Байден был вице-президентом США, в 2014–2015 годах, **деньги, поступавшие в помощь Украине из Международного валютного фонда и Всемирного банка, попадают в руки**

олигарха Игоря Коломойского – так утверждает известный американский журналист и блогер **Джон Хелмер**, опубликовавший своё расследование. Впрочем, глава группы “Приват” действует не в одиночку, а рука об руку с высокопоставленными украинскими чиновниками и функционерами МВФ – доказывает американец.

Основными участниками коррупционных финансовых схем Хелмер называет представителя МВФ в Киеве болгарина **Николая Георгиева**, министра финансов Украины гражданку США **Наталью Яресько**, главу Национального банка, миллионершу из Днепропетровска **Валерию Гонтареву**, губернатора Днепропетровской области, владельца “ПриватБанка” **Игоря Коломойского**, а также двух других олигархов – **Рината Ахметова** и **Виктора Пинчука**.

Американский журналист указывает, что на самом деле требования МВФ о реформировании банковской системы Украины выполнялись только на бумаге или вовсе подменялись устными обещаниями Минфина и НБУ. Причём эти обещания подтверждают чиновники Международного валютного фонда, такие, как Георгиев. Однако же отчёты самой финансовой организации фиксируют, что с апреля прошлого года все поступившие от МВФ и Всемирного банка на Украину средства были размещены на счетах банков, принадлежащих Коломойскому и другим олигархам. Оттуда средства ушли за пределы Украины, и МВФ не удалось взыскать с банков сколько-нибудь ликвидных активов.

Эта криминальная история имеет продолжение.

В сентябре того года на фоне визита миссии МВФ под Киевом **сгорел дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, которая находится в Англии. Ранее в Лондоне её сбил автомобиль.**

На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

В своих проблемах бывшая глава НБУ подозревает бизнесмена Игоря Коломойского. Он, в свою очередь, считает, что поджог дома в Украине выгоден ей самой.

Именно в период, когда Байден как вице-президент США занимался Украиной, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вместе с гражданами США построили **глобальную схему по отмыванию средств, за счёт которой удалось с 2006 по 2016 год прокачать через офшор рекордную сумму – 470 млрд долларов.** Это вдвое больше, чем ВВП Кипра за данный период.

Сейчас всплывают подробности освоения отмываемых денег. Через различные структуры пачками скупались объекты недвижимости и действующие предприятия (в основном металлургические и ферросплавные).

Это, к примеру, **бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскрёбов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Хесаесе в 100 тысяч квадратных метров, зарегистрированная в Делавере компания Felman Production Inc, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, делаверская компания CC Metals and Alloys, LLC, контролирующая завод по производству ферросилиция, многочисленные отели и пр.**

Всё это происходило при полном попустительстве демократического руководства США.

Часть этих компаний проходят как соответчики по иску. В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют “заграничными агентами” Коломойского.

Прогноз развития событий

1. Никакого реального импичмента Трампа не случится.
2. Трамп только увеличит свои шансы на победу в предвыборной гонке.

Для справки:

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года привлёк рекордные 125 млн долларов пожертвований на финансирование предвыборной кампании. Об этом в Twitter сообщил менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл.

Эта сумма почти в два раза больше той, что удалось собрать Бараку Обаме и демократам в III квартале 2011 года, когда он баллотировался на второй срок. Как сообщает Associated Press, Обаме тогда удалось собрать 70 млн долларов.

3. Соперником Трампа будет Байден, несмотря на всё увеличивающийся компромат.

В США существуют СМИ, которые выступают в качестве агрегаторов данных, поступающих от разнообразных компаний, проводящих опросы. Одно из наиболее известных – сайт *RealClear Politics*. По его информации, из 9 опубликованных за последнюю неделю опросов (общенациональных и по отдельным штатам) 6 отдают первое место Байдену и 3 – Уоррен. При этом нет ни одного, в котором Сандерс обходил бы Байдена, зато в двух он оказался выше Уоррен.

Известный сайт *FiceThittyEight*, специализирующийся на политических прогнозах, показывает ещё более определённую картину: из 11 прогнозов за последнюю неделю 10 выводят на первое место Байдена и лишь один – Уоррен. Сандерс в одном из опросов обходит Уоррен, ещё в одном делит с ней 2-3 места, в остальных занимает 3-е место.

Свой агрегатор опросов есть и в *Википедии* – в специальной статье, Но Трампу Байден уступает.

* * *

Как писал **Марк Твен** в рассказе “*Мы – англосаксы*”: “...Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется “Дальние концы Земли”, председательствующий, отставной военный в высоком чине, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: “Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идёт и берёт...” Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, – пишет Марк Твен – она будет звучать примерно так: “**Мы, англичане и американцы, – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся...**”

II

О том, как президента США избирают на Дерibasовской

8 октября 2019 года интернет-издание *The INSEDER* (Анастасия Кириленко) при участии украинской программы антикоррупционных расследований “Схемы” подготовили и опубликовали материал с ярким названием: “*Дядя Сэм решает проблемы. Зачем Зеленский встречался в Нью-Йорке с Сэмом Кислиным, связанным с международным криминалом*”.

В нём говорится о том, что якобы 25 сентября 2019 года в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США в районе гостиницы “Паркер” прошли две встречи: одна – непосредственно в гостинице, другая – в соседнем здании, в ресторане “Русская чайная”. В первой, официальной, принимали участие сам Зеленский и ещё несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Судя по фотографиям и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин, как минимум, присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй.

Из досье ФБР на Сэма (Семёна) Кислина: основатель компании *Trans Commodities* в США, уроженец Одессы. Кислина ФБР связывает, в том числе, с покойным *Иваньковым (Япончиком)*, *Солнцевской* и *Измайловской ОПГ*.

Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка *Руди Джулиани* (чем очень гордится), который теперь является советником Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

1 октября 2019 года стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с *Львом Парнасом* и *Игорем Фруманом*. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в 2018 году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

По словам источника *The Insider*, ни Льва Парнаса, ни Игоря Фрумана на встрече в “Русской чайной” не было. Однако он подтверждает, что, по его данным, оба эти персонажа при содействии президента *Всемирного Форума русскоязычного еврейства Александра Левина* недавно встретились с Игорем Коломойским.

В 1990-е Кислин был непосредственным донором кампании экс-прокурора Джулиани на выборах мэра Нью-Йорка. Выиграв выборы, благодарный Джулиани назначил Кислина членом совета корпорации экономического развития Нью-Йорка, учрежденной мэрией (*New York City Economic Development Corporation*), распоряжавшейся инвестициями города. Теперь Кислин, получивший также титул почетного жителя Нью-Йорке, представляется для простоты бывшим советником и другом Джулиана, а также другом Дональда Трампа. В интервью НТВ Кислин заявил, что неоднократно угощал Трампа борщом. Он признал, что знаком с Трампом с конца 1970-х, когда Кислин поставил в кредит Трампу телевизоры для его отеля.

У Кислина есть и свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил *The Insider* источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных на Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича. В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию *OpalCore Ltd* за 8 млн долларов по дисконту. На её счетах в украинских банках размещались бонды – облигации стоимостью 20 млн долларов, они находились под арестом. Вместе с процентами набегало около 23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался.

О друзьях и информаторах Джулиани – бывшего мэра Нью-Йорка – почетного мэра еврейского местечка

9 октября 2019 года бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас, которых в США считают главными действующими лицами разгоревшегося скандала, уже получившего прозвище “Украинагейт”, были задержаны американскими властями в международном аэропорту Даллес в штате Вирджиния.

10 октября 2019 года Игорь Фруман и Лев Парнас были доставлены в федеральный суд штата Вирджиния. Им были предъявлены обвинения в нарушении законодательства о финансировании выборов в США. По решению судьи предприниматели могут быть отпущены под домашний арест после выплаты залога в размере 1 млн долларов каждый и предоставления поручительства о том, что они не будут пытаться покинуть территорию США.

Передвижения Фрумана и Парнаса будут контролироваться с помощью датчиков GPS. Они должны будут вновь предстать перед судом, уже в Нью-Йорке.

Как пояснил курирующий следствие прокурор Южной прокуратуры Нью-Йорка Джеффри Берман, подозреваемые незаконно пожертвовали различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Дональда Трампа, 325 тысяч долларов. Кроме того, по словам прокурора, они пытались оказать политическое влияние не только для продвижения своих собственных финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов украинского чиновника, который добивался отставки посла США на Украине.

Кроме Фрумана и Парнаса, обвинения по делу предъявлены задержанному накануне в Калифорнии выходцу из СССР Андрею Кукушкину и Дэвиду Коррея, который пока находится в розыске.

Американские СМИ утверждают, что за несколько часов до ареста бизнесмены встречались с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в отеле *Trump International* в центре Вашингтона. Кроме того, предприниматели выступили посредниками в организации переговоров американских представителей с украинскими чиновниками, добиваясь, в том числе, передачи им контроля над компанией “Нафтогаз”.

ВВС пишет, что о существовании двух бизнесменов американские и украинские СМИ впервые упомянули в мае 2019 года, после того, как после возвращения на Украину своё первое большое интервью дал предприниматель Игорь Коломойский.

Комментируя в разговоре с 24-м каналом заявление Рудольфа Джулиани о том, что для “выполнения своих предвыборных обещаний Владимиру Зеленскому нужно избавиться от криминальных олигархов”, включая и самого Коломойского, бизнесмен сообщил, что личный адвокат президента США лишь повторяет то, что ему внушили “два афериста”.

“В Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Два “Остапа Бендера”, которые ходят между двумя странами, – сказал он. – Один, кажется, Лев Парнас, а другой – Игорь Фруман. Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги. Рассказывают, что близки с господином Джулиани. И что они решат с господином Луценко (бывший генпрокурор Украины) любой вопрос”.

Предпринимателей упоминал в своей жалобе и анонимный сотрудник американских спецслужб, который сообщил о подробностях телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля текущего года.

Именно это заявление послужило формальным поводом для начала процедуры импичмента президента США в конгрессе, а Фруман и Парнас неожиданно стали ключевыми фигурами в самом громком политическом скандале последних лет.

ВВС сообщает, что уроженец Украины *Лев Парнас* переехал в Соединённые Штаты вместе с родителями в 1976 году, когда ему было всего четыре года. В начале 1990-х он попытался заняться бизнесом, продавая бытовую электронику и организуя контейнерные перевозки товаров из США в республики бывшего СССР, а затем работал брокером в нескольких компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами.

По данным финансового регулятора *FINRA*, в 1990-е и в начале 2000-х Парнас использовал имя “Ларри Парнелл” и был совладельцем, как минимум, трёх брокерских компаний в штате Флорида.

В 2001 году прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против одной из фирм – *Euro-Atlantic Securities*, – обвинив владельцев в *связях с организованной преступностью*. В 2003-м власти отозвали лицензию у ещё одной брокерской компании, *Aaron Investment Group*, где Парнас был совладельцем, после отказа выплатить штрафы за допущенные финансовые нарушения. И, наконец, в 2009 году лицензии лишилась ещё одна фирма, в которой работал бизнесмен, – *Basic Financial, LLC*.

В 2018 году предприниматель предстал перед судом после того, как бывший деловой партнёр обвинил его в отказе вернуть долг размером в 500 тысяч долларов. Деньги Лев Парнас взял на производство в Голливуде фильма под названием “*Анатомия наёмного убийцы*” (*Anatomy of an Assassin*).

Для того чтобы получить средства, он даже организовал в одном из нью-йоркских отелей встречу потенциального инвестора с актёром Джексом Николсоном. Съёмки фильма так и не начались, а полученные средства бизнесмен под различными предложениями отказывался вернуть.

Его деловой партнёр *Игорь Фруман* родился в Белоруссии, переехал в США ещё в 1980-х, но большую часть жизни провёл на Украине, откуда, в конце концов, и перебрался в Майами. В 2005 году он женился на уроженке Одессы Елизавете Наумовой и развернул в этом приморском городе заметную деловую активность.

Во времена СССР отец Елизаветы – *Валерий Наумов* – был **директором магазина “Фрукты-Овощи” на Дерibasовской**, а в начале 1990-х стал одним из самых заметных бизнесменов в городе.

Его дочери, по данным украинских СМИ, принадлежит в Одессе ювелирный дом “Отрада”, вместе с Игорем Фруманом она также владеет компанией *Otrada Luxury Group*, торгующей дорогими машинами, яхтами и элитным алкоголем, кроме того, им принадлежит бутик-отель “Отрада” и одноимённый пляжный клуб. В Киеве пара владеет рестораном *Buddha-Bar*, а вместе с бизнесменом Сергеем Дябло Фурман является совладельцем Балтского молочно-консервного комбината.

В 2013 году комбинат, долги которого превысили 25 млн долларов, объявил о банкротстве.

В 2017 году Елизавета Наумова подала на развод, но спор о разделе имущества супругов продолжается до сих пор.

Несколько лет назад оба бизнесмена вошли в попечительский совет *благотворительной организации “Американские друзья Анатевки”*. Фонд, главной целью которого является строительство посёлка неподалёку от Киева для еврейских беженцев с востока Украины, создал *главный раввин страны Моше Реувен Асман*.

В мае 2019 года на одном из мероприятий организации в качестве почётного гостя должен был выступать *Рудольф Джулиани*, а организаторы даже заявили, что *присвоят адвокату звание почётного мэра еврейского местечка*.

В последний момент, правда, из-за скандала, разразившегося после публикации в *New York Times*, Джулиани отменил поездку.

Как выяснилось, главной целью поездки личного адвоката Трампа должны были стать встречи с украинскими чиновниками и поиск компромата на возможного соперника президента США на предстоящих в 2020 году выборах экс-вице-президента Джо Байдена.

Организацией этих встреч как раз и занимались бизнесмены Фруман и Парнас.

В мае 2018 года оффшорная компания *Global Energy Producers*, зарегистрированная бизнесменами в штате Дэлавер, *перечислила взнос в размере 325 тысяч долларов в один из избирательных фондов, поддерживающих Дональда Трампа*. В следующие месяцы Фруман перевёл 15 тысяч в предвыборный фонд бывшего губернатора штата Флорида Рика Скотта, 35 тысяч – на избирательную кампанию республиканца Адама Патнама и 50 тысяч – в предвыборный фонд сторонника Трампа Рона Десантиса.

На счета ещё двух общественных организаций, поддерживающих переизбрание Трампа, – *Trump Victory Donald J.* и *Trump for President* – лично Фруман перевёл максимально разрешённое законом суммы – по 2700 долларов. Общая сумма пожертвований, сделанных бизнесменами, составила 576 тысяч долларов.

Согласно уставным документам, задачей создания компании были поставки сжиженного газа на Украину с целью снижения зависимости Киева от российского газа.

Неожиданная щедрость владельцев офшора привлекла внимание американских правозащитных организаций. Одна из них – *Campaign Legal Center* – подала официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что на счетах компании из Дэлавера нет сумм, способных покрыть эти пожертвования, и перечисленные средства могут поступать из других, не разрешённых источников.

В числе получателей денежных средств от бизнесменов оказался и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей *Кевин Маккарти*. Как выяснилось, Фруман и Парнас в июне 2018 года перечислили в связанные с ним фонды 117 тысяч долларов. Сейчас, когда стало известно об аресте предпринимателей, конгрессмен заявил, что перечислит эти средства на благотворительность.

Сам Лев Парнас в своё время объяснил, что средства на взносы в республиканские организации он получил от продажи за 4,1 млн долларов принадлежащего ему дома во Флориде.

В начале мая 2018 года предприниматели встретились за ужином с Дональдом Трампом в вашингтонском отеле Trump International. Несколько недель спустя они были участниками завтрака в Беверли-Хиллс с сыном главы Белого дома Дональдом Трампом-младшим и Томми Хиксом, вскоре занявшим пост главы Национального комитета Республиканской партии.

В течение следующих месяцев Фруман и Парнас приняли участие в мероприятиях во флоридском поместье Трампа “Мар-а-Лаго” и встретились на Капитолийском холме с несколькими влиятельными республиканцами.

Бизнесмены не скрывали, что **могут предложить республиканцам компромат на возможного претендента на президентский пост от Демпартии Джо Байдена, ссылаясь на свои связи в высших эшелонах украинской власти.**

В конце 2018 года Фруман и Парнас познакомили личного адвоката президента США Роберта Джулиани с несколькими бывшими и действующими генеральными прокурорами Украины, включая *Виктора Шокина* и *Юрия Луценко*. Джулиани также встречался с тогдашним главой специального офиса

прокурора Украины по борьбе с коррупцией *Назаром Холодницким*, а уже в этом году, после победы на выборах Владимира Зеленского, Джулиани провёл встречи с помощником нового президента *Ермаком*.

В мае 2018 года Фруман и Парнас навестили в Израиле предпринимателя Игоря Коломойского, которого украинские власти обвиняли в хищении из страны 5,5 млрд долларов.

Как стало известно *ВВС*, во время переговоров бизнесмены настаивали не только на получении от украинских властей компромата на Джо Байдена и демократов. Фрумана и Парнаса интересовал и контроль над компанией “Нафтогаз”.

Кто пытается нас учить

После волн грязи, которые накрыли и продолжают накрывать Америку, вспоминается известный анекдот о мальчишке, который ночью подглядывал за родителями: *“И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!”*

Действительно, кто нас постоянно учит “демократическим принципам и процедурам”? “Филигранной борьбе с коррупцией и организованной преступностью”? Кто не прекращает вопить “о русской мафии”? Те, кто решает проблемы президентских выборов в США на сомнительных встречах в ресторанах Дерибасовской и Брайтон-Бич? Или в уютных кафе Хайфы, Яффы и Тель-Авива?

Не сомневаюсь, что снежные комья компромата на обоих основных претендентов – Трампа и Байдена – будут постоянно накручиваться. Например, в США в октябре 2019 года состоялась презентация книги *“Все президентские женщины: Дональд Трамп и формирование хищника”*, которую написали журналисты *Барри Левайн* и *Моника эль-Фээ*. В ней 43 (!) женщины обвиняют Трампа в *“ненадлежащем поведении”*, 26 из них говорят, что Трамп *“навязал им нежелательные сексуальные контакты”*.

Неужели мы станем свидетелями расследования каждого полового акта Трампа, который он кому-то навязал?

Как и в первой статье “Криминология импичмента”, вновь обращусь к *Марку Твену*, который о выборах в США написал: ***“Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать”***.

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ

академик РАН

ЛОГИКА ИСТОРИИ

*Долгосрочные закономерности развития человечества
как основа понимания и логической реконструкции истории*

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Кризис обществознания

Современные общественные науки сталкиваются с огромным количеством аномальных фактов, не объяснимых господствующими в них парадигмами. В отличие от естественных наук, они не используют методы экспериментальной проверки гипотез, а также чрезмерно подвержены политическому давлению, так как используются властвующей элитой для оправдания своего господствующего положения в обществе. Наиболее ярко это проявляется в мейнстриме экономической мысли, который, по сути, представляет собой наукообразную квазирелигию — её догматика призвана доказывать общественному сознанию правильность проводимой социально-экономической политики. Так, за современными математическими моделями рыночного равновесия скрывается архаичная мифология поклонения золотому тельцу, поскольку закладываемая в них аксиоматика отражает догматику жрецов свободного рынка, которая отражает интересы частного капитала. Под эту же догматику выхолащивается история человечества, которая интерпретируется как линейный процесс либерализации социально-экономических отношений.

Для перевода общественных наук на общенаучные методы познания крайне важна демифологизация истории, раскрытие в ней реально действующих закономерностей развития человечества. Без этого невозможно ни научное прогнозирование социально-экономических процессов, ни разумное управление ими в интересах всего общества. Невозможно также предотвращение кризисных процессов и катастроф, в которые периодически попадает человечество вследствие непознанных закономерностей социально-экономического развития.

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич — выдающийся экономист и политик. Родился в 1961 году в Запорожье. Окончил экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук, академик РАН. Автор более двух десятков книг. В 2012–2019 годах — советник Президента РФ. С 1 октября 2019 года — министр Евразийской экономической комиссии. Живёт в Москве.

1.1 Логика исторической фальсификации

О масштабности мифотворчества в общественных науках убедительно свидетельствует нынешнее состояние общественного сознания на постсоветском пространстве. Оно представляет собой причудливое нагромождение старых и новых мифов, в которых люди окончательно теряют систему координат для оценки происходящих событий и правильного понимания своих интересов. Это крайне негативно сказывается на состоянии интеллектуального потенциала нации, теряющей историческую почву под ногами. Общество, состоящее из «иванов, не помнящих родства», не способно к созидательному массовому творчеству, лежащему в основе современного развития экономики, становится жертвой хищнической олигархии и отражающих её интересы социал-дарвинистов.

Первый слой представлений о нашей истории был сформирован в Российской империи на основе варяжской мифологии, сочинённой специально приглашёнными немецкими историками, не знавшими даже русского языка и не знакомыми с историческими памятниками доромановской Руси. Последние, включая летописи и прочие письменные свидетельства современников, после Великой смуты систематически уничтожались, так что до нас практически не дошли оригиналы. Место первоисточников заняли разнообразнейшие списки, в том числе намеренно фальсифицированные в угоду официальной трактовке истории властвующей элитой соответствующего времени.

Второй исторический слой в нашем общественном сознании формировался советскими историками после свержения монархии Романовых. Российская империя представлялась как «тюрьма народов», которые советская власть освободила от эксплуатации классовых врагов. Декретами советской власти были созданы национальные республики с номинированными ею же титульными национальностями. Большинство из них обрело национальную государственность исключительно благодаря политическим решениям Ленина и Сталина, которые, с одной стороны, боялись возникновения «великорусского шовинизма» в ответ на геноцид духовной элиты русского народа, а с другой стороны, формировали репрессивный аппарат из национальных меньшинств. Так что, вместо того чтобы проводить кампании по декоммунизации и обвинять Москву во всех своих проблемах, национальным властям бывших союзных республик следовало бы прославлять вождей коммунистической России как основателей их государственности. Этого, однако, не происходит.

Новый исторический слой в общественном сознании формируется искусственным образом профессиональными фальсификаторами и пропагандистами, обслуживающими интересы мировой капиталистической олигархии в эксплуатации постсоветского пространства. Делается это в полном соответствии с известным геополитическим принципом «разделяй и властвуй», который всегда применялся международным капиталом для подрыва великих империй с целью присвоения накопленного ими богатства. Формируя и стравливая между собой крупные социальные группы имперского социума, агенты международного капитала подрывают имперские институты государственной власти, заменяя их подконтрольными колониальными администрациями. Посредством радикализации религиозных, этнических, имущественных и прочих социальных противоречий возбуждается взаимная неприязнь различных социальных групп, которые в борьбе друг с другом разрушают имперскую целостность и формируют свою квазигосударственность под контролем внешних спонсоров. Так действовали английские колонизаторы в Азии, разоряя Индию и Китай, то же самое американские агенты влияния делают в постсоветских республиках, выкачав из них уже более двух триллионов долларов накопленного за советский период капитала.

Ярким примером современного манипулирования общественным сознанием на основе фабрикация исторических мифов с целью раскола общества на национальной почве является ситуация на Украине. Созданная на основе искусственного объединения Малороссии, Новороссии, части земель Войска Донского и Галичины, УССР обрела свой квазигосударственный статус исключительно благодаря большевикам. После распада СССР, в рамках которого Украина стала самой развитой частью Союза, за четверть века работы по «нациостроительству» американским агентам влияния удалось на исторических мифах вырастить поколение украинских нацистов. Воспитанные на ненависти

ко всему русскому, уже упомянутые в настоящем материале “иваны, не помнящие родства” стали орудием оккупации украинской территории американскими спецслужбами и её расчистки от местного населения для внешних нужд. По образцу стран Восточной Европы, на Украине была проведена кампания по декоммунизации, сопровождавшаяся уничтожением памятников советской эпохи, в том числе отцу-основателю украинской государственности В. И. Ленину. На щит были подняты гитлеровские коллаборационисты, прислуживавшие фашистским оккупантам в 1941–1944 годах. Преступники против человечества, в том числе населявшего тогда территорию Украины, объявлены героями и мифологическими основателями украинской государственности.

Происходящее на сегодняшней Украине историческое мифотворчество ещё пару десятилетий назад казалось галлюцинациями свихнувшихся от ненависти к России недоучек. Но внедрение нелепых мифов о мнимой истории украинского государства в массовое образование дало свои плоды. Появилось выросшее на этих сказках поколение профессиональных псевдоисториков, а многие настоящие историки под страхом репрессий вынуждены подпевать этому историческому бреду под угрозой административного давления, шантажа неонацистов и политических репрессий.

Если на Украине фальсификация истории в системе массового образования приняла гротескные формы и вызывает возмущение в России героизацией нацистских преступников, то в других бывших союзных республиках историческое мифотворчество в силу языкового барьера мало известно русскому читателю. Оно также поражает буйной фантазией авторов, изобретающих древние корни государств, появившихся четверть века назад. Устами националистически настроенных политиков штампуются исторические мифы, отодвигающие образование новых независимых государств, названия которых впервые появились на карте СССР в 30-е годы прошлого века, на многие столетия в доисторическую эпоху. Фабрикуются артефакты, задним числом подтасовываются исторические документы, в систему образования принудительно внедряются сказочные истории о мнимых героях-основателях никогда не существовавших государств. Обратной стороной этого мифотворчества является отрицание цивилизационной роли России и СССР, которые создали необходимые условия для этногенеза современных наций и обеспечили им возможность создания собственной государственности.

Логика исторического мифотворчества в новых независимых государствах хорошо понятна. Только появившаяся правящая элита нуждается в легитимации своих претензий на власть. Если исходить из очевидного исторического факта её рождения из бывшей советской номенклатуры, то трудно обосновать претензии на власть в условиях повсеместно произошедшего на постсоветской территории резкого падения уровня жизни населения и многократно возросшего социального неравенства. Сказочное обогащение правящей прослойки происходило на основе приватизации совсем недавно ещё бывшей общенародной собственности с погружением подавляющего большинства населения в нищету.

Превращение изрядно криминализованной разграблением советского наследства правящей постсоветской прослойки в национальную элиту новых государств требовало убедительной для народных масс легитимации. Самым легким её способом стала реинкарнация архаичных форм социально-политической структуры самодержавно-вождистского типа с присвоением главой государства квазисакрального образа вождя нации с неограниченными полномочиями. Чтобы уйти от ответственности за резкое падение уровня жизни населения и сбить народное недовольство за пределами социальным неравенством, новоиспечённые “отцы нации” взяли на себя миссию нациостроительства, взывая к патриотическим чувствам граждан и запугивая оппозицию обвинениями в национальной измене.

По законам социальной психологии, необходимым условием консолидации национальной общности является формирование образа врага. Вопреки фактической исторической миссии России и СССР, обеспечивших формирование современных государствообразующих наций на постсоветском пространстве, именно они были назначены врагами за отсутствием других подходящих образов. Националисты новых независимых государств систематически чернят защитившую их от уничтожения Российскую империю, обвиняя её в колониализме,

а также шельмуют выросший и образовавший их СССР как тоталитарную бесчеловечную машину перемалывания народов.

Чем хуже обстоят дела в социально-экономической сфере, тем более агрессивной и лживой является русофобская пропаганда, обосновывающая претензии политической элиты новоиспечённых государств на власть. Ярким примером является Украина, которая сегодня производит вдвое меньше продукции, чем в СССР, и опустилась после его распада с первой десятки европейских государств по уровню жизни населения на последнее место. Вопреки очевидным фактам, Москве предъявляются обвинения как в нынешнем бедственном положении народа Украины, так и во всех обрушившихся на население этой территории бедах в прошлом веке. Объективные данные о колоссальных инвестициях, сделанных в экономику УССР, Новороссии и Малороссии, свидетельствующие том, что в одном государстве с Россией Украина процветала, а в отрыве от неё – бедствовала, неонацистской пропагандой игнорируются.

История, которая сочиняется на наших глазах в новых независимых государствах, имеет чёткую логику. Сочинители призваны легитимировать претензии вновь возникшей правящей верхушки на власть, а также оправдать совершаемые ею преступления против своего народа, включая приватизацию принадлежавшей ему собственности, борьбой за независимость с внешним врагом. В качестве такового назначается нынешняя Российская Федерация, а бывшая единым государством Российская империя объявляется угнетателем, который в доисторические времена силой и коварством поработил уже тогда существовавшую на протосоветском пространстве древнюю нацию, лишив её суверенитета. При всей нелепости этого мифотворчества, не имеющего не только никакого отношения к реальной истории, но и интерпретирующего её с точностью до наоборот, оно закладывается в основу массового образования. Несогласные лишаются работы и подвергаются репрессиям. Через поколение мы повсеместно получаем людей, слепо верящих в эти сказки, включая профессиональных историков и пропагандистов, навязывающих их всему обществу. А через три поколения, когда уйдут в мир иной свидетели советской реальности, эти сказки будут восприниматься как истина в последней инстанции, спор с которой будет заканчиваться изоляцией от общества с получением психиатрического диагноза.

Эта логика исторического мифотворчества носит универсальный характер для всех новых независимых государств, поскольку вытекает из объективной потребности властвующей прослойки, вышедшей из предшествующей государственности, в конституировании своих претензий на власть и оправдании совершенных преступлений в ходе борьбы за неё. Она ярко проявляется не только на постсоветском пространстве, но и в странах, входивших ранее в мировую социалистическую систему, называвшуюся западными геополитиками “восточным блоком”. После распада СССР к власти в них пришли, как правило, бывшие комсомольские функционеры и члены партии, которым для придания законности и благопристойности своих претензий на власть нужно было максимально откеститься от коммунистического прошлого. Самыми яркими антикоммунистами стали возглавлявшие СССР, РСФСР и УССР Горбачёв, Ельцин и Кравчук, подав остальным пример. С такой мотивацией новые руководители быстро встали на путь национализма, разжигая в общественном сознании образ врага в лице правопреемника страны, от которой они откололись. Во всех восточноевропейских странах прошли кампании по деконмунизации, сопровождавшиеся нагнетанием русофобии.

Совершившийся на наших глазах распад Советской империи явно демонстрирует логику фальсификации истории. Произошедшее после этого частичное восстановление исторической правды о Российской империи свидетельствует о масштабах фальсификации её достижений и объективного положения дел советскими историками-пропагандистами, создавшими из неё образ отсталой страны с репрессивным антинародным режимом. Каждый раз после краха имперской государственности история переписывается новой властью с целью очернения предыдущей вплоть до полного уничтожения сведений о её достижениях и фабрикации нереальных отталкивающих образов. Так создаётся миф, легитимизирующий власть новой политической элиты и оправдывающий все совершённые ею преступления в борьбе с прошлой государственно-стью и поддерживавшей её частью общества.

Крах российской и советской империй произошёл относительно недавно, а их достижения и состояние дел зарегистрированы в огромном количестве источников. Множество фактов, отражённых в разных первоисточниках, стереть из исторической памяти невозможно. Поэтому в отношении этих двух последних империй фальсификация ведётся, главным образом, через ложные интерпретации. А в отношении их предшественниц – Ордынской и Византийской империй – первоисточников практически не осталось и фальсифицироваться могут не только оценки тех или иных событий, но и сами факты и даты, к ним относящиеся.

Наряду с Российской империей в результате Первой мировой войны в Европе рухнули ещё Австро-Венгерская и Османская империи. Не вызывает сомнений, что образовавшиеся на их обломках национальные государства придумали собственные древние истории, интерпретирующие их пребывание в составе упомянутых империй как насильственное закабаление и лишение обрётённого до царя Гороха национального суверенитета. Западноевропейские государства обрели его, как известно, в 1648 году в результате Вестфальского мира после Тридцатилетней войны в Европе, завершившей распад Священной Римской империи. Как констатируется в Википедии, “в относительном выражении людские потери Европы в Тридцатилетней войне превосходили все войны прошлого. Основные потери пришлось на мирное население. Экономике региона также был нанесён колоссальный ущерб. Тридцатилетняя война наглядно продемонстрировала цену, которую приходится платить за утверждение монопольного права на историческую истину. Чтобы не допустить подобной катастрофы, участники конгресса согласились отказаться от принципа исторического обоснования права. Стороны отказались от утверждения своей правоты в прошлом как неопровержимого доказательства своей правоты в настоящем, а также от своего исключительного права на знание верного пути в будущее”.

Однако вскоре после этой декларации каждое из вновь образованных государств занялось сочинением собственной истории на расчищенном после краха Священной Римской империи фундаменте. Сам фундамент они укрепили общей древней хронологией, обосновывающей первородство западноевропейской цивилизации, породившей ещё в античное время гражданское право.

Эта история утверждения национального суверенитета западноевропейских государств на обломках Священной Римской империи удивительно схожа с происходящими на наших глазах процессами структурирования постсоветского пространства. На этих же принципах отрицания исторического правопреемства основывался Договор о создании Союза независимых государств, легитимизировавший распад СССР на никогда ранее не существовавшие государства (за исключением России, взявшей на себя правопреемство СССР). Его часто называют бракоразводным процессом, позволившим руководителям союзных республик быстро и без большой крови расчленив бывшую мировую империю на множество новых независимых государств, взаимно признавших суверенитеты и границы. Некоторые из них, правда, до сих пор ведут территориальные споры и даже локальные войны. Но они несравнимы по числу жертв с упомянутой Тридцатилетней войной XVII века в Европе, когда не было международного права и все вопросы претендентам на захват бывшей имперской территории приходилось решать силой. Но что это была за империя, и почему она развалилась?

Прежде чем ответить на этот вопрос и попытаться реконструировать историю до Вестфальского мира, обратимся к вопросам методологии общественных наук. В секуляризованном обществе на них опирается господствующая идеология, претендующая на научно установленную истину. Однако, отражая интересы властвующей элиты, эта идеология не может быть вполне объективной, а роль формирующих её учёных часто сводится к наукообразной интерпретации нужных политическому заказчику догм, которые выдаются за истинное знание.

1.2 Ненаучные парадигмы в общественных науках

Профессиональные учёные-историки не ищут логики в истории, они занимаются систематизацией исторических данных. Однако эта систематизация происходит в рамках определённой парадигмы. В наше время мы видим

принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получивших независимость государств. Получив от идеологов этих государств политическую установку на обоснование древности титульной нации, профессиональные историки разрабатывают эту парадигму, наполняя её соответствующим образом систематизированными фактами и мифами, отбрасывая всё, что ей противоречит.

Существует множество примеров игнорирования исторической наукой фактов, не вписывающихся в устоявшуюся парадигму. Есть немало примеров и сознательного уничтожения артефактов, противоречащих официальной исторической доктрине. Нет оснований полагать, что господствующая в европейской исторической науке парадигма была сфабрикована иначе. Характерная для неё русофобия порождает параллели с нынешним историческим мифотворчеством в новых независимых государствах. Если для обоснования претензий на независимость идеологам украинского государства потребовалось вылепить из России образ врага, поработившего “древних укров”, то логично предположить, что причиной хронической русофобии западноевропейских идеологов является борьба эрбинских племён¹ за национальную независимость от сокрытого историками имперского образования, некогда контролирувавшего территорию их проживания.

В отличие от естественных наук, историческая, экономическая, юридическая и другие общественные науки не пользуются экспериментальными методами проверки гипотез, и практика для них не является критерием истины. В секуляризованном обществе они выполняют роль наукообразной религии, оправдывающей существующий порядок вещей в интересах властвующей элиты. Так, вращающаяся вокруг доктрины рыночного равновесия неоклассическая парадигма в экономической науке является, по сути, наукообразной религией, обосновывающей священное право частной собственности. Отвергая вмешательство государства в экономику как заведомо деструктивное и мешающее “невидимой руке рынка” оптимизировать использование имеющихся ресурсов, эта теория защищает права собственников средств производства произвольно распоряжаться своим капиталом и предписывает государству гарантировать их соблюдение. В своей вульгарной версии монетаризма эта теория выражает интересы собственников денег, по сути, являясь современным наукообразным выражением ветхозаветной веры в золотого тельца. Импортированный из классической механики математический аппарат призван убедить общественное сознание в фундаментальном значении интерпретации распределения общественного продукта в соответствии с предельной производительностью труда и капитала, которая выдается за научное доказательство справедливости и совершенства экономики свободного рынка².

Любая экономическая политика является равнодействующей материальных интересов социальных групп с доминирующим властно-хозяйственным положением. Соответственно, теория, оправдывающая и обосновывающая эту политику, есть не более чем наукообразное отражение этих интересов. Сами учёные, упражняющиеся в комбинировании абстрактных догм, могут даже не осознавать свою роль проводников чьих-то интересов. Но их популярность и признание определяются средствами массовой информации, придворными званиями, наградами, участием в престижных форумах, востребованностью органами власти, назначениями на руководящие посты в правительстве и высшей школе и другими факторами, которыми управляет властвующая элита. Именно соответствие её интересам является критерием продвижения авторов тех или иных “научных” рекомендаций и обосновывающих их теорий. Теории, ставящие под сомнение претензии властвующей элиты на господствующее положение в обществе, как и её право на истину в последней инстанции, не получают пропуска ни в органы власти, ни в общественное сознание, ни в систему массового образования. Они занимают маргинальное положение на обочине мейнстрима экономической мысли, пока не окажутся востребованными контрэлитой, использующей альтернативные прежней догматике научные знания. Совершив, опираясь на эти знания, идейно-властную трансформацию общества³, новая властвующая элита определяет на этой основе соответствующую её интересам идеологию, обоснованием которой занимаются общественные науки.

Так было с торжеством марксизма после победы социалистической революции, который определил господствовавшую до него экономическую теорию

как буржуазную и необъективную, отражающую интересы капиталистов. Однако и сам марксизм быстро выродился в набор догм, оправдывавших реальную практику социалистического строительства в СССР, и моментально выветрился из коридоров власти и престижных залов с крахом последнего. Идеи противники тут же объявили о своей окончательной победе, поторопившись заявить о “конце истории”⁴.

В действительности не произошло не только конца истории, но и прояснения в экономической теории. Сегодня она представляет собой набор формализованных представлений, сведённых в “экономикс”⁵ на основе нереалистичной аксиоматики⁶. И, хотя последняя уже полстолетия подвергается обоснованной критике, фундамент “мейнстрима” западной экономической мысли не меняется уже добрую сотню лет с момента возникновения маржиналистской концепции рыночного равновесия. Над ним надстраиваются всё более изощрённые виртуальные конструкции, оправдывающие претензии крупного капитала на управление мировой экономикой вне зависимости от реальных последствий проводимой в его интересах либеральной глобализации.

От “мейнстрима” экономической науки уже давно не приходится ожидать ни достоверных оценок, ни полезных рекомендаций. Все уже привыкли к тому, что экономические прогнозы по качеству предсказания уступают прогнозам погоды. Успешно практикующие чиновники и бизнесмены руководствуются скорее здравым смыслом, чем “научными рекомендациями”. А те наивные политики в странах с малообразованной властвующей элитой, которые полагаются на наукообразные рекомендации МВФ, ввергают свои страны в социально-экономические катастрофы.

Сказанное выше относится ко всем общественным наукам. В советское время из них сделали синтетическое учение – научный коммунизм, который обязаны были вызубрить все желающие получить диплом о высшем образовании. Смысл этого учения заключался в теоретическом обосновании превосходства построенного в СССР социализма и его исторической необходимости как первой фазы коммунистического общества. Хотя с тех пор новых столь же систематизированных догматических учений в общественном знании не появилось, сегодняшнее состояние общественных наук не слишком приблизилось к объективной реальности. “Мейнстрим” экономической науки заиклен на теории рыночного равновесия, доказывающей правильность сложившейся системы распределения материальных благ. Юридические науки исходят из незыблемости нынешнего государственного устройства. Политические науки импортируют сложившиеся в западной политологии доктрины. Исторические науки продолжают констатировать факты в привычной хронологической шкале. В целом, общественное знание топчется на месте, представляя собой набор мало связанных друг с другом научных дисциплин, занимающихся оправданием существующего порядка вещей. Нас же интересуют закономерности развития общества – не распределение власти и богатства здесь и сейчас, а долгосрочные тенденции воспроизводства и смены исторически существовавших социально-экономических систем.

1.3. Подходы к созданию научной парадигмы в общественном знании

В общественных науках давно назрела революция, которая по своему масштабу будет сопоставимой с революцией в медицинской науке, произошедшей столетие назад. Сегодняшний “мейнстрим” экономической мысли можно сравнить со средневековой медициной, которая лечила все болезни кровопусканием и обосновывала латинской терминологией претензии врачей на тайное знание и высокое вознаграждение вне зависимости от результатов лечения. Нужен переход от патологоанатомических изысканий и наукообразной схоластики к разработке теории развития общества как целостного и постоянно меняющегося организма. В экономических науках сделаны определённые шаги в этом направлении⁷.

Именно процесс развития хозяйственной деятельности, а не обмена её результатами должен стать главным предметом экономической науки. Соответственно должна поменяться и методология. Процесс развития характеризуется усложнением и повышением разнообразия системы. Поэтому, в отличие от теории обмена, которая ориентировалась на поиск состояния равновесия и редукцию от сложного к простому в целях выявления всеобщего эквивалента,

теория развития ориентируется на поиск механизмов поддержания нарастающей сложности в рамках воспроизводящейся целостности. Эволюция живых (в отличие от неорганических) систем имеет неэнтропийный характер, развиваясь по пути усложнения. Поскольку общество является живой системой, главным предметом общественнознания должно стать изучение закономерностей его развития и, соответственно, механизмов его усложнения и удержания целостности и устойчивости в процессе повышения разнообразия хозяйственной деятельности и её результатов.

Определённые шаги в этом направлении были сделаны в рамках *эволюционной экономики*, которая в качестве предмета исследования выбрала изучение механизмов воспроизводства рутинных процессов хозяйственной деятельности⁸. В рамках этой теории были получены нетривиальные результаты, объясняющие некоторые закономерности эволюции экономических систем, включая механизмы генерирования и распространения инноваций. В экономическую науку были привнесены математические методы анализа распространения и конкуренции видов, разработанные в экологии. Получены универсальные математические модели технологических траекторий и научно-производственных циклов⁹.

На этой основе была разработана *теория долгосрочного технико-экономического развития* как процесса последовательной смены жизненных циклов технологических укладов. Были разработаны *модели расширенного воспроизводства экономических систем*, адекватно отражающие процесс их развития¹⁰.

Любая конструкция состоит из элементов, которые, в свою очередь, тоже состоят из элементов и так – вплоть до первоэлемента, поиск которого занимает любую науку. Возможно, эта заикленность на поисках базового элемента является свойством монотеистического религиозного мышления, которое пытается все наблюдаемые явления свести к первопричине – к Богу у священников, к элементарной частице – у физиков, к клетке – у биологов, к товару – у экономистов. Однако в живых системах важны не только и даже не столько элементы, сколько связи между ними. Именно связи содержат информацию, определяющую свойства системы. Когда связи обрываются, система гибнет и начинает разлагаться, в то время как один разрушенный элемент можно заменить другим.

То же самое относится к хозяйственной деятельности. Её орудия и предметы постоянно меняются в процессе производства, которое задаётся соответствующей технологией, определяющей связи между ними и человеком. В организации производства могут присутствовать (увольняться и наниматься) разные люди, входя между собой в отношения, заданные технологией. Поэтому, чтобы разобраться в закономерностях развития общества, необходимо понять процессы изменения и смены технологий.

Хозяйственная деятельность не сводится к производству, она погружена в социальную среду, обитатели которой ведут, организуют, обеспечивают хозяйственную деятельность и используют её результаты в своих интересах. Эта среда состоит из людей, которые вступают во взаимоотношения между собой по поводу хозяйственной деятельности и её результатов. Эти отношения обеспечивают воспроизводство хозяйственной деятельности при постоянных изменениях в составе популяции участвующих в них людей. Сами производственные отношения определяются институтами, удерживаемыми в них людей и задающими формы реализации мотивов их поведения. Поэтому, чтобы разобраться в закономерностях развития экономики, необходимо понять процессы изменения социальных институтов.

Социальные институты регулируют поведение людей в той мере, в какой последние склонны соблюдать задаваемые ими нормы. Эта склонность поддерживается положительными и отрицательными связями между человеком и обществом, причём их действенность определяется соответствием моральных ценностей индивида и господствующей идеологией. Чем выше это соответствие, тем эффективнее работают институты, определяющие производственные отношения. И, наоборот, с ростом доли людей, отвергающих господствующую идеологию, сужается способность институтов поддерживать соответствующие производственные отношения. Поэтому для понимания закономерностей развития экономики необходимо принимать во внимание эволюцию систем ценностей людей во взаимодействии с господствующей в общественном сознании идеологией.

Таким образом, экономическая наука не может игнорировать знания о человеке, общественном сознании и социальных отношениях, накопленные в

смежных гуманитарных дисциплинах. В противном случае она вырождается в нынешний “экономикс” с его убогой интерпретацией главного героя экономического исследования как бездушного экономического агента или homo economicus. Эта интерпретация может иметь смысл для изучения гипотетического частного случая экономической системы, состоящей из индивидуальных сверхрациональных предпринимателей, работающих в условиях свободной конкуренции на хорошо известном рынке с неменяющимся множеством технологий. Как только мы отходим от этого умозрительного случая по любому из перечисленных признаков, все ранее полученные результаты моделирования перестают выполняться, а построенная на них теория перестаёт объяснять поведение экономики и оказывается совершенно непригодной для практических рекомендаций.

То же касается других общественных наук: право не должно игнорировать изменения в экономических интересах, а история – закономерности эволюции форм и способов хозяйственной деятельности. Чтобы понять закономерности развития общества, необходимо рассматривать социальную систему как сложное множество людей с их идеологией, интересами и мотивами поведения, связывающими их производственными отношениями и регулирующими эти отношения институтами, а также средствами и предметами производства, связанными с определёнными технологиями. Эта сложная система состоит из бесчисленного числа элементов и связей между ними, которые постоянно меняются. Её характеризуют принципиальная сложность, которая не позволяет редуцировать все её составляющие к некоторому базовому элементу; нелинейность взаимозависимостей, которые не отражаются линейными функциями; неопределённость состояний, которая затрудняет построение прогнозов и разработку практических рекомендаций.

Исходя из изложенного, центральным вопросом общественных наук должно стать изучение взаимосвязи технологических, институциональных и идеологических изменений. Эти изменения могут не подчиняться универсальным законам, а способы организации и использования результатов хозяйственной деятельности могут сильно отличаться в зависимости от технологического, институционального и идеологического состояния социально-экономической системы. Поэтому пути апологетов вывести какие-либо универсальные экономические законы, инвариантные технологическим, институциональным и идеологическим характеристикам социально-экономической системы, выглядят крайне наивными.

В отличие от биологических систем, эволюционирующих в течение миллионов лет, и экологических систем, стремящихся к гомеостазу, современные социальные системы пребывают в состоянии постоянной изменчивости. В течение короткого времени они могут стремиться к некоторой гипотетической точке равновесия, однако постоянно возникающие нововведения порождают точки бифуркации, меняющие траекторию движения в направлении одного или нескольких аттракторов, которые тоже не достигаются вследствие появления следующих нововведений. Теория синергетики обладает формальным аппаратом для моделирования эволюции сложных систем, но на абстрактном уровне, который позволяет получить качественные знания о свойствах социально-экономического развития¹¹.

Для реалистичных моделей и прогнозов математического инструментария недостаточно – требуются человеко-компьютерные методы разработки различных сценариев поведения экономической системы в зависимости от управляющих воздействий.

1.4. Конфликт математики с историографией

Научная революция в общественных науках будет долгой и “кровавой”. На интеллектуальных полях боя сталкиваются не только разные методологии, но и политические, экономические, национальные, социальные интересы. Подчас эти столкновения напоминают преследования учёных папской инквизицией с уничтожением несогласных с господствующей идеологией. Хотя адепты господствующей идеологии уже не сжигают учёных-диссидентов на кострах, последних изгоняют из академических институтов, предадут анафеме, отказываются публиковать и даже объявляют сумасшедшими.

Характерным примером является попытка общепризнанного в математической науке выдающегося учёного А. Т. Фоменко подвергнуть критике хронологические основы исторической науки. Используя методы математического анализа данных, он вскрыл множество нестыковок и противоречий в общепринятой хронологии, созданной в XVI–XVII веках*. Именно в тот период была заложена господствующая до сих пор в исторической науке парадигма. В его совместной книге с Г. В. Носовским констатируется, что “традиционная хронология в том виде, в каком мы её имеем сейчас, создана и в значительной мере завершена в фундаментальных трудах XIV–XVII веков. Принятая сегодня версия хронологии древности восходит к трудам Иосифа Скалигера (1540–1609), “основоположника современной хронологии как науки”¹², и Дионисия Петавиуса (Петавий) (1583–1652)¹³. Однако, как отмечает Э. Бикерман, “достаточно полного, отвечающего современным требованиям, исследования по древней хронологии не существует”. Он говорит с прискорбием о “хаосе средневековых датировок”. Отсутствие исследований как средневековых, так и современных, где было бы последовательно изложено строгое научное обоснование глобальной хронологии, объясняется не только огромным объёмом материала, нуждающегося в обработке и ревизии, но и объективными трудностями, многократно отмечавшимися разными учёными”¹⁴.

Как отмечается в труде Г. Носовского и А. Фоменко, “к XIX веку суммарный объём хронологического материала разросся... настолько, что вызывал к себе уважение уже хотя бы самим своим существованием, так как хронологи XIX века видели свою задачу только в мелких уточнениях дат”. В XX веке, как отмечается в том же исследовании авторов “Империи...”, вопрос считается в основном уже решённым, и хронология окончательно застыла в той форме, в какой она вышла из писаний Евсевия, Феофила, Августина, Ипполита, Клементя Александрийского, Ашера, Скалигера, Петавиуса... Тем не менее, по мере развития хронологии и освобождения её от давления авторитетов, новые поколения учёных стали обнаруживать серьёзные трудности при согласовании многих летописных данных с версией Скалигера¹⁵.

Далее в книге убедительно показаны поражающее воображение нестыковки и неточности в общепринятой хронологии Древнего мира. Авторы отмечают, что, исходя из разных общепризнанных источников, можно по-разному локализовать события не только во времени, но и географически. В качестве иллюстрации этого типичного для исторических текстов явления они приводят следующий пример. “Сегодня считается, что знаменитый “древний Вавилон” был расположен в современной Месопотамии. Однако некоторые средневековые тексты придерживаются другого мнения. Например, известная “сербская Александрия” помещает Вавилон в Египет; более того, локализует в Египте и смерть Александра Македонского... Датировка на основании письменных источников часто затрудняется так называемыми “средневековыми анахронизмами... Постоянно сталкиваясь с такими средневековыми высказываниями и находясь под давлением скалигеровской хронологии, современные историки абсолютно искренне вынуждены считать, будто в средние века “почти утерялось представление о хронологической последовательности: при похоронах Александра Македонского присутствуют монахи с крестами и кадильницами... Катилина слушает обедню... Орфей является современником Энея, Сарданапал – царём Греции, Юлиан Отступник – папским капелланом. Всё в этом мире приобретает фантастическую (с точки зрения скалигеровской хронологии. – Ред.) окраску... Мирно уживаются самые грубые анахронизмы и самые странные вымыслы”¹⁶.

А. Т. Фоменко убедительно вскрывает недостатки принятых в исторической науке археологического, астрономического, дендрохронологического и радиоуглеродного методов датировки¹⁷. Общий вывод из проведённых исследований А. Фоменко и Г. Носовский формулируют следующим образом: “В результате обширного эксперимента, в ходе которого были обработаны сотни текстов с десятками тысяч имён и сотнями тысяч строк, неожиданно были обнаружены пары эпох, которые в скалигеровской истории считаются независимыми, разными (во всех смыслах), однако, как показали математико-статистические методики, являются сильно зависимыми друг от друга.

* Редакция придерживается иной точки зрения на работы А. Фоменко и Г. Носовского, основывающейся на позиции академической науки.

При этом они имеют чрезвычайно близкие, а иногда практически неотличимые графики своих количественных характеристик. Таким образом, в “учебнике истории” было обнаружено довольно много статистических дубликатов, т.е. пар эпох, близких в такой же мере, в какой близки заведомо зависимые тексты, описывающие один и тот же исторический период¹⁸. . . Итак, “современный учебник” древней и средневековой истории Европы, Средиземноморья, Египта и Ближнего Востока в версии Скалигера–Петавиуса есть слоистая хроника, получившаяся в результате склейки четырёх практически одинаковых более коротких хроник. Три другие хроники получаются из неё передатировкой и переименованием описанных в ней событий. Хроника как жёсткое целое опускается вниз (во времени) примерно на 330, 1050 и 1800 лет. . . Обнаруженные математическими методами дубликаты в истории означают следующее. Известная нам сегодня версия глобальной хронологии неверна ранее XIII века н. э., причём ошибки, содержащиеся в ней, весьма существенны. Для её исправления необходима передатировка некоторых крупных блоков событий, относимых ныне к глубокой древности. Нужно вычленив из современного “учебника истории” строки-хроники и поднять их вверх в соответствии с упоминавшимися сдвигами на 330, 1050 и 1800 лет. При этом содержащаяся в них историческая информация вернётся на своё подлинное место во времени. После такой процедуры укорачивания хронологии известная нам письменная история Европы, Средиземноморья и т. д. сократится. Большинство событий, датируемых сегодня ранее X века н. э., расположится на интервале от X века н. э. до XVII века н. э.”.

К сожалению, профессиональные историки ответили на изыскания А. Т. Фоменко не научным дискурсом, а эмоциональными нападками и даже доносами, обращениями к властям с требованиями запрета публикаций учёного-математика, посмеявшегося подвергнуть сомнению устоявшуюся парадигму. Между тем, новая хронология Фоменко опирается на математические алгоритмы проверки сопоставимости данных и позволяет нащупать реальный ход исторических событий, выявляя подделки и фальсификации. Она позволяет взглянуть на историю не как на причудливое сочетание случайных событий, бесконечных взлётов, падений и топтания на месте различных государств, а как на логически объяснимую картину последовательного усложнения общественного мироустройства. Тем самым становится возможным формирование научной парадигмы в истории и других общественных науках, раскрывающей внутреннюю логику разворачивающегося в мировой истории процесса развития человечества и позволяющей строить прогнозы обозримого будущего.

ГЛАВА 2. Логика социально-экономического развития

Развитие общества как целостной органичной системы должно подчиняться некоторым общим закономерностям эволюции сложных систем, изучением которых занимается кибернетика и синергетика. До сих пор, несмотря на господство системного подхода в современной науке, общественные науки мало используют системный анализ, а также спокойно относятся к обилию не вписывающихся в теорию фактов и взаимоисключающим друг друга концепциям. Им неизвестен эксперимент как доказательство правильности теории, их не смущают провальные результаты рекомендаций, а также несбывшиеся прогнозы. Критерием истины в общественных науках является признание их теоретических изысканий органами власти и коллегами по научной школе, которая часто вырождается в секту единомышленников, обладающих неким квазисакральным знанием.

Для формирования научной парадигмы в общественном сознании нужно опереться на некоторые общие законы, вытекающие из теории эволюции сложных самоорганизующихся систем.

2.1. Общие законы эволюции социальных систем

Исходя из общих представлений о закономерностях развития органических систем, теории синергетики и кибернетики, можно предположить, что в социально-экономическом развитии должны соблюдаться следующие общие законы.

1. Общество развивается от менее сложных к более сложным формам организации социального действия, что сопровождается соответствующим усложнением социальной структуры, накоплением знаний и информации.

2. Не может менее развитое общество подчинить себе более развитое. Речь в данном случае идёт, разумеется, о качественных различиях в уровне развития, которые не могут быть преодолены путём имитации технологических достижений и институтов вследствие принципиальной неспособности людей менее развитого общества к их освоению. Например, жители Америки и Африки в XVI–XVII веках не могли сопротивляться европейцам, которые находились на качественно более высоком уровне развития. Потребовалось три столетия, чтобы они смогли построить свои национальные государства и овладеть способностью к использованию современных технологий. В то же время в странах, связанных между собой производственно-технологической кооперацией и обладающих схожими системами управления и организации производства, различия вполне преодолимы путём переноса и совершенствования технологий и институтов. И между ними постоянно идёт соревнование, в ходе которого менее развитые страны периодически вырываются вперёд, оставляя позади вчерашних лидеров и меняя структуру международного разделения труда. Пользуясь определением мир-системы Валлерстайна, можно утверждать, что на периферии мировой экономико-политической системы периодически вырастают общества, перенимающие лучшие достижения центра и создающие свой центр превосходства. Если при этом старый центр стагнирует или находится в кризисе, а менее развитое общество полно сил и желаний стать развитым, обладая высокой степенью пассионарности, то оно подчиняет себе более развитое общество. Именно поэтому развитие человечества носит не линейный, а спиралевидный или волновой характер.

Более развитые общества, как правило, с пренебрежением относятся к отстающим, будучи уверенными в своём превосходстве. Но если по отношению к обществам, находящимся на качественно низшей ступени развития, это позволительно, то по отношению к периферийным обществам, способным к воспроизводству достижений центра, за это пренебрежение приходится расплачиваться поражением в глобальной конкуренции.

3. Развитие общества – нелинейный, неопределённый и неравновесный процесс, в котором этапы стабильного роста чередуются со структурными кризисами, сопровождающимися войнами и революциями. В процессе таких кризисов происходит ломка сложившейся структуры общества, его кратковременная хаотизация, преодолеваемая становлением новой, более сложной и эффективной системы социально-экономического устройства.

При всей своей очевидности, эти общие закономерности игнорируются исторической наукой. Господствующая парадигма полна противоположных утверждений, допускающих завоевание высокоразвитых государств намного ниже находящимися по уровню организации и техники племенами. К такого рода мифам относятся норманнская теория о призвании для управления на Русь варягов-викингов, а также миф о татаро-монгольском нашествии, призванные навязать русскому народу комплекс исторической неполноценности. Эти мифы дополняются откровенно клеветническими “документами” западных путешественников, рассказывающими о диких нравах и вековой отсталости русских земель. Несмотря на многочисленные опровержения подобных свидетельств, они продолжают кочевать по учебникам истории, закрепляя карикатурный образ исторической России.

В качестве современного примера подобной антинаучной фальсификации очевидной картины мира следует упомянуть упражнения русофобствующих необандеровцев, кличущих современных российских граждан “ватниками” и “награждающих” их подобными эпитетами с целью демонстрации своего превосходства вопреки очевидному интеллектуальному и экономическому упадку современной Украины.

Следует отметить, что многие серьёзные западные историки, чтобы не опускаться до воспроизводства очевидных фальсификаций, вовсе не упоминают Россию в своих исследованиях процессов мирового социально-экономического развития. Огромная территория от Москвы до Чукотки остается до сих пор terra incognita для западных любителей истории, не знающих русского языка. Характерная для общественного мнения стран Запада русофобия и систематическое замалчивание исторических данных о достижениях российской

цивилизации косвенно подтверждает гипотезу Фоменко о существовании Великой империи, от которой на европейских картах XVII века осталась огромная Тартария без указания городов и административных образований.

Попробуем раскрыть логику социально-экономического развития человечества, опираясь на известные закономерности эволюции языка и мышления, смены технологических и мирохозяйственных укладов. Последние раскрывают закономерности долгосрочного развития современной экономики, начиная с промышленной революции и формирования институтов воспроизводства капитала в XVII–XVIII веках. До этого эволюция социально-экономических отношений определялась закономерностями циклического воспроизводства традиционного общества с характерным для него отсутствием ощущения прогресса.

Исходя из сегодняшней картины мира, состоящего из двух сотен национальных государств и их региональных объединений, кажется, что и раньше человечество было разделено на автономные конкурирующие друг с другом социумы. Хотя нынешние государства связаны друг с другом переплетающимися интересами их властвующих элит в отношениях определенной субординации вплоть до формирования однополярного мира, который до недавнего времени был биполярным, считается, что в древности различные социумы могли функционировать независимо друг от друга. Это очевидно в отношении Нового Света, который попал на орбиту европейской цивилизации в результате Великих географических открытий полтысячелетия назад. Это кажется верным в отношении труднодоступных районов тропической Африки или Крайнего Севера. Но большая часть Евразии и Северная Африка в течение всей известной истории человечества была населена взаимодействующими друг с другом социумами, которые не только торговали и воевали друг с другом, но и периодически переселялись и перемешивались. Вплоть до появления Вестфальской системы национальных государств между ними не было строго очерченных границ, не существовало и правовых трансграничных барьеров. В этой подвижной многоликой человеческой среде властно-хозяйственные отношения формировались на основе традиционных механизмов, которые менялись принудительным образом путём насильственных завоеваний. Более организованные и развитые социумы подчиняли себе менее отстающие в развитии производительных сил и хуже организованные разрозненные сообщества близ обитающих людей.

По-видимому, со времён появления первых государственных институтов в Древнем Египте и Месопотамии до образования Вестфальской системы национальных государств в XVII веке социально-экономическое развитие человеческой цивилизации происходило в рамках империй – крупных государственных образований, объединявших различные этнические и социальные группы под единой властью, исповедовавшей общую идеологию и формировавшей единые правила социально-экономических отношений. Империя имела центр, в котором концентрировалась духовная, политическая и военная власть, персонифицированная в образе сакрального царя, а также обширную плохо управляемую периферию, в которой контроль осуществлялся через назначаемых центром наместников. Последние обладали широкими полномочиями и значительной автономией, которая отразилась в дошедшей до нас поговорке: до царя далеко, до Бога высоко, а я вам и царь, и Бог, и воинский начальник. Наместники, как правило, назначались из царской семьи и чувствовали себя вполне уверенно, вступая часто в междоусобные войны, а иногда посягая и на верховную власть.

Империя обеспечивала стабильность бесконечного воспроизводства общинного уклада жизни с разделением общества на устойчивые социальные группы, различающиеся функциональной принадлежностью. Административный аппарат опирался на воинское сословие и духовенство, удерживая в повиновении численно доминирующую и организованную в общины, прикрепленную к земле крестьянскую массу. Раз возникнув, имперская государственность постепенно захватывала всё географически доступное, населённое людьми пространство, опираясь на более высокую организацию производительных сил и концентрацию мощи, недоступную для разрозненных и отстающих в своём развитии социумов. Преимущество первого государственного образования над неорганизованным человеческим пространством было столь очевидным, что трудно предположить одновременное зарождение и сосуществование нескольких

империй. Как правило, в каждый момент времени существовала одна империя, которая могла на какое-то время раскалываться, терять контроль над некоторыми провинциями, изменяться и даже трансформироваться под влиянием внутренних противоречий и внешних вызовов.

Имперское управление в традиционном обществе сильно отличается от современного понимания теории государственного управления. Государственные институты поддерживали рутинные процедуры жизнедеятельности населения и обеспечивали расширение империи, воспроизводясь в почти неизменном виде в течение веков. Вместе с тем, превосходство в уровне организации общества и технике над окружающим человеческим миром обеспечивало империи расширение до естественных географических границ, преодоление которых требовало качественных скачков в численности населения и развитии технологий. Первый вопрос, на который должна дать ответ наука о развитии общества, заключается в объяснении генезиса первых государственных образований, изначально, по-видимому, носивших имперский характер.

2.2. Диалектика развития языка и мышления как необходимое условие возникновения государственных образований

Моментом возникновения человека разумного следует считать появление второй сигнальной системы – языка. Этот процесс, описанный Поршневым в книге “О начале человеческой истории”¹⁹, мог занять длительное время, начиная от первых слов-команд и слов-ответов до членораздельных утверждений. Первобытная человеческая общность, первой создавшая вторую сигнальную систему, получала колоссальное преимущество над остальным проточеловеческим миром. Хотя первобытная речь весьма слабо напоминает современный язык и не даёт оснований для логического мышления, она позволяет людям взаимодействовать более сложным образом по сравнению с гоминидами, руководствующимися инстинктивными и рефлекторными реакциями, интуитивно ощущающими окружающий мир. Становится возможным накопление информации, необходимой для закрепления и воспроизводства усложняющихся коллективных действий, начиная от обустройства жилища и заканчивая расширением среды обитания. Возникают социальные отношения и закрепляются социальные роли, позволяющие первобытному обществу самоорганизовываться в меняющихся ситуациях. Постепенно формируется изученная антропологами родоплеменная структура человеческого общества с характерными для неё иерархическими отношениями, необходимыми для расширенного воспроизводства первобытного социума. Это расширенное воспроизводство шло как естественным путём, так и захватом и подчинением близрасположенных общностей других гоминид. Таким образом, могли создаваться большие протогосударственные образования, в которых господствующее положение занимало племя, впервые освоившее вторую сигнальную систему.

Считается само собой разумеющимся, что первобытные родоплеменные структуры возникли в разных частях планеты независимо друг от друга. В пользу этой точки зрения говорит разнообразие языков, традиций и материальной культуры разных народов, населяющих сегодня планету. Однако структура организации первобытных обществ, изученных антропологами в разных частях света, поражает своим единообразием. Да и характерный для них инкорпорированный строй языка имеет общие особенности мышления, ещё не выделяющего причинно-следственные связи и не отделяющего личность от окружающей среды²⁰. При всём разнообразии языков, в отсутствие письменности они были бедны и подвижны, разбивались не только между племенами, но и между половозрастными группами, плавно переходили друг в друга, образуя языковой континуум. Так что вполне возможно, что однажды возникнув в одном проточеловеческом социуме, речевое взаимодействие затем быстро распространялось среди гоминид посредством как принуждения, так и имитации.

В статье “Размышления о происхождении человечества на Горном Алтае”²¹ автором была высказана гипотеза о закономерностях расселения первобытных людей, исходя из теории происхождения человека Поршнева и данных ДНК-генеалогии Клёсова²². Согласно авторской гипотезе, человек разумный, обладающий второй сигнальной системой (речью), выделяется из популяции гоминид в горах Алтая не далее десяти тысяч лет назад. Опираясь на своё

качественное превосходство в организации коллективных действий благодаря второй сигнальной системе, первобытные люди физически поглощают окружающее проточеловеческое пространство. Насильственно подчиняя себе соседние сообщества гоминид, они формируют племена, которые совершают экспансию по всем географически доступным направлениям. А. Клёсов выделяет две крупные ветви этой первобытной человеческой общности – ариев и эрбинов, которые поглотили всё евразийское пространство к Западу и Югу от Алтая.

Следующий этап в развитии человечества – формирование государственных образований. Ключевой вопрос – определение места и времени возникновения первого государственного образования. Для этого человеческое мышление должно было научиться различать положение людей в обществе, что невозможно без идентификации самой личности человека. Этого не могло произойти в рамках характерного для первобытного общества инкорпорированного языкового строя. Лосев следующим образом определяет его социально-историческое место:

“На этой ступени отсутствует вся мифология, отсутствует различение частей речи, а также ещё нет членов предложения. Отдельные звуковые комплексы, понимаемые нами в настоящее время как слова, вовсе ещё не есть слова с определёнными основами и определёнными оформителями этих основ. Каждое слово можно понимать и как существительное, и как прилагательное, и как глагол, и вообще как любую часть речи. Подлежащее и сказуемое определяются исключительно только местом данного звукового комплекса в предложении. Все предложение, таким образом, является, в сущности, только одним словом.

Отсутствие морфологии указывает на отсутствие в мышлении чётко фиксируемых предметов и чёткого их взаимоотношения. Вещи различаются между собой и имеют определённые контуры только для ощущения, для чувственного восприятия. Для мышления же они являются только размытыми и бесформенными пятнами. Кроме того, поскольку здесь отсутствует различие между основой слова и её оформителями, постольку в мышлении отсутствует различие сущности и явлений. А это значит, что явление здесь не есть только проявление сущности, как это мы думаем в настоящее время, но сама же сущность, то есть оно нумерически тождественно с ней. Из этого же вытекает, что явлениям приписываются здесь все функции сущности, а сущности – все функции явления. А отсюда – необходимость толкования всего происходящего как фантастического, чудесного, волшебного, сказочного, магического, чародейского.

Поскольку, далее, здесь не только отсутствует морфология, но отсутствуют вообще и части речи, мышление оказывается здесь лишённым дифференцированных, логических категорий. Но все категории в слитном и недифференцированном виде присутствуют сразу везде, откуда – основной принцип первобытного мышления “всё во всём”.

Лосев следующим образом характеризует взаимосвязь развития языка, мышления и общества: “В области общественной практики растёт разделение труда, приводящее к гибели всю первобытную собирательно-охотничью экономику и к возникновению производящего хозяйства, основанного на изготовлении или разведении сознательно запланированного продукта, к выделению скотоводства, земледелия и ремесла в виде особых и специфических отраслей. Непроступная крепость стихийных сил природы и общества постепенно расшатывается от их непрерывного штурма человеком и человеческим трудом; и вместо своего слепого, стихийного и всемогущего характера они начинают приобретать более дифференцированный, более понятный и потому легче овладеваемый характер.

Но что же иное может происходить в логике и грамматике? Ведь и здесь единственный путь развития – это дифференциация, происходящая и в логическом суждении, и в грамматическом предложении. Раньше не было морфологии. Ясно, что теперь на очереди развитие морфологии, а вместе с ней – возникновение необходимости различать сущность и явление, что ведёт уже к убыли фантастики и к прогрессу чёткого различения вещей. Раньше не различались части речи. Ясно, что дальнейшее развитие языка и мышления должно было приходиться к установлению этих частей речи, а вместе с тем и к постепенному ослаблению принципа “всё во всём”, который был оплотом

первобытного размытого и расплывающегося мифологического мышления. Раньше не различались члены предложения. Ясно, что теперь очередь за этим различием; а вместе с этим последним расшатывается и вся первобытная оборотническая логика, и мышление постепенно переходит на рельсы более реалистического отражения объективного взаимодействия вещей. Наконец, субъект и предикат выступали раньше только своим местоположением, своей конфигурацией и расположением в предложении. Ясно, что теперь наступила очередь другой, более глубокой и более оформленной оценки субъекта и предиката в суждении и предложении. В результате всего этого слепой и недифференцированный объект, бывший предметом суждения и предложения и фиксируемый в них только как некоторый факт, неизвестно какой и неизвестно чего, начинает дифференцироваться; и в нём начинают выступать те или иные контуры, те или иные смысловые признаки, и выступать не слепо и инстинктивно, а мыслительно, сознательно и выразительно, выступать уже действительно в виде субъекта и предиката в разумно построенных суждениях и предложениях. Таким образом, если в общественной практике ведущая роль принадлежит разделению труда, то в мыслительной практике ведущая роль тоже принадлежит дифференциации мыслительного труда, а также и прогрессирующей раздельности продуктов этого мыслительного труда”.

Исходя из открытой Лосевым взаимозависимости языка и мышления, можно сделать вывод о том, что государственные институты не могут появиться ранее возникновения соответствующего их сложности взаимодействия людей языкового строя, который позволял бы выстраивать иерархические отношения и организовывать сложные виды коллективного действия, начиная от военного дела и заканчивая строительством административных зданий. Это известный в филологии эргативный строй.

Как пишет А. Ф. Лосев, “мы хотели бы выразить существо эргативного строя терминами общеисторического развития. Это общеисторическое развитие явно ещё не выходит здесь за пределы общинно-родовой формации. Ведь где человеческая личность больше всего связана с обществом, как не в эти бесконечные по длительности периоды общинно-родовой формации? Вначале человеческая личность вообще не чувствует себя как таковую. В этом первобытном коллективизме и труд, и средства производства, и орудия производства – всё находится в абсолютном ведении только самой же общины ближайших родственников. Самоощущение человеческой личности является результатом лишь огромного исторического прогресса и является скорее предзнаменованием уже разложения первобытной родовой общины. Но даже когда появились это личное самоощущение, оно всё ещё находилось в полной внутренней зависимости от общины. В результате экономического и технического развития, в результате усложнения потребностей отдельного человека и, вообще говоря, в результате развития производительных сил рано или поздно, но индивидуальный человек начинает уже ощущать себя самого как такового. И, тем не менее, на протяжении весьма длительного периода он всё ещё творит волю своей общины. Он теперь выступает как отдельный индивидуум, но в этом отделении себя от родовой общины он ещё далеко не порывает с ней, отличается от неё, но не отделяется от неё. Наоборот, сначала этот индивидуум, отличающий себя от общины, не имеет ровно никаких мыслей и чувств внеобщинного характера.

Есть все основания думать, что эргативный строй мысли, в котором актив и пассив слиты в одну неразличимость, является отражением как раз таких зрелых периодов общинно-родовой формации, когда вся личная жизнь человека пока ещё определяется интересами общины, почему он и пассивен. Но когда вся эта внутренняя и внешняя жизнь человека переживается им уже как своё личное достояние, как своя интимнейшая потребность, свершается акт свободного произволения. Ясно также и то, что эргативный строй языка и мысли не может претендовать на такую же необъятную универсальность. Это, скорее, конец всей общинно-родовой формации”.

Следует заметить, что в первых известных нам государственных образованиях положение личности целиком определялось его принадлежностью к социальной группе, которые не смешивались между собой. Хорошо известное на примере Индии кастовое устройство общества было, по-видимому, универсальной характеристикой первых государств. Их руководящий слой, включающий царскую семью, жрецов, наместников и военачальников, состоял,

по-видимому, из представителей одного племени, которое в своё время путём принуждения сумело организовать локальные социумы на географически замкнутой территории. Члены этого племени мыслили себя богами, призванными руководить остальными племенами, выполнявшими всю необходимую для жизнеобеспечения общества и государства физическую работу. Представители этих племён безропотно подчинялись установленному порядку, понимая свою принадлежность к рабочему сословию как раз и навсегда предзаданную свыше. Именно такой порядок архаичного общества наблюдали конкистадоры, вторгнувшись в империю инков в Южной Америке. Государствообразующее племя инков, завоевав географически доступную территорию, стало правящим, сформировав политическую, духовную и военную власть империи, распространив свой язык и традиции на всё покорённое пространство.

Как утверждает Лосев, «действие субъекта не могло мыслиться с самого же начала совершенно свободным. Эта свобода и самостоятельность грамматического и логического субъекта были на первых порах так же ограничены, как и свобода самого человеческого индивидуума в тогдашней социально-исторической обстановке. Человек уже начинал чувствовать себя действующим началом, а не просто только пассивным орудием в руках неведомых, непреодолимых и вполне стихийных сил природы и общества. Но человек не мог с самого начала не ставить свои действия в зависимость от этих окружающих его сил. Он и продолжал ставить себя в зависимость от этого; но всё же тут была безусловная новость, а именно его *сознательное* и *намеренное* действие, которого раньше человек в себе не замечал, приписывая всякое своё действие неведомым причинам. Неведомые причины всё ещё оставались, но теперь они детерминировали человека не на пассивность, но на активность; и человек, чувствуя свою зависимость от высших сил, всё же чувствовал в себе одновременно и способность действия. Это и выражено эргативным падежом подлежащего, которое в этих условиях, очевидно, мыслится настолько же действующим, насколько и страдающим. Субъект тут и действует, и является орудием высших сил»²³.

Исторически между инкорпорированным и эргативным строем лежит весьма длительная эпоха прономинального и посессивного языкового строя. Лосев следующим образом характеризует этот переход: «Прономинальный строй, взятый в чистом виде, всё ещё не знает разделения частей речи. Но, несмотря на это, языки, лишённые разделения частей речи, вдруг почему-то начинают вводить лично-местоименные показатели в свои глаголы-имена и тем самым приближать эти слова к глаголам, постепенно вырабатывая в них из этих показателей флексии и вообще спряжения.

Прономинальный и посессивный строй выдвигают новую категорию в языке, или, вернее, две новые категории — *субстанцию* и *принадлежность* ей свойств. Субъект предложения и суждения указывает здесь уже не просто на факт вещи и потому определяется уже не просто своим местом в предложении и суждении, но он обладает показателями его субстанциальности и показателями принадлежности ему свойств, к нему относящихся. Но эти две категории получают тут же и своё, вполне понятное и тоже весьма естественное углубление, становясь показателями *индивидуума*, *личности*.

Если раньше, на ступени инкорпорированного строя, человеческое мышление способно было фиксировать только сам факт существования вещей, а не их постоянные или непостоянные свойства, и соответственно предметный мир представлялся такому мышлению в виде абсолютизированных фактов вещей в условиях сплошной текучести и слепой неразберихи качеств этих вещей (тотемизм и фетишизм), то теперь, на ступени прономинального и посессивного строя, начинает упорядочиваться для человеческого мышления и предметный мир: здесь начинают различаться более или менее постоянные свойства вещей и свойства непостоянные; начинают намечаться различия сущности вещей и их явлений; возникают фетиши с определёнными свойствами вместо прежнего текучего сумбура, и этим фетишам начинает принадлежать нечто определённое. Сами фетиши распределяются по тем или иным родам с более или менее твёрдым кругом собственности, то есть относящихся к ним предметов.

Сама категория субстанции тоже заметно растёт. Сначала она ещё довольно плохо размежевывается с другими субстанциями; и выступавшие

здесь “я”, “ты”, “мы”, “вы” во многих отношениях ещё попросту тождественны со многими другими вещами и лицами, составляющими их ближайшее окружение. Первое “я”, несомненно, ещё чисто коллективно и свидетельствует о всемогуществе рода или племени и о полной подчинённости ему всякого индивидуума, подобно тому, как на стадии инкорпорации человеческий индивидуум тоже зависел от окружающей среды и ощущал себя её несущественным придатком. Язык показывает, что на место этих непреодолимых и стихийных сил природы и общества, по необходимости представляемых в виде тотемов и фетишей, всё больше и больше выступают общественный коллектив, родовая и племенная община, которая и оказывается первым “я”, первой субстанцией, какую открывает человеческое мышление с тем, чтобы в дальнейшем дать место для развития и отдельных индивидуумов, для отдельных “я” и “ты”, для прогрессирующего освобождения личности и личной инициативы”²⁴.

Формирование государственных институтов, регулирующих процесс производства и распределения общественного продукта, требовало понимания возможности и необходимости отчуждения этого продукта от производителя и его распределения между социальными группами. Сами эти группы тоже должны были чётко идентифицироваться людьми. Поэтому до возникновения прономинального строя об этом не могло быть и речи. Таким образом, можно считать, что образование первых государств происходит не ранее возникновения прономинального языкового строя.

Лосев считает, что это стало возможным на целую эпоху позже – после возникновения номинативного языкового строя. Он так описывает “замечательные свойства номинативного предложения. Его субъект, его предикат и его объект выше всяких частностей и случайных свойств, выше действия и страдания. Это понимание субъекта как тождественного с самим собой впервые обеспечивает полную возможность улавливать его среди смутно текущих вещей, определять его существенные признаки и противопоставлять их несущественным признакам и вообще чётко различать в вещах их сущность и их явление и открывать закономерные переходы между этими сущностями и этими явлениями. А вместе с принципом закономерности номинативной мышления впервые оказывается способным открывать и формулировать законы природы и общества, закономерности всей действительности, так что здесь впервые на месте фетишей и демонов мыслятся те или иные закономерности... Номинативный строй языка и мышления с этой точки зрения является величайшей победой человеческого разума над неразумными стихиями и первым реальным шагом к открытию в них закономерности и, следовательно, первым реальным шагом к переделыванию жизни путём использования этих её закономерностей.

Можно и точнее сказать о социально-историческом происхождении номинативного строя. Мы утверждали, что эргативный строй стал возможен только в эпоху производящего хозяйства и не был возможен раньше, когда жизнь ещё продолжала довольствоваться присвоением готового продукта. Язык и мышление номинативного строя, очевидно, отражают дальнейший прогресс производящего хозяйства. И если в них речь заходит о самостоятельности человеческого индивидуума, то, очевидно, в пределах общинно-родовой формации мы должны здесь искать ту эпоху, когда отдельный индивидуум, при всех своих внутренних и внешних связях с общинным коллективом, уже начал играть заметную экономическую роль. В мифологии наступил так называемый *героический век* вместо прежнего, колоссального по своей длительности периода фетишизма и демонологии”.

Как видим, Лосев относит переход от эргативного языкового строя к номинативному к античному времени, связанному в традиционной историографии с древнегреческим государством. Древнегреческий язык эргативного строя стал также первым буквенным языком, открывшим новые возможности обучения грамотности широких слоев населения по сравнению с иероглифическим письмом кастового древнеегипетского общества. С этого момента становится возможной широкая экспансия государствообразующего народа, получившего возможность расширенного воспроизводства чиновников, необходимых для осуществления государственных функций. Это было невозможно в египетском царстве, где только малочисленная каста жрецов владела иероглифической письменностью, что давало ей сакральные основания для управления государством. Буквенная письменность даёт возможность подготовки

необходимого количества грамотных людей для образования Римско-Византийской империи, поглотившей и цивилизовавшей огромную территорию от Европы до Индии, включая Северную Африку.

Считается, что параллельно египетскому царству существовало древнеки-тайское государство, а также протогосударственные образования в Индии, на Среднем и Ближнем Востоке. Даже если предположить, что первые государственные образования появляются на эпоху раньше, в период зарождения эргативного строя, то, с учётом протяжённости предшествующего ему периода прономинального и посессивного языкового строя, эпоха формирования первых государственных институтов составляет несколько тысяч лет. Могли ли в разных частях планеты они сформироваться одновременно? Очевидно, что вероятность такого совпадения близка к нулю.

Гораздо более вероятным является формирование первых государственных образований в Месопотамии и Египте с последующим распространением этой протогосударственной на близлежащие территории и их имитацией в сообщающихся регионах мира. До появления эргативного строя первобытное общество не могло освоить механизм производства, отчуждения и перераспределения продукта по установленным правилам. Оставаясь в рамках прономинального и посессивного языкового строя, люди могли заниматься охотой и собирательством с организованным перераспределением продукта бигменом, выполнявшим функции регулятора воспроизводства родовой общины.

В первобытных отношениях между людьми действовал сугубо психологический механизм, предписывавший каждому делиться необходимым продуктом с каждым²⁵, а избыточный продукт хранился и распределялся бигменом, исходя из социально-психологических законов воспроизводства родовой общины. Механизм производства и распределения материальных благ в первобытном обществе основывался не на рациональном соизмерении предельной производительности факторов производства или затраченного труда, а исключительно на социально-психологических законах, регулирующих поведение не обременённых логическим мышлением людей. В мифологическом сознании античных людей производство и обмен материальных благ регулировались не рациональными соображениями о предельной производительности или цене рабочей силы, а устоявшимися традициями, обеспечивавшими воспроизводство общественного организма.

Наряду с функцией бигмена, замещавшей отсутствующие в первобытном обществе рыночный и административный механизмы, социальная структура родоплеменного общества предусматривала роль вождя, активизировавшегося в периоды межплеменных столкновений, и шамана, выполняющего ритуальные функции. Этого было достаточно для воспроизводства родоплеменной общности, но явно не хватало для формирования государственных институтов. Прорыв, по-видимому, происходит с возникновением эргативного языкового строя в одном из племён, которое получает возможности для организации более сложных видов общественной деятельности. В том числе для сельскохозяйственной, строительной, военной, что даёт ему сокрушительные преимущества в подчинении других племён и освоении географически доступного пространства.

Очевидно, что переход от охоты и собирательства к земледелию был невозможен без появления речи. Причём речи достаточно развитой, предполагающей выделение человека из окружающей среды и возможность деятельного преобразования последней. Эта деятельность предполагает организацию сельскохозяйственного производства, включавшего проведение сезонных работ, обустройство хранилищ, изготовление простых орудий и даже проведение мелиоративных работ с доставкой воды на поля. Организация предполагает иерархию с властно-хозяйственными отношениями. А это, как доказывал Лосев, немислимо до появления эргативного языкового строя.

Вероятность того, что возникновение нового языкового строя могло одновременно произойти в разных частях земного шара, близка к нулю. До сих пор в его некоторых уголках живут народы, использующие инкорпоративный языковой строй, не помышляя ни о земледелии, ни о собственной государственности. Даже проживание на территории современных государств не оказывает заметного воздействия на развитие их языка и образ жизни. Исходя из крайне низкой вероятности совпадения во времени столь эпохальных событий, как возникновение нового языкового строя, возникает гипотеза, что

первое государственное образование и одновременно первая империя возникают в результате завоевания обширного пространства расселения первобытных людей племенем, язык которого относился к эргативному строю.

Другим необходимым условием формирования государственных институтов является письменность. А для имперских государств, объединяющих множество различных этносов, – письменность алфавитного типа. Именно таким был древнегреческий язык, что косвенно доказывает появление первого государственного образования в Восточном Средиземноморье. Сочетая буквенную письменность и эргативный строй, древнегреческий язык стал, по-видимому, ключевым преимуществом владевшего им социума, позволившим покорить и освоить всё доступное пространство, которое известно сегодня как античный мир.

2.3. Логика эволюции социальной организации

Согласно теории происхождения человека Поршнева²⁶, экологической нишей обитания первобытных людей, только овладевающих второй сигнальной системой, были пещеры, из которых они выходили в ночное время для поедания костей павших животных. Занимая в трофической цепи последнее место, первобытные люди не представляли опасности для более сильных животных, свободно перемещаясь среди звериного мира и взаимодействуя с ним на экстрасенсорном уровне. Эта экологическая ниша, была хоть и относительно безопасной, но весьма скудной и ненадёжной, что приводило, как считает Поршнев, к каннибализму и некрофагии.

Вполне вероятно, что распространение первых людей, овладевших речью, происходило путём миграции молодых мужчин, которые использовали превосходство в коммуникации для покорения соседних сообществ гоминид с буквальным поглощением их мужской половины и продолжения рода с оставшимися особями женского пола. Этим объясняется и языковая континуум первобытного языка, который различался между сообществами людей пропорционально расстоянию между ними.

В конце концов, расселение первых людей, овладевших второй сигнальной системой, предположительно, в горах Алтая, по планете должно было привести к поглощению всех гоминид и установлению равновесия, выход за пределы которого стал возможным только с освоением новой экологической ниши – охоты и собирательства. Эта ниша на порядок увеличивала возможности расширенного воспроизводства человеческой популяции, но оставалась весьма ограниченной. Сталкиваясь с экологическими ограничениями, сообщества первобытных людей перешли к прямому столкновению друг с другом, в ходе которых формировались родоплеменные общности, наиболее успешные из которых устанавливали контроль над обширными территориями.

Конкурентоспособность племени определялась уровнем его организации, который зависел от коммуникативных возможностей языка. Он развивался в межплеменных столкновениях, в коллективной борьбе человеческих общностей за выживание. По мере усложнения языка расширялись возможности коллективного действия. Но выйти за пределы охотничье-собирательской экологической ниши с языком инкорпорированного строя было невозможно. Только с очередной революцией в языке и мышлении – освоением эргативного строя – стал возможен прорыв к земледелию и скотоводству. Этот прорыв должен был произойти в условиях высокой концентрации людей, организованных в племя, достигшее естественных пределов своей экспансии. Его дальнейшее расширенное воспроизводство требовало кардинального повышения продуктивности экологической ниши обитания. Исходя из имеющихся археологических данных, в эту нишу входили долина Нила и Месопотамия, где первобытный человек впервые освоил земледелие и организовал первые государственные институты. Едва ли столь длительный по эволюции процесс, как накопление предпосылок для качественного скачка в мышлении и переход к на порядок более совершенному языковому строю, мог произойти одновременно в разных уголках планеты. Скорее племя, первым совершившим языковую революцию и получившее очевидные преимущества в освоении сложных видов деятельности, давало ответвления на соседних географически замкнутых пространствах. Со временем этнические различия между ответвлениями господствующего племени вследствие смешения с местным населением и

эволюцией языка становились достаточно заметными для восприятия их как разных цивилизаций.

В подтверждение этой гипотезы свидетельствуют, например, древнеиндийские сказания о спустившихся с северных гор белых людях, которые подарили им огонь и другие достижения тогдашней цивилизации. Заметим, что, согласно исследованиям Клёсова, брахманы, составлявшие в индийском обществе высшую касту жрецов, являются, в основном, генетическими арийцами.

Согласно гипотезе Клёсова, сформировавшиеся в горах Алтая племена ариев и эрбинов затем мигрировали разными потоками на Запад и Юг, встретившись в Центральной Европе. Возможно, и остальные части возникшей на Алтае проточеловеческой общности, вследствие перенаселения занимавшейся ими экологической ниши, расселились друг от друга в разные стороны, поглощая окружающие их общности гоминид и формируя разные племена, породившие со временем известные нам цивилизации.

Согласно как общепринятой в исторической науке, так и новой хронологии Фоменко²⁷, первые государственные образования, возникнув в Египте и Месопотамии, распространили свой опыт формирования государственных институтов на весь средиземноморский ареал, трансформировавшись в Римско-Византийскую империю. В последующем доминирующей в мире стала Ордынская империя, охватившая почти всю Евразию. Если устройство Русско-Ордынской империи требует прояснения из-за системных фальсификаций, то Древний Египет и Византия представляли собой теократические государства, в которых глава совмещал роли административного, военного и религиозного руководителя. Устройство такого государства соответствовало популярной в советском общественном сознании ссылке на так называемый азиатский тип производства, камуфлировавший маргинальность марксистской теории смены социально-экономических формаций.

Азиатский способ производства доминировал в мире вплоть до появления Вестфальской системы национальных государств после развала Священной Римской империи и Великой смуты в России в XVII веке. Обломки некогда единой мировой империи просуществовавшие ещё два столетия в виде Китайской и Османской империй, не вписывались в европейские представления о развитии человечества и потому были объявлены тупиковыми ветвями социальной эволюции. Их изучением не любили заниматься ни советские, ни европейские историки, руководствующиеся линейной логикой исторического процесса. Первые – историческим материализмом, согласно которому человечество в своём развитии прошло эпохи первобытнообщинного, рабовладельческого, феодального, капиталистического, социалистического строя, чтобы вскоре перейти в коммунистический рай. Вторые – в сущности, расистской концепцией европейской цивилизации, проложившей человечеству дорогу в рай свободы личности и прав человека. Разумеется, обе эти концепции выполняли идеологическую функцию оправдания претензий властвующей элиты европейских государств на мировое господство. Под эту функцию и писалась общепринятая сегодня историческая хронология, и сочинялись интерпретации реальных событий. В этом мифотворчестве была своя логика.

ГЛАВА 3. Логическая реконструкция истории

Раскрывая логику современной интерпретации истории, мы сделаем попытку выявления истинного хода событий, определявших развитие человечества. При этом мы рассмотрим, главным образом, отечественную историю. Это связано с центральным положением нашей страны в Евразии: географически, духовно и политически Россия всегда была важнейшей составляющей евразийских имперских образований. При этом понимать роль России в развитии человечества следует не в смысле русской национальности, которая сформировалась относительно недавно, и не в смысле русской государственности, которая меняла своё содержание, и даже не в смысле православной веры, которая охватывает более широкий ареал. Все эти важнейшие составляющие русской цивилизации складываются в нечто более фундаментальное и до конца пока не понятое явление, имеющее, несомненно, ключевое значение для развития всего человечества. Анализ этого явления начнём с его отрицания европейской историографией.

3.1. Логика европейской интерпретации истории

Европейская интерпретация истории общеизвестна. Её логика заключается в обосновании претензий европейской цивилизации на мировое господство. Согласно ей, европейские нации играли ведущую роль в развитии человечества, обустроивая мировое пространство на основе достижений научно-технического и социального прогресса. В подтверждение этой концепции, в дополнение к очевидным достижениям европейской цивилизации, начиная с первой промышленной революции в конце XVIII века, создана доминирующая сегодня в общественном сознании историография. Она сводится к последовательному глобальному лидерству Древнегреческой и Древнеримской империй в античности, эстафету которых затем переняли Священная Римская, а потом европейские колониальные империи. Эта линейная картина мира призвана убедить человечество в абсолютном превосходстве властвующей элиты европейских наций, преемником которых в настоящее время выступают США.

Идеология навязываемого сегодня Вашингтоном Pax Americana основывается на исторической преемственности США и античного Древнего Рима со всеми промежуточными этапами доминирования европейской цивилизации. Во избежание очевидных противоречий в общепринятой сегодня историографии предали забвению длительные эпохи Византийской и Русско-Ордынской империй, представив последнюю как период варварского разорения обширных пространств Евразии. Вопреки многочисленным фактам, свидетельствующим о её технологическом и социальном превосходстве над европейским захолустьем, западные историки соревновались в лживых сочинениях об отсталости и дикости восточных соседей. Апофеозом исторического мифотворчества стала внедрённая в российскую историографию норманнская теория, согласно которой дикие русичи пригласили управлять собой варяжских князей. Хотя никто в здравом уме не станет добровольно идти под чужое владычество, а скандинавские племена в то время пребывали в диком, по сравнению с урбанизированной Русью, состоянии, эта нелепая доктрина прочно укоренилась в отечественных учебниках и в исторической науке.

На вопрос о генезисе фундаментального отличия западноевропейской государственности от восточной и азиатской нет однозначного ответа. Если правы европейские идеологи, то почему более прогрессивная, с их точки зрения, система институтов Римского права не обеспечила ускоренное развитие экономики Древнего Рима, павшего под натиском варваров? Ведь обеспечила же эта система институтов бурное развитие Западной Европы, начиная с XVI века, и её последующее доминирование в мировой экономике вплоть до XX века. Отсутствие внятного ответа на этот вопрос косвенно подтверждает новую хронологию Фоменко. Скрупулёзные исследования развития капиталистических отношений в средневековой Западной Европе школой Броделя показывают, насколько последовательно и необратимо шёл этот процесс, способствуя росту эффективности экономики. Если бы этот процесс действительно начался в Древнем Риме, то промышленная революция произошла бы на полторы тысячи лет раньше, и сегодня мы бы жили в совершенно другой технико-экономической среде. В античном Риме не могло быть таких предпосылок для становления частнособственнических отношений и гражданского общества, как рациональное мышление и номинативный языковой строй, а также развитая письменность и высокая грамотность населения. Нельзя недооценивать роль книгопечатания в формировании гражданского общества. Если бы в Древнем Риме были эти предпосылки, никакие варвары не могли бы его покорить. Но, как было показано выше, люди в то время ещё не отделяли себя от социума, ощущали себя частью общины, рода и племени, а также имели мифологическую картину мира, управляемого божественными силами. Из этого следует, что Римское право есть порождение скорее средневековой Священной Римской империи, чем Древнего Рима.

Судя по историческим свидетельствам, Священная Римская империя не отличалась ни святостью, ни превосходством в уровне и качестве жизни перед Московским царством вплоть до Великой смуты.

Сегодня мало кто знает, что Москва уже в начале XVII века была крупнейшим мегаполисом Европы, а возможно, и мира. В период Великой смуты за контроль над ней сражалось множество вооружённых отрядов со всех регионов Европы. Однако эти драматические события, ставшие прелюдией

к формированию национальных европейских государств, игнорируются традиционной историографией. Согласно ей, основные события происходили в Западной Европе, в которой после мрачного Средневековья по мановению волшебной палочки профессиональных историков вдруг появились искусство, наука, ремёсла и передовые технологии, а также все современные формы организации общества и институты регулирования воспроизводства экономики.

Действительно, уже с XIII века оформляется относительно самостоятельное развитие западноевропейских городов, которые на Балтийском побережье создают автономно функционирующий Ганзейский союз, а в Средиземноморье города-республики концентрируют финансовые, торговые и интеллектуальные ресурсы того времени. Разграбление Византийской империи крестоносцами многократно увеличивает эти ресурсы, на основе которых формируется банковский капитал. Начиная с эпохи Возрождения в XIV веке, западноевропейские города обретают лидерство в искусстве и науках того времени, задавая тон социальному прогрессу. С конца XV века начинается эпоха великих географических открытий, резко расширившая представления западных европейцев об окружающем мире и своём в ней центральном положении.

Однако происходивший в Европе социально-экономический прогресс не означал самостоятельного развития европейских государств. Их ещё не было, и свои вольности европейские города получали от императорской власти. При этом империя в то время имела весьма рыхлую и размытую систему государственных институтов, не оформленных, как сегодня, в строгих нормах конституционного права. В условиях объективно небольших возможностей центра обеспечивать централизованное руководство, неизбежна была концентрация властно-хозяйственных полномочий в руках наместников. При этом чем обширнее становилась империя, тем больше власти сосредотачивалось на местах.

В раннем Средневековье Западная Европа была периферией Византийской империи, в которой сакральная власть была передана папскому престолу в Риме. Последний, однако, не обладал военной властью, вследствие чего возникла причудливая феодальная форма политических отношений, постоянно разрывавшая привычную в империях иерархию управления. Формула “вассал моего вассала — не мой вассал” блокировала функционирование имперских институтов государственной власти, в разрывах которых появлялись возможности для формирования новых “структур повседневности”, подробно описанных Броделем в монументальном труде о развитии частнособственнических отношений²⁸. Они порождали капиталистические производственные отношения, функционировавшие в порах имперских институтов власти. Вертикаль последней размывалась перманентной коррупцией и внутренними противоречиями между её распавшимися звеньями, а также междоусобными склоками не имеющих чёткой субординации наместников.

При наличии единой вертикали императорской власти европейским городам едва ли удалось бы сформироваться в условиях традиционного общества. В то же время городская ремесленная среда стимулировала развитие языка, который обретает современный номинативный строй. Лосев пишет: “Ясно, что и этот период был возможен только благодаря номинативному строю языка и мышления, требовавшему всюду и везде установления закономерных связей, будь то в мифологии и религии или в позитивном знании, или в политике, или в общественном и культурном строительстве. Номинативный строй впервые в должной мере обеспечил для человеческого мышления искание и нахождение закономерных связей в безбрежных просторах действительности”²⁹.

Без перехода к номинативному языковому строю невозможно объяснить Реформацию, взбудоражившую традиционное европейское общество в XVI веке. Ведь для того, чтобы написать свои тезисы, Мартин Лютер должен был обладать логическим мышлением и собственным пониманием значений содержащихся в Библии положений. Это невозможно сделать, оставаясь в рамках эргативного языкового строя. Именно в этот период творил Скалигер, с именем которого связывают появление общепринятой в современной историографии хронологии. Её фабрикация с большим количеством подлогов и ложных интерпретаций исторических фактов стала возможной только с переходом к номинативному языковому строю. Как пишет Лосев, “его субъект, его предикат и его объект выше всяких частных и случайных свойств, выше действия и страдания. Это понимание субъекта как тождественного с самой собой впервые обеспечивает полную возможность улавливать его среди смутно

текучих вещей, определять его существенные признаки и противопоставлять их несущественным признакам и вообще чётко различать в вещах их сущности и их явление и открывать закономерные переходы между этими сущностями и этими явлениями. А вместе с принципом закономерности номинативной мысли впервые оказывается способным открывать и формулировать законы природы и общества, закономерности всей действительности”.

И, добавим, сочинять эти законы в своих интересах. Овладение номинативным языковым строем позволило его носителям приступить к манипулированию социальными институтами, которые в рамках эргативного языкового строя воспринимались как незыблемые установки высших сил. Носители номинативного языкового строя могли эмансипироваться от сложившихся традиций, этических норм, религиозных представлений, в том числе о божественном происхождении власти и её субъектов. Тем самым они получали сокрушительное психологическое оружие против тех, кто этих традиций и норм придерживался. Последние просто не могли себе представить, что кто-то думает иначе и может лгать и божиться одновременно. Поэтому правители традиционной имперской государственности оказались уязвимы перед коварством сил, заинтересованных в её разрушении.

Значение субъективного фактора в организации Великой смуты в Москве, бывшей в то время столицей самого могущественного в Европе имперского образования, общеизвестно. С тех пор обман и введение в заблуждение вождей, а также манипулирование сознанием масс становятся ключевыми орудиями западноевропейской политики. Её главной целью в то время было разрушение традиционных институтов имперской государственности. Преуспев в развале Священной Римской и Ордынской империй, западноевропейские политики занялись фабрикацией истории в целях манипулирования общественным сознанием. Как подвёл итог этой работы Джордж Оруэлл в 1949 году: “Кто управляет прошлым, тот управляет будущим: кто управляет настоящим, управляет прошлым”.

Конец эпохи традиционных институтов имперской государственности отмечен подписанием Вестфальского мира в 1648 году, по итогам которого религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике. Вестфальский мир знаменует также начало формирования европейских наций. Властвующая элита каждой из них претендовала на первенство, создавая свой язык и свою историческую мифологию, призванную убедить население в своём национальном превосходстве.

Сфабриковав историю в целях обоснования своего превосходства, европейские историки заложили мировоззренческие основы для возникновения расизма и нацизма, повлёкших истребление сотен миллионов людей и приведших человечество на грань самоуничтожения. С большим трудом человечество почти преодолело эти болезни XX века. Но для окончательной победы над ними нужна объективная историография, позволяющая извлекать уроки из совершённых человечеством ошибок и удерживать достижения.

3.2. Восстановление логики российской истории

Российская Федерация является правопреемницей СССР и Российской империи в юридическом и историческом смысле. Этого, однако, недостаточно для формирования созидательного исторического самосознания народа России. Оно остаётся расколотым, что не может не влиять негативным образом на российское общество, в котором никак не угаснут угли гражданской войны. Провозглашённое Конституцией отсутствие государственной идеологии не позволяет дать нравственную оценку деятельности органов государственной власти, которые уже много лет проводят социально-экономическую политику, несовместимую с традиционными для российского социума ценностями правды и справедливости. Граждане России живут в разных мировоззренческих галактиках, разбегающихся друг от друга, что не может не размывать социально-психологический фундамент российской государственности.

Для наведения мостов между социальными группами с разным мировоззрением необходимо общее представление о российской истории. Оно не может держаться на мифах и фальсификациях, даже если они окроплены кровью поверивших в них людей. В рамках настоящей работы невозможно дать даже самое общее представление о достоверности общепринятой трактовки

российской истории. Мы ограничимся только той её частью, к которой приложили руку западные историографы и их российские ученики.

Начнём с **норманнской теории** происхождения древнерусской государственности. Согласно Википедии: “Впервые тезис о происхождении варягов из Швеции выдвинул король Юхан III в дипломатической переписке с Иваном Грозным (но сам Грозный категорически это отрицал, настаивая на происхождении Рюриковичей из потомков императора Августа из германской нации, к которой относились тогда не только немцы, но и балтийские славяне, половцы, венгры и т. д.). Развить мысль о скандинавском происхождении варягов попытался в 1615 году шведский дипломат Пётр Петрей де Ерлезунда в своей книге “*Regin Muschowitici Sciographia*”. Его почин поддержал в 1671 году королевский историограф Юхан Видекинд в “*Thet svenska i Ryssland tijo åhrs krigs historie*”. По мнению В. Меркулова, большое влияние на последующих норманистов оказала “История шведского государства” Олафа Далина. Широкою известность в России норманнская теория получила в 1-й половине XVIII века благодаря деятельности немецких историков в Российской Академии наук Готлиба Зигфрида Байера (1694–1738), позднее – Герарда Фридриха Миллера, Штрубе-де-Пирмонта и Августа Людвига Шлецера.

Против норманнской теории, усмотрев в ней тезис об отсталости славян и их неготовности к образованию государства, активно выступил М. В. Ломоносов, предложив иную, не скандинавскую идентификацию варягов, отчасти совпавшую с неизвестными ему взглядами Ивана Грозного”.

Как констатируют Носовский и Фоменко³⁰, “М. В. Ломоносов, кроме трудов по физике и химии, написал также “Древнюю Российскую Историю от начала Российского народа... до 1054 г.”³¹”; производя славян от Мосха, внука Ноя, и исследуя произведения античных авторов, он доказывает участие славян в “древней” Римской истории. Князь М. М. Щербатов в “Истории Российской с древнейших времён”³², также основываясь на произведениях античных авторов, весьма подробно пишет о войнах скифов-славян-сарматов с “античной” Римской империей... Оказывается, кроме общеизвестных трудов по истории Руси, с которыми знакомы практически все (это труды Карамзина, Ключевского, Соловьёва, Платонова и пр.), есть ряд фундаментальных исследований по русской истории, которые сегодня практически забыты. Кроме уже упомянутых книг М. В. Ломоносова и М. М. Щербатова, к этим исследованиям относятся труды А. Д. Черткова³³, Ф. Воланского³⁴, П. Й. Шафарика³⁵, А. С. Хомякова³⁶ и др.”.

Выше уже говорилось, с какой целью в общественное сознание был внедрён миф о норманском происхождении российской государственности. Внимательное прочтение Русского летописца и Лицевого свода, предшествовавших появлению Повести временных лет, позволяет говорить о фальсификации известного тезиса Повести временных лет о призвании варягов как носителей порядка для создания русской государственности³⁷.

Свидетельства очевидцев об образе жизни и уровне культуры населявших Русскую равнину людей свидетельствуют об их существенном превосходстве над викингами, которые отличались разве что свирепым нравом и первобытной дикостью. В Википедии констатируется, что “викинги – раннесредневековые скандинавские мореходы в VIII–XI вв., совершавшие морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. В основной массе это были племена в стадии разложения родоплеменного строя, жившие на территории современных Швеции, Дании и Норвегии, которых толкало за пределы родных стран перенаселение и голод. Письменная культура народов Скандинавии сформировалась только после прихода христианства, то есть уже на закате эпохи викингов, поэтому большая часть истории викингов не имеет письменных источников. Некоторое представление о жизни викингов дают скандинавские саги, однако подойти к этому источнику следует с осторожностью, ввиду, зачастую, позднейшего времени их составления и записи.

Как правило, в скандинавских хрониках термин “викинг” в его сегодняшнем понимании не использовался и характеризовал скорее социальное явление, когда безземельные бонды (свободные люди, не принадлежавшие к знати) были вынуждены искать лучшей доли за пределами родины”.

Отметим, что в глазах самих скандинавов слово “викинг” также имело отрицательный оттенок. В исландских сагах XIII века викингами называли людей, занятых грабежом и пиратством, необузданных и кровожадных. Комментарии,

как говорится, излишни. Выражаясь современным языком, шайки, состоящие из диких племён, не знавших письменности и не оставивших после себя ничего, зафиксированного историей, объявляются основателями русской государственности, имевшей свою письменность, городское хозяйство, ремесла и организованное войско. Хроника их походов в другой части Европы сводится к набегам и грабёжам европейских городов. Единственной страной, которой приписывают, кроме Руси, норманнское происхождение государственности, является Исландия. Но можно ли сравнить этот пустынный край с Русью, которую сами норманны того времени называли “Гардарикой” – страной городов, отличавшейся от остальной Европы более высоким уровнем организации хозяйства поселений? Обратимся снова к Википедии. “Гардарика – с XII века норманнское название Руси, известное в Северной Европе в Средние века, в том числе, в скандинавских сагах. Термин можно перевести как “страна городов”. Варяги называли “Гардарикой” сначала северные земли, как цепь крепостей вдоль реки Волхов, начиная с Любши и Старой Ладоги, города, расположенные на Верхней Волге и другие земли. В скандинавских сагах Великий Новгород рассматривается в качестве столицы “Гардарики”. Со временем именем “Гардарики” варяги стали называть всю Русь”.

Утверждать, что на порядок более высокая по уровню развития, ведущая оседлый образ жизни в укрепленных поселениях цивилизация могла обратиться к агрессивным и диким племенам с просьбой взять на себя управление, могли только сознательные фальсификаторы истории. Не говоря уже о беспрецедентности добровольного подчинения более развитого социума менее развитому на основе самокритичного абстрактного суждения о собственной несостоятельности.

По-видимому, норманны того времени говорили на примитивном языке инкорпорированного строя. В это время русский язык уже имел номинативный строй. Это означает, что разрыв между уровнем развития мышления норманнов и русских составлял две исторических эпохи длиной в тысячу лет. Норманнская “теория” столь же достоверна, как предположение о том, что современные скандинавы могут обратиться к эскимосам с просьбой взять на себя бремя власти в Норвегии и Швеции на том основании, что порядка в этих государствах не хватает.

Можно ли в здравом уме представить себе, например, ситуацию, при которой Московская городская дума решит призвать на управление городом представителей одного из диких племён с языком инкорпорированного строя? Да и само заключение подобных международных договоров в то время не представляется возможным в принципе. Тем более с викингами, которые, не обладая письменностью, не могли бы даже прочитать гипотетический договор об их призвании на Русь.

Очевидно, что норманнская “теория” происхождения российской государственности является идеологическим мифом, внедрённым в историческую науку привезёнными в Петербург немецкими фальсификаторами истории с целью формирования комплекса национальной неполноценности в российском общественном сознании³⁸. Известно, что эти приезжие историки не знали даже русского языка и произвольно обращались с приносимыми им летописями и артефактами, многие из которых, не вписываясь в “норманнскую теорию”, уничтожались. М. В. Ломоносов выступал против этой фальсификации, прямо обвиняя немецких коллег в русофобском подходе к интерпретации российской истории.

Обратимся к следующему историческому мифу, призванному внедрить в российское общественное сознание комплекс неполноценности, – о **татаро-монгольском иге**. В этой мифологии много несуразностей, начиная с самого сочетания слов в этом наименовании обширной исторической эпохи с 1243 до 1480 года. Во-первых, непонятно, почему татарам приписывается участие в монгольском владычестве, тогда как, согласно официальной версии, татарское племя было монголами уничтожено. Во-вторых, сама возможность захвата дикими монгольскими племенами обширной территории Евразии с укрепленными городами, включая физические возможности тогдашней конницы дойти от монгольских степей до Руси, у специалистов по военному искусству вызывает недоумение. В-третьих, слово “иго” по-китайски означает “одно/единое государство”.

Любопытна и история о появлении понятия “татаро-монгольское иго”. Вот что говорит об этом Википедия. “Термин “иго”, означающий власть Золотой Орды над Русью, в русских летописях не встречается. Он появился на стыке XV–XVI века в польской исторической литературе. Первыми его употребили хронист Ян Длугош (“iugum barbarum”, “iugum servitutis”) в 1479 году и профессор Краковского университета Матвей Меховский в 1517. . . Форму “монголо-татарское иго” употребил первым в 1817 году Христиан Крузе, книга которого “Атлас и таблицы для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народонаселения до наших времён” в середине XIX века была переведена на русский и издана в Петербурге”.

Не правда ли, очень похоже на происхождение норманнской “теории”? Снова иностранные профессиональные историки навешивают ярлыки на целые эпохи, росчерком пера лишая Россию государственности на несколько столетий и записывая многомиллионное население Руси в рабство к диким монгольским завоевателям. “Сама историография Золотой Орды, – писали в 1937 году Б. Греков и А. Якубовский³⁹, – которая ещё не составлена, была бы полезной темой, – настолько поучительны неудачи, связанные с её изучением. . . Никто из них (русских ориенталистов) не писал труда по истории Золотой орды в целом. До сих пор нет такого труда ни в плане научно-исследовательском, ни в научно-популярном”⁴⁰. Известный исследователь монголов В. В. Григорьев, живший в XIX веке, писал: “История Золото-Ордынского Ханства есть одна из наиболее обеднённых временем и обстоятельствами: мало того, что они истребили важнейшие письменные памятники. . . они стерли с лица земли и большую часть следов существования Ханства. Его некогда цветущие и многолюдные города лежат в развалинах. . . а о столице Орды, о знаменитом Сарая, мы не знаем даже наверное, к каким бы развалинам могли бы приурочить его громкое имя. . .”

. . . Далее В. В. Григорьев продолжает: “Самых положительных указаний на эпоху основания Сарая надлежало бы, казалось, ожидать от наших летописей. . . Но летописи наши в настоящем случае зло обманывают ожидания: говоря о хождении князей в Орду, или ко Двору, они не определяют, где находилась Орда. . . выражаются в таких случаях просто: “пойде в Орду”, “прииде из Орды”, не обозначая, где именно находилась Орда”.

И ещё: “Столицей Орды считается город Каракорум. Напомним, что Каракорум считается столицей Чингисхана. При этом, – что хорошо известно, – в тех местах, где археологи до сих пор упорно ищут Каракорум, остатков крупного средневекового города почему-то нет. . .”

Предположить, руководствуясь здравым смыслом, что в малонаселённых монгольских степях могло сформироваться войско, способное завоевать на порядок превосходящие по уровню развития и численности населения государства с хорошо укреплёнными крепостями, а также преодолеть тысячи километров малопроездимой территории, может только сказочник. Это предположение также противоречит как здравому смыслу, так и указанным выше закономерностям логики мировой истории.

Согласно мифологии татаро-монгольского ига, завоеватели уничтожили русские города вместе с населением, остатки которого в глухих лесах должны были сильно одичать и свыкнуться с униженным положением лишённого всяких прав полурабского положения. Выжившие после великого разорения русские князья назначались Великим Ханом для присмотра за местным населением, подобно полицаям на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками советской территории. Они бесконечно грызлись между собой, привлекая карателей из состава монгольских войск для расправы над конкурентами. Более позорную картину разложения русской государственности и падения нравов во властвующей верхушке трудно себе представить. Следует, по-видимому, согласиться с тем, что это не более, чем карикатура на российскую историю, нарисованная во вражеских целях в качестве оружия “мягкой силы”, поражающей общественное сознание.

Вызывает сомнение и чудесное возрождение российской государственности из полной деградации благодаря кропотливому собиранию земель вокруг Москвы. Официальная историография объясняет его коварством и бесчеловечной жестокостью московских князей, которые уничтожали конкурентов при помощи монгольских карателей. Действительно, откуда могло взяться столько мощи у неожиданно возникшего из лесов хутора на окраине Владимиро-Суздальского княжества?

Никак западные историографы и их отечественные последователи не могут даже в мыслях представить, что русское государство способно само организовать оборону и проводить самостоятельную политику. За них эту работу выполняют то дикие викинги, то такие же свирепые и отсталые монголы. Диву даёшься, откуда вообще взялась Российская империя с её сокрушительной мощью и культурным превосходством над весьма умными, по выражению Смердякова из «Братьев Карамазовых» Достоевского, европейскими нациями⁴¹?

Впрочем, и на этот вопрос у западных историков и их отечественных подпевал есть ответ: великое преобразование «лапотной» Руси Петром Первым, который силой навязал туземной элите европейские порядки. Прежде чем перейти к этой эпохе, обратимся к следующему по исторической хронологии ключевому событию российской истории – **Куликовской битве**, которую можно считать единственным собственно русским достижением того времени, если судить по традиционной историографии. На ней победу одержал сплав Русского духа в лице Сергия Радонежского и Русского воинства под предводительством Дмитрия Донского. С этого момента начинается освобождение русского народа от «татаро-монгольского ига», которое продлилось ещё сотню лет.

Однако факторы победы войска Дмитрия Донского над полчищами монголов остаются малопонятными. Известно отсутствие артефактов на «официальном» Куликовском поле. Нет никаких данных, свидетельствующих о преимуществах войска Дмитрия Донского над Мамаевским. Наоборот, по свидетельству исторических источников, профессиональное войско Мамаёя существенно превосходило рать Дмитрия Донского как по численности, так и по профессионализму, собранную наспех из разрозненных отрядов, не имевших общего командования. По всей логике воинского искусства москвичи должны были потерпеть поражение. Однако случилось Мамаёво побоище с истреблением почти всего его войска численностью более 100 тысяч человек. Как такое могло случиться в чистом поле в современной Тульской области, которое географически не могло вместить более десятка тысяч воинов с обеих сторон?

Куда более достоверным выглядит гипотеза Т. Фоменко, согласно которой это сражение произошло в Москве⁴². В доказательство приводятся многочисленные аргументы, начиная от массовых захоронений воинов того времени и заканчивая логикой самого сражения. Ведь если предположить, что татаро-монгольское войско было более мощным по численности, вооружённости и опыту боевых действий, встречать его в чистом поле русским дружинам было равносильно самоубийству. В это время Москва была, выражаясь современными понятиями, укрепрайоном, в котором на «семи холмах» стояли крепости-монастыри, охраняемые монахами, по совместительству являвшимися воинами. И принимать войска Мамаёя, по всей логике воинского искусства, следовало именно в Москве, где вражеская конница теряла свои преимущества маневрирования в лесной и холмистой местности.

О роли московского монашества в Куликовской битве свидетельствует повествование о поединке инока Пересвета с Челубеем, с которого она началась. Похоронен Пересвет вместе с другим иноком-воином – Осляблей – в Москве в Старом Симонове, в чём может до сих пор убедиться каждый желающий. Следует также напомнить, что, согласно церковной историографии, Москва стала столичным городом в 1325 году, когда митрополит Всея Руси Пётр перенёс туда свою кафедру. В течение более полувека, предшествовавшего Куликовской битве, Москва строилась как духовно-оборонительный центр, созданный по замыслу митрополита Петра как сеть монастырей на холмах вокруг Кремля. Активное участие в этой работе принимал игумен земли русской Сергей Радонежский, который, как доказывает школа Фоменко, наряду со своими духовными подвигами, изобрёл порох, применение которого посредством снаряжённых камнями дубовых пушек стало решающим аргументом Мамаёва побоища.

В рамках настоящей статьи нет возможности обсуждения этой гипотезы, которая представляется вполне достоверной, в отличие от монгольского покорения Руси, а также Китая, якобы обладавшего уже за два столетия до монгольского вторжения порохом. Согласно официальной историографии, окончательное избавление Руси от татаро-монгольского ига произошло лишь столетие спустя после Куликовской битвы – в 1480 году в результате Стояния на Угре. А уже чуть более чем через столетие начинается Великая

смута, взорвавшая русскую государственность. Убедительных объяснений логики развития Московского царства в это столетие нет. Его руководители назывались монголами царями, что вызывает когнитивный диссонанс с классическим представлением об их вассальной зависимости от Великого хана.

Не вдаваясь далее в подробности причин более чем столетнего прозябания Руси после Куликовской битвы в зависимости монгольских правителей, перейдём к следующему переломному периоду в российской истории – к **Великой смуте**, – не имеющего в официальной историографии убедительной интерпретации. Согласно последней, Москва легко, практически без сопротивления, сдалась Лжедмитрию I. Затем, после восстановления легитимной царской власти и изнурительной борьбы царских войск с поляками, бояре вновь сдаются последним, провозглашая королевича Владислава русским царем. Лжедмитрий II на волне народного недовольства чуть ли не захватывает столицу, которая окончательно освобождается народным ополчением Минина и Пожарского. Последние, однако, не могут удержать власть, которая в результате интриг новоиспеченного патриарха Филарета переходит к его сыну Михаилу Романову.

На три столетия в России устанавливается правление династии Романовых, которая делает из неё величайшую европейскую империю. Перед тем как перейти к рассмотрению этой эпохи, заметим, что провал только вставшего на ноги Московского царства в хаос Великой смуты, хоть и имеет обширное фактографическое объяснение в формате сочетания вызвавших голод неблагоприятных климатических катаклизмов, а также боярских заговоров и предательств, связанных со снижением авторитета царской власти после пресечения династии Рюриковичей, логически не выглядит достаточно убедительным. Обращает на себя внимание очевидный факт доминирующего западного влияния в разорении русских земель в ходе всей Великой Смуты, включая польскую интервенцию, вовлечение в неё шведов и ливонцев, а также огромного числа бросившихся на разграбление Московского царства вооружённых банд из других регионов Европы.

Согласно общепринятой историографии, после успешного расширения своего царства за счёт сокрушения остатков распавшейся Ордынской государственности на Востоке и Юге, Иван Грозный увяз в изнурительных Ливонских войнах, политических репрессиях и карательных мерах против нелояльных групп во властвующей элите и сепаратистов внутри страны. До этого с XV и до первой четверти XVI веков на огромной территории так называемой Золотой Орды происходили масштабные междоусобные столкновения, повлёкшие за собой, в конечном итоге, её распад.

“Эстафету” распада Золотой Орды приняли европейцы: с 1517 по 1648 год происходит Реформация, сопровождавшаяся восстаниями против господства Римских пап и религиозными войнами по всей территории Европы, вследствие которых перестала существовать единая католическая Европа и Священная Римская империя, распавшаяся на самостоятельные протогосударственные образования. Как указывается в Википедии, “к концу XV века Империя находилась в глубоком кризисе, вызванном несоответствием её институтов требованиям времени, развалом военной и финансовой организации и фактическим освобождением региональных княжеств от власти императора. Вестфальский мир являлся результатом первого современного дипломатического конгресса (собрания). Он положил начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государственного суверенитета”.

Таким образом, согласно официальной историографии, правление Ивана Грозного происходило в завершающий период развала Золотой Орды и в начальный период развала Священной Римской империи. При этом, если с наследством Золотой Орды Иван Грозный расправился относительно легко, удавоив территорию Московского царства, то на Западе ему так и не удалось преодолеть сопротивление объединившихся против него Польши и Литвы. Хотя Великое княжество Литовское, Жемайтское и Русское находилось в тесных сношениях с Московским царством, имело с ним общий язык и веру, объединилось оно с Польским королевством. Речь Посполитая не только стала камнем преткновения экспансии Московского царства на Запад, но и главной угрозой самому его существованию.

Вскоре после смерти Ивана Грозного польская корона организовала поход Лжедмитрия на Москву и фактически её захватила, приведя с собой

вооружённые банды со всей Европы. При этом сношения между московским боярством и польской шляхтой были весьма интенсивными, прямыми и доверительными, включавшими взаимное систематическое вмешательство во внутренние дела друг друга. В этом контексте избрание на царство Михаила Романова, который в период польской оккупации Москвы оставался в городе, а его отец Фёдор Никитич был приближен Лжедмитрием I и возведён в патриархи Лжедмитрием II, могло стать своеобразным компромиссом между руководителями освободившего Москву народного ополчения и перешедшим под власть польской короны московским боярством.

В этой мутной истории перманентных междоусобных войн, продолжавшихся на просторах Европы с середины XV (на Востоке) до середины XVII (на Западе) веков, есть много непонятного и нелогичного. Согласно официальной историографии, первая часть этой эпохи характеризовалась чудесным возвышением Московского царства, которое поглотило значительную часть распавшейся Золотой Орды. А вторая часть, наоборот, чудовищным разорением Московского царства, сначала Опричниной, а затем нашествием вооружённых банд из Польши и других европейских стран. С воцарением Михаила Романова Московское царство быстро возрождается, замирается с Польшей и Швецией и продолжает бурную экспансию на Восток, поглощая остатки Ордынской империи вплоть до Тихого океана. При этом в самой Москве образуется Немецкая слобода, ставшая чуть ли не наиболее многочисленным и процветающим районом города, в котором проживали выходцы из разных европейских государств.

В этой общепринятой историографии много необъяснимых чудес, начиная с неожиданного резкого возвышения Московского царства и заканчивая его столь же неожиданным разорением, а затем снова – быстрым превращением в самое большое в Евразии государство. Прежде чем дать объяснение этим чудесным перевоплощениям, попробуем разобраться с переменами, происходившими в то время в общественном сознании.

Пожалуй, наиболее важным событием того периода следует считать изобретение книгопечатания в середине XV века в Германии. В XVI веке оно распространилось по всей Европе. Реформация была невозможна без массового издания трудов её идеологов, начиная от знаменитых тезисов Мартина Лютера и заканчивая переводом Библии на национальные языки европейских народов с их комментариями и разоблачениями политики римских пап. В процессе перевода Библии на национальные языки европейских народов и её редактирования идеологи Реформации давали свои трактовки богословских догм. Катехизисы Мартина Лютера были широко доступны читающей публике и произвели глубокое впечатление на общественное сознание того времени.

Реформация основательно подорвала легитимность не только папы римского, но и всех носителей власти средневекового общества, доверие к которым было основано на идее божественного происхождения их права повелевать подданными. С пониманием смысла христианских заповедей, уравнивающих всех людей перед Богом и провозглашавших обязательные для всех нравственные ценности, в массовом сознании произошла десакрализация церковных и светских властей и получила распространение идея несправедливости социального устройства. Она овладела умами множества не только образованных, но и простых людей, толкнув их на восстания и религиозные войны. Центральная Европа на столетие погрузилась в хаос, из которого она вышла с новым социальным порядком и принципиально новой системой государственных институтов и производственных отношений. На осколках распавшейся Священной Римской империи возникли независимые государства с собственной системой самоуправления, не нуждавшейся в освящении папским престолом. В городах победившей Реформации началось бурное развитие капитализма и формирование гражданского общества с рационалистическим мировоззрением, отбросившим религиозные догмы и занявшимся преобразованием мира, исходя из собственных интересов, невзирая на вековые традиции.

Московское царство избежало религиозных войн, первосвященники не играли в нём ведущей роли и подвергались репрессиям со стороны царя в случаях несогласия с его политикой. Иван Грозный, не встречая сопротивления, руками временно назначенного преемника относительно легко провёл отчуждение значительной части церковных земель. Спокойное отношение

общественного сознания к религиозным вопросам можно объяснить как относительной удалённостью первосвященников, назначавшихся из Константинополя и не обладавших правом венчания на царство, от светской власти, так и слабым интересом образованной части общества к анализу Библии, переписывавшейся на малопонятном церковнославянском языке. Запоздывание с книгопечатанием оставляло общество без возможности широких дискуссий по мировоззренческим вопросам. Власть царя воспринималась обществом как сакральная, дарованная непосредственно Богом. Сомнения в этом возникли после смерти Ивана Грозного и его законных наследников и избрания на царство Бориса Годунова, кончина которого стала началом Великой смуты.

Официальная интерпретация исторических фактов не учитывает особенности мышления людей, которое существенно менялось с эволюцией языка. Выше уже говорилось о том, что только после появления номинативного строя, характерного для современных языков, мышление людей овладело логикой и рациональным самоощущением. До этого человек не мог ощущать себя самостоятельной личностью и вёл себя согласно сложившейся традиции как неотъемлемая частица своей семьи, социальной группы, религиозной общины, государственного образования. Смена социального положения человека могла произойти только по установленной традицией процедуре, нарушение которой было невозможно. Мировоззрение человека основывалось на вере, освящённой соответствующей религией и не допускавшей отхода от установленных канонов.

Восстания народа или заговоры элиты против власти и установленного порядка при таком типе мировоззрения были исключены. При этом оно не мешало междоусобным или международным войнам, в результате которых могла происходить смена правителей. Но она не вызывала протеста общества, поскольку новый правитель всегда происходил из царствующей семьи и, следовательно, имел сакральное право на занятие престола. Поэтому в среде царствующих особ мы видим, казалось бы, невозможные переплетения их происхождения из числа антагонистических, по мнению официальной истории, государственных образований. Широко известно, в частности, ордынское происхождение многих русских князей и даже царствующих особ, что не вписывается в официальную картину рабского положения русского народа в период «татаро-монгольского ига».

Рабское, в современном понимании, положение народных масс по всему миру также объясняется не их насильственным подчинением, а тем же традиционным мировоззрением, верой в неизменность установленного свыше порядка вещей. Насилие, конечно, имело место, но не во взаимоотношениях власти и народа, а между обладающими сакральными полномочиями членами царской семьи, многочисленные отпрыски которой управляли субгосударственными образованиями той эпохи. Поэтому столкновения между московскими и «татаро-монгольскими» войсками нельзя рассматривать как международные войны. Это скорее было выяснением отношений субординации в иерархии, управлявшей тогдашним мироустройством, скрытым в истории под названием Великая Тартария, покрывавшей, по свидетельству английского посла в России и картографа А. Дженкинсона, в 1562 году почти всю Азию и Восточную Европу⁴³. Пока она была централизована в теократическом государстве, междоусобные войны жёстко подавлялись царской властью. Когда же считающих себя легитимными царей возникало несколько, вооружённое выяснение отношений могло быть длительным и кровопролитным.

Священная Римская империя также была теократическим государством, в котором светская и духовная власть были слиты воедино, о чём свидетельствуют многочисленные карательные экспедиции как самих римских пап, так и поставленных ими на кормление епископов, которые нередко воевали друг с другом «до последнего холопа». Следует всерьёз отнестись к исторической реконструкции А. Фоменко, который доказывает сочлененность Московско-Ордынской и Римской государственности. Развал Римской империи под давлением Реформации дал мощный выброс в сторону Москвы в лице множества переселившихся под руку Ивана Грозного протестантов, ставших играть важную роль в Московском государстве. Освободившись от традиционных «предрассудков», включая веру в сакральность власти, они обрели мощное оружие — способность обманывать царя и его семью, изменять и совершать государственные перевороты, предавать ради денег, — которым искусно пользуются по настоящее время.

Традиционное религиозное сознание неспособно к коварству и обману. Их возможность возникает только с обретением личностью духовной свободы, которая позволяет ей нарушать как Божьи заповеди, так и установленный порядок. Именно это произошло в сознании образованных людей с Реформацией в Европе после того, как книги Мартина Лютера и его последователей вместе с Библией на понятном языке пошли в печать. Освободившись в собственном сознании от необходимости соблюдать установленные порядки, реформаторы подняли народ на борьбу с потерявшими легитимность привилегиями церковных и светских властей.

Если возвышение Московского царства на постордынском пространстве в результате войн с «татаро-монголами» по существу в Великой Тартарии мало что меняло, то религиозные войны в Европе привели населявшие её этнические группы к реальному освобождению от сакральной власти римского папы и образованию национальных государств с принципиально новым социальным устройством. Традиционная сакрализация власти религиозным мировоззрением сменилась на её установление на правовой основе, которая интерпретировалась рационально мыслящей местной элитой, озабоченной своим имущественным положением, как своего рода общественный договор.

Множество носителей этого мировоззрения ринулись на Восток, найдя для себя в Московском царстве приют и обширное поле деятельности. Они взорвали его изнутри, воспользовавшись делигитимизацией царской власти после пресечения династии Рюриковичей и смерти Б. Годунова. Исходя из меркантильных целей разграбления Московии, ставшей, по меньшей мере, после победы при Молодях центром всей Русско-Ордынской империи или Великой Тартарии, хлынувший в Москву из Европы вооружённый сброд привёл к власти вначале польского царевича, а потом, после освобождения Москвы народным ополчением, — Фёдора Романова. О сакральности власти последнего уже не было речи — его выдвижение стало результатом интриг и компромиссов, в которых главную роль сыграл его отец, провозглашённый в лагере Лжедмитрия II патриархом и имевший тесные связи с польскими оккупантами и европейскими авантюристами Филарет. Он и руководил фактически Московским царством, объединяя светскую и духовную власть вплоть до своей кончины в 1633 году.

В наследство от Филарета и своего предшественника второй царь **Романовской династии** — Алексей Михайлович — получил конкуренцию с патриархом за власть, а также огромную территорию от польско-шведской границы до Тихого океана с прочной системой централизованного управления. Хотя он получил прозвище «тишайший» и считался искренне верующим человеком, сакральность его власти была подорвана недавно произошедшей Смутой со сменой нескольких нелегитимных царей, церковным расколом и западными влиянием на умы образованной части общества. Десакрализация власти вылилась в народное восстание С. Разина. Его быстрое распространение в Поволжье и жестокость, с которой оно было подавлено, косвенно свидетельствует в пользу высказанной А. Фоменко гипотезы о наличии ордынского элемента в войсках повстанцев. Так или иначе, власть московского царя уже не казалась народу столь же священной и незыблемой, как раньше. Важнейшей опорой царской власти стала реформированная по европейским образцам армия, а также закрепощение народа посредством Соборного уложения 1649 года путём правового принуждения, а не традиционного порядка.

Царствование Алексея Михайловича закрепило формирование нового общественного порядка, сменившего традиционный, основанный на вере в незыблемость установившихся традиций. Но, в отличие от стран победившей Реформации, этот порядок хоть и строился на рациональной основе, но не имел в основе никакого общественного договора и основывался на авторитарном подчинении всего государственного устройства царской власти. Московское царство фактически унаследовало институты ордынской государственности, заместив их сакральную основу административно-правовым принуждением. По сути, Романовы повторили опыт формирования западноевропейских абсолютных монархий, установившихся на руинах Священной Римской империи. Эти новые властные отношения основывались на рациональном светском мировоззрении, в котором религиозные ценности всё более вытеснялись материальными интересами. Носителями этого мировоззрения были жители Немецкой слободы, из которых рекрутировались многие руководящие кадры на царскую службу.

В то время российское общество в основе своей оставалось традиционным, с религиозным мировоззрением. Народ и значительная часть правящей элиты, включая боярское сословие, сопротивлялись переменам. Новый общественный порядок проявлял свои преимущества больше во внешней экспансии Московского царства, чем в его внутреннем переустройстве. Оно переросло в крупнейшую в мире державу, унаследовавшую ордынские институты централизованной власти, осеменённые родившемся в Европейской Реформации рационалистическим мировоззрением.

Носители традиционного мировоззрения оттеснялись от власти, поскольку не могли противостоять коварству и интригам не обременённых соблюдением религиозных заповедей рационально мыслящих личностей. Последние легко находили общий язык друг с другом, охмуря царя лестью и имитацией преданности, а по сути — манипулируя им в своих интересах. Нарастающее противостояние воспринявшей дух Реформации новой и традиционно мыслящей старой властвующей элиты было разрешено Петровскими реформами.

Как известно, вернувшись из своего Великого посольства в Западную Европу, Пётр I привнёс с собой мировоззрение победившей там Реформации, которое вдохнул в институты ордынской государственности. Царская власть стала опираться исключительно на оформленное в правовых нормах административное принуждение, которому были подчинены и институты Церкви. Народ был окончательно отделён от власти и отлучён от личной правосубъектности посредством полного закрепощения и фактической передачи в личное рабство помещикам. При Петре I крепостная зависимость стала всеобщей: помещики были в крепостной зависимости от царской власти, а крестьяне — от помещиков.

Не вдаваясь в дискуссию относительно личности Петра I, принадлежность которой к романовскому роду может подтвердить только генетическая экспертиза, обратим внимание на логику его революционных преобразований. Начал он их с внешних атрибутов властвующей элиты, повелев вельможам срезать бороды и переодеться в европейские платья, а также ввёл принятый в Европе юлианский календарь вместо действовавшего русско-византийского. На государеву и воинскую службу он призвал множество иностранцев из Северо-Западной Европы, которые стали его надёжной опорой. Модернизировал русский язык, введя в него 4,5 тысячи новых слов, заимствованных из европейских языков. Пригласил западноевропейских учёных в организованную им Академию наук, поручил им формирование российской системы образования. Попытался организовать образование детей властвующей элиты, многих отправил учиться в Европу. Огромными усилиями всей страны была построена новая столица — Санкт-Петербург, затмившая количеством дворцов и роскошью все столицы мира.

По сути, реформы Петра I свелись к абсолютизации власти царя и продолжили преобразования, начатые при его предшественниках из династии Романовых. Эта концентрация власти сопровождалась насаждением внешних атрибутов модернизированной европейской культуры и никак не учитывала произошедшей в странах победившей Реформации социальной революции. Пётр не пытался перенимать ни институты местного самоуправления европейских городов, ни парламентскую форму представительной власти, ни гражданское общество. Наоборот, он сделал крепостничество фундаментом государственной власти и распространил крепостнические отношения личной зависимости на организацию горнорудной промышленности и военных заводов.

Таким образом, три первых царя из династии Романовых использовали институты ордынской государственности для усиления личной власти царя, заменив их традиционный сакральный смысл, легитимизировавший власть в общественном сознании, на административно-правовое принуждение, насаждавшееся жестоко и последовательно. Произошедшее закрепление народа в личную собственность помещиков сопровождалось подчинением Церкви царской бюрократии. Религиозное сознание перестало служить мировоззренческой основой властных отношений. Властвующая элита стала опираться на административно-правовые механизмы управления народом, а последний, по традиции, продолжал подчиняться, оставаясь в рамках религиозного мировоззрения.

Возникший таким образом раскол общества на руководящуюся личными интересами и рационально мыслящую властвующую элиту, с одной

стороны, и отчуждённый от каких-либо личных прав, продолжавший жить по традиции с религиозным мировоззрением народ закрепился не только во внешних атрибутах, но и в языке, и в мышлении, и в общественном сознании. Романовская династия со своими придворными ощущала себя частью европейской элиты, закрывшись от страны во вновь построенной по европейским образцам столице. Использование ордынских институтов царской власти, не ограниченной ни догматами веры, ни местным самоуправлением, ни законодательным собранием, позволяло беспощадно эксплуатировать народ и страну, используя выжимаемые из неё доходы для личного обогащения и удовлетворения амбиций монаршей семьи, стремившейся быть первой в Европе и, как они думали, в мире.

Отказ властвующей элиты от традиционных ценностей и её отгораживание от народа посредством административно-правовых механизмов не могло не сопровождаться постепенной десакарализацией власти в общественном сознании. Вначале она произошла в сознании властвующей элиты, следствием чего стала череда дворцовых переворотов с активным участием иностранных агентов. Постепенно она проникала и в толщу народных масс, смутно ощущавших несправедливость своего угнетённого положения. Через полтора столетия после воцарения Романовых страну потрясла крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва, который объявил себя царем Петром III. Потребовались все военные силы империи, чтобы сокрушить народную войну, в которую оказались вовлечены около миллиона человек. Пугачёвскую армию поддержало практически всё Поволжье, Урал и Западная Сибирь, населённые недавно закрепощённым народом, в том числе особенно активно – башкирскими и татарскими крестьянами, калмыками, казахами, чувашами и другими коренными народностями этого обширного региона.

Лёгкость, с которой казаки Пугачёва подняли огромные народные массы на войну за освобождение от крепостного гнёта и восстановление прежних вольностей, говорит о том, что в 1773 году ещё были живы воспоминания о доромановской эпохе, а также представления о её социально-политической структуре. Возможно, это было последнее соприкосновение сокрытой в общественном сознании и явно представленной в казначеем самоуправлении ордынской государственности, которое было жесточайшим образом подавлено царской армией и бюрократией. Любопытно, что многие губернаторы и военачальники, против которых бились восставшие, были немцами, не пользовавшимися народной любовью. Однако какого-либо иностранного влияния проводившееся по указу Екатерины II следствие так и не выявило.

Таким образом, династия Романовых, выросшая из коллаборационизма с европейскими захватчиками Москвы в Смутное время, не только последовательно насаждала западноевропейские порядки, но и физически подчинила огромную страну европейским интересам, превратив её население в бесправных рабов. Подражая всем европейским атрибутам власти, императорский дом и властвующая элита не торопились, однако, привносить в Россию европейские институты гражданского общества и ценности Просвещения, предпочитая опираться на архаичные ордынские механизмы абсолютной власти.

Следует добавить, что династия Романовых лишь в нашей историографии называется таким образом. Начиная с Петра III, по генеалогическим правилам, императорский род (династия) именовалась Гольштейн-Готторп-Романовской. Последней, русской по генетическому происхождению, царствующей особой была Елизавета, что, однако, никак не сказывалось на легитимности Романовской династии во всё ещё православном общественном сознании. Но сама династия и властвующая элита ощущали себя европейцами, плохо понимая и опасаясь своих подданных. Говорили, по образному выражению Грибоедова, на “смешенье языков французского с нижегородским”, предпочитали больше времени проводить на европейских курортах, чем дома, с пренебрежением относились к полностью зависимым от них крепостным, а также вышедшим из народа купцам и разночинцам.

Романовым потребовалось почти двести лет, чтобы полностью подчинить своей монаршей воле огромную страну. Дважды с перерывом в столетие её сотрясали народные восстания казаков, которые боролись за свои старые права и вольности ордынской эпохи. Последним потрясением стало нашествие Наполеона, после разгрома которого Романовы стали самой могущественной царствующей семьёй в Европе. Парадоксальным образом Наполеон

помог российскому императору упрочить свою власть в Евразии. А российский император благополучно передал плоды победы Великобритании, которая руками русской армии уничтожила своего главного конкурента в Европе. Александру оставили иллюзию устройства монарших семей европейских династий в освобождённой от Наполеона Европе, которая дорого обходилась российской казне, не принося очевидных преимуществ.

Не вдаваясь в конспирологические версии манипулирования Александром I англичанами, отметим некоторые факты, проясняющие логику втягивания объединённой Наполеоном Европы в войну с Россией. Начнём с того, что Наполеон долго и безуспешно пытался породниться с Александром I, сватаясь к его сёстрам. Когда ему это не удалось, его планы не шли дальше принуждения России к союзу ради сокрушения Англии. Наоборот, поведение российского императора, провоцировавшего Наполеона на конфликт, было выгодно только Англии. Вторжение Наполеона сопровождалось предложением заключения мира, которое Александром было проигнорировано. Наполеон, вместо нападения на Петербург, который был куда ближе, ринулся на Москву, рассчитывая на то, что её захват даст ему политические преимущества. И, наконец, самая главная нелепость этой войны – сдача Москвы без боя и её полное сожжение.

Москва и окрестности, где на всех холмах стояли обнесённые каменными стенами монастыри, была мощнейшим укрепрайоном, в котором народное ополчение могло серьёзно укрепить армию, сделав город неприступной крепостью. Вспомним, что совершенно не укреплённый и противостоящий куда более сильной армии Гитлера Сталинград стал для неё камнем преткновения. Не говоря уже о битве под Москвой в конце 1941 года. Если армия Кутузова фактически была равна армии Наполеона, то советская армия под Москвой существенно уступала немецко-фашистским захватчикам как в живой силе, так и в вооружении, а также была рассечена и истекала кровью в устроенных врагом “котлах”.

Рассуждение о том, что Кутузов сдал Москву, чтобы сохранить армию, не выдерживает критики. Во-первых, русская армия в хорошо укреплённом городе, поддерживаемая населением, обеспеченная арсеналом и продовольствием, была в куда лучшем положении, чем стоявшие в чистом поле в окружении враждебного населения французы. Во-вторых, сражение под Бородино не выявило победителя и, с учётом примерного равенства сил, могло быть продолжено до победного конца. В-третьих, с учётом того, насколько тяжело французы преодолевали наспех построенные на Бородинском поле редуты, для захвата хорошо укреплённого города у них просто не хватило бы сил. Многие близлежащие к Москве монастыри и города так и не были ими захвачены. Наконец, находясь в центре густонаселённой области, Москва имела хорошие тылы и коммуникации со страной, что делало её осаду полуразложившейся армией Наполеона в осеннее-зимний период практически безнадёжной.

Очевидно, что сдача и сожжение Москвы были политическим решением Александра I, а не стратегической операцией Кутузова. Последний не мог не дать Бородинского сражения под угрозой бунта в русской армии, отступавшей почти без боев через всю европейскую часть страны. Но оно носило тактический характер и не было судьбоносной битвой за Москву, подобной жертвенному подвигу советского народа в 1941 году. Судя по многим признакам этой странной войны, древнюю столицу приговорили к уничтожению не на совещании в Филях, а ещё до вторжения Наполеона в Россию. И, конечно же, не генерал от инфантерии, а сам император принимал это решение.

Романовым, которые к тому времени уже практически не имели русских корней, Москва казалась чуждым и опасным городом. Они её плохо контролировали. Множество документов, хранившихся в частных архивах старых боярских семей, свидетельствовали об исторических фактах, которые не вписывались в официальную историографию, включая норманнскую теорию и миф о татаро-монгольском иге. Они также могли поставить под сомнение легитимность Романовской династии. Сохранялось множество памятников архитектуры и артефактов, по которым можно было реконструировать события доромановского периода. Москва была живым символом былого ордынского величия, резко отличаясь от Петербурга своим восточным стилем. Со времён стрелецкого восстания она пугала Романовых и их европейских придворных своим загадочным русским духом, который мог бросить им вызов.

Факт сожжения практически всех известных архивов, содержащих, в том числе, оригиналы самых древних русских летописей, не может не вызвать удивления. В том числе погибли архивы, хранившиеся и свезённые в здание Московского университета, где за двухметровыми каменными стенами они были надёжно укрыты от любых пожаров. Кроме сознательных поджогов, которые, по-видимому, и стали причиной их уничтожения. При эвакуации из Москвы имущества об архивах никто не позаботился, хотя, с учётом всего характера кампании, угроза захвата Москвы заранее рассматривалась. Даже с учётом быстроты отвода войск, было время для эвакуации хотя бы самых ценных экземпляров.

Заметим, что у Наполеона не было намерения сжигать Москву. Гибель основного хранилища документов, свидетельствующих о доромановской истории, стала главным историографическим результатом нашествия Наполеона. Москва была самым крупным городом, духовным и политическим центром Ордынского периода отечественной государственности. Её сожжение стало не только символическим завершением этого периода, но и фактическим уничтожением исторической памяти о нём. После этого Российская империя окончательно приобрела европейские черты, доромановская история была очернена мифами о татаро-монгольском иге и призвании варягов, на фоне которых деяния Петра и его потомков приобрели цивилизаторский характер.

Другим, неожиданным для Запада следствием уничтожения исторической памяти о Русь-Ордынской государственности стало формирование русского народа. Подобно другим европейским этническим группам, получившим государственность после освобождения от контроля Папства и установления Вестфальского мира, в русском народе вследствие секуляризации всей системы социально-государственного устройства Петром I и ликвидации крепостничества Александром II, стало пробуждаться национальное самосознание. До этого народ себя ощущал просто православным миром и не имел понятия о национальностях. Даже Пугачёв объявил себя Петром III, не стесняясь его немецкого происхождения. Об этом тогда не думали, поскольку власть царя воспринимали как данную Богом. И даже Наполеона население сначала встречало достаточно мирно с тайными ожиданиями избавления от крепостничества. Народная война с ним затем объединила население, впервые почувствовавшее себя единой нацией, хоть и разделённой жёсткими сословными перегородками.

Сами Романовы после победы над Наполеоном и вхождения в Париж почувствовали себя хозяевами Европы, которой Александр I, по образному выражению современника, управлял из своей кареты. Перемещаясь из одной европейской столицы в другую, он увлечённо занимался реставрацией европейских монархий, взяв на себя функции папы римского в Священной Римской империи. Свою европейскую Империю Александр назвал Священным союзом, объединив европейских монархов на почве борьбы с революционными движениями. В самой России Романовы продолжили политику укрепления своей власти с опорой на армию, дворянское сословие и крепостное право. По сути, они восстановили институты ордынской государственности, распространив свою империю на всю территорию Северной Евразии от Атлантики до Тихого океана. Однако она просуществовала недолго.

Через десятилетие после подписания Священного союза прозападные революционеры ответили империи восстанием декабристов в её столице. Как известно, оно было заранее подготовлено сетью управлявшихся из Лондона и Парижа масонских лож и приурочено к весьма неожиданной реставрации европейской монархии Александра I. Сформировавшиеся в Западной Европе институты национальных государств с представительной властью и судебной системой отторгли попытки реставрации ордынских институтов, которые воспринимались общественным сознанием как реакционные и нелегитимные. Александр I был не в силах преодолеть сопротивление Вестфальской системы, и созданный им Священный союз развалился вскоре после его смерти. А ещё через четверть века вчерашние союзники ответили на консервативную политику Российской империи Крымской войной, после поражения в которой следующий Александр начал переход к гражданскому обществу.

После отмены крепостного права в России началось быстрое формирование рынка труда и капиталистических производственных отношений. Россия втянулась в характерные для них закономерности смены технологических и мирохозяйственных укладов, которые существенно отличаются от многовеко-

вой инерционности воспроизводства традиционного общества с институтами ордынской государственности. Перед тем как перейти к их характеристике, сделаем некоторые выводы.

1. Следует отвергнуть созданные немецкими и польскими историками мифы о призвании варягов управлять Русью и её порабощении татаро-монгольским игом. Эти не подкреплённые явными доказательствами гипотезы не соответствуют множеству фактов и логике исторического процесса. Они созданы с целью внушения комплекса государственной неполноценности и вековой отсталости русскому народу с претензией на его руководство со стороны прогрессивной западноевропейской цивилизации.

2. Исходя из исторической преемственности процесса становления человеческой цивилизации в Евразии, можно предположить, что Ордынская государственность сформировалась как преемник Византийской империи (выросшей, в свою очередь, из древнеимперской государственности в Месопотамии и Египте) с соответствующими институтами и механизмами её воспроизводства. Предстоит выяснить роль Китая в становлении Ордынской империи, многие военачальники и чиновники в которой были этническими китайцами и проводниками китайских представлений о госуправлении. Можно предположить, что Русско-Ордынская империя, интегрировав в себе Византийскую и Китайскую цивилизационные основы, сформировала доминировавшую в тогдешнем мире Евразийскую цивилизацию.

Гипотеза Фоменко о существовании Великой империи, охватывавшей почти всю Евразию с ядром в европейской части России, представляется вполне логичной. Её становление происходило под влиянием прогресса в мышлении властвующей элиты в результате развития языков и письменности. Переход от египетского царства к Византийской империи сопровождался скачком от иероглифического письма к буквенному и древнегреческому языку эргодичного строя. Переход к Русь-Ордынской и Священноримской империям сопровождался скачком к языкам номинативного строя, одним из первых среди них мог оказаться русский.

3. Разрушение империи начинается с Реформации в Европе, вызванной прогрессом в мышлении и общественном сознании в связи с открытием книгопечатания и массовым изданием Евангелий на национальных европейских языках номинативного строя. Осознание личностью своих прав и свобод приводит к десаκραлизации власти римского папы и делегитимизации власти поставленных им епископов и монархов. Это влечёт за собой подрыв традиционных институтов сакральной государственности и формирование гражданской системы социально-экономических отношений, основанной на сознательном нормотворчестве. Формируется римское право, легитимизирующее доминирование частнособственнических отношений в общественно-государственном устройстве и создающее вместе с Реформацией предпосылки для развития капитализма за счёт технического прогресса и просвещения.

4. Рационализация мышления в Западной Европе индуцирует процессы разрушения традиционных институтов ордынской государственности. Произшедшая под европейским влиянием Великая смута привела к установлению власти европейских царствующих особ над русской частью Ордынской империи, которая постепенно распространилась на всю северную и центральную Евразию. Насаждение европейских порядков на большей части Ордынской империи происходило посредством подчинения её институтов обслуживанию интересов европейской властвующей элиты. Борьба за насаждение европейских порядков продолжалась вплоть до уничтожения Москвы в результате вторжения европейских войск под предводительством Наполеона. Сожжение Москвы сопровождалось уничтожением всех архивов и библиотек, хранивших письменные памятники доромановской России и свидетельствовавших об ордынской государственности. Ликвидация исторической памяти позволила мифологизировать российскую и мировую историю в нужном для властвующей западноевропейской элиты ключе.

5. Благодаря победе русских войск над объединившим почти все европейские армии Наполеоном, институты ордынской империи реставрируются во всей Европе и простираются от Атлантики до Тихого океана, а власть сосредотачивается в руках Александра I. Последний использует её в интересах европейских монархических семей, не обращая внимания на интересы народа России, который остаётся в крепостной кабале.

Примечательно, что, в отличие от европейских захватчиков, которые неизменно вели себя в Москве как мародеры и разрушители и во время Великой Смуты, и в период Наполеоновского нашествия, российские войска в Европе вели себя корректно и уважительно по отношению к местному населению. Командантом Парижа, графом Воронцовым, были оплачены даже счета в трактирах, которые остались после ухода российских военных. В этом проявилась имперская традиция ответственности за всех её подданных и обустройство всей её территории, особенно окраин.

Священный союз ненадолго пережил его создателя. Сразу же после смерти Александра I созданная западными агентами сеть масонских лож организовала восстание декабристов, которое могло кончиться очередной Смутой. После его подавления вззошедший на престол Николай I не претендовал на продолжение роли всеевропейского императора и законсервировал действовавшие в России институты власти и организации общества. Тем временем быстро растущее на основе бурного развития промышленности могущество Великобритании вскоре привело к изменению баланса сил и поражению России в Крымской войне.

За период от Наполеоновских войн до Крымской войны Великобритания стала глобальным лидером, а сформировавшиеся в ней институты воспроизводства капитала, организации торговли и хозяйственного управления стали имитироваться в других европейских странах. Крымская война завершила этот период, унизив Российскую империю с роли победителя Наполеона до роли одного из больших европейских государств. После Крымской войны у Британской империи не осталось конкурентов в Европе, а конкурентов в Азии (Индию и Китай) она превратила фактически в свои колонии.

Чтобы не повторить судьбу Ордынской империи, развалившейся вследствие отсталости, Александр II вынужден был пойти на демонтаж крепостного права, открыв дорогу формированию капиталистических отношений и втягиванию России в общеевропейский процесс накопления капитала. Спустя пару десятилетий она вырывается в лидеры по темпам развития экономики, притягивая капиталы и технологии из европейских стран и втягиваясь в вековые циклы накопления капитала, сформировавшиеся до этого в Западной Европе и определявшие к тому времени ритм глобального экономического развития и геополитических процессов.

Российская империя была для Европы донором, экспортируя не только сырьё, но и капитал. А во времена краха имперской государственности, как это было в периоды захвата Византии крестоносцами, Великой смуты, Октябрьской революции и развала СССР, столица империи подвергалась тотальному разграблению с вывозом накопленных за столетия богатств в Европу, которые немало способствовали становлению европейских банкирских домов. Властвующая элита европейских государств строила свои колониальные империи на противоположных началах их разграбления, закабаления и жестокой эксплуатации местного населения, включая прямое насилие, использование наркотиков, торговлю людьми. Логика основанного на вере в Бога традиционного общества сменилась логикой личного обогащения и накопления капитала, которая характеризуется в следующей главе.

(Окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эрбины – вышедшие с алтайских гор одновременно с ариями племена, которые, согласно данным ДНК-генеалогии Клёсова, мигрировали через Кавказ, Ближний Восток и Северную Африку в Западную Европу, где, уничтожив туземное мужское население, осели, образовав этническую основу формирования современных западноевропейских народов.

² Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо. – М.: Экономическая газета, 2011.

³ Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Вилисов М. В., Нетёсова М. С., Пономарёва Е. Г., Сазонова Е. С., Спиридонова В. И. Нравственное государство. От теории к проекту. / Под общ. редакцией Сулакшина С. С. М.: Наука и политика, 2015, 424 с.

⁴ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010.

- ⁵ Под этим термином в данном контексте понимается типичная для большинства современных учебников по экономике система утверждений, основывающихся на интерпретациях рыночного равновесия.
- ⁶ Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВладДар, 1993.
- ⁷ Управление развитием экономики / Курс лекций под ред. С. Ю. Глазьева. – М.: Из-во Московского университета, 2019.
- ⁸ Нельсон Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002.
- ⁹ Грублер А. Инновации и экономический рост. М.: Наука, 2002; Nakicenovic N. Technological Substitution and Long Waves in the USA: The Long Wave Debate. Berlin, 1987. P. 81; Grubler A. The Rise and Fall of Infrastructures // American Economic Review, 1959. No. 49.
- ¹⁰ Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической теории воспроизводства // Вопросы экономики, 2014. № 4.
- ¹¹ Капица С., Курдюмов С., Малинецкий Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: УРСС. 2003.
- ¹² I. Scaliger. Opus novum de emendation temporum. – Lutetae. 1583; Thesaurum temporum. 1606.
- ¹³ D. Petavius. Opus de doctrina temporum divisum in partes duas, etc. – Lutetiae Parisierum, 1627.
- ¹⁴ Г. Носовский, А. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. – М.: Изд-во “Факториал”, 1999. 752 с.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ А. Фоменко. Глобальная хронология. Исследование по истории древнего мира и средних веков. Математические методы анализа источников. – М.: изд-во механико-математического факультета МГУ, 1993.
- ¹⁸ Г. Носовский, А. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. – М.: Изд-во “Факториал”, 1999. 752 с.
- ¹⁹ Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). – М.: Мысль, Главная редакция социально-экономической литературы, 1974.
- ²⁰ Лосев А. Ф. Знак, символ и миф. М.: Изд-во Московского государственного университета, 1982.
- ²¹ Глазьев С. Ю. Размышления о происхождении человечества на Горном Алтае. – Экономические стратегии. 2017. № 6. С. 118–125.
- ²² Клёсов А. А. Ваша ДНК-генеалогия. М.: Концептуал, 2016.
- ²³ А. Ф. Лосев. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. Изд. МГУ, 1982. С. 280–407.
- ²⁴ Там же.
- ²⁵ Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
- ²⁶ Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). – М.: Мысль, Главная редакция социально-экономической литературы, 1974.
- ²⁷ А. Фоменко. Глобальная хронология. Исследование по истории древнего мира и средних веков. Математические методы анализа источников. – М.: Изд-во механико-математического факультета МГУ, 1993.
- ²⁸ Fernand Braudel. Les structures du quotidien (т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное). – М.: Прогресс. – Т. 1, 1986. 624 с.
- ²⁹ Лосев А. Ф. Знак, символ и миф. М.: Изд-во Московского государственного университета, 1982.
- ³⁰ Г. Носовский, А. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. – М.: Изд-во “Факториал”, 1999. 752 с.
- ³¹ М. В. Ломоносов. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого Князя Ярослава Первого или до 1054 года (Оригинал: Древняя российская история отъ начала российскаго народа до кончины Великаго

- Князя Ярослава Первого или до 1054 года). — СПб: Изд-во Императорской Академии Наук. — 1766. — 126 с.
- ³² Щербатов М. М. История российская с древнейших времён (в 7 томах). — СПб: Императорская Академия Наук, 1770. — 398 с.
- ³³ А. Д. Чертков. О Белобережье и семи островах, на которых, по словам Димешки, жили руссы-разбойники. 1845.
- ³⁴ Фаддей (Тадеуш) Воланский. Письма о славянских древностях // Собрание первое. 1846. Собрание второе. 1847.
- ³⁵ Pavel Jozef Šafárik. Geschichte Der Slawischen Sprache Und Literatur: Nach Allen Mundarten. — Mit Kön. Ung. Universitäts-Schriften, 1826. — 544 с.
- ³⁶ Полное собрание сочинений А. С. Хомякова (Изд. 3-е, дополненное). — М.: Университетская типография. 1900.
- ³⁷ Русский летописец [1649 г.]; Лицевой летописный свод (Лицевой летописный свод Ивана Грозного, Царь-книга) — летописный свод событий мировой и особенно русской истории, создан, вероятно, в 1568–1576 годах специально для царской библиотеки в единственном экземпляре. Слово “лицевой” в названии Свода означает иллюстрированный, с изображением “в лицах”. Состоит из 10 томов, содержащих около 10 тысяч листов тряпичной бумаги, украшенных более чем 16 тысячами миниатюр. Охватывает период “от сотворения мира” до 1567 года.
- ³⁸ Ярко этот сюжет описан в замечательной киноленте М. Прошкина “Михайло Ломоносов”, 1986.
- ³⁹ Б. Греков, А. Якубовский. Золотая Орда и её падение. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 505 с.
- ⁴⁰ Г. Носовский, А. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. — М.: Изд-во “Факториал”, 1999. 752 с.
- ⁴¹ В диалоге с Марьей Кондратьевной Смердяков сказал буквально следующее: “... В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки”.
- ⁴² Г. Носовский, А. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. — М.: Изд-во “Факториал”, 1999. 752 с.
- ⁴³ Толстой Ю. В. Первые сорок лет сношения России с Англией. 1553–1593. — СПб: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1875. 563 с.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

СТОНЫ СТРАНЫ

Большой распил

Я уже рассказывал, как в Бурятии у бедных людей массово выпиливают батареи из домов и квартир “за долги”. Даже в мороз, там, где живут дети и старики. По беспределу, вопреки закону. В Улан-Удэ, по последним подсчётам, лишили тепла более 4000 жилищ. Большой распил.

Сейчас чиновники сдали назад.

Как пишет местная пресса, “помогло вмешательство депутата Госдумы Сергея Шаргунова, после чего полиция мигом завела уголовное дело в отношении недобросовестных сотрудников ТГК-14 по фактам незаконного демонтажа батарей”. В эти дни суды вынужденно признают очевидное и начали списывать незаконно начисленную с 2016 года плату с владельцев квартир, где были “демонтированы” те самые “радиаторы отопления”.

Но этого же мало.

Повторимся: по закону нельзя лишать человека воды и тепла. А те, кто нарушил закон и издевается над людьми, должны быть наказаны. Чего и добиваюсь.

В России нищих – десятки миллионов, более половины семей с детьми находятся за чертой бедности. И что, их всех лишить обогрева?..

А каковы резоны для молодых людей заводить семьи, если такая безнадёга и по самым незащищённым безжалостно бьют?

Записки молодого отца, избранные места из материнского чата – то, что последнее время оказалось у меня в редакционном портфеле. Своего рода героизм – в нашей провинции стать родителем. Этим людям уже не до роскоши социальных лифтов, верните им хоть батареи.

Безмолвные пассажиры

Когда Юрия Витальевича Мамлеева называли “писателем чернухи”, он говорил, что сюжеты берёт из повседневности.

Мои запросы и заметки – тоже из будничного потока людских историй.

Жалобы бывают разные.

Бывают и такие жалобы.

Скорбно, дико, но вообще, какие тут комментарии уместны? Уместно только голое изложение обстоятельств. И запрос, который я направил губернатору Кемеровской области.

Жители посёлка Сураново, отрезанные от большой земли, вынуждены везти умерших в морг на освидетельствование в общественном транспорте.

На положенное освидетельствование тела доставляют либо в отдельном вагоне электрички, либо даже в общем, вместе с другими пассажирами. А всё из-за того, что участок автомобильной дороги, связывающий посёлок с городом Тайга, летом размыт дождями, а зимой заметён снегом.

Слово самим жителям: “скорая помощь” и пожарные приехать к нам не могут. Медпункта и аптеки у нас нет. Если кому-то стало плохо, мы в буквальном смысле сидим и молимся о том, чтобы человек не умер до того, как придёт ближайшая электричка. Это единственный транспорт, который у нас есть. А если кто-то умирает, то тело нужно везти в морг в Анжеро-Судженск”.

Люди всё ещё надеются на нормальную дорогу, которую им обещали. Ждут её уже вечность. А пока борются, знаете, за какое право? Право возить своих мертвецов в общих вагонах.

“Нам помогает участковый, приезжает, забирает усопшего, сопровождает тело на электричке, а теперь приходится заказывать мотрису (самоходный железнодорожный вагон) через администрацию. Этот вагон идёт в наше село минимум сутки. А ведь потом всё нужно повторить, чтобы вернуть покойного домой и похоронить по-человечески”.

Таковых, отрезанных, великое множество. До них никому нет дела. А они не знают, как себя защитить.

Закрытый город – закрытая школа?

Та Россия, которая должна быть видна и слышна.

Передо мной – письмо из военного городка Вольск-18 Саратовской области. Там хотят закрыть единственную школу. “Контингент учащихся – дети военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ (400 человек)”.

Серьёзное место. Здесь – мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты. Войска повышенной боеготовности, которые обеспечивают защиту от аварий на опасных объектах и предприятиях. Поблизости – химический завод.

Школа находится в ведении Минобороны, куда я в первую очередь и обратился из-за этого письма.

По словам родителей, авторов письма, в июне они произвели ремонт классов и коридоров, вложив немалые средства. А ещё “в школе отремонтировали кровлю, заменили систему отопления, произвели замену оконных блоков и входных дверей. А уж какой ремонт произведён в столовой! Установлено новейшее оборудование, закуплена посуда. Наконец-то наши дети стали получать полноценное горячее питание. Детское и родительское счастье длилось недолго. Как гром среди ясного неба: школу закрывают”.

Да, пишут родители, здание не самое новое, но переводят их детей в помещения, состояние которых гораздо хуже. Почему?

Очевидно, по той причине, что “оптимизация” слепа. Всюду одно и то же – подписать приказ о ликвидации, не считаясь и не разговаривая с людьми, и развести руками: денег нет...

“Крыши там текут, полы проваливаются, нет туалетов, нет пожарной сигнализации и прочих положенных по СанПиН мер безопасности. Нет коридоров, куда дети могли бы выйти подвигаться на перемену, нет гардероба, нет условий для организации питания, зимой холодно. Неужели только у родителей об этом должна болеть душа, а не у должностных лиц, которым мы доверяем жизнь и здоровье наших детей?”

И из того же письма: “Мы намерены идти на крайние меры. Для нас обучение, воспитание, жизнь и здоровье наших детей – самое главное! А о каком здоровье может идти речь, если уроки второй смены будут заканчиваться в 8 часов вечера?”

История, с которой надо разбираться.

А моя обязанность – привлекать к подобным историям максимальное внимание и сделать всё, чтобы помочь.

Прощай, пепелище?

Оказывается, репортаж может иметь немедленный эффект. А Следственный комитет, случается, возбуждает дело.

Не успел я в своей телепрограмме “Двенадцать” рассказать о горе погорельцев подмосковного города Подольска (об этом же рассказывалось в статье в “Русском Доме” № 8-2019) и показать их – всё стронулось с мёртвой точки.

“И. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Подольска (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Также он поручил организовать служебную проверку в отношении сотрудников следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области”.

Официальное обоснование – “в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в городе Подольске нарушаются жилищные права граждан”.

Вообще-то, по всей стране они нарушаются и попираются, что я и показал в том самом сюжете и по поводу чего непрестанно рассылал депутатские запросы. Но если удастся решить конкретную задачу, помочь несчастным подольским погорельцам и дать им достойное жильё – это будет большая победа.

Уже сейчас погорельцев стремительно начали вызывать в СК “в качестве потерпевших”. Тех, кто всё ещё обитает в недогоревшем страшном доме, обещано в кратчайшие сроки расселить в новостройки.

Что ж, надо дожимать.

Хочется верить, что следующий репортаж об этих людях выйдет уже скоро – с их новоселья. И пусть будет это новое жильё хоть каким-то утешением после всего того, что они испытали.

Привлечь за футболки

Мэр города Кунгур (Пермский край) пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов.

А я вынужден обратиться в прокуратуру по поводу действий тамошних властей.

Поводом для мэрской жалобы стали футболки с надписями “отстоимшколукунгур”, “ШколуДляДетейОВЗ” и “ДаешьЗданиеШколеВцентре”, в которых родители пришли на городской фестиваль “Небесная ярмарка”. Это родители, которые несут свои кресты, – воспитывают страждущих детей. Вот они и надели эти футболки. Не согласны с упразднением школы.

А мэр полагает, что надевшие такие футболки провели публичное несанкционированное мероприятие и тем нарушили закон “О собраниях, митингах, демонстрациях”. Мало лишить детей школы, надо ещё и родителей привлечь за эти футболки...

Я позвонил в мэрию Кунгура, где мне сообщили, что заявление будет отозвано.

Ладно. Боятся скандала. А как быть со школой?

В ветхом здании учились 150 школьников с первого по девятый классы.

Они просят построить им новую школу – для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). Но больных запикивают теперь в школу обычную, где им будет трудно и непривычно, где над ними, скорее всего, начнут издеваться, и находится эта школа на окраине.

Сотни людей требуют начать строительство школы для детей с ограниченными возможностями. А им в ответ угрожают...

В Пермском крае тем временем коса оптимизации посвистывает лихо. Всего в 2018-м “объединили” 47 школ и 165 детских садов. В 2019-м, говорят, их уничтожено ещё больше.

Поставили на счётчик

Для кого-то – пустяк. Для кого-то повод для ироничного недоумения: надо ли таким заниматься?

Ко мне обратилась Наталья Болотова из станицы Урухской Ставропольского края с просьбой защитить её 68-летнюю маму Валентину Викторовну

Лобанову от беззакония районной газовой службы. “Маме трудно, она одна, я проживаю отдельно и в основное время езжу работать на вахту, так как в городе нет работы. Моей матери незаконно начислили задолженность за газ около 25 000 рублей”.

Они пытались жаловаться, но все от них отмахивались, мол, смешно обращать внимание на такие мелочи. Разве это деньги? Разве это проблема? У нас каждый второй подозревает, что его обсчитывают. Паранойя, не иначе.

Похоже, подозревают не зря. Люди считают каждую копейку, а над ними издеваются, обкрадывая.

Я решил всё-таки отправить депутатский запрос напрямую в Прокуратуру. И вот сегодня из Прокуратуры пришёл ответ.

“Проведена проверка установленного у Лобановой В. В. прибора учёта газа. Обнаружено, что Филиалом ООО “Газпром межрегионгаз Ставрополь” незаконно начислена Лобановой В. В. задолженность за газ. Произведён перерасчёт объёма потреблённого газа и задолженность аннулирована. Заместителем прокурора руководителю Филиала внесено представление. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле”.

Есть большая вероятность, что у пожилой женщины специально повредили счётчик, чтобы накрутить больше показателей.

А если бы не реакция Прокуратуры, которая обязана отвечать на депутатский запрос? Так бы и мыкались Болотова-дочь и Лобанова-мать...

Исход

Будучи в Бурятии, вновь я посетил Новую Брянь Заиграевского района. Старинное русское поселение, основанное старообрядцами.

Руины завода на колоссальном пространстве. Отечественный Акрополь. И таковых немало у нас.

В 1959 году возник Новобрянский головной завод, где ремонтировали тракторы, автомобили, агрегаты, производили тракторные прицепы, транспортёры, кузова для автомашин. Продукция завода поставлялась в 16 стран. Потом всё стало кончатся и уже в нулевые кончилось совсем.

Жившие вокруг этого завода люди покинули свои дома. Целыми семьями. Целыми этажами. Целым кварталом.

Мёртвый центр посёлка. Главная вымершая улица словно в насмешку называется Школьная. Но никто отсюда не пошёл в школу 1 сентября.

Как будто взорвали радиоактивную бомбу.

Здесь были качели, теннисные корты, беседки, бил фонтан. Нынче ничего – только бурьян. Некоторые квартиры с заколоченными и даже заложеными кирпичами окнами, чтоб не влезали, не поганили семейную память. Чья-то надежда однажды вернуться.

А потом встретил на дороге среди гор и степей женщину с хворостиной и коровой – бывшая работница завода, квартира брошена навсегда, никому не нужная. Хоть домик, по счастью, был в деревне, вот и спасается Вера Иннокентьевна натуральным хозяйством... Муж, заводчанин, ставший крестьянином, недавно умер.

Скоро покажу в своей телепрограмме репортаж о судьбах наших людей, которых встретил в эти дни на азиатском приграничье страны, в Туве и в Бурятии. И о судьбах тех, чей исход уже случился.

Пневмония

Несколько дней подряд в Улан-Удэ у меня на приёме были родители малenьких детей – умерших.

В основном от пневмонии.

Больно разговаривать с этими людьми, плачущими, протягивающими снимки и телефоны с фотографиями, где радостные малыши, а потом холмики в цветах.

Таково трагическое состояние медицины, когда больных крошек отказываются вовремя госпитализировать, в больницах – разруха, нехватка элементарных препаратов и техники, а врачи плохо подготовлены и оглушены бедностью.

За несколько месяцев таких осиротевших родителей в одном городе и его окрестностях объединилось больше сорока человек.

Дети продолжают гибнуть, но никто не привлечён к уголовной ответственности.

Одна из жертв – четырёхмесячный Захар Котенко, которого приняли с диагнозом “бронхит”, лечили не тем и не так, а теперь переписывают историю его болезни, вырывая и вклеивая страницы. Он впал в кому и из-за неисправного “матраса с подогревом” в реанимации получил страшные, до кости, ожоги.

Буду добиваться честного расследования.

Перечёркнутые люди

С началом нового учебного года в школах начались уроки. В Пятилетке, деревне, что в Иглинском районе Башкортостана, детей разлучают с родителями и увозят в школу-интернат в село Ауструм.

Каждый год плачут и те, и другие.

Дети покидают родные дома, потому что в Пятилетке закрыта школа. Там теперь мерзость запустения. На полу валяются портреты Ломоносова и Лобачевского, в кабинете биологии – разбитые колбы, в библиотеке – ненужные груды книг. . .

– Моя Зента Васильевна мимо школы не может пройти спокойно. Всегда плачет! Она работала здесь учительницей начальных классов, – рассказывает местный житель Михаил Семёнович Дудчик. – Приехали из администрации сельсовета Ауструма, все компьютеры в классе информатики вырвали с корнем и увезли.

Приехать в Пятилетку и уехать из неё непросто. Надо остановить автомобиль и долго, несколько километров идти пешком. А ещё деревню Пятилетку с, так сказать, “цивилизацией” связывает только шаткий деревянный мосток.

Нормальный мост погиб осенью 2015 – случилось половодье, вода потом замёрзла, а во время оттепели льдом и скопившимися деревьями его разорвало на части и унесло вниз по течению. Жители вот уже четыре года практически отрезаны от мира – путь им преградила река Сим.

Как питаются? Чтобы единственный магазин не закрылся, надо перебираться на большую землю и затем по подвесному мостику несколько человек таскают картонные ящики с продуктами.

Зимой совсем страшно. Дороги даже в деревне нет. Ходят все по тропкам. Больных несут до моста и по нему на носилках или везут на телеге, на лошади.

Вот письмо местной жительницы: “В Пятилетку нет возможности подъехать ни скорой медицинской помощи, ни пожарным. В этом году был лесной пожар, люди бежали с подручными инструментами – лопатами, ведрами. Я сама выросла в Пятилетке и училась в школе, которая на данный момент превратилась в грудку макулатуры и отвалившихся стен. А ведь несколько лет назад там работала педагогом моя старшая сестра, и смотреть, что творится на моей родине, – это ужасно, честно, сердце кровью обливается. Когда закрыли школу, сестре с детьми (матери-одиночке) пришлось ехать куда глаза глядят. Затем наводнением унесло мост, деревня вообще на глазах начала умирать”.

Говорят, денег нет.

Есть деньги.

Но есть ещё равнодушие “знати” к “маленьким людям”, которых считают терпилами.

В 2017 году после повторного обращения в правительство региона Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному строительству выделил администрации Иглинского района 8 миллионов рублей с указанием – на строительство моста.

Где деньги и где мост?

“За последние девять лет в Башкортостане сократилось 356 образовательных учреждений на селе, при том что контингент обучающихся вырос почти на 48 тысяч человек”, – констатировал недавно министр образования Республики.

И такое перечёркивание людей по всей России.

Детские очереди

Великий Новгород. Ул. Державина, 1. Областная детская клиническая больница.

Некоторое время назад получил отчаянное письмо. “Нет никого. Выгнали специалистов! План операций сорван. Зачем будят в людях ярость?”

В больнице была проведена так называемая реорганизация. Врачей, получающих копейки, попытались заставить работать без сна и отдыха, не повышая им зарплату, а когда те стали возражать – выставили вон.

Именно так: ввели новый график работы и дополнительные круглосуточные дежурства. При этом штат не увеличили, зарплату тоже, а вся дополнительная нагрузка легла на немногочисленный, и без того замученный и нищий коллектив врачей.

Несогласных поувольняли вместе с заведующим отделением.

В результате – огромные очереди на плановые операции, родители маленьких пациентов собрались с протестом против увольнения врачей у главного входа больницы.

Больница вообще в тяжком состоянии – так сообщили мне авторы письма.

Я направил запрос в Прокуратуру. По закону она обязана провести проверку.

И вот пришёл ответ.

Заведующего уже удалось восстановить на работе.

В ближайшее время другие врачи должны добиться справедливости в суде – хочется верить, всё получится. Продолжу следить за их борьбой и помогать им.

А теперь о проверке самой больницы.

В ней одной установлено “150 случаев несоблюдения сроков ожидания оказания специализированной помощи, которые не должны превышать 30 календарных дней со дня направления на госпитализацию”. А ещё обнаружено “ненадлежащее оборудование палаты пробуждения, отсутствие необходимых для выполнения работ по анестезиологии и реаниматологии медицинских изделий, необеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами врачей-оториноларингологов”.

Что дальше?

“По данным фактам заместителю губернатора Новгородской области внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства”. Достаточно? Нет. Но это наконец-то реакция.

Если в больнице не будет наведён порядок, виновных ждёт ответственность. Например, уволят теперь уже тех, кто увольнял.

Ведь речь не только о труде медиков, но и о жизни и здоровье детей.

Издательство над врачами, детьми и родителями должно быть немедленно прекращено.

Обмен, а не обман

Имена и судьбы заключённых на Украине, которые чувствуют себя брошенными и забытыми

“Обмен” – повесть Юрия Трифонова о весьма печальных обстоятельствах и о герое, который пытается уклониться от участия в происходящем.

От участия в разрешении нынешней беды тоже уклоняются многие. Эта тема, прямо скажем, не самая популярная.

Спрашиваю у одного из обмененных, вернувшегося из украинской тюрьмы на родину: что у тебя здесь осталось? “Ничего, никого, пусто, квартира продана”. – “Что дали?” – “Ничего. Сказали: ноги есть, руки есть, сам ищи работу, снимай комнату”.

И так, похоже, у всех.

Никакой поддержки. Почему? Конечно, из-за патологической начальственной чёрствости.

Но гораздо важнее – вырваться на свободу. Вырвать.

Эта статья – часть борьбы за людей, которые ощущают себя забытыми. Их надо побыстрее освободить. А если не побыстрее, тяжёлая их неволя может затянуться ещё на годы.

Долгожданный обмен, состоявшийся между Россией и Украиной, по-прежнему широко обсуждается. Потому что возникла надежда на завершение смертоубийства. А ещё теперь каждый день из разных источников всплывает информация о возможности нового обмена.

Круто, что освобождён Кирилл Вышинский. А вот другие, за кого боролись и кто не настолько на слуху.

Евгений Мефёдов. В 2012-м приехал из Москвы в Одессу к любимой девушке. Из дома профсоюзов 2 мая 2014-го в ожогах попал в реанимацию и затем за решётку. Повод – найденный при нём российский паспорт. С тех пор он, выживший, непрерывно сидел. Его освобождали суды за отсутствием состава преступления, но обратно запикивала в клетку ярая толпа.

Мы переписывались, я говорил о Евгении везде, где мог, и теперь мы встретились в центре Москвы.

– Сколько вы отсидели в общей сложности?

– 5 лет, три месяца и сколько-то там дней, я не считал.

– Я так понимаю, вас несколько раз освобождали, но...

– Если быть точнее, то семь.

– Семь раз освобождали?

– Да. Но, естественно, сразу же закрывали обратно националистические группировки. Моей единственной виной был российский паспорт. Который до сих пор не вернули. Он остался там, у СБУшников... То есть меня отдали сюда, на родину, без документов. Я считаю, что всех надо оттуда вытаскивать. Всех абсолютно.

Ещё одна моя встреча с **Игорем Кимаковским**, университетским педагогом из Питера. Приехал на Донбасс, в Дебальцево с гуманитарной помощью и понял, что должен помогать этой земле постоянно.

– Я понял всю трагедию этого города. Это разрушенная 6-я школа, в которую попал “Ураган”... И я в конце урока задаю вопрос: “Ребята, а кто был под обстрелами?” Практически сто процентов ребят подняли руки вверх. После этого я и остался...

Однажды навигатор завёл его на украинский блок-пост. Дальше – арест и истязания.

– Да было всё. И били, и пытки, и пакет на голове, и вода, и электричество, ну, было всё. Сломался, честно, на воде. Когда начали проливать воду, такое ощущение складывалось, что у меня лёгкие лопаются. Раз в полгода у меня бывают приступы: я не могу дышать, то есть ночью просыпаюсь и дышать не могу. В тюрьме я познакомился с выдающимся человеком. Это отец Никон. Его взяли тоже по нашей статье только за то, что он отпел ополченцев. Так получилось, что я находился в подвалах СБУ, когда его пытали. И он после всего этого вышел с добрым лицом, с улыбкой и сказал: “Братья, здравствуйте! С праздником вас!” Незримая его поддержка была всегда рядом с нами.

– А всех политических пытали?

– Ну, скажем так: в 14, 15, 16 году всех. Кто мы были: преподаватели, врачи, водители, шахтёры, инженеры... Мы пели “День Победы”, и это слышал весь Бахмут. Все вместе...

– Вся тюрьма слышала?

– Вся тюрьма слышала. Мы вышли гулять в одно время, находились в это время в разных дворах, и синхронно начали петь песню, и насколько я знаю, её слышали даже за пределами тюрьмы. Победа – это когда у тебя появилась какая-то ниточка новая с Родиной, с другом, с родными, с детьми. Вот Родина – когда о тебе думают, о тебе не забывают. У меня в субботу у сына была присяга. Он у меня стал в этом году кремлёвским курсантом. А второй сын у меня тоже растёт защитником Отечества, он учится в суворовском Санкт-Петербургском училище. Я, когда вышел из самолёта, нашёл берёзу и просто прикоснулся к ней руками.

Для меня личной трагедией стала судьба **Руслана Гаджиева**, нашего парня, добровольца... В бою он из наших ребят остался один живым. Он был в первоначальных списках на этот обмен. И я бился за него до последнего момента, и даже для себя рассматривал возможность остаться вместе с ним, то есть вернуться назад в тюрьму буквально до вылета. Он сейчас в очень подавленном состоянии, но мне удалось ему уже передать привет. Для меня важно, чтобы все наши ребята, которые остались, были дома в этом году.

Такой разговор.

Здорово, что состоялся обмен. Но какво слышать ликующие вопли: “Ура! Все узники свободны!” — тем, кто в неволе? Заметьте, о них помнят и беспокоятся освобождённые.

Сколько народу в застенках в результате гражданской войны?

Говорят о тысячах. Точны ли такие цифры? Не уверен.

Иногда создается впечатление, что кому-то удобно отмахнуться: “Да ну, их там тысячи”, — чтобы не считать и не помогать. Или: “Да ладно, новых похватают”... В любом случае, надо собирать информацию про каждого и всех спасать. Чувствую это прямой своей обязанностью.

Вопрос жизни человека — освобождение 85-летнего харьковского учёного и преподавателя **Мехти Феофановича Логунова**, осуждённого на 12 лет будто бы за организацию “вооружённого подполья”. Старика-интеллигента подвергли пыткам и издевательствам.

Публициста, тоже из Харькова, **Игоря Джадана** в отместку за его причастность к “Русской весне” похитили и избили до полусмерти. В состоянии комы Игоря удерживали в больнице под чужим именем, три недели скрывали от родных, прежде чем официально взять под стражу.

Томится в лагере с огромным сроком **Лариса Чубарова**, координатор медицинской службы харьковского Антимайдана.

Недавно прочитал страшное, пропитанное болью письмо из заточения арестованной в Днепре **Дарьи Мاستикашевой**, чемпионки по восточным единоборствам, которую арестовали как “агента Москвы”. Её часами душили пакетом и избивали до потери сознания.

По-прежнему сидят люди в Одессе, выжившие 2 мая на Куликовом Поле и потом объявленные диверсантами-подпольщиками.

Отец и сын **Руслан** и **Владислав Долгошеи**, **Николай Селятенко**, **Олег Мазур** провели в тюрьме уже больше 4 лет. Других их сотоварищей осудили на большие сроки. Так, **Константин Калашников** получил 13 лет. Ещё одна группа: **Екатерина Фотьева**, **Александр Шевцов**, **Игорь Удовенко**, **Евгений Подмазко**.

Много имён? Чересчур много? Важно, что эти имена звучат. Написаны чёрным по белому. Должны звучать постоянно и должны быть в списках на обмен.

Больше 4 лет пребывает в темнице уроженец Одессы **Николай Казанский**, просто ходивший на русские митинги и взятый вместе с единомышленниками. Брат актрисы **Нонны Гришаевой**, которой воспрещён приезд в родной город.

— Он был арестован в июне 15-го, то есть уже 4 года, — рассказывает мне Нонна. — Сидит без суда. Суд всё время откладывается. Их пытали. И пакеты на головы надевали, и били. Пытались таким образом выбить показания. Просто необходимо достучаться — был хороший фильм “Достучаться до небес”, вспомнилось почему-то — достучаться до людей, которые действительно могут помочь в этом вопросе, чтобы наших мальчиков, наших ребят вытащить оттуда... Надо бороться за своих.

И о донбасских пленных. Написала мне одна из близких одного из заключённых.

“Несколько дорогих мне людей обрели свободу и вернулись к своим семьям. Спасибо. Но вернулись не все. Очень прошу — помогите оставшимся. Со своей стороны, передаю список граждан Российской Федерации, которых предполагалось освободить ещё во время обмена 2017 года и так и не состоявшихся последующих этапов. Все эти люди должны быть освобождены без всяких условий, поскольку были верифицированы и утверждены ещё тогда”.

И приложен список из ополченцев с подробными биографиями. Всем железные приговоры — минимум по 13 лет.

Годами ждёт обмена **Олег Даронин**, доброволец из Нижневартовска, попавший в плен на Луганщине и обитающий в Городищенской колонии под Ровно.

А есть ещё юный **Сергей Петров**, тоже доброволец. Его похитили, обкололи психотропными веществами, сейчас он тяжело болен, находится в заключении в районе Житомира. Родных у него нет, и хлопотать за него некому.

Пишу это, и ловлю себя на том, что — чего уж там! — слишком многим всё по барабану. Отдельная мучительная судьба пленного тонет в потоке новостей,

меркнет, растворяясь в колоссальном списке убитых и изувеченных. И даже моё сопереживание отдельно взятому страдальцу может показаться бессильным и нелепым, а значит, невзаправдашним, юродским, что ли.

А ведь эти люди достойны внимания, сострадания, заботы, тепла со стороны России.

Для миллионов именно такие люди (по убеждению сердец) – лидеры “русского мира”.

Мы живём во времена бутафории. В то время, когда пафосные осуждения войн, зверств и лицемерия минувшего века кажутся всё более наигранными. Допустим, и в ином масштабе, хотя, как знать, мы малодушно миримся с войнами и изуверствами, ложью и унижением человека. Одна жестокость легко опровергается примером другой жестокости, и становится как бы не бывшей, отменённой, и так в итоге оправдывается любая подлость. И тогда белый свет застилает равнодушие, иногда подкрашенное злорадством, мол, поломали судьбу, значит, сам напросился.

На самом деле, всё не столь скверно и уныло.

Россия полна живых душ. Помнящих – может и наивное, но всегда ускользающее сердцебиение, пушкинское:

*Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут...*

Людей приучают к бесчеловечности как норме, а им хотелось бы другого. Знать имена и истории наших, головы сложивших и в неволе томящихся, выволить пленных, встретить, обнять... Это можно окрестить инфантильной правозащитой или утопическим патриотизмом, но по мне, это основы живого государства, которое своих не бросает. Это и есть национальное самосознание, а иначе пусто и темно – дунь, плюнь, и словно ничего и не было.

Обмен всех на всех – реальный противовес ощущению всеобщего обмена. Будем же биться за вызволение тех, кто оплатил верой и судьбами словосочетание “русский мир”.

Вспомните, как шумно и страстно ратовали за свободу Савченко или Сенцова везде и всюду общественные деятели, которые, прямо скажем, прохладны к горю арестантов противоположного толка. Но надо называющим себя русскими патриотами не кривиться на этот активизм, а самим быть не глупее и не слабее.

И пора бы не бросаться абстрактными цифрами заключённых, а создать сайт, карту неволи, где будут скрупулёзно собраны данные каждого из них.

Надеюсь, эти люди скоро дождутся свободы.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

КРЁСТНЫЙ

Детский фонд радуется вместе со всеми, кто по-доброму соприкоснулся с Николаем Ивановичем Рыжковым. А ему исполнилось 90! И он волею судеб оказался последним Председателем Совета Министров СССР, а, припомнив историю, – великой России. В ту пору, когда он возглавил Совмин, а Горбачёв – ЦК, смею утверждать, народ наш был несколько иным. Люди помнили Отечественную войну собственным знанием и чувством, а не всегда достоверным пересказом. И верили власти, хотя и ворчанья хватало. Но ворчали всё же избирательно, по поводам, и среди них была тема стареющих вождей.

Но вот пришли двое молодых и опытных. Забрехала надежда. Тут я должен заметить, что за два года до событий, к которым приступаю, мне удалось (и посчастливилось) благодаря моему товарищу по комсомолу Виктору Прибыткову, который был помощником К. У. Черненко, получить поручение Генерального секретаря на письмо, которое я написал о проблемах сиротства в СССР. Генсек поручил Г. А. Алиеву подготовить Постановление ЦК и Совмина на эту тему, Алиев был членом Политбюро и Первым замом Предсовмина. Постановление получилось беспрецедентным для тех лет и сыграло, да и ещё играет свою знаковую роль: а то ведь, стремясь к экономическим достижениям, забыть про ребятишек, оказавшихся без родни, – позиция не благодатная.

Но вот проходит небольшое время, на сцену выходят новые лидеры, и в апреле 1987 года меня неожиданно приглашают в Кремль.

Считаю тот день, пожалуй, наиглавным в моей общественной, да и личной судьбе. На пороге кабинета меня встретил Николай Иванович Рыжков, да не один, а со своей женой Людмилой Сергеевной. Уже одно это было совершенно удивительно. И вот мы рассаживаемся, и Николай Иванович рассказывает о своём первом визите в новом качестве в Свердловск, о том, что для супруги там подготовили отдельную программу, но она попросилась в детский дом, и впечатления о нём ударили в самое сердце. Вернувшись в Москву, Рыжковы захотели встретиться с кем-то из лиц, так сказать, неофициальных, знающих проблему не формально. А за мной была ещё и повесть “Благие намерения”, не говоря про ворох публикаций в центральных газетах – от “Правды”, “Известий”, “Труда” до “Литературки”. Выбрали меня, захотели меня послушать. Николай Иванович сразу сослался на Алиева, на то, что знает прошлое постановление, ну, и Гейдар Алиевич сказал ему про меня добрые слова.

Так что разговор сразу пошёл доброжелательно, можно сказать, на равных. От сиротства я перешёл к инвалидности, перед этим я побывал в Загорском детдоме для слепоглухонемых детей, увидел жуткую безысходность и страшную технологическую отсталость лечения, образования, простой контактности с детьми, которым выпала такая доля. Но педагоги при этом –

герои. Вообще люди, отдававшие тогда – да и теперь – свою жизнь детям, лишённым здоровья или семьи, – особая каста почти святых, я много таких знал и тогда, да и теперь. Рассказывал им про Антонину Павловну Хлебушкину из Ташкента, которая ещё из-под Сталинграда вывезла целый эшелон одиноких детей в эвакуацию, про казанского возчика Галимзянова, который выращивал поросят и бычков, продавал их, а всю выручку передавал Дому ребёнка на его оснащение, в том числе медоборудованием; про Александра Александровича Католикова из Сыктывкара, учителя, спасшего ценой своей инвалидности автобус с детьми из Дома пионеров на железнодорожном переезде, а потом возглавившего детский дом-интернат с сельскохозяйственной ориентацией.

Говорили о детской преступности, об онкологии, о детском туберкулёзе, о правах ребёнка и о сотнях иных вещей, про которые наверху если и рассуждают, то неглубоко, не “въезжая” в глубины проблем, на уровне “поручений”.

Мои хозяева никуда не спешили, за всю встречу последовал только один звонок, да и тот краткий, а сам разговор длился три часа сорок минут! Много лет спустя, кажется, на 30-летию Детского фонда, я спросил Николая Ивановича, бывали ли у него с кем-нибудь столь долгие встречи, например, с министрами. Он ответил: “Никогда!” “А почему же со мной Вы говорили так долго?” – спросил я. “Потому что мы говорили о детях в беде”, – ответил он.

Мне кажется, в этом ответе, в таком ответе – весь Рыжков, вся его сущность. Он не относится к плеяде говорунов, но совершенно уверенно – к племени делателей. Подросток военной поры, работавший у станка, инженер легендарного тогда “Уралмаша”, ставший его Генеральным директором, дважды Лауреат Государственной премии СССР за инженерные достижения, а потом – зампред Госплана, секретарь ЦК партии – это ли не судьба, подтверждённая и делом, и совестью!

Во время нашей встречи, произошедшей 32 с половиной года назад, я заговорил о воссоздании Детского фонда имени В. И. Ленина, образованного на траурном съезде Советов, посвящённом смерти Владимира Ильича, в январе 1924 года. Он предназначался для борьбы с беспризорничеством и был закрыт в 1938 году. Готовность граждан помочь другим, тем, кому хуже, чем тебе, особенно детям, на мой взгляд, была реальной оценкой состояния общества тех дней, когда мы встречались. Ведь недавно полыхнул Чернобыль, и народ без всяких просьб послал на счёт, открытый в Сбербанке, 500 миллионов. Рыжков согласился, что фонд стоит возродить. На другое утро меня соединили с Николаем Ивановичем. Он сказал, что вчера вечером рассказал о нашей встрече Горбачёву, и тот согласился, что надо подготовить новое постановление по сиротству, и поддержал идею создания фонда. В том же разговоре Николай Иванович пригласил меня участвовать в подготовке решения. Ясно, что я с головой окунулся в непростую работу особого свойства, где каждое положение текста требовало согласований с министерствами, ведомствами, финансистами. Вечно буду помнить чудесного человека, истинного патриота, профессионала высшего класса Виктора Ивановича Власова, который представлял тогда Бюро Совмина по социальным проблемам, а чуть раньше был помощником Председателя Совета Министров СССР.

С апреля до конца июля шла эта работа. В июле Рыжков пригласил меня выступить с докладом от рабочей группы на Президиуме Совета Министров СССР, то есть представить правительству проект нового постановления о положении детей-сирот и мерах по его улучшению. Всё это тогда я принимал совершенно естественно, будто так и надо. И только сейчас осознаю – нет, сам факт выступления с докладом о проекте большого постановления на высочайшем и решающем правительственном уровне – пусть писателя, пусть главного редактора всесоюзного молодёжного журнала, пусть даже в какой-то степени эксперта – дело совершенно не принятое и при всех разговорах о демократии именно что демократичное. Речь прозвучала жёстко, но по существу. Когда я закончил, Николай Иванович спросил министров: “Обсуждать будем?” Настала короткая пауза. Потом один из министров сказал: “А что обсуждать? Стыдно! Работать надо для этих ребят, Николай Иванович” Тот ответил: “Правильно. Вносим на Политбюро. Докладывает Ситарян”.

Степан Арамаисович Ситарян был первым зампредом Рыжкова по экономике, и он как должностное лицо от имени Совета Министров докладывал на Политбюро проект Постановления. Ему полагалось назвать просто цифры,

просто ресурсы и просто предложения. Речь его заняла от силы 5 минут. Потом Горбачёв пригласил к выступлению меня, довольно необычным образом: “Альберт Анатольевич, Вы нас столько лет всячески тормозили на эту болезненную тему, что нам было бы просто неразумно не выслушать Вас”. Моя речь, нарушив правила, заняла минут двадцать, и на ПБ разгорелся спор между Горбачёвым и Яковлевым: дать новому фонду свою газету или не дать (Горбачёв нас поддержал, а Яковлев хотел журнал, в результате мы получили еженедельник “Семья”, позже достигший 4-миллионного тиража). Но в тот момент главными были взгляды членов Политбюро, и, конечно, выступившего первым Рыжкова. Говорил он тогда спокойно и твёрдо. Оценил финансовые затраты государства на улучшение жизни детей-сирот как моральные долги страны. А создание фонда – как духовное участие общества в решении крупных социальных задач, опять же посвящённых детству. Поддержал нас и А. А. Громыко. Что же касается меня, то Горбачёв попросил меня возглавить оргкомитет по проведению учредительной конференции Советского детского фонда имени В. И. Ленина. После заседания я заглянул к Николаю Ивановичу. Он выглядел растроганным, очень сердечно поздравил меня с решением, но я понимал, что это его победа. Так что 31 июля 1987 года и есть настоящий день рождения фонда, а его крёстным отцом я считаю Николая Ивановича Рыжкова.

Все 32 года существования Детского фонда – сначала Советского, потом Российского и Международной ассоциации детских фондов (в ней объединились бывшие наши отделения в союзных республиках, ныне суверенных государствах) – я задаю себе один и тот же вопрос: не слишком ли рано или не слишком ли поздно возник он? И никак не могу найти однозначного ответа.

Во времена Рыжкова он был очень нужен стране. Во-первых, народ большой страны – не богатый и не бедный, – откликнулся на его появление от самого чистого сердца. В качестве примера стоит привести результат единственного (!) круглосуточного телевизионного марафона Детского фонда, когда за 24 часа передач о положении детей мы собрали 102 миллиона советских рублей. Свои пожертвования и в обычные дни нам посылали сотни тысяч людей – и детей, и стариков, и гигантские заводы вроде “Уралмаша”, и колхозы, и студенческие отряды, и академики, не говоря о членах Правительства, например, его Председателе Н. И. Рыжкове. Внесло свои личные пожертвования и всё Политбюро во главе с семьёй Горбачёвых, а А. А. Громыко переслал гонорар за свои двухтомные мемуары, изданные в Англии.

Когда мы встретились в первый раз, я сказал Рыжкову, что у большинства детдомов нет своего транспорта, помогают шефы, если они существуют. В течение первых трёх лет мы купили 1500 автобусов и грузовиков на средства фонда, и машины появились у всех без исключения. Даже на Камчатку перевезли их пароходами. Но тогда это можно было сделать лишь по распоряжению правительства, и такое распоряжение вышло. Для всех детских домов мы открыли свои благотворительные счета, которыми распорядились не директора учреждений, а попечительские советы из самых достойных людей. И перевели туда немалые тогда деньги, до 1 миллиона каждому. Особенное внимание проявил Николай Иванович к нашей идее детских домов семейного типа. Мы не раз говорили с ним на эту тему, в подробностях обсуждая детали специального постановления Правительства. Идея состояла в том, что семья принимала к себе не меньше пятерых сирот. Мама в такой семье становилась государственной служащей – старшим воспитателем детского дома, тогда с зарплатой в 100 рублей. А на детей передавались средства, которые расходовались бы на них в госучреждении. Итог этой практики в России: 568 семейных детдомов подняли 5021 ребёнка (не считая кровных), выпустили их в жизнь. Около 20% имеют высшее образование, 70% – среднее специальное, остальные – общее среднее. В 1996 году, увы, эта позитивная практика в России была отвергнута, но в бывшем СССР – продолжилась. В Беларуси она сыграла решающую роль – Детский фонд этой страны купил 50 коттеджей, государство платит зарплату родителям-воспитателям и оплачивает содержание детей. Украина (до Майдана) создала больше 700 таких семей и была готова покончить с сиротством; не знаю, чем там дело кончилось...

Рыжков был очень озабочен проблемой детской смертности в СССР, она стояла по этому показателю в самом низу ООНовской таблицы. По нашему с министром здравоохранения Е. И. Чазовым предложению было выпущено

постановление Правительства о борьбе с этим недугом. Три года подряд Детский фонд на свои средства посылал в регион Средней Азии и Казахстан по 3000 врачей на 90 самых жарких дней – дети летом там умирали от антисанитарии. Конечно, это были самые настоящие спасательные работы, есть и результат за три года: 55 тысяч спасённых детей, общее снижение детской смертности на 16%, а снижение смертности детей 2-го года жизни – 55%. Статистику эту вёл Минздрав Союза, и наша работа выглядела как прямая помощь государству. Но ведь и детям! Разве это могло не радовать?

В 1988 году обострились межнациональные конфликты Армении и Азербайджана. Потоки беженцев текли из одной страны в другую, и среди них, понятное дело, – множество детей. Как-то к вечеру Николай Иванович позвал меня к себе. Сидели мы в каком-то небольшом зале вдвоём, похоже, после тягостного совещания. Рыжков выглядел не то чтобы усталым – изнурённым, будто из него выжали все соки. Поэтому и речь его была бытовой, простой, даже чуть растерянной: “Среди беженцев с той и с другой стороны чуть не половина детей, не хватает обуви, одежды, нижнего белья...” Он назвал примерные цифры. Я пробормотал: “По самолёту”. Он спросил: “По какому самолёту?” – “Примерный объём каждой части беженцев-детей – один самолёт ИЛ-76.” – “Значит, общий – два самолёта?” – и потянулся к вертушке. Я попросил дать команду “Детскому миру”, сказал, что мы груз оплатим.

Кто бы подумать мог, что через несколько дней случится что-то страшнее потока беженцев... 7 декабря 1988 года не то, что вся страна, – весь мир просыпался под ужасающее сообщение об Армянском землетрясении.

Горбачёв был в ООН, и Рыжков тут же улетел в Ереван. Нация с содроганием дежурила у экранов, держала включёнными приёмники. Картинки трагедии и сообщения вызывали оторопь.

Мы не могли остаться в стороне. И вдруг Минобороны подтверждает, что нам выделены два самолёта для перевозки детской одежды в регион конфликта. “Детский мир” приготовил груз. Меня подмывает идея: всё отправить для Еревана. Но я не решаюсь предложить это даже коллегам. Провожу совещания, получаю оперативную информацию, но молчу. Вижу по телевидению, что Николай Иванович окружён толпой растерянных, напуганных людей. Странно, но на самом пике собственной растерянности вдруг приходит холодное решение: ничего менять не следует. Во-первых, об этом беспокоился Рыжков, достигнута договорённость. Во-вторых, в Армению надо лететь мне во главе специальной бригады фонда, и для неё потребуется ещё много чего дополнительного.

Армия даёт нам в Москве колонны грузовиков с солдатами, которые загружаются одеждой. Одна из картин, не выходящих из памяти: Шереметьево, я подъехал к самолётам, предоставленным в наше распоряжение, оба – ИЛ-76. Знакомимся с командованием. Мой заместитель Геннадий Савинов идёт к самолёту, который полетит в Баку, я с командой фонда – к тому, что полетит в Ереван. Был вечер, на рассвете мы прибыли в Армению. Прямо с самолёта, заскочив в гостиницу, попадаю на утреннее оперативное совещание к Рыжкову. Там же, разумеется, глава республики Сурен Гургенович Арутюнян и министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов. Обстановка фронтовая. Со дня трагедии – третий день. Спецы докладывают: в Ленинакане из-под рухнувших многоэтажек слышатся крики. Автокраны переворачиваются и неспособны поднимать бетонные плиты больших размеров. Не хватает гробов! Родственники из Еревана и других районов едут на машинах в Спитак и Ленинакан, возникли пробки, они мешают спасательному транспорту! Высококласные спасатели из стран Европы не могут пробиться к месту катастрофы! Народ в Ленинакане – на железнодорожной станции и в аэропорту – не может ни выехать, ни вылететь! Нужна техника рыть могилы! Много раздетых детей! Вовсю летает хирургическое отделение Ереванской клиники, там – Леонид Рошаль.

Сию в первом ряду, смотрю на Рыжкова, поражаюсь чёткости действий. Когда в чём-то не уверен, советуется с другими независимо от ранга. Зал, набитый людьми, постепенно пустеет – их отпускают для исполнения решений. Дмитрий Тимофеевич Язов сообщает, что летит в воинскую часть под Ленинаканом, я прошу взять меня с собой. Рыжкову поясняю свою цель: одежду мы привезли, теперь надо одеть детей, имею ли право найти для этого удобную площадку, действуя от имени Штаба. Согласие получаю. Бумажек здесь не дают. Летим.

От вертолётной площадки меня переправляют в горком партии. Гляжу в окошко “ГАЗика” и не могу понять — что-то вылетает из-под земли. Потом соображаю: люди роют могилы. Ещё сцена: огромный самосвал с трудом проходит по узкой улице, а на краю кузова, сам едва удерживаясь, сидит молодой парень, и запрокинув голову, воет: на коленях у него маленький ребёнок. Чуть позже я подъеду на попутной машине к Дому ребёнка. Во дворе твояется забытая собачонка, будто о ком-то тревожится. Я зашёл в коридорчик одноэтажного зданища, стал заглядывать в комнатухи. В одной, прямо на полу, хоть и на подстилках, лежали два мёртвых младенца, с подключёнными к ручонкам катетерами. Что я мог сделать? Склониться перед ними на колени — незнакомыми, безмянными для меня человечками — и попросить прощения у них за весь белый свет. Чуть позже их закопали прямо во дворе. Я пошёл к перекрёстку, где у костра сидели молоденькие девочки. Они оказались практиканками из Кишинёвского ПТУ. Текстильный комбинат, где они работали, разрушен, как и общежитие, и они не знают, как отсюда уехать, и есть им нечего. Девочек увезли в Ереван, я определил площадкой для раздачи одежды неразрушенный холл городской гостиницы, договорился с горкомом, на попутной машине уехал в Ереван, по дороге заскочив в аэропорт. На земле сидели толпы женщин с детьми и старые люди. Все твердили одно и то же: пусть нас перевезут в Ереван. Вечером, чуть ли не в полночь, мы встретились с Рыжковым. Я попросил разрешения на вызов людей с детьми самым срочным образом в центр. К тому времени штаб принял решение открыть для семей пострадавших все возможные санатории Причерноморья, а бригада Детского фонда встретила несколько чартерных рейсов, которые стали тогда постоянными. Наутро мы отыскивали в Ереване тот самый Дом ребёнка из Ленинакана. Я приехал туда сам, чтобы откровенно поговорить с главврачом, и мне стало его жалко. Младенцев “устроили” в непригодном здании, только полы вымыли. И десятки беленьких человеческих “полешков” лежали прямо на полу. Я тут же помчался к Рыжкову, не дожидаясь утреннего заседания штаба “запросил” кровати, а когда снова поехал к этим малышам, эвакуированный Дом ребёнка не узнал — он преобразился начисто всего за несколько часов.

Потом новая поездка в Ленинакан, теперь уже во главе колонны военных грузовиков с солдатскими командами, где был наш груз, создание и открытие Центра помощи, где мы с моим заместителем Евгением Кармановым, царствие ему небесное, одевали и обували сотни и сотни напуганных, взъерошенных, но уже не голодных мальчишек и девчонок до 14 лет. Ночевали на городской площади в автобусе. Напомню, на дворе декабрь, и хотя это юг, Армения, водитель всю ночь включал и выключал двигатель. Мне казалось тогда, что я просыпался и засыпал с именем Рыжкова. Его каждодневные поездки в зоны бедствия облетали Армению с волшебной скоростью. Из Штатов прилетел на день Горбачёв. Мне кажется, он тотчас понял, что его диалог строится не с народом, а с Рыжковым, который всё знал, всем владел, обо всём беспокоился и принимал совершенно точные решения. Люди, пострадавшие в беде, безукоризненно точно определяют представителя своих интересов. К сказанному добавлю: Детский фонд создал в Ереванской консерватории свой штаб (Председателем Армянского отделения фонда был композитор Э. Оганесян). Этот штаб работал круглые сутки. Мы договорились, что милиция, обнаруживая маленьких детей, потерявших родителей, будет доставлять нам их фотографии, если есть такая возможность, или вызывать нашего фотографа для съёмки. Фотоснимок с той информацией, которую мог дать сам ребёнок, мы вывешивали на стендах в холле консерватории. Кроме того, мы стали выпускать на двух языках — армянском и русском — ежедневную газету “Надежда”, где печатались эти фотографии, а газету наши помощники раздавали на самых людных перекрёстках Еревана. Так было возвращено родственникам 456 малышей — спасибо армянской милиции. Однажды в одном из интернатов мы обнаружили целую школу эвакуированных детей. Разговорились, и семиклассники вдруг говорят: а ведь нас 7 декабря должны были принимать в комсомол. Мы собрали список таких ребятшек, и я пришёл к Рыжкову, разумеется, предварительно договорившись с ЦК комсомола Республики. “Николай Иванович, а вручите комсомольские билеты этим ребятам, ведь Вы член Политбюро. И, конечно, Сурен Гургенович Арутюнян, недавний секретарь ЦК ВЛКСМ”. Решения принимались мгновенно, вечером того же дня вручение, да ещё и с телевидением. А наутро — нежданная радость.

У брата и сестры, получавших билеты, нашлись мать и отец, – ведь детей эвакуировали экстренно. Потом мы ещё долгие годы опекали эту семью, и она приезжала в Москву уже в полном составе.

Вообще “армянская тема” ещё долгие годы и месяцы была программной в нашем фонде. В преддверии Нового года мы привезли самолёт ИЛ-96, полный ребятишек, жертв землетрясения, 400 человек. И куда? На Кремлёвскую ёлку. Помню, как веду за руки двух самых маленьких – мальчика и девочку – прямо к Деду Морозу. А потом перед этими детьми выступает М. С. Горбачёв. Сборная СССР по шахматам во главе с Анатолием Карповым играет в Мадриде благотворительный матч со сборной мира с Гарри Каспаровым, а вырученные деньги передаёт нам для армянских ребят. Сборная СССР по футболу играет такой же матч в Германии и тоже переводит деньги. Мы шлём на сложные операции армянских детей в США и лет десять кряду выплачиваем семьям пострадавших детей Спитака ежегодные пособия, не уступающие государственным. Николай Иванович всегда в курсе дела и всегда постоянен в одобрении. Позже я не раз побываю с ним в Армении на годовщинах страшной трагедии. Имя Советского детского фонда высечено в граните на памятнике в Гюмри, бывшем Ленинакане, помнит сердечность большой страны и Католикос всех армян, высший национальный и религиозный авторитет этой великой нации. А Н. И. Рыжкова Армянское государство увенчало своей высшей наградой – званием Национального героя.

Ещё тогда, в последние годы большой нашей страны, я не раз думал, а почему же звание Героя Рыжкову не дали в социалистическом государстве? Было бы логично: ведь Армения была частью СССР, а её народ, полагаю, единогласно поддержал бы такую справедливость: он видел, кто персонально олицетворял тогдашнюю всесоюзную помощь. Впрочем, и понимаю, почему тогда этого не произошло: нарастало новое землетрясение, которое разрушит Союз. И такие решения были бы не во благо.

Но настает время собирать камни, кажется мне, наивному. А потому Указ о присвоении звания Героя труда России Николаю Ивановичу Рыжкову, я, видевший его в “минуты жизни роковые”, отвечавшего за страну перед страной, полагаю состоявшейся справедливостью. Время делает своё дело. Забывается недоделанное и просто не сделанное, отходят в сторону детали, туман тает, высвечивая главные смыслы.

Николаю Ивановичу Рыжкову – 90 лет. И мне кажется, это очень мало!

К юбилею Николая Ивановича РЫЖКОВА Издательский дом “Экономическая газета” выпустил его Собрание сочинений в десяти томах под общим заголовком “На полях исторической памяти: время, события, люди”. – Ред.

МИР СПАСЁТСЯ РОССИЕЙ

* * *

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

От всего сердца поздравляю Вас с днём рождения!

Какое счастье, что Вы и Ваши произведения есть в моей жизни, что благодаря Вам она наполнилась новым содержанием, живой литературоведческой мыслью, неизвестными фактами из жизни и творчества признанных писателей и не только!

К сожалению, Ваша новая книга пока не печатается. Поэтому возвращаюсь к присланным Вами книгам (в так называемом единственном книжном магазине нашего городка о Вас и не слышали), ищу Ваши произведения в разных источниках.

Нашла в “Правде” интервью с Вами, в случайно попавшей в городскую библиотеку “Литературной газете” № 3, 2019 г. Вашу статью “Великий евразиец” о Дондоке Улзытуеве – “великом поэте не только бурят-монгольского мира, но и всей Евразии” – так Вы пишете об этом замечательном человеке.

“Я часто думаю о том, что посмертная трагедия Дондока Улзытуева теснейшим образом связана с трагедией гибели Советского Союза. Если бы этой катастрофы не произошло, если бы сословие советских читателей – самых образованных и пытливых среди читателей всех времён и народов – сохранилось, то оно постепенно освоило бы и глубину, и красоту поэзии Дондока, великого поэта не просто Бурятии, не только русского мира, но и всей Евразии... Размах мысли и чувства моего друга был поразителен!” – восклицаете Вы.

Меня поражает Ваше бескорыстие, отсутствие творческой ревности, зависти к таланту, желание поведать читателям об интереснейшем авторе. Так Пушкин раздаривал сюжеты задуманных им произведений коллегам по перу.

“Я перевёл за годы нашей дружбы три книги его стихотворений. И это всегда была радостная работа”, – отмечаете Вы. А я отмечаю: РАДОСТНАЯ, Вам РАДОСТНО поведать людям о чужом таланте. А мне радостно, что есть в жизни такие люди, как Вы.

И ещё: читатели никогда бы не освоили глубину и красоту произведений иноязычных авторов, если бы не удивительное искусство перевода. И гениальные стихи бурятского поэта из улуса Шибертуй стали известны миру благодаря переводам Куняева Станислава Юрьевича – личности, воплотившей в себе замечательные черты русского художника слова: поэта, литературоведа, публициста, переводчика, энциклопедиста, с бойцовским характером и порядочностью редактора лучшего русского литературного журнала “Наш современник”.

С днём рождения, уважаемый Станислав Юрьевич! Всего доброго Вам, членам редакции, Вашей семье, родным и близким!

С уважением и признательностью
Галина Леонидовна Бабенко,
г. Котельнич Кировской обл.

* * *

В 1989 году Горбачёв проявил редкостную для него твёрдость. Он распорядился – вопреки мнению либеральной клики – назначить главным редактором журнала “Наш современник” отважного государственника Станислава Юрьевича Куняева, обратившись при этом к А. Яковлеву со словами: “Саша, бросим кость русским националистам”. Куняев принял назначение, хотя его

даже доброжелатели отговаривали от этого: мол, плетью обуха не перешибёшь. А ведь перешиб! Да ещё как! Уже много лет тираж журнала больше тиража каждого из “толстых” журналов, выходящих в России, и почти в каждом номере его есть материалы, утверждающие то, о чём говорят стихи самого главного редактора:

*Мы павших своих не считали,
Мы кровную месть не блюли.
И только поэтому стали
Последней надеждой Земли.*

И я благодарен каждому безымянному подписчику, который вносит реальную лепту в поддержку одной из идейных опор государственности в современной России.

Став во главе журнала, Станислав Юрьевич фактически тут же ввёл в редколлегию Вадима Кожина, с которым они за короткое время сплотили в рамках редакции единую команду выдающихся литераторов – истинных русских патриотов. Об особенностях сотрудничества этой команды на протяжении 30 лет кратко и достаточно выразительно рассказано в разговоре Сергея Шаргунова со Станиславом Юрьевичем на ТВ Россия-24 в программе “Двенадцать”. Ведущий крупными мазками в течение 12 минут сумел показать, насколько его герой талантлив и страстен, добр и памятен, смел и слишком рискован. Обращают на себя внимание благодарные слова Куняева о наставнической роли поэта Бориса Слуцкого в своей литературной судьбе, которая началась с издания сборника стихов “Землепроходцы”. Впоследствии Станислав Юрьевич опубликовал обстоятельный очерк о Борисе Абрамовиче Слуцком. Запоминается первая встреча Куняева с Николаем Рубцовым, когда будущий главред, набирающий опыт в журнале “Знамя”, с ходу открыл в поэтическом мире начинающего поэта слова, навсегда вошедшие в русскую поэзию: “С каждой избою и тучею, // с громом, готовым упасть, // чувствую самую жгучую, // самую смертную связь”. Характерно отношение лидера журнала “Наш современник” к русскому слову, которое буквально цементирует историю России, её религию, государственность и народную жизнь, что с необыкновенной силой выражено в книге Вадима Кожина “История Руси и русского слова”. В заключение разговора с ведущим Станислав Юрьевич напоминает о завете Пушкина:

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

Считаю, что двенадцатиминутное интервью Сергея Шаргунова с главным редактором журнала “Наш современник” в юбилейный год удачно – крупными мазками – состоялось. Однако оно побудило меня расширить рамки разговора об уникальном нашем современнике по результатам моих доверительных бесед с ним на протяжении почти десяти лет. Такому общению способствовало некое сакральное обстоятельство. Оба мы крестились уже в зрелом возрасте в один год, один месяц и один день. Сакральное обстоятельство открылось после моего признания о том, что истинный смысл жизни я постиг в 60 лет, через три года после своего крещения. Очевидно, что истинное становление личности происходит через осознание смысла жизни. Истинный смысл жизни человека, в отличие от животного образа жизни, не в самой жизни и не в наслаждении ею, как у гедонистов древней Греции, когда осознание передела наслаждений порою завершалось суицидом. Осознание истинного смысла жизни происходит через постижение откровений высших небесных сил, и в этом осознании неоценима роль Православия.

Начало нашего общения пришлось на время выхода в свет уникального творения Куняева “Жрецы и жертвы холокоста”, которое я случайно приобрёл, быстро прочитал и был покорён глубиной анализа, системностью мышления, объективностью представления материала и, главное, смелостью автора в написании слова “холокост” со строчной буквы. В три дня написал

отзыв и передал в редакцию журнала. Через некоторое время мне позвонил Станислав Юрьевич и спросил о моём согласии на публикацию отзыва в ближайшем номере журнала, дополнительно сообщив, что он будет поставлен сразу за отзывом Игоря Шафаревича.

Как-то я спросил о его трёх книгах, которые я мог бы с собою прихватить на космический корабль, и мой мудрый друг посоветовал мне: “Капитанская дочка”, “Тарас Бульба” и “Записки охотника”. В них три классика с разных позиций достаточно полно и глубоко очертили русский национальный характер. Повесть Пушкина, по мнению моего друга, есть духовное завещание потомкам; камертон русской души страстно и образно изобразил Гоголь в своей повести; произведение Тургенева было переведено на более чем 120 языков мира.

В очередной раз вернувшись из Тюмени, я поделился со своим наставником сильным впечатлением от знакомства с местной поэтессой, которая всю жизнь писала стихи в ящик стола. Её супруг, случайно обнаруживший сокровище своей жены, опубликовал книгу с её откровением:

*Лишь тот воистину поэт,
Созвучный времени любому,
Чей стих и через сотню лет
Подобен голосу живому!*

Эта строфа выбита на надгробном камне Валентины Андреевны Антипьевой в 2014 году. А в 2013 году, получив в подарок книгу под названием “Виражи”, я сразу был очарован строчками:

*На просторе на великом
Вьюги землю сторожили,
Веретёнцами кружили,
Ворожили бабьим всхлипом.*

Станислав Юрьевич попросил у меня на время книгу, отметил в ней лучшие стихи и попросил Станислава Зотова сделать для журнала обзор творчества Валентины Андреевны, которая более четверти века проработала доцентом на кафедре физики Тюменского государственного нефтегазового университета и всю жизнь с юности писала стихи. И в этом выразилось умение главного редактора отыскивать на необозримых просторах России талантливых поэтов и прозаиков,

Меня продолжает удивлять его необыкновенная память: одно дело – он наизусть может часами читать отечественную и зарубежную лирическую классику, и совсем другое дело, когда он удерживает в память множество телефонов. Недавно я спросил у него, как он укрепляет в такие годы свою память. Ответ был поразительный: “Каждое утро после “Отче наш” читаю наизусть “Бородино”, “Клеветникам России” и стихотворенье “Старая дорога” Николая Рубцова!” Три шедевра русских классиков, последнему из которых он помог войти в необозримое поэтическое пространство и щедро поддерживал до последнего смертного часа. В этих трёх шедеврах неразрывно слились вечность русского духа, неодолимость русского воина и загадочность русского менталитета! От такого ежедневного прочтения, возможно, и память укрепляется, и дух торжествует, и сердце наполняется любовью к родной земле. Недаром в оценке Куняевым творчества Леонида Бородина на первое место поставлена его мольба к земле родной: “Земля родная, ради Бога, // храни меня теперь и впредь, // чтоб мне по глупости до срока // впустую не перегореть”. Вот почему на русских полях в исторических битвах с любым захватчиком наши воины неодолимы. Но они неодолимы ещё и потому, что на генном уровне проникнуты соборным мироощущением, когда каждый в ответе за всех и все в ответе за каждого. Где ещё в мире можно найти изречение: “На миру и смерть красна”, или “Положи живот за други своя!” “Верю вместе с Вами, что мир спасётся Россией, ибо “им есть, где жить, // а нам, где умирать”. Это о тех, кто ради комфортной жизни покинул Россию, утратив “самую жгучую, самую смертную связь” с родной землёй, утратив “любь к родному

пепелищу” и “отеческим гробам”, утратив и связь поколений, и поддержку Высших сил. Только в России можно обух плетью перешибить, и Вам подобное не единожды удавалось. И тридцать лет достойной жизни “Нашего современника” – тому неоспоримое подтверждение”.

Завершив на этом свои рассуждения, решил показать их моему сыну. Он по роду своей профессиональной деятельности обладает качеством быстрого проникновения в суть материала и мгновенной оценкой его значимости, как правило, достаточно объективной. Он много раз до этого – после прочтения фундаментального труда Станислава Юрьевича “Поэзия. Судьба. Россия” – просил меня познакомить его с автором. Встреча втроем состоялась в августе прошлого года и завершилась оптимистическим подъёмом настроения и духа, а также тем, что впечатления моего сына от общения с живой легендой нашего времени превзошли его ожидания. Вскоре сын написал маленькую заметку с обоснованием необходимости регулярного выпуска “толстых” журналов – регистраторов живого пульса нашего времени – и, кроме того, высказал мнение о судьбоносной роли главного редактора журнала “Наш современник” в истории страны. Не буду приводить полного мнения своего сына, ограничусь только его заключением: являясь землёй Богохранимой, Россия обладает уникальным свойством – в смутные времена вверять себя своим сыновьям, способным бросить вызов её клеветникам. И ведь недаром Станислав Юрьевич каждое утро после молитвы читает наизусть знаковый ответ Александра Пушкина “Клеветникам России”.

Валерий Гуров,
доктор технических наук,
ветеран Российской космонавтики
Москва

* * *

Добрый день, уважаемый Станислав Юрьевич! Я даже не знаю, доходят ли до Вас мои письма. Вот это я решил послать с уведомлением о вручении, чтобы убедиться, что хоть оно-то дошло.

От всей души поздравляю Вас с 30-летием руководства Вашим журналом! Я набрался смелости и написал SMS на прямую линию с Президентом, чтобы такой юбилей отметили на самом высоком уровне и наградили журнал Государственной наградой за большой вклад в литературное наследие нашей Родины.

*Чтоб возрастал тираж журнала,
Как был когда-то у газеты “Правда”;
И чтоб обложку украшала
Правительственная награда!*

Посмотрим, что из этого получится. Вас, может быть, удивляет такой мой архаичный способ общения с Вами, как бумажные письма. Это в XXI-то веке, когда кругом сплошная электроника! А для меня – вполне достаточно бумаги и карандаша. Нет у меня ни компьютера, ни интернета, ни печатной машинки; пишу по старинке. Будьте здоровы, Станислав Юрьевич; с уважением,

Афанасьев А. Г.
г. Калуга

* * *

Станислав Юрьевич!

Спасибо Вам за “Наш современник”, который вот уже 30 лет стал не только частью Вашей жизни, но и моей, как близкий человек, как родная душа в чуждом окружении. Берегите журнал! Берегите себя! Помогите Вам, Господи!

Владимир Андреев
г. Саратов

которой я занимаюсь, и вышлю несколько фотографий. Я являюсь секретарём по идеологической работе Черемховского местного отделения КПРФ, председателем объединённого черемховско-свирского местного отделения Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА).

С уважением
Анатолий Шапкин

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Вам пишет писатель, главный редактор журнала о культуре и искусстве “Excellent”, член Изборского клуба. Мне 29 лет.

Вы помните меня по моим предыдущим письмам, в которых я разделяю курс редакционной политики журнала “Наш современник”, где находится место патриотизму, Православию, их умному и уместному сочетанию.

Знаю Вас хорошо как поэта, ближайшего соратника Николая Рубцова, Николая Тряпкина, Юрия Кузнецова... Честь и хвала этим великим именам, которые просияли и промелькнули в нашей Вселенной.

В Вашем детстве было много книг? Своё счастливое детство я помню серым, книги были дефицитом, книг было мало (также, как и продуктов), и всё доставляло радость, не то, что сейчас, когда всего в избытке. А радости нет.

Электронный век XX разучил писать письма от руки, пользоваться почтовым ящиком, а зря – порвалась связь времён. Если наши бабушки-дедушки (да что там, – папы и мамы) могут похвастаться старыми письмами, то что предъявит само себе молодое поколение, когда достигнет возраста 70, 80, 90 лет! Компьютер завладел умами людей.

Люблю Ваши строки:

*Всё тот же ветер над Окой,
всё те же звёзды, багровея,
как и во время Птолемея,
горят над нашей головой.*

Или вот, самое дорогое:

*Пишу не чью-нибудь судьбу —
свою от точки и до точки,
пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.*

Спасибо Вам за блестящие стихи на все времена. Не в обиду Вам скажу, что иной раз, когда произносишь Вашу фамилию, люди вспоминают строки “Добро должно быть с кулаками” и называют Вас советским поэтом. Вы согласны с этим утверждением?

Может, правильнее просто: поэтом, который жил и живёт в советскую и российскую эпоху? Как Вы считаете, сейчас очередное (после 1990-х годов) безвременье или мы живём в очень интересную эпоху, время великих людей, таких как Серёжа Шаргунов, Михаил Тарковский, Захар Прилепин, Александр Проханов? Вам интересно жить в наше время?

Меня поразили Ваши стихотворные строки, что только жизнью можно что-то доказать, только жизнью, не смертью.

Сейчас очень тяжёлая жизнь, порою трудно сводить концы с концами. Саратов всё-таки такой более домашний, размеренный город, в Москве все бегут, как бегунки, по своим делам. Москва, по Вашему личному ощущению, преобразилась за последнее время, при Собянине?

Как человек с огромным жизненным опытом, скажите, ради чего следует жить? Н. Бехтерева говорила, что умные живут дольше.

Конечно, той страны, при которой мы все жили, больше не вернуть, страна, родители нас формировали, воспитывали, мы выросли хорошими людьми. Чего Вам больше всего жаль из пережитков советского прошлого: системе образования, принцип равенства, союзного братства и дружбы народов, утраченных со страной навсегда?

*Живём, работаем и бродим
с горячим ветром на устах.
И, кажется, не видим Родины,
не чувствуем, как воздух вроде бы,
всё так и всё-таки не так.*

У Вас чудесные стихи: в них народная память великой страны, которой больше нет, но которая в памяти моей.

Мне кажется, гениальный был проект – Октябрь, Братская ГЭС, Первомай и т. д., и т. п. Далековато нам до того проекта... Радует, что хотя бы наметилась перспектива на патриотизм – пусть и на осколках некогда великой страны. Но у нас до сих пор нет чёткой идеологии. На Западе идеология – права человека. А у нас – патриотизм? А пятилетки, а светлое будущее, а предоставление бесплатного жилья вместо ипотеки и долговых ям? Простите, это я о наболевшем.

Я знаю только одно: что всем сердцем люблю Россию. Я знаю, что у меня есть любимая работа, семья, мой письменный стол, кабинет, записи Шнитке, свежеспеленная кровать. Вот моё маленькое счастье.

В предыдущих двух письмах я Вам писал, что я против либерализма, который льётся сейчас буквально изо всех щелей. Я уважаю либералов, так как они тоже люди, но их призывы, их лозунги ведут к ослаблению воли государства.

Давайте думать о хорошем, клеветников, западников, революционеров сейчас хватает. Нехватка как раз, как выразился Патриарх Кирилл (вы приводите его слова) – нехватка Пушкиных, потому что Пушкин – это религия. Надо воспитывать, учить нацию, а это очень кропотливый труд.

Спасибо Вам за Вашу архитязёлую, но архиважную миссию, задачу тех высоких высот, которые Вы перед собой ставите и, что самое важное, – достигаете.

Желаю Вам всего самого доброго. Храни Вас Господь, Станислав Юрьевич, и всю Вашу замечательную семью.

P.S.: У меня одна к Вам просьба, если не трудно, прислать пару Ваших книг с автографами для меня и один номер Вашего журнала.

Искренне Ваш
Артём Комаров
г. Саратов

* * *

Здравствуйтесь, уважаемый Станислав Юрьевич!

Есть обстоятельства, которые требуют напомнить о себе. С 2012 года я выписываю журнал “НС” и с этого же года по 2014-й включительно публикуюсь в нём: письма, стихи, рецензии на книги. Благодаря этим публикациям обо мне как писателе узнали не только в России. Появились и враги, со своим виртуальным свойством: они есть – сеют ложь о человеке, и их нет, так как всегда находятся за спиной, не персонифицируются. Дай им Бог здоровья! А сказать хочу о другом. Именно с 2015 года я перестал находить время для плодотворного общения с журналом. Времени стало окончательно не хватать по исполнению мне 60 лет. Думал, что и стихи писать заброшу. Однако нет! Они, пусть и в меньшем количестве, но появляются! Некоторые возникают одновременно с мелодией.

Хочу доложить, что получил после 60-ти две литературных награды. Поразмыслив, “за что?”, пришёл к выводу, что их могло и не быть, если бы не мои публикации в Вашем журнале. В 2015 году мне была вручена литературная премия имени Леонида Чашечникова, а в 2016-м – медаль имени Василия Шукшина.

Как видите, журнал во мне не ошибся, и несмотря на то, что уже пятый год ничего не направляю в редакцию, все эти годы журнал выписываю. Без него как-то неуютно себя чувствую, чего-то не хватает... Возникла привычка – по завершении месяца пойти на почту, достать из своего а/я очередной номер, изучить содержание, отметить авторов, произведения которых нужно прочитать. Остальных – потом, по возможности. Прочитываются стихи, публицистика, письма читателей, из прозы – знакомые авторы, кого знаю по предыдущим произведениям.

Однажды в своей тесной двухкомнатной “хрущёвке” затеяли с женой косметический ремонт, решили перебраться и выбросить ненужные вещи. И вдруг среди них оказались шесть ежегодных стопок “НС”, с 2012 по 2017 год включительно. Ещё как нужных! “Думаю, – сказала жена, – кому отдать”. И так мне жалко стало предстоящей потери. Зачем собирал, надеялся на чтение в будущем? К тому же каждый номер журнала, он же ещё и источник самых различных и актуальных фактов истории нашей литературы, исторических фактов, ссылок, сносок и т. д., до которых ты сам никогда не докопаешься, а они – вот они! Пользуйся, ссылайся! И вдруг – всё это исчезнет! За первой мыслью – отнести журналы в библиотеку, пришла вторая: ближайшая – на той же улице, на которой ты живёшь, – через одну поперечную – библиотека имени Павла Васильева. И так на душе стало радостно от того, что эта библиотека именно имени Павла Васильева. Тут же вспомнил свои стихи, опубликованные в книге “Я вырастил русскую душу”:

*Не верю случайным наградам,
а этой осанну пою:
Я с Павлом Васильевым рядом,
когда с его братом стою!*

С братом Виктором мы приходили на писательские собрания, общались. Помню, как он читал свои, в том числе лагерные, стихи, как ему аплодировал весь зал стоя! А он потом удивлялся тому, что встали все, кто был в зале! Что долго аплодировали!

И как-то душа согласилась с неизбежным поступком – отдать журналы именно этой библиотеке. Легко стало. Да и библиотека под боком – всегда можно зайти и воспользоваться источником.

Мои журналы приняли с радостью, так как подписок на периодику Омск для своих муниципальных библиотек давно не осуществляет. Правда, в моих годовых стопках имеются недовложения: оставил-таки я в своей домашней библиотеке те номера, в которых состоялись мои публикации, а также публикации под рубрикой “Мир Ю. П. Кузнецова”. Не оставляю надежды написать в будущем литературоведческую работу об этом Поэте!

Опять же, о подписке! Полагаю, что на 2020 год я подпишусь также. Я выписываю журнал потому, что он для меня – единственный источник информации, дающий объективную картину литературной и общественной жизни, авторов которого в своём большинстве считаю единомышленниками! Источник, не дающий потеряться в хаосе “идеологического многообразия” и удерживающий моё внимание на происходящем в стране и государстве, на понимании этого происходящего. В моём возрасте это особенно ценно!

Желаю Вам сибирского здоровья, творчества! И всему коллективу редакции журнала – того же!

Пётр Козлов
г. Омск

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Меня зовут Владимир, я пишу стихи. Начало для письма довольно банальное, но зато отражает суть. Я решил написать Вам, посмотрев выпуск передаче Сергея Шаргунова с Вашим участием.

Я и раньше был знаком с Вашими стихами, но после просмотра испытал робкую надежду, что то, что пишу я, могло бы показаться Вам созвучным. Претендовать на звание почвенника я годами не вышел – всё-таки в нашей литературной традиции принято заносить в такие категории только с возрастом, а мне всего 22, – но тем не менее: если поставить на один полюс Вас, а на другой – условного Дмитрия Быкова, к Вам бы я оказался ближе.

Быть может, мои стихи далеко не совершенны, но каждому нужно с чего-то начинать. В июле у меня вышла подборка в “Неве”, в Москве пока что не публиковался.

С уважением
Владимир Хохлов
Москва

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Позволяю себе большую роскошь — пишу Вам, зная, что время Ваше очень дорого. А с другой стороны, хочется сказать, как Ваше слово отзывается.

Прочитала книгу “Мои печальные победы”. Многое было уже знакомо из подаренной мне книге всей Вашей жизни. Но вот размышления “В кадре Андрей Тарковский” читала впервые и получила очень точное объяснение моим мыслям, почему я с возрастом теряю интерес к самому массовому искусству и перестаю смотреть фильмы. Правда, иногда думалось, что может быть, я чего-то не понимаю.

Вспомнилось, как мы с братом (я тогда училась классе в шестом-седьмом — брат на 6 лет старше) говорили о книге Ильфа и Петрова “Золотой телёнок”. И брат сказал:

— Посмотрел фильм, но книга лучше фильма. Помнишь момент: прибегает Шура Балаганов и кричит: “Паниковского бьют! — Давно бьют? — осведомился Остап. — И вот это образное слово “осведомился” в фильме передать нельзя. (А в более позднем издании, какое есть у меня, “деловито спросил”, но тоже хорошо). Или “Оранжевые сапоги вынырнули в конце 1922 года...”

И позже, когда сначала удавалось прочесть хорошую книгу, а потом посмотреть пусть даже хороший по ней фильм, мне всё равно было жалко точного, образного авторского слова.

Как-то я написала, что мне нравится Ваша публицистика, Ваши размышления, а вот стихи приняла не сразу, а потом они пошли вместе с рубцовскими, читаю и запоминаю. Пожалуй, я не совсем точно выразилась. Когда читала Ваши книги, Ваши публицистические статьи, всегда обращала внимание на год написания, и мне стали глубоко понятны и Ваши стихи: “Я иду, победитель огня, предвкушая — дружина моя...”, или “Реставрировать церкви не надо, пусть стоят как свидетели дней...”, “И вас без нас, и нас без вас убудет...” И стало понятно, какое точное слово Вы находите, отражая событие, и что стихи — это образная иллюстрация к картинам жизни. Несколько удивляет время появления популярного стихотворения “Добро должно быть с кулаками...” — Вам было в ту пору всего 27 лет. Это было “матросовское начало — бросаться на амбразуру”, как выразился Юрий Павлов в одной из бесед с Вами? В общем, Ваше творчество я изучала “от позднего к раннему”.

Ещё вспомнила. В пору ажиотажа на книги Солженицына попала и мне в руки его книга “Архипелаг ГУЛаг”, посмотрела, но читать мне её почему-то не захотелось. А сейчас думаю — Бог отвёл от лукавого.

Посмотрела в интернете видеointerview. Некоторые по два раза. А интервью “Сталин в словах и образах” советовала посмотреть знакомым читателям журнала. Вы всё, как говорится, разложили по полочкам и доказали, что никакая десталинизация не возможна.

В последних номерах журнала с большим интересом читала А. Проханова о Белгородской области, а статью о заводе “Севмаш” рекомендовала прочесть своей внучке Тане, она учится в Нижегородском кораблестроительном университете. Недавно участвовала в городской олимпиаде по сопромату среди технических вузов и заняла 3-е место.

В пятом номере журнала прочла известие о кончине Георгия Цаголова. Жаль, очень жаль... Какой ясный ум! Его статьи я перечитывала не по одному разу, а статью “Железная пята” — против кремлёвского “нострадамуса” — советовала прочесть многим своим знакомым. И жаль, что такие светлые головы, как А. Белоусов, С. Глазьев и многие другие, не в силах противостоять кучке олигархов. Иногда приходит и такая мысль: вот если бы президент поговорил с Вами, он, наверное, тоже мог бы сказать, как царь Николай I сказал про Пушкина после беседы с ним.

Как-то я уже говорила, что публицистике в журнале цены нет. Стихи, признаюсь, читаю не все. Но вот в стихах Юрия Павлова в 5 номере обратила внимание на строчки “Душой тянулся к празднику другому — под музыку пилы и топора...”, “Есть светлая радость работы в осеннем саду в тишине...” Вот это по мне.

Сейчас в разгаре у меня огородно-рыболовный сезон, всё в радость. А рыба балка, как написал А. Убогий, есть редкое сочетание действия и созерцания.

Впрочем, “действия” ныне добавилось. На реку ездю с секатором, иначе местами к воде не подобраться — не выкашиваются прибрежные луга, не гуляют по ним стада, и всё зарастает ивняком...

Журнал выписала — будем читать! Здоровья Вам и всему творческому коллективу журнала.

С уважением
Галина Старкова
с. Пыщуг

КТО ТЕПЕРЬ ПОСМЕЕТ ОБВИНЯТЬ СТАЛИНА В ДЕСЯТКАХ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ?

В издательстве газеты “Аргументы недели” вышла книга повестей и рассказов Вячеслава Щепоткина “Разговор по душам с товарищем Сталиным”. Вячеслав Щепоткин — давний автор журнала “Наш современник”. Его повести, а также целый ряд рассказов впервые увидели свет на страницах журнала, и читатели по достоинству оценили их. Но главная повесть, давшая название всему сборнику, — “Разговор по душам с товарищем Сталиным” — привлекает особое внимание. Дело в том, что здесь, может быть, впервые в советской российской художественной литературе, на основе ранее закрытых, а сейчас доступных архивных данных приводятся точные сведения о количестве осуждённых в стране с 1921-го по 1953 годы. И эти сведения разбивают в пух и прах многолетнюю клевету антисталинистов, начиная с Хрущёва, Волкогонова, Солженицына и прочих о десятках миллионов жертв так называемого “большого террора” 1937-1938 годов, организованного Сталиным.

Обо всём этом подробно рассказано в книге Вячеслава Щепоткина, которую можно приобрести в редакции журнала “Наш современник”.

О некоторых подлинных цифрах говорится в недавней заметке, опубликованной в газете “Аргументы недели” (№ 33, 2019), которую я хотел бы привести полностью.

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН

“ГДЕ ЖИВЁТ ДУША ТОВАРИЩА СТАЛИНА?”

После выхода в издательстве “Аргументы недели” небольшой заметки “Разговор с товарищем Сталиным. По душам”, в которой рассказывалось о книге Вячеслава Щепоткина, произошло невероятное. Звонки, письма: “Спасибо вам за правду о великом человеке”, “Из каких источников автор взял цифры жертв репрессий, которые значительно отличаются от официально-пропагандистских?”

Самой большой ложью XX века надо признать ложь о количестве жертв так называемого “Большого террора” 1937-1938 годов и прямом участии в них Иосифа Джугашвили. Или товарища Сталина.

Начиная с правления Хрущёва “со скошенными к носу от вечного вранья глазами” историки, журналисты как будто стремятся перещеголять друг друга. “Мемориал” — 12 миллионов невинно репрессированных. Александр Яковлев — 32 миллиона. У Роя Медведева — аж 40. Но во вранье всех перещеголял **“вермонтский отшельник” Солженицын — 55 миллионов!** Треть населения огромной страны. Ныне книги этого писателя-“фантаста” изучают в школах...

Разоблачил эту ложь доктор исторических наук Виктор Земсков. Кстати, считавшийся в литературных кругах антисоветчиком. За этот антисоветизм, возможно, его в 1989 году и пригласили в состав комиссии по определению потерь населения Отделения истории АН СССР. Учёные получили доступ к статистической отчётности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, хранившейся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Все “Коротичи” надеялись, что он как даст сейчас миллионов сто или двести!

Земсков дал: “В период с 1921 по 1953 год в СССР “за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления” были осуждены **4 060 306** человек, из которых к высшей мере наказания были приговорены **799 455** человек”. По результатам исследования было установлено,

что максимальное общее число заключённых в лагерях за всю советскую историю было зафиксировано по состоянию на 1 января 1950 года – **2 760 095** человек, а в среднем численность заключённых колебалась от 1,5 до 2,5 миллиона человек”.

Историка Виктора Николаевича Земскова не стало в 2015 году. Он достойно пережил травлю, которую развернули против него любители “свободы слова”. Настоящий русский Учёный.

Вот на этой научной базе (и не только!) крепко стоит повесть Вячеслава Щепоткина “Разговор по душам с товарищем Сталиным”.

...Начало двухтысячных. Филиал крупной страховой компании, в которой “жизнь” столкнула начальницу, внучку прибалтийского убийцы евреев из “лесных братьев”, и потомка офицера НКВД, еврея, кстати, которому “сам Ежов” орден вручал. А потом “прозвучал приговор трибунала”. Эти двое ненавидят Сталина. Ненависть их иррациональна и слепа.

Два друга – **Илья Игумнов** и **Олег Буянов**, бывшие оборонщики, а ныне компьютерщики, стараются быть более объективными. Игумнов много лет занимается анализом той эпохи. А Буянов участвовал в спиритическом сеансе, на котором вызвали парящий дух Сталина. Они пытаются убедить первых в том, что не всё так однозначно в этом мире. Ещё есть молодая массовка – от парня, воевавшего в Чечне, до куклы набитой, которая мечтает о машине. Ради этой массовки, собственно, и затевается спор, во время которого автор щедро плещет на читателя малоизвестными историческими фактами. Например, кто же на самом деле придумал пресловутые “расстрельные тройки”. Сталин? Или нет? Ах, и где всё-таки душа вождя всех народов? Стучите, то есть читайте, – и откроется вам...

Александр Григорьев

* * *

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Обращается к Вам многолетняя подписчица журнала из г. Пущино, зовут меня Кривенко Татьяна Павловна. Я старалась не пропускать все встречи с Вами и Сергеем Станиславовичем в нашем городе и на мероприятиях в Москве.

После долгих сомнений решила обратиться к Вам, Станислав Юрьевич, с личной просьбой, вероятно, нескромной и самонадеянной. Прошу Вас прочитать посылаемую книгу, мою попытку переложения “Слова о полку Игореве”. Или порекомендовать, к кому можно обратиться с такой просьбой. Мне нужно только одно: узнать мнение знающего эту тему литератора – полезен ли такой труд, имеет ли он право на жизнь? Я любитель в чистом виде, мне представляется, что “очищенное” от “тёмных мест” Слово стало доступнее для понимания новым читателям.

Хочется, конечно, надеяться, что, несмотря на сверхзанятость, Вы сможете помочь мне, дорогой Станислав Юрьевич, советом или самым коротким отзывом. Но если не сможете, не страшно, стало быть, просто не судьба. Со мной в любом случае остаётся великая радость, что есть такой необходимый сегодня журнал, как “Наш современник”. С особым интересом отслеживаю публицистику, мемуары, поэтические странички, не устаю удивляться, каким образом редакции удаётся находить в теперешней-то жизни таких необыкновенно одарённых и сердечных авторов? А майский номер с неослабевающим вниманием прочла весь, от корки до корки! Спасибо редакторскому коллективу и Вам, многоуважаемый Станислав Юрьевич, за подвижнический, титанический труд. Берегите себя, будьте здоровы. Люблю вас всех, люблю журнал. Мне уже много лет, давно на пенсии, образование техническое высшее.

Кривенко Т. П.

г. Пущино Московской области,

От редакции: Поздравляю Вас, Татьяна Павловна, с большой удачей – Вы талантливо и вдохновенно перевели “Слово о полку Игореве” на современный язык.

Всего доброго. Ваш **Ст. Куняев**

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

15 января 2020 года исполняется 95 лет со дня рождения замечательного русского писателя, лауреата Государственной и многих литературных премий Евгения Ивановича Носова.

Он целый ряд лет был членом редколлегии Вашего журнала, через Ваше издание прошли многие его произведения. У нас в городе многое сделано для увековечивания его памяти. Издан пятитомник его сочинений, но, к сожалению, все 3 тыс. экз. остались в Курске, в другие города мы посылали только отдельным людям по их просьбе. Поэтому очень бы хотелось, чтобы Ваши читатели ещё раз обратились и к его творчеству, и к материалам о нём. Мы можем предложить Вам напечатать переписку прозаика из Белгорода Льва Конорева (у Вас печатались его воспоминания) и научного сотрудника Литературного музея Евгении Дмитриевны Спасской. Они вместе готовили книгу его рассказов в Белгороде “Костёр на ветру”. В их письмах можно заново почувствовать обаяние личности нашего Мастера. Можно прислать воспоминания Спасской – я в течение 20 лет помогала Евгению Ивановичу в работе. Можно прислать репродукции его живописных работ и графические рисунки. Будем ждать Вашего ответа и тогда пришлём сами материалы. А, может быть, можно напечатать какой-либо из его последних рассказов, которые ранее у Вас не печатались или несколько миниатюр? В интернете этого почти нет, в случае Вашего согласия мы их пришлём.

С уважением и надеждой на положительный ответ
Евгения Дмитриевна Спасская

* * *

Уважаемый Александр Иванович!

Я вспоминаю конец восьмидесятых – начало девяностых годов. Какое же это интересное время! Холодное, голодное, но это было время больших надежд и ожиданий. Каждый день был интересен различными встречами и собраниями.

Помните! “Российские встречи” в Ленинграде–С. Петербурге, огромные стадионы и концертные залы, заполненные до отказа любителями русской словесности.

А какие были политические страсти! Наш ЛРПД “Отечество” выдвигало кандидатов в Ленсовет, но практически никто не стал депутатом, так как нас считали “русскими фашистами” и “краснокоричневыми” – ведь Вам всё это хорошо знакомо.

А приезд редколлегии журнала “Наш современник” в Ленинград превратился в грандиозное событие.

Восторженные встречи, восторженные лица и долгие, долгие овации, тем более, что это наш родной и любимый журнал, который я и вся наша большая семья выписывали и читали на протяжении трёх десятков лет с середины восьмидесятых годов. О! Сколько же мы прочитали прекрасных произведений – просто нет возможности перечислить!

Вся моя жизнь прошла под впечатлением от всего прочитанного. Не побоюсь сказать, что журнал – это мой учебник жизни.

Александр Иванович, все ваши работы я читал в первую очередь, и всё помню.

Спасибо огромное за то, что Вы есть на свете. Низкий поклон Станиславу Юрьевичу, а также всей вашей редакции и редколлегии журнала.

С уважением и любовью,
Волков Николай Петрович,
г. Гатчина.

P.S.: Давно собирался Вам писать, но наконец-то сподобился. Ваши работы, которые остались в памяти:

1. Возвращение масс; 2. Россия над бездной; 3. Симулякр, или стекольное царство; 4. Дневник современника.

Дорогой Станислав Юрьевич!

Только что подошёл 9-й “НС”, а там обширная подборка откликов на тридцатилетие Вашего главредаторства любимого журнала. Я тоже сердечно поздравляю Вас с этой важной датой! Вы, Станислав Юрьевич, создали много прекрасных стихотворений, Вы написали много замечательных книг, но главный подвиг Вашей жизни – “Наш современник”, журнал воистину народный православный, как справедливо сказал Владимир Крупин, “журнал, спасающий Россию”.

Я горжусь, что с тех пор, как первая подборка моих стихотворений была напечатана ещё в 1982 г. в 8-м номере, я вот уже 37 лет автор “Нашего современника”. Сейчас это единственный в России литературный журнал, откликающийся на боль людскую “от Москвы до самых до окраин”. (Другого такого журнала я просто не знаю.) И Вам, чуткому добросердечному бесшумному главному редактору-патриоту, не может не поклониться каждый русский читающий человек.

Уже три десятка лет я активный пропагандист и популяризатор “Нашего современника”, предлагаю всем подписываться и читать его, говорю о его содержании, о его авторах всегда и везде, где только предоставляется возможность. К примеру, если мне устраивают встречу с читателями, моё условие, чтобы в объявлении или афише было, что я прежде всего автор “Нашего современника”, а потом уже поэт, член СПР и т. д.

Большое спасибо за неожиданную для меня публикацию моей статьи о Пушкине. Эта публикация подтвердила, что отстаивать имя великого русского поэта – дело не только моё личное. Не написал сразу потому, что надеялся, что публикация в таком авторитетном всероссийском издании поможет изменить отношение местной власти к гению, хотелось написать о результате. Ничего! Новая зав. библиотеками Владивостока (прежний ушёл преподавать в вуз), когда я к ней пришёл, мол, на всю страну ведь о вашем безобразии пишет лучший журнал России, хоть вывеску дурацкую снимите, а она мне, глазом не моргнув: это не журнал пишет, это Вы пишете в журнале, не будем мы ничего снимать.

Я и об этом ещё не раз выступал, но ничего не меняется. И шедевр Аникушина, бюст Пушкина, где-то валяется, может, китайцам уже продали – ведь бронза. Зато в год 220-летия Пушкина стены многоэтажек Владивостока украсили портретами Мандельштама, мало нам, оказывается, двух памятников Мандельштаму.

Как великолепны главы о Кожинове из книги Вашего Сергея! Он не просто превосходно объясняет выдающегося человека в контексте его времени, он отлично осмысляет само время Вадима Кожинова. Я с нетерпением жду каждой публикации, с удовольствием читаю и думаю: в какого глубокого умного литератора вырос Ваш сын! Дай Бог ему здоровья и благополучия!

Очень интересен молодёжный номер. Из прозы наиболее “литературен” рассказ Юрия Лунина “Три века русской поэзии”. Замечательно, что редакция организовала в журнале обсуждение такого рассказа. Это хорошая возможность литературной учёбы. Но меня из прозы больше впечатлила повесть Ирины Михайловны “Я не боюсь”. Рассказ Лунина от литературы. Повесть Михайловой от жизни, о поколении, созревшем, чтобы взять на себя ответственность за страну. Автор показывает, какое оно, поколение.

А в поэзии лучшее – это стихи Натальи Ивановой. Какая сочность строк! Какое яркое образное поэтическое видение! Какое восторженное восхищение жизнью! И художественные подобию неожиданные, исключительные, точные: “Ливня кручёную нить, // Чтобы скрепить горизонта неровные грани”. А о себе как: “Гоните, аки ведьму, милые: // Я царствовать могу с излишком”. Весь задорный женский характер в этом откровении! А какая опора на народное традиционное бытие: “Ладно уложены бревна, // И под угол передний запряганы гривны и ладан”. Чудо! Вот уж действительно – “Наши надежды”!

Меньше всего из “Наших надежд” понравился Андрей Антипин. Претензии много, а по сути... К примеру, с чего он взял параллель между стихами Вашими и неизвестного мне Кутилова. Ваше стихотворение исключительной точности слова, меры, пропорции. Краткие предложения первой строфы – выхваченные штрихи памяти естественно складываются в развёрнутую картину

воспоминания. Восхитительная аллитерированная строчка в начале второй строфы “В эту ночь я ночую в ночном”, и сразу смысловый ключ: “Распахнулись миры надо мною”. Вся эта строфа — как коромысло равновесия крайних строф. И всё органично, естественно, как выдох.

Но тут ещё хоть спорить можно. А вот убеждение этого автора о “всемирно любимом поэте”, “нашем национальном певце” — “непоколебимое”, “беспорное”, “непереубеждаемое” убеждение. Оно в очередной раз подтверждает, что Россию умело заразили такой холерой, как этот, по слову автора, “всенародный поэт” со всеми его алкогольными, наркоманными, блатными, эковскими хрипящими песнопениями. Ну не желают такие вот “высоцкоманы” знать, что каждая песня этого “всенародного” — в лучшем случае его актёрская роль, не имеющая отношения к Поэзии. В конце концов, и “Гоп со смыком” или “Мурка” тоже ведь “народные” песни, но не с ними народ победил фашизм и поднялся в космос.

Ещё раз горячо поздравляю Вас с тридцатилетием труднейшего служения на державном посту главного редактора лучшего журнала нашей любимой России.

Всего Вам доброго! Мой привет и все хорошие пожелания редакции. Живите долго. Храни Вас Бог!

Кланяюсь,
Б. Лапузин,
г. Владивосток

АЛЕКСАНДР БЕЛОНЕНКО

директор Свиридовского института

ШОСТАКОВИЧ И СВИРИДОВ: К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Международное признание Д. Д. Шостаковича достигло своего пика летом и осенью во второй половине 1958 года. После поездок в Италию и Францию композитор посещает в конце июня Лондон и Оксфорд, где ему вручают мантию и диплом почётного доктора Оксфордского университета. Затем в октябре ему вручают в Хельсинки премию им. Я. Сибелиуса.

Что касается пребывания композитора в Англии, то центральные советские газеты как-то обошли его вниманием. Присвоение звания доктора *honoris causa* советскому композитору в Оксфордском университете – значительное культурное событие, ничуть не уступающее почётным наградам, полученным композитором в Париже и в Риме. Но что-то не срослось... Притормозили в каком-то из отделов ЦК КПСС, быть может, по рекомендации того же КГБ. Не желая отнимать хлеб у шостаковичеведов, оставляю за ними право изучать эту проблему. Из того, что мне удалось найти, могу сказать, что с английским турне у Шостаковича что-то не ладилось задолго до его поездки.

В мае 1958 года планировалась премьера Одиннадцатой симфонии в Лондоне. Скорее всего, под присвоение почётного звания в Оксфорде. Однако исполнение состоялось 22 января 1958 года в Королевском Фестивальном Зале (The Royal Festival Hall). Исполнители – симфонический оркестр Би-Би-Си под управлением сэра М. Сарджента. Как выяснили дотошные английские газетчики, симфония прозвучала “неожиданно для всех, почти безо всяких объявлений, <...> неделю спустя после получения в Англии её партитуры”¹. Такая поспешность могла быть объяснена намерением провести премьеру до начала работы Комитета по Ленинским премиям в февральскую сессию. Возможны и какие-то иные объяснения, связанные с изменением плана авторитетного дирижёра Малколма Сарджента или еще по каким-то иным соображениям.

Но важно другое. Судя по прессе, новая симфония Шостаковича вызвала в Лондоне противоречивый приём. Популярный журнал “Музыка и музыканты” (Music and Musicians) после её исполнения откликнулся уважительно, но сдержанно: “Одиннадцатая симфония <...> является ещё одним достижением советского композитора Шостаковича. На основе простого материала (нескольких народных песен и мелодий, ассоциирующихся с революцией 1905 года) композитору удалось создать большое значительное произведение героического плана”.

Ещё более сдержанно об исполнении Одиннадцатой симфонии в Англии отозвался один из чехословацких журналов в своём обзоре “Письмо из Лондона”: “Симфония была принята со смешанным чувством и не вызвала такого безоговорочного признания, как предыдущая X симфония. То, что это

произведение не произвело на лондонских слушателей такого впечатления, как на советских, вполне объяснимо. Мастерски инструментованная и целенаправленная музыка по своим размерам и сложной структуре показала англичанам неправомерной по отношению к материалу. Вполне естественно, что революционные песни и русские мотивы, на которых построена симфония, производят на русских гораздо большее впечатление, ибо ассоциируется у них с определёнными историческими событиями. В Лондоне эту симфонию будут рассматривать и оценивать с чисто музыкальной точки зрения”.

Потом произошёл незначительный инцидент с приглашением. Оксфордский университет направил официальное письмо Д. Д. Шостаковичу, на которое композитор сначала ответил отказом. Университетское руководство было или удивлено, или обижено, Шостаковичу позвонили, рассказали, как будет проходить церемония, что с его стороны опасения напрасны. В результате Дмитрий Дмитриевич согласился и послал соответствующую телеграмму. Выяснял ли отношения Шостакович сам, по своей инициативе, или перед этим консультировался с кем-либо из компетентных лиц, остаётся неизвестным. Этот инцидент описан в кратком письме из английского посольства в Москве в Северный департамент Министерства иностранных дел Великобритании. Привожу этот текст по подлиннику, хранящемуся в Национальных Архивах Великобритании.

Посольство Великобритании,
Москва
№ 1754/26/3. 26 марта 1958 г.

Дорогой Департамент,
Спасибо за ваше письмо № 1754/8 от 17 марта о приглашении Оксфордского университета Шостаковичу принять почётную степень в празднование годовщины (Epsaenia) 25 июня.

Мы связались с Шостаковичем, который, по-видимому, не совсем понял, в чём дело; у него сложилось впечатление, что 25 июня состоятся выборы на почётную должность, на которую его выдвигают в качестве кандидата. Он, очевидно, был не слишком заинтересован в том, чтобы пройти весь этот путь с вероятностью, что его не изберут! Мы успокоили его, и теперь он отправил телеграмму о своём согласии в Оксфордский университет.

Неизменно ваш,
Канцелярия (подпись)

Северный Департамент
Министерство иностранных дел,
Лондон².

22 июня Шостакович пишет с дачи в Болшево следующее письмо Исааку Гликману:

“Дорогой Исаак Давыдович! Завтра отправляюсь в Лондон, а затем в Оксфорд, где будет происходить церемония присуждения мне степени доктора. Церемония будет происходить 25 июня. А 27-го июня отправляюсь домой. Полечу на этот раз один, т. к. Маргарита³ занята экзаменами. Напиши мне, какие у тебя планы на лето. У нас дело обстоит так: Галя до августа уезжает на практику в Рыбинск. Остальные, плюс сестра Маруся поедут в Рузу. В Комарово в этом году не поедет. Кланяйся всем твоим.

Твой Д. Шостакович⁴.”

Обращает на себя внимание указанное в письме известие, что Шостакович едет один, без супруги. Вроде бы ничего особенного, вроде есть и объективная причина, но такие детали имеют порой свою не известную непосвящённым, скрытую подоплёку.

Визит Шостаковича в Оксфорд довольно подробно и красочно описан Исайей Берлином в письме его другу Роуленду Бертону-Мюллеру. Это письмо переведено на русский язык и его довольно часто цитируют. Отсылаю читателя к публикации на русском⁵. Письмо Берлина Бертону-Мюллеру читается, как литературное произведение. Берлин был не только талантливым литератором, прекрасным стилистом, но и весьма наблюдательным человеком. В письме есть всё: мельчайшие детали происходящего, поведение людей,

личная интонация, настроение, наконец, выукло, достаточно реалистично представлен сам Шостакович.

Очень живо описано начало визита Дмитрия Дмитриевича, его прибытие в сопровождении двух молодых чиновников из советского посольства. “Сначала в нашу гостиную прибыл очень жёсткий и прямолинейный, довольно красивый молодой советский чиновник, который сказал: “Я хочу представиться. Меня зовут Логинов, композитор Д. Д. Шостакович в машине. Нам сказали, что вы ждёте его в 4:00. Сейчас 3:00. Вы хотите, чтобы он остался в машине, или что?” Мы объяснили, что ожидали его в 3:00, и было бы вполне допустимо, чтобы он сразу вошёл. После чего автомобиль был торжественно загнан, другой советский чиновник выскочил, и, наконец, сам композитор появился, маленький, застенчивый, как химик из Канады (западные Штаты), ужасно нервный, с подёргиванием, играющим в его лице почти постоянно, — я никогда не видел, чтобы кто-то так испугался и был раздавлен за всю мою жизнь, — он вновь представил двух советских чиновников как “моих друзей, моих великих друзей”, но после того, как он был с нами некоторое время, и советские чиновники были убраны с дороги, он никогда не называл их снова, но только как “дипломаты”. Каждый раз, когда он упоминал их, на его лице появлялось любопытное выражение тоски...”

Из этого описания ясно одно: Шостакович прекрасно понимал, что собой представляли сопровождавшие его советские чиновники, из тех, кого в своё время А. И. Герцен назвал “явно тайными”⁶. Думаю, что в Англии Дмитрий Дмитриевич мог испытывать досаду, что прибыл туда один, без сопровождения жены.

И тут же Берлин описывает буквально преображение композитора, когда после исполнения виолончельной сонаты Ф. Пуленка, присутствовавшего на этой встрече, Дмитрий Дмитриевич садится за рояль и начинает играть своё сочинение. “Шостакович молча поднялся и пошёл к фортепиано. Он сыграл прелюдию и фугу, у него, как и у Баха, их 24. Сыграл так блестяще, с такой глубиной и страстью, да и сами произведения были столь восхитительны, столь серьёзны, оригинальны и незабываемы, что опусы Пуленка показались сухой ерундой, не стоящей внимания. <...> Во время игры с Шостаковичем произошла удивительная перемена. На его лице не осталось ни страха, ни робости, а была лишь потрясающая целеустремлённость и подлинное вдохновение. Наверное, такие лица были у композиторов XIX века, когда они исполняли свои произведения. Теперь же, в XX веке, на Западе такого не увидишь”.

В конце письма И. Берлин пытается представить психологическое состояние Шостаковича и его положение. “Ужасно видеть, — делится он со своим конфидентом, — как гений становится жертвой режима, как он раздавлен, как спокойно принимает свою судьбу, считая её совершенно обычной, как напуган и боится до такой степени, что готов жить чужой, не свойственной ему жизнью, как протест, чувство собственного достоинства и всякое сопротивление извлекаются из его души, точно пчелиное жало. Как он уверен в том, что несчастье — это счастье, а пытка — повседневная жизнь”.

Исайя Берлин знал о советской жизни не понаслышке. Покинув в 1921 году двенадцатилетним мальчиком Советскую Россию, он вернулся в Москву в 1945–1946 годах, где работал в качестве второго секретаря британского посольства в СССР. Встречался с русскими писателями, в том числе с Б. Пастернаком и А. Ахматовой. Позже ещё посетил Советский Союз. Описал эти встречи в своём эссе “Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 г.”. Но даже ему, человеку начитанному, с богатым жизненным опытом, теоретику либерализма, понимавшему, как живёт советская интеллигенция, не могло прийти в голову, каково было настоящее положение Шостаковича.

Мне рассказывал Георгий Васильевич об одном откровенном разговоре с Шостаковичем после устроенного дома у Дмитрия Дмитриевича прослушивания только что завершённой 11-й симфонии. Присутствовали близкие Шостаковичу музыканты, исполнители его произведений. И вот когда все ушли, Свиридов с Шостаковичем сели за накрытый стол, и у них начался долгий разговор по душам. Дмитрий Дмитриевич поделился своим замыслом, признался, что новая симфония навеяна не только прошлым, но и текущими событиями в Венгрии⁷, а потом стал рассказывать о прожитом, вспомнил своё детство, вспомнил, как он внимательно читал на улице проскрипционные списки приговорённых в ВЧК к расстрелу, стал вспоминать свои ранние голодные

годы после смерти отца, свою мать, на плечи которой упала вся семья, как она следила за каждым шагом своего любимого Мити, опекала его. Вспоминал и пережитые страшные 1930-е годы. А потом Дмитрий Дмитриевич стал оценивать весь свой творческий путь, и, обычно сдержанный, неожиданно откровенно, в сердцах, разволновавшись, стал проклинать свою судьбу, сетовать на то, что, как он сам признался, “продал свой талант”. Свиридов давно знал Шостаковича, они были близки и доверяли друг другу. Но такого откровения Свиридов никогда не слышал от своего старшего коллеги. Он запомнил эту встречу.

Шостакович был абсолютно замкнутый, закрытый человек. “Однажды, – вспоминал Свиридов, – это было в Ленинграде у нас дома, он сказал про себя: “Моя жизнь (или мой девиз, или моё правило, что ли) – одиночество на людях”⁸. Он действительно боялся “недреманного ока” государева, как и многие люди из интеллигенции в сталинское время, особенно неспокойно он чувствовал себя за границей, где его поджидали наивные, а порой и провокационные вопросы, на которые ему нужно было давать обтекаемые или абсолютно “правильные” ответы, к которым не могли бы придраться сопровождавшие его бдительные люди в штатском.

При этом Шостакович прекрасно осознавал свой талант и умел мастерски его продавать. И он понимал, что покупателем его несравненного дара был сам Хозяин и его помощники. Как человек номенклатуры, он находился под постоянным наблюдением. Его окружали соответствующие люди, в том числе и музыканты, критики, некоторые близкие из его прямого окружения и даже бывшие с ним в родстве, чью вторую функцию он или знал или постигал своим невероятно острым умом. Но он имел высочайшее покровительство, иначе он бы не сумел написать то, что было продиктовано его *свободным* воображением. Поэтому “протест, чувство собственного достоинства и всякое сопротивление” отнюдь не были извлечены из его души. Это ясно, отчётливо слышно в его лучших творениях сталинской эпохи, в 4, 5, 6, 7 и 8 симфониях, в его скрипичном концерте, в его вокальном цикле из английской поэзии. И достаточно послушать его цикл “Из еврейской народной поэзии”, чтобы ясно понять, что для него несчастье отнюдь не было счастьем, а повседневная жизнь была порой мучительна, как пытка, но в ней бывали и отрадные, светлые минуты, хотя и редко встречающиеся в его сочинениях. Он находил в себе душевные силы для весёлой, жизнерадостной шутки, как в финале Шестой симфонии, но есть и страницы, наполненные сарказмом и горечью, есть и гротеск.

Он мог бояться рядового чекиста за рубежом, но он мог обращаться (и обращался неоднократно!) за помощью к самому Лаврентию Павловичу Берия. И знал, что в этой помощи всесильный министр ему не откажет. Шостакович писал музыку к фильмам для вождя, к его 70-летию со дня рождения писал ораторию. Шостакович был лауреатом пяти Сталинских премий. Он был не просто рядовым, а первым композитором, ценимым самим вождём. Так что говорить о том, что Шостакович был жертвой режима, не приходится. Он прекрасно понимал, в какой стране он живёт. Он был напуган ещё с детских лет терроризмом новой власти, он с первых шагов своего успеха ещё в 1920-е годы стал объектом внимания со стороны государства, тем не менее, получил *тайную* безопасность, ему были созданы условия для творчества, и даже когда в 1936 году газета “Правда” его поругала за политически неугодный спектакль, а в 1937 году он на миг попал в жернова адской машины ОГПУ, той же невидимой властной рукой вождя он был не только не раздавлен, но сумел достичь и творческих высот, и высокого положения.

Принимал ли он спокойно свою судьбу, как утверждал И. Берлин? Вовсе нет, он жил в постоянном напряжении и ни на минуту не успокаивался, часто испытывая чувство тревоги. Обладая мастерским умением *казаться*, он мог выглядеть одновременно и маленьким, забитым человечком, что-то вроде Акакия Акакиевича Башмачкина, и одновременно – весьма жёстким, волевым человеком. Его выступления на всякого рода собраниях, от заседаний правления Союза композиторов СССР до пленарных заседаний Комитета по Сталинским премиям, красноречиво свидетельствуют, что Шостакович умел отстаивать и настаивать на своей точке зрения, невзирая на лица.

Он жил не то что двойной, а тройной жизнью. И это не было похоже на породство, на двойничество, на “подпольного человека”. Он ненавидел режим,

ненавидел Сталина, или, как вождя называли втихомолку в доверительных беседах, Усача или дядю Джо. В то же время композитор служил вождю верой и правдой. Он создал грандиозные и небывалые по силе правды музыкальные картины, выразив в них саму эпоху, само время. Одновременно он сотворил один из великолепных в духе сталинского ампира музыкальных “фасадов” советской империи, построил некие музыкальные дворцы, похожие на сталинские высотки в Москве.

При всём своём уме и наблюдательности Берлин (да и не только он) не смог разгадать в Шостаковиче совершенно новый тип человека, рождённого невиданным в новейшее время режимом. Никакой нормативной этикой не описать его поступки, его намерения, его дела. Много загадок ещё остаётся в жизни Шостаковича. В ней было столько всего разного, противоречивого, что хватит не на одну биографию. Мы подходим к одному из витков, резких поворотов на его жизненном пути. И события 1958 года играют исключительную роль в этом повороте.

Так и непонятно, почему визит Шостаковича в Оксфорд не получил освещения в советской прессе. И хотя сам Берлин в письме другу сообщает, что он “был утверждён советским посольством как официальный представитель администрации Университета, и эта моя близость к властям его (Шостаковича. — А. Б.) успокаивала”, тем не менее, нельзя исключать, что Исае всё же не было оказано полное доверие со стороны советских властей. Его общение с видными советскими литераторами не могло остаться незамеченным со стороны советских секретных служб, а его эссе “Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 г.”, его публичные лекции и высказывания политического характера вовсе не давали повода ему доверять. С другой стороны, обращает на себя внимание упомянутый в письме Берлина инцидент с Британским советом. Действительно, в 1958 году отношения между Советским государством и Британским советом были далёкими от взаимопонимания. Незадолго до визита Шостаковича в Англию и. о. Председателя государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами А. Кузнецову пришлось отвечать Британскому совету по поводу отказа Совета от сотрудничества с СССР⁹. И это обстоятельство тоже могло сыграть свою роль в умолчании.

Тем не менее, осечка с Британским советом никак не повлияла на намерение Хрущёва убедить западных партнёров в необходимости проведения совещания с участием глав правительств о прекращении испытаний атомного и водородного оружия. 17 июня газета “Правда” публикует очередное послание Н. Хрущёва президенту США Д. Эйзенхауэру от 11 июня и точно такие же по тексту послания премьер-министру Великобритании Гарольду Макмиллану и президенту Франции Шарлю де Голлю¹⁰.

В этом же номере газеты опубликованы и предложения Советского правительства по вопросам, выдвигаемым к рассмотрению на совещании с участием глав правительств от 5 мая 1958 года. И тут же на третьей странице приводятся тексты памятной записки и предложений западных держав, которые вручил министру иностранных дел СССР А. А. Громыко посол Великобритании в Москве П. Райли ещё 28 мая 1958 года.

Памятная записка несколько обнадеживала: “Правительства Соединённых Штатов Америки, Соединённого Королевства и Франции, после рассмотрения памятной записки Советского Правительства от 5 мая, пришли к выводу, что позиции Правительств в отношении цели переговоров между Послами трёх западных держав и Советским Министром Иностранных Дел, а также последующего совещания Министров Иностранных Дел достаточно близки для того, чтобы можно было незамедлительно приступить к подготовке по существу возможного совещания на высшем уровне”.

В предложениях был примечательный параграф 8: международные обменны. В нём говорится: “Прочный мир требует удовлетворительного решения проблем, касающихся общих отношений между народами Восточной Европы и народами западных стран. Был бы сделан важный шаг вперёд на пути взаимопонимания, если бы заинтересованные правительства согласились устранить препятствия, ещё мешающие народам узнавать друг друга, удовлетворить общие стремления всех людей путём гарантирования им возможности получения объективной и полной информации и путём содействия более тесным культурным связям и человеческим отношениям.

В июле 1953 г. на Женевском совещании Главы Четырёх Правительств включили этот вопрос в директивы, данные министрам иностранных дел. Хотя с того времени и был достигнут некоторый прогресс в определённых областях, остаётся сделать многое, чтобы устранить препятствия, которые ещё мешают взаимному ознакомлению и пониманию – условиям для длительного и подлинного мира”.

Увы, как “длительного и подлинного мира”, так и устранения препятствий, мешающих “взаимному ознакомлению и пониманию”, в конечном итоге достичь не удалось, “холодная война” продолжилась, но сама по себе публикация предложений в советской прессе была весьма симптоматична для тех дней. И надо же так случиться, что эта публикация вышла за неделю до визита Д. Д. Шостаковича в Великобританию. . .

Заминка с вручением звания почётного доктора Оксфордского университета Шостаковичу, конечно, никак не отразилась на реноме советского композитора у себя дома. Любопытно, что во время его пребывания в Англии в газете “Советская культура” ни разу не упоминается его имя в публикациях, посвящённых Постановлению ЦК КПСС от 28 мая 1958 года “Об исправлении ошибок. . .”

Поток этих публикаций со славословиями в адрес ЦК КПСС не прекращался в течение всего лета 1958 года. Умолчав о пребывании Шостаковича в Англии в номерах от 24 и 26 июня¹¹, газета “Советская культура” за эти дни на первых страницах поместила победные рапорты о разного рода собраниях, посвящённых новому Постановлению ЦК КПСС, но все они содержали в основном отчёты о деятельности той или иной творческой организации или декларативные прославления мудрой политики партии за её заботы об искусстве. Газета от 28 июня, в день возвращения Шостаковича из Англии, опубликовала подборку из кратких информационных подобного рода о собраниях под общей шапкой: “Идеи Коммунистической партии – основа развития советской музыки”. И ни слова о композиторах, обвинённых в Постановлении ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1948 года. Только секретарь ССК СССР С. Аксюк ограничился одной общей фразой по поводу Постановления 1958 года: “Положен предел случайным, навязанным оценкам явлений советской музыки”.

Другие газеты также практически не упоминают в эти дни имя Шостаковича.

Исключение составила только газета “Известия”. Здесь имя композитора упоминается, но весьма своеобразно. В том же номере газеты “Известия” от 18 июня, где помещен ответ А. Кузнецова Британскому совету, на четвёртой странице печатается статья композитора В. Фере “К новому расцвету советской музыки”, а на шестой странице – рецензия композитора Вл. Власова на концерт Леопольда Стоковского. И если в рецензии уделяется место трактовке известным американским дирижёром Одиннадцатой симфонии Д. Д. Шостаковича, то В. Фере даёт этому сочинению высокую оценку в сравнении с вершиной симфонического творчества композитора – Восьмой симфонией: “8-я симфония Д. Шостаковича повествует о событиях Великой Отечественной войны. Она написана с большой искренностью, страстностью, музыка симфонии полна драматизма. Однако композитор увидел лишь мрачную сторону войны – смерть, разрушение, страдания. И хотя перед ним уже вставал облик грядущей победы, он не сумел воплотить его во всей реальности в своей музыке. А в 11-й симфонии, также повествующей о трагических событиях (9 января 1905 года), композитор с огромной силой выразил веру народа в будущее, сумел в поражении увидеть зерно будущего революционного взлёта, будущей победы. Это – свидетельство большого идейного роста талантливого композитора, сумевшего отобразить события с позиций народных, партийных”.

Такое неловкое сравнение объясняется оценкой В. Фере партийных постановлений 1948 и 1958 годов. Вполне уважаемый композитор, секретарь ССК СССР, в молодости увлечённый идеями Ассоциации современной музыки, Фере считал возможным публично высказаться о непреходящем значении Постановления 1948 года и его положительном влиянии на творчество композиторов-“формалистов”. Вот его точка зрения: “Новый партийный документ (Постановление 1958 года. – А. Б.) напоминает об основополагающих ленинских принципах партийного руководства литературой и искусством. Он не пересматривает смысла, духа, ведущих идей постановления ЦК

от 10 февраля 1948 года, а, отметая всё наносное, субъективистское, противоречащее духу этого решения, с новой силой утверждает незыблемость ленинских принципов.

В чем смысл решения ЦК об опере “Великая дружба”? Партия звала советских композиторов на борьбу против буржуазного формалистического направления в искусстве. Постановление ЦК в 1948 году было направлено против мнимого “новаторства”, против гнилой “теории”, гласящей, что народ якобы ещё “не дорос” до понимания произведений нового искусства, против формалистических тенденций, проявившихся в некоторых произведениях советских композиторов, против индивидуализма, предвзятой усложнённости музыкального языка”.

По мнению Фере, композиторы-“формалисты” отреагировали положительно на Постановление 1948 года в своём творчестве. “И Дмитрий Шостакович, когда-то написавший надуманную, отвлечённую 2-ю симфонию (“Посвящение Октябрю”), – утверждает Фере, – и в наше время выступил с циклом хоровых поэм, посвящённых революции 1905 года, ораторией “Песнь о лесах” и “Праздничной увертюрой”, в которых он обращается к самой широкой массе слушателей и говорит понятным для народа языком”. Отсюда и его сравнение Восьмой симфонии с Одиннадцатой.

Надо сказать, что летом 1958 года в советской прессе заметен усиленный акцент на Постановлении 1948 года. То ли партийные идеологи сомневались в верном толковании Постановления 1948 года в обществе, особенно среди молодых, то ли политические события побуждали к этому, сейчас уже трудно сказать. Но факт остаётся фактом. Тот же Фере не случайно предупреждает о необходимости воспитания молодого поколения композиторов: “Среди некоторой части молодёжи наблюдается подчас некритическое отношение к буржуазному модернистскому искусству, а подчас и непонимание основополагающего принципа партийного руководства. Всё это говорит о святой обязанности композиторов старшего поколения усилить воспитательную работу среди молодёжи, вести борьбу против модернистских увлечений...”

Одновременно транслировалась идея расширенного толкования Постановления ЦК КПСС 25 мая 1958 года не только в отношении музыки, но и других искусств и литературы. Упоминалось Постановление не только в Академии художеств СССР, но и, к примеру, на Четвёртом съезде Союза художников Грузии. В информации о съезде содержится ставшая в эти дни дежурной фраза: “Новым ярким доказательством заботы партии о развитии советского искусства и литературы является постановление ЦК КПСС “Об исправлении ошибок в оценке опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего сердца”¹². Эта идея, в частности, была озвучена в Ленинграде, в том самом городе, журналам которого был учинён А. Ждановым разнос в августе 1946 года. Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград” от 14 августа 1946 года так и оставалось в силе, его не отменили, и писатели так и не дождались в 1958 году исправления ошибок в нём. И вот 26 июня 1958 года в “Литературной газете” появляется информация о прошедшем собрании литераторов Ленинграда. Как пишет газета, “в Доме писателя имени В. В. Маяковского состоялось общее собрание литераторов Ленинграда, обсудившее постановление Центрального Комитета КПСС “Об исправлении ошибок в оценке опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего сердца”. С докладом выступил ответственный секретарь правления писательской организации А. Прокофьев. – Новый партийный документ, – сказал он, – касается не только работников музыкального фронта. Он имеет прямое отношение и к нам, литераторам, и к деятелям всех других искусств. В нём наглядно предстаёт перед нами неустанная доброжелательная и сердечная забота партии об искусстве. Всё наше искусство партия устремляет на удовлетворение эстетических потребностей народа, на воспитание миллионов строителей коммунизма”¹³.

Лето 1958 года оказалось чрезвычайно насыщенным событиями в культурной жизни. В том числе и по линии культурного обмена. По-прежнему основными направлениями оставались Европа и США. Балет Большого театра выступал в Париже, в то время как балет французской Национальной оперы танцевал на сцене Большого театра СССР. Из Парижа прославленная балетная труппа перебралась в Брюссель. К концу июля – началу августа в Брюссель

постепенно прибывали разные коллективы советских музыкантов – впереди были Дни СССР на Всемирной выставке.

Государственный ансамбль народного танца СССР под управлением И. Моисеева продолжал с успехом гастролировать по городам США. В июне и июле Хрущёв с Эйзенхауэром обменялись очередными посланиями и нотами. В июле произошёл неприятный инцидент – экипаж американского военного самолёта нарушил государственную границу СССР в районе гор. Еревана. 7 июля в городе Астара на советско-иранской границе состоялась передача экипажа представителю армии США¹⁴.

Помимо этих традиционных направлений, советские артисты в это лето выполняли задачу культурно-дипломатической миссии на других континентах и в иных странах. Неутомимый Давид Ойстрах как полпред Советского Союза осваивал Австралию и Новую Зеландию¹⁵. Весьма актуальными были концерты Государственного симфонического оркестра СССР в Пекине¹⁶. Они предваряли важный визит Н. Хрущёва в Китай в начале августа на встречу с Мао Цзедунем.

Из внутривластных событий лета 1958 года наиболее приметным был прошедший 17-18 июня в Москве очередной Июньский пленум ЦК КПСС, на котором Н. Хрущёв огласил очередную новацию в области сельского хозяйства. По его докладу 18 июня Пленум принял Постановление “Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов”¹⁷. Надо сказать, что одни эксперименты Хрущёва в сельском хозяйстве имели положительные стороны, другие заканчивались полным провалом. Отказавшись от МТС в предыдущем Постановлении, заставив нищие колхозы (а их было большинство) купить у станций дорогостоящую сельхозтехнику и забрать механизаторов, Хрущёв привёл их к полному разорению, они неизбежно становились совхозами. Крестьянин становился обычным советским трудящимся. К тому же, убеждённый коммунист, Хрущёв боролся с личными подсобными хозяйствами, которые он рассматривал как пережиток капитализма. Как писал в своё время доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН В. А. Шестаков, “на декабрьском Пленуме КПСС 1958 г., посвящённом итогом развития сельского хозяйства за последние пять лет, Хрущёв отметил, что доход, получаемый от личного подсобного хозяйства, составляет пока ещё значительную долю в бюджете колхозной семьи. В постановлении Пленума было записано, что “с ростом общественного хозяйства колхозов личное хозяйство колхозников будет постепенно утрачивать своё значение”. И, продолжает учёный, “Хрущёв замахнулся на остатки частной собственности людей, но бой этот проиграл. Приняв решение о запрете содержания личного скота, он фактически (возможно, невольно) к середине 60-х годов обострил продовольственную проблему, что явилось одной из причин его смещения”¹⁸.

Эксперименты Хрущёва в сельском хозяйстве раздражали не только партийную верхушку, но и народ, особенно крестьянство. Глухое недовольство могло в любой момент перерасти в открытые бунты – этого больше всего опасались наверху. И хотя явные проявления недовольства были единичными, но всё же и они заставляли власти быть начеку.

О том, что опасения были не напрасны, свидетельствуют своеобразные “подметные письма”, листовки, воззвания, написанные одиночками или от лица каких-то тайных организаций. Вот, например, лозунг некоей “Рабоче-крестьянской подпольной партии”, обнаруженной КГБ в Ростовской области: “Народы всех стран, объединяйтесь в борьбе против коммунизма!” В январе 1958 года от имени этой партии обратился к народу некто Н. Т. Косторный. В его листовке можно найти обвинения не только в адрес лично Хрущёва, но и всей системы советской власти: “Товарищи! Неужели вы не видите хрущёвскую кровавую невзгоду, как народ порабощён и угнетён.

Изверг Хрущёв наложил на рабочего громадные нормы выработки. Изверги ком[мунисты]-кап[италисты] занимаются мародёрством, громадные дерут с рабочего и крестьянина налоги. Ком[мунисты]-кап[италисты] отняли у нас всю волю и свободу! Отнимают всё народное ваше богатство и отсылают неизвестно куда! А жизнь обещают вам потом, но жизни нет уже сорок лет и не будет”¹⁹.

А вот другое анонимное воззвание от лица рабочих городов Молотова, Казани и Кирова, появившееся в Перми (Молотов) в том же 1958 году.

“Воззвание рабочих гг. Молотова, Казани и Кирова!

Мы, рабочие, крестьяне и интеллигенция, во всеуслышание заявляем, что такое нетерпимое тяжкое положение на своих плечах нести не можем. Что получается сейчас? Низкооплачиваемые рабочие по-прежнему не зарабатывают для существования, например, 300 рублей, что можно сделать на 300 рублей? Когда в общественной столовой обед стоит 4–5 рублей, и то еле-еле накушались. В магазинах цены вообще недоступны. Продукты питания в 2 раза дороже, чем в 1939–<19>40 г., и в 8 [раз] дороже, чем в 1928 г. А рабочему и крестьянину жить становится труднее и гораздо труднее.

Поэтому крестьяне и рабочие Молотовской, Кировской [областей] и Татарской АССР требуют:

1. Повышение заработной платы рабочим, как то: кочегарам, подсобным рабочим, слесарям, кладовщикам, коновозчикам, истопникам и тому подобным, которые зарабатывают в месяц 300–400 рублей, ибо за эти деньги на свете жить невозможно.

2. Крестьянам дать полную свободу, чтобы они из деревень не бежали в города (а то в деревне продают свои дома, переселяются жить в город. В Молотове, например, таких 55%). Они же бегут не из-за хорошей жизни?

Спрашивается: за что боролись наши отцы и братцы?

Поэтому молотовский рабочий требует:

1. Снизить цены на продукты питания на 50%

2. Дать крестьянам полную свободу

3. Отменить всевозможные налоги”.

Эти наивные, коряво написанные от руки листовки содержали в себе мысли, а главное – настроения, близкие трудовому люду. Они подпитывали народное недовольство, были чреватые массовыми выступлениями. С ними государство боролось самым решительным образом, подавляло на корню. Помимо репрессивных мер, в дело шло всё, и прежде всего, усиленная пропаганда. Палили из всех пропагандистских пушек по площадям... В том числе и по искусству и литературе.

И всё же, казалось бы, задавленная литература уловила эти умонастроения и пыталась сначала робко, а позже в открытую выразить, чем жил народ, написать правду о его жизни. Этими подземными токами народного самочувствования питалась “деревенская” проза. И та же Поэма памяти Сергея Есенина появилась в середине 1950-х годов, когда в России вновь остро встал крестьянский вопрос.

Из событий в мире стоит отметить, в первую очередь, революцию в Ираке. После переворота Хрущёв незамедлительно посылает телеграмму Абдель Керим Касему об официальном признании правительства Иракской Республики. Одновременно советское правительство выступает с заявлением по поводу событий на Ближнем и Среднем Востоке и вновь настаивает на невмешательстве Запада во внутренние дела Ирака, Ливана и Иордании²⁰. И вновь возникает очаг напряжённости, вновь идея сближения с Западом подвергается испытаниям. Хрущёву приходится посылать очередное послание президенту США Д. Эйзенхауэру²¹. И, соответственно, опять усиливается пропагандистская канонада на фронтах “холодной войны”...

22 июля в Москве проходят советско-австрийские переговоры с Федеральным канцлером Австрии Юлиусом Раабом – Австрия с её нейтралитетом остаётся важным игроком на европейском политическом театре, через Австрию Советский Союз транслирует свои намерения относительно решения “германского вопроса”.

Мирное решение проблем, декларируемое Советским Союзом, находит поддержку на Всемирном конгрессе за разоружение и международное сотрудничество, проходившем в Стокгольме в конце июля²². Хрущёв настойчиво призывает лидеров ведущих западных государств сесть за стол переговоров, газета “Правда” 25 июля освещает обмен посланиями между Н. Хрущёвым и Д. Эйзенхауэром, Г. Макмилланом и Ш. де Голлем.

И всё же ключевым событием лета 1958 года для Советского Союза была встреча в Пекине Хрущёва с Мао Цзедунем. В 1956 году лидер Компартии Китая был возмущён выступлением главы КПСС с докладом о культе личности

перед делегатами XX съезда КПСС. Пребывание Хрущёва в Китае с 31 июля по 5 августа, встреча с Мао была одной из последних попыток Хрущёва объясниться и сохранить дружественные отношения двух великих социалистических государств. Увы, встреча в Пекине не принесла изменений. Газета “Правда” так и не опубликовала речи двух коммунистических лидеров, не осветила содержание их беседы. Только сдержанное коммюнике, правда, пока выдержанное в положительных тонах²³. Пройдёт ещё год, и Мао Цзедун, предложив Китаю свою теорию “большого скачка”, открыто заявит о ревизионистском курсе лидера КПСС. И отношения между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой обострятся, и впоследствии их курсы разойдутся, как в море корабли...

Тем не менее, СССР поддержит позицию КНР по “тайваньскому вопросу”. Об этом свидетельствует обмен посланиями между Хрущёвым и Эйзенхауэром, Макмилланом и де Голлем. Помимо Тайваня и Чан Кай Ши, с советской стороны подымались вопросы НАТО, Багдадского пакта, СЕАТО. Было высказано предложение о созыве совещания глав правительств СССР, США, Великобритании, Франции и Индии для рассмотрения проблем Ближнего и Среднего Востока.

Ещё в мае газета “Правда” перепечатала большую статью “Современный ревизионизм должен быть осуждён!” из газеты “Женьминьжибао”, органа ЦК Коммунистической партии Китая. Статья давала ясно понять советскому читателю, что китайские коммунисты осуждают руководство коммунистов Югославии: “Руководящие круги Союза коммунистов Югославии заодно с реакционерами всех стран и правыми элементами китайской буржуазии злобно клеветуют на диктатуру пролетариата”²⁴.

Как это ни парадоксально, но буквально через год Мао Цзедун будет обвинять в ревизионизме Хрущёва, в то время как сам Хрущёв обвинял в том же грехе партийное руководство югославов и, в первую очередь, самого Иосифа Броз Тито. Критике были подвергнуты разработанные Э. Карделем планы нового курса развития СФРЮ, направленного на соединение плановой экономики с элементами рыночного хозяйствования, то есть срастания социализма с капитализмом. Кремлём этот план рассматривался как отступление от марксизма, предательство коммунистических идеалов, как новая разновидность ревизионизма.

Борьба с ревизионизмом зеркально отразилась и в эстетике. В то время как китайцы оставались верны сталинскому учению о “социалистическом реализме” (а в музыке – ждановской интерпретации 1948 года), то в новом Постановлении ЦК КПСС от 25 мая 1958 года партийные идеологи стремились показать, что КПСС отрешивается от наследия “культы личности”, но вместе с тем фактически сохраняли канон соцреализма, правда, под видом обновлённого учения, освящённого теперь именем вождя революции В. И. Ленина. Как говаривал мой прадед Иван Егорович Чаплыгин, “те же рачки, да только в других мешочках”...

Новое Постановление давало теперь моральное право обвинять в ревизионизме всех противников СССР “справа”, со стороны некоторых представителей “нового курса” в соцстранах, а также западных философов и эстетиков. Ещё в апреле газета “Правда” предоставляет свои страницы французскому Руже Гароди и публикует его статью “В борьбе против ревизионизма”. Член Политбюро ЦК КПФ Гароди выступает как правоверный ленинец, защищая основные принципы марксизма-ленинизма, уничтожая ревизионистов за то, что они “выступают против исторической необходимости пролетарской революции и диктатуры пролетариата при переходе от капитализма к социализму, отрицают руководящую роль марксистско-ленинской партии, отрицают принципы пролетарского интернационализма, требуют отказа от основ ленинских принципов партийного строительства и, прежде всего, от демократического централизма, требуют превращения коммунистической партии из боевой революционной организации в некое подобие дискуссионного клуба”²⁵. После 1968 года Руже Гароди займёт позицию яркого противника КПСС, подвергнет полной ревизии основы политической теории и практики большевиков под руководством Ленина, те самые ленинские принципы, которые он с яростью защищал в 1950-е годы...

24 июня, в первый день визита Шостаковича в Англию, в газете “Советская культура” выходит статья научного сотрудника Института философии

АН СССР, специалиста по марксистско-ленинской эстетике П. Трофимова “Теоретические основы советского искусства непоколебимы”. В ней Постановление ЦК КПСС 1958 года упоминается вскользь, чисто формально, но главное в ней — апологетика незыблемого канона советского искусства — ленинской теории отражения — философской основы социалистического реализма. И вот, по мнению Трофимова, под эту “основу марксистско-ленинской эстетики” совершают подкоп “представители реакционной эстетической мысли и в купе с ними ревизионисты”. И далее в статье упоминаются и цитируются ряд подобных авторов, в том числе и неомарксист Д. Лукач. Статья П. Трофимова появилась через неделю после того, как газета “Правда” опубликовала сообщение Министерства юстиции ВНР о судебном процессе над Имре Надем и его сообщниками. Дьёрдь Лукач был министром культуры в правительстве Имре Надя.

28 июня в газете “Советская культура” публикуется статья старого философа Марка Баскина “Ревизионизм — враг передового искусства”. В этой статье критике подвергаются “эстетики-формалисты” и художники-абстракционисты Югославии. Баскин назидательно, чуть ли не с народнических позиций напоминает: “Известные решения ЦК КПСС по вопросам искусства подчёркивают необходимость самого бережного отношения к лучшим произведениям старого искусства. В постановлении ЦК КПСС от 28 мая 1958 года специально подчёркивается значение связи советского музыкального искусства с лучшими демократическими традициями музыкальной классики и народного творчества. Нигилистическое отношение к этим традициям, характерное для формалистов, уводит искусство от народа, превращает его в достояние узкого круга эстетствующих гурманов, убивает искусство как таковое”.

Буквально через месяц в газете “Известия” появляется статья кандидата философских наук Авнера Зися “Современный ревизионизм в эстетике”. Это уже несравненно более наступательная, боевая статья, где опять упоминаются югославские философы, где даётся бой ревизионистам по всем основным эстетическим пунктам. Но самое главное отличие напористой статьи Зися заключается в том, что в ней едва ли не впервые в советских массовых газетах делаются соответствующие политические оргвыводы по венгерским участникам кружка Петефи и Г. Лукачу. Как пишет автор, “в настоящее время полностью установлена коварная и подлая роль, которую сыграли в идеологической подготовке контрреволюционного мятежа в Венгрии участники кружка Петефи”. Речь идёт о тех самых дискуссиях в кружке Петефи, о которых ровно за десять дней до путча Г. Лукач заявил, что они имеют положительное значение в борьбе против догматизма. Как и все остальные ревизионисты, участники кружка Петефи, маскируясь знаменем этой борьбы, отвергали основные принципы марксизма в литературе. Они отвергали социалистический реализм, выступали против обязанности писателя быть носителем социалистической морали, против политического служения литературы и искусства делу социализма. В августе процесс над Имре Надем уже завершился, сам Имре Надь был казнён, а многие его соратники были приговорены судом к разным срокам заключения. Дьёрдь Лукач вынужден был скрываться, был интернирован в Румынию, но вернулся в 1957 году на родину.

Статьи философов, эстетиков, деятелей искусства, литераторов в конце июня и дальше всё больше и больше отходили от “исправления ошибок” в Постановлении 1958 года в сторону, так сказать, “исправлений исправления ошибок”, всё больше и больше тяготели к признанию “нетленности” партийных канонов сороковых годов. Это отразилось и на музыке, и на композиторской общественности. Этот шаг назад фактически спровоцировал новый виток противостояния музыкальных партий, привёл к обострению внутренней борьбы между “реалистами” и “формалистами”, что проявилось уже в том же 1958 году в процессе создания нового Союза композиторов РСФСР. Будущий глава Оргкомитета нового союза, полагавший, что станет во главе его, А. Новиков в августе 1958 года недвусмысленно высказался в защиту Постановления 1948 года: “Осуждая некоторые неверные, несправедливые и неоправданно резкие оценки творчества отдельных талантливых советских композиторов, новый документ подтвердил незыблемость основных принципов Постановления 10 февраля 1948 года”. И так думал не только Новиков²⁶.

С другой стороны, умножавшиеся международные контакты композиторов, их выезд за границу, выход советской музыки на мировую арену — всё

это вызвало резкую реакцию со стороны Запада и либерально настроенной композиторской среды в некоторых соцстранах, в первую очередь, в Польше. На советских композиторов обрушилась критика со стороны адептов музыкального авангарда, не говоря уже о записных советологах. Советских композиторов обвиняли в отсталости, консерватизме, и, конечно же, главным политическим козырем было обвинение советской власти в отсутствии свободы творчества, в сталинизме, одним из элементов которого в культуре рассматривался пресловутый соцреализм. Премьеры Одиннадцатой симфонии Шостаковича в разных странах сопровождались не только успехом у широкой публики, но и противоречивыми толками среди знатоков, а порой и весьма жёсткой критикой.

Чтобы не быть голословным, приведу один пример, взятый из Обзора иностранной прессы, хранящегося в фонде Иностранной комиссии Союза советских композиторов СССР.

В обзоре японских газет “Япония-СССР” и “Онгаку симбун” (“Музыкальная газета”) за II квартал 1958 года есть перевод статьи под названием “Слабое произведение. (Одиннадцатая симфония Шостаковича)”. Как пишет неназванный автор, “по правде говоря, не стоило бы и говорить о музыкальной ценности этого произведения. Оно не может явиться предметом для обсуждения, не хватает духу написать хотя бы что-нибудь на этот предмет, да, я думаю, и необходимости нет. Единственное, что меня озадачило, так это то, каким образом случилось так, что Шостакович, создавший такой шедевр, как Девятая симфония, дошёл до того, что написал эту слабую и бессодержательную музыку? Может быть, это рассчитанный жест в сторону правительства, общества, народа? Однако, если композитор, подобно попугаю, теряет свой голос, какой смысл тогда вообще ему заниматься творчеством?! Может быть, так и надо, что основанная Гайдном и обогащённая высшим духовным содержанием благодаря подвижническим усилиям Бетховена и Брамса форма симфонии унаследована современными композиторами для того, чтобы они её просто превратили в развлекательную музыку? До чего же докатился Шостакович – автор Девятой симфонии – этого предельно изысканного музыкального произведения?”²⁷.

Это самое резкое высказывание, что мне удалось найти, в массе своей зарубежная пресса отзывается о симфонии более сдержанно. Тем не менее, именно после Одиннадцатой симфонии Шостаковичу начинают предъявлять серьёзные претензии со стороны зарубежных музыкальных кругов. Шостакович очутился в довольно сложном положении, он это хорошо понимал, ему пришлось искать нелёгкий для себя выход из этого положения. Но об этом позже.

Перед поездкой в Китай Хрущёв успевает посетить ГДР. Его визит был приурочен к одной важной культурно-политической акции – передаче коллекции картин, вывезенных из Германии, в Дрезденскую галерею²⁸. Летом 1958 года москвичи и ленинградцы, гости обеих столиц могли в последний раз понаслаждаться лицезрением сокровищ Дрезденской галереи. 1 сентября был подписан акт о передаче ГДР немецких культурных ценностей, находившихся на временном хранении в СССР²⁹.

Из других более или менее значимых событий культурной жизни лета 1958 года стоит отметить Первый Московский кинофестиваль и открытие памятника Владимиру Маяковскому 28 июля в связи с 65-летием поэта.

Первую премию получил “Тихий Дон” Сергея Герасимова, а среди награждённых второй премией стала кинокомедия “Карнавальная ночь”³⁰. Так публика и кинематографическая общественность признала достоинства комедии Э. Рязанова, а заодно и музыки композитора А. Лепина, которого критиковали в Союзе композиторов³¹. Через кино в советскую культуру активно внедрялся новый стиль советской эстрадной песни. Но рождение этого стиля было отнюдь не безоблачным, о чём речь впереди.

Юбилей В. Маяковского в 1958 году, благодаря установке памятника в Москве на Триумфальной площади, стал событием, выходящим за рамки чисто литературных мероприятий. Открытие проходило с большой помпой, выступали министр культуры СССР Н. А. Михайлов, поэты А. Сурков, Н. Тихонов, А. Твардовский, С. Кирсанов, автор памятника А. Кибальников, глава Моссовета Н. Н. Бобровников, секретари МГК КПСС, завотделом ЦК КПСС Д. А. Поликарпов, представители руководства Москвы. На церемонии

присутствовала сестра поэта Л. Маяковская, было многолюдно, помимо приглашённых трудящихся Москвы, на открытие откликнулись многие москвичи, представители интеллигенции, широкая общественность.

Юбилей Маяковского начали отмечать ещё весной. В Москве театры отметили постановками пьес поэта. Ещё в марте состоялось совещание, организованное Всероссийским театральным обществом, “на котором обсуждались вопросы сценического воплощения драматургии Маяковского, – как сообщала газета “Советская культура”. – Художественным особенностям пьес Маяковского посвятил своё выступление В. Плучек. “Маяковский и театр” – такова была тема доклада А. Февральского. Б. Ростоцкий выступил с разбором наиболее примечательных постановок “Бани”, “Клопа”, “Мистерии-буфф” в театрах нашей страны и за границей. Всероссийское театральное общество вслед за первым совещанием предполагает провести ряд других, посвящённых этой же теме”³².

Буквально за месяц до открытия памятника вышел в свет 65-й том Литературного наследства, посвящённый Маяковскому³³.

Свиридов был знаком с этим томом. По времени выход в свет этой книги летом 1958 года³⁴ совпадает с работой композитора над Патетической ораторией на слова В. Маяковского. И первоначально в оратории (под рабочим названием сначала “Поэт”, чуть позже “Владимир Маяковский”) предполагалось использование поэтических отрывков из разных ранних произведений поэта, в частности, из поэмы “Облако в штанах”. Однако, читая “Разные записи” Свиридова, можно понять, сколь далёк был композитор в своих весьма противоречивых представлениях о Маяковском от общепринятых воззрений о поэте, но и от тех, что были явлены в томе 65 Литературного наследства. Достаточно привести одну запись, чтобы почувствовать это различие. “Маяковский – осколок дворянского рода, “последний в роду”, гениальный, живший с ощущением гибели (подсознательно – гибели рода, уклада!), подобно как Мусоргский – темой которого была “гибель царств” – хоры: 1) Эдип, 2) Поражение Сеннахериба, 3) Забыл название (Иисус Навин!): “Велением Иеговы, сокрушить Израиль должен хананеи нечестивых, непреклонных сокровенного”, 4) Царь Саул, 5) Хованщина, 6) Борис Годунов.

Оба они – обломки древних родов – были в чём-то схожи, но по выбору путей – диаметрально противоположны (как ни странно, в этом была схожесть крайностей!). Один призывал к бунту, к револьверу, к мятежу, к крови. Другой – к уходу от жизни, к самосожжению. Оба – не принимали мира – каков он есть!”³⁵.

Такие мысли не приходили ни В. Катаняну, ни А. Синявскому, ни Е. Эткинду, ни значительно позднее Ю. Карабчиевскому или Б. Горбу... Впрочем, необходимо иметь в виду, что в таком необычном взгляде на Мусоргского и Маяковского, в их неожиданном сближении кроются умонастроения самого Свиридова. Композитору было присуще чувство катастрофичности русского бытия в XX веке. Ведь та же Поэма памяти Сергея Есенина несёт в себе (в финале) идею о гибели России в пламени революции: “ради вселенского братства людей // Радуюсь песней **смерти твоей**... (курсив мой. – А. Б.).

Во второй половине 1950-х годов и Шостакович, и Свиридов стремились в своих сочинениях выразить своё отношение к революции, каждый по-своему. Как и большинство критически мыслящих людей в СССР, они оба не принимали советскую действительность, “как она есть”, оба были далеки от веры в коммунистическую утопию. Но каждый понимал своё время по-своему. Шостакович видел в революции, прежде всего, проявление насилия над человеком, народ и себя самого – как жертвы этого насилия (это и почувствовал в Одиннадцатой симфонии Ю. Кремлёв), а как итог революции – сталинский режим³⁶.

Впрочем, Шостаковичу был, скорее всего, присущ своеобразный исторический пессимизм. Он не видел в истории России ни одного светлого пятна. Его взгляд на Россию был похож на представление о России тех поляков-революционеров, которых изобразил в “Записках из мёртвого дома” Ф. М. Достоевский. Как для героев Достоевского, так и для Шостаковича Россия виделась сплошь каторгой, где царили жестокость и произвол. Достаточно вспомнить оперу “Катерина Измайлова”. Символ государства – полицейский участок, изображённый обязательно в фарсовом виде (как и в опере “Нос”), или толпа равнодушных работников в “Катерине Измайловой”, они же в виде людской толпы в кантате “Казнь Степана Разина”.

Выходец из семьи священника, композитор, тем не менее, вывел карикатурного попа в своей опере “Леди Макбет Мценского уезда”, заставив его петь на опереточный мотив (“Ох, уж эти мне грибки да ботвиньи...”). Ленинградский композитор И. Г. Адмони вспоминал, что ещё в музыке к спектаклям Ленинградского театра рабочей молодёжи Шостакович в конце 1920-х годов нашёл приём “нагнетания агрессии музыкальными средствами”. Биограф Шостаковича С. Хентова приводит слова Адмони в одной из своих книг о композиторе: “Потрясающий был эпизод в “Целине”. Крестный ход шёл прямо на зрителя, чёрная сила с хоругвями. Музыка потрясала: такое Шостакович уже тогда умел делать. В этом было заложено то, что потом появилось в первой части Седьмой симфонии”³⁷.

Это появилось не только в Седьмой, но и в других его симфониях, квартетах, в его вокальной музыке. “Нагнетание агрессии” было его излюбленным приёмом, и в этом приёме, быть может, с наибольшей силой композитор выразил своё в целом безотрадное мироощущение, своё неприятие той “неразумной” действительности, в которой он жил. Хотя в его музыке порой возникали редкие по красоте образы, затаившиеся где-то в глубине его души, как побочные темы в первых частях 1, 4, 5 или 8 симфоний или 17-я ля бемоль мажорная прелюдия из цикла “24 прелюдии для фортепиано” соч. 34 (1934), как отзвуки хрустальных звуков Шопена, которого Шостакович очень любил. Есть и возвышенные трагические картины “всемирной скорби” в медленных темпах вроде пассакальи в опере “Катерина Измайлова” или в окрашенных печалью соло фагота в четвёртой части Девятой симфонии, во многих окончаниях медленных частей. Тем не менее, самые сильные, запоминающиеся фрагменты сочинений Шостаковича – это те, где возникают образы зла.

Глубокий знаток творчества Шостаковича, музыковед Л. Мазель в одном из своих этюдов о Шостаковиче заметил: “При всём многообразии творчества Шостаковича в нём есть ведущая, наиболее значительная тема, вдохновенное раскрытие которой вызывает горячий отклик во всём мире. Это – гуманистическая тема обличения зла и защиты человека. Разоблачение страшного, античеловеческого начала, находящего своё конкретное выражение в силах реакции и войны, защита человеческого в человеке от звериного в человеке – вот главный идейный мотив не только ряда больших симфонических полотен композитора, но и некоторых камерных его сочинений”³⁸. Чуть ниже он добавил, что “этого рода образы вызывают ощущение и гигантских, фантастически грандиозных масштабов зла, и его невероятности, “неправдоподобия”, и вместе с тем его чудовищной реальности”.

У Свиридова в разные годы было разное отношение к проблеме воплощения зла у Шостаковича. “Глубина и огромные масштабы зла” (Л. Мазель) у Шостаковича порой вызывали у него сильное возражение, тем не менее, он прекрасно понимал строй музыкальных идей и смыслов Шостаковича и высоко ценил его сочинения, особо выделяя созданные в 1930-е – 1940-е годы. Как он писал в конце 1970-х годов: “...замечательны 7-я и 8-я симфонии Шостаковича – музыкальные памятники эпохи. Им созданы 5-6-7-8-я симфонии, квинтет, Трио, два лучших квартета: (I-II), 2-я соната для фортепиано – бесмертные, гениальные произведения. Он слышал это время”³⁹.

Был ли у Шостаковича положительный герой? Был. И это, в основном, – alter ego самого композитора, его лирический герой. Неважно, в чьём он обличии. И Стенька Разин, и Макферсон, идущий на казнь, и Катерина Измайлова, и лирический герой Десятой симфонии, и герой Сатир Саши Чёрного, и Поэт в цикле на слова Марины Цветаевой, и капитан Лебядкин, и герой последнего цикла Микеланджело – это всё один и тот же лирический герой. Собственно, симфония у Шостаковича – ещё живая форма, потому что это подлинная драма в музыке, драма противостояния индивидуума окружающей его враждебной среде.

Перефразируя одного философа, проблематика симфонии “всегда индивидуальна”⁴⁰. И подобно тому, как на роман, впрочем, и на драму тоже, так и на симфонию вполне возможно оказала влияние современная ситуация в культуре, когда “вера творческих людей в объективность какой-либо индивидуальной системы отчёта раз и навсегда утрачена”. Философ З. Кракауэр приходит, в конце концов, к мысли, что кризис романа “состоит в том, что прежняя форма романа из-за утраты индивидуом и его антиподом контуров

потеряла свою силу”. Шостакович был последним великим симфонистом, в его симфониях присутствует индивид, и ему явственно противопоставит антипод, враждебная сила – и в этом противопоставлении и борьбе состояла суть его симфонических полотен. После него симфония в традиционном виде как-то незаметно ушла из музыкальной жизни. Вполне возможно, что Шостакович в известной степени, благодаря совершенству созданных им образов, что называется, исчерпал тему. Или, как в шутку говорил Свиридов, положил большой камень на дороге симфонизма. При том, что и при его жизни, и после него было создано и создаётся много интересных и художественно ценных симфонических произведений, тем не менее, его место в истории этого жанра остаётся вакантным. Не случайно период после него некоторые исследователи считают возможным назвать “постсимфоническим”.

Собственно народ, точнее, простой, “низовой” народ у Шостаковича – отрицательная сила. Это обычно мещанин, обыватель, достойный даже не столько сатиры, сколько фельетона или карикатуры из журнала “Крокодил”. Таким он и выведен в цикле на слова из этого журнала. Что касается русского крестьянина, над которым совершался в конце 1920-х – начале 1930-х годов социальный эксперимент, напоминающий геноцид, то как раз во время коллективизации у Шостаковича появляется соответствующий моменту герою – “Задрипаный мужичонка”.

Свиридов происходил из старинного крестьянского рода. И не стеснялся этого. Так и писал: “У меня отец – крестьянин” (вокальный цикл на слова С. Есенина). Для него судьба русского крестьянина неразрывно была связана с судьбой самой России. Трудно представить себе сочинение Шостаковича на слова: “Кто любит родину, Русскую землю с худыми избами, Чахлое поле, Градом побитое?” Свиридов пишет на эти слова П. Орешина целую поэму для хора с инструментальным ансамблем “Лапотный мужик”.

У Шостаковича в музыке редко встречаются образы природы. Не говорю уже о русской природе и не говорю о такого рода декоративных изображениях, как в оратории “Песнь о лесах”. Чаще у него встречаются городские пейзажи, даже конкретно – петроградско-ленинградские. Но за редким исключением вроде Седьмой симфонии, это какие-то неприветливые, неуютные открытые пространства, враждебные человеку, вроде застылой Дворцовой площади в Одиннадцатой симфонии.

Романтики, в том числе и в музыке, уводили своих героев в поля, в горы, находили для них уединение и успокоение во встрече с природой, искали в ней убежище от несправедливостей и жестокостей мира людей. У Шостаковича весь мир, мир людей и внешний мир природы враждебен герою, одинокой личности. И неважно, что собой представляет зло – будь то “чёрная сила с хоругвями”, как назвал крестный ход композитор И. Адмони, немецкая танковая атака, солдаты, расстреливающие народ в “Кровавое воскресенье”, крики толпы, издевающейся над приговорённым Стенькой Разиным – это не играет никакой роли. В каждом случае Шостакович находил соответствующий образу тематический материал, мастерски его разрабатывая, достигая необычайно “нагнетания агрессии музыкальными средствами”.

Свиридов умудряется даже у “футуриста” Маяковского, поклонника индустриального городского пейзажа (“Бруклинский мост – да... Это вещь!”, “Я в восторге от Нью-Йорка города”), найти такие строки из поэмы “Хорошо” для Патетической оратории, что вполне гармонируют с названием “Наша земля”, которое у поэта вряд ли можно найти: “но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льёшься с массажи, – с такую землёю пойдёшь на жизнь, на праздник, на труд, и на смерть”. Земля, и не вообще земля, а “родная земля”, “господня земля” у Свиридова имеет своё особое звуковое выражение, звуковой символ, он сам называл его “ладом земли”.

Свиридов пытался увидеть в революции хотя бы какой-то положительный смысл. В 1950-е – 1970-е годы он нашёл его в обращении к идеологии скифства, в идее “распятия” России на кресте истории с надеждой на её преобразование в кровавой купели Революции. Отсюда замысел оратории “Двенадцать” по А. Блоку, кантаты “Светлый гость” и поэмы “Отчалившая Русь” на слова С. Есенина. Шостакович долго ещё слал запоздалые филиппики в адрес умершего вождя народов (13-я симфония, вокальный цикл на слова М. Цветаевой).

В конце жизни, тяжело боля, он полностью ушёл от проблем внешнего мира, от социального и погрузился в самосозерцание, в личное. Будучи атеистом, он остро переживал предчувствие смерти. Её ожиданию и приходу он и посвятил свои поздние сочинения, такие как 14-я симфония или соната для альта. В 15-й симфонии, где художник смиряется с мыслью о неизбежности личной смерти, о неумолимости последнего удара судьбы (весьма красноречива в этом смысле вставка темы судьбы из “Гибели богов” Вагнера в первой части 15-й симфонии), в финале её ударные инструменты пощёлкивают и отстукивают метроном какой-то вековечной замогильной тишины.

А последним сочинением Свиридова стал хоровой цикл “Песнопения и молитвы” на слова из литургической поэзии. Встречая старость, Свиридов пишет песню “Невечерний свет” на слова Н. Клюева. “Ты взойди, взойди, Невечерний Свет – Необорный меч и стена от бед!” Два последних десятилетия своей жизни композитор, особенно в годы перестройки, сильно переживая за происходящее и отчаявшись в будущем России, остро почуствовал её возможную окончательную гибель⁴¹, приходит как к единственному спасению – к вере. К вере в чудо Воскресения. Начиная с конца 1970-х годов и даже раньше, его одолевает идея создания пения Обедни, а позднее – огромной православной оратории. “Песнопения и молитвы” – лишь часть этого так и не осуществленного замысла.

Именно в конце жизни обоих композиторов, как никогда ранее, проявилось их глубокое внутреннее различие. Они сходились и расходились, у них были годы очень близких, дружеских отношений, были и расхождения, порой бытового, а порой – музыкально-партийного характера. И всё же самыми главными, глубинными причинами их несходства, их отдалённости друг от друга были причины духовные.

В 1959 году скульптор А. Кибальников получил Ленинскую премию за памятник Маяковскому, в том же году впервые прозвучала Патетическая оратория и за короткий срок триумфально прошагала через весь Советский Союз. Где её только не исполнили! На стадионах, в цирках, на открытых пространствах. В Свердловске она прозвучала в самом центре города, напротив здания обкома партии, возле памятника Ленину. Исполнял сводный хор и оркестр, на подмостках было 900 исполнителей. Оратория принесла автору широкую известность. Она была удостоена Ленинской премии за 1960 год. Сам Свиридов называл ораторию своим поплавком, который держал его на поверхности беспоконного моря советской жизни. Он практически не писал ocasionальную музыку. Ни в 1948 году, ни позднее. Патетическая оратория была плодом свободного творческого побуждения композитора, а отнюдь не продуктом соцзаказа. Только в самом конце его жизни, когда он бедствовал, партийные органы смилостивились и дали ему возможность заработать на музыке к XXIV съезду КПСС. Первый и последний раз в жизни Свиридов писал музыку на слова Роберта Рождественского, чего очень стеснялся. . .

Патетическая оратория стала одним из источников некоторого расхождения между Шостаковичем и Свиридовым. Но об этом речь пойдёт дальше.

* * *

И всё же, главным культурным событием лета 1958 года стало выступление советских артистов в Брюсселе в августе. Сообщения о гастролях в Бельгии и близлежащих странах не сходили со страниц центральных газет с конца июля и до самого окончания работы выставки.

Уже 24 июля газета “Советская культура” обстоятельно расписала программу и назвала артистов и коллективы, которые должны были выступать на Всемирной выставке. 25 июля в газете “Правда” была напечатана статья директора Большого театра СССР М. Чулаки о программе балета Большого театра в Брюсселе.

Перед началом Национальных дней СССР на Всемирной выставке в Брюссель летит К. Е. Ворошилов в сопровождении министра здравоохранения СССР М. Ковригина и первого заместителя министра культуры СССР С. В. Кафтanova. На аэродроме Мельсбрук делегацию встречал король Бельгии Бодуэн I. Газета “Советская культура” от 12 августа (№ 96) поместила на

первой странице фотографию встречи на аэродроме и привела мнение бельгийских газет, что это было “первое посещение западноевропейской страны главой Советского государства”. В этом же номере приводится хроника событий накануне Национальных дней СССР, встречи советских артистов с бельгийскими и иностранными журналистами во Дворце изящных искусств в Брюсселе, встреча деятелей культуры Бельгии и СССР в доме культуры Общества бельгийско-советской дружбы. Встречались деятели театрального искусства, с советской стороны присутствовали М. Царёв, Н. Охлопков, Ю. Завадский и Б. Равенских.

Ярким, впечатляющим был концерт в первый Национальный день СССР. Газета “Известия” дала сжатую информацию о нём. “В первый “день СССР” на Большой арене Всемирной выставки (Гранд-аудиториум) состоялся гала-концерт советских артистов. Ставил главный режиссёр национальных концертов СССР Б. Покровский. На выставку приехало 450 человек из 15 республик. Для гала-концерта Министерством культуры СССР совместно с министерствами культуры республик был создан сводный коллектив из 80 человек. Открывал Госоркестр исполнением “Торжественной увертюры” Д. Шостаковича. На концерте присутствовал К. Е. Ворошилов и король Бельгии Бодуэн I”⁴².

“Советская культура” откликнулась более подробным описанием концерта. Как писал собственный корреспондент, “когда Государственный симфонический оркестр СССР под управлением Константина Иванова великолепно, с большим темпераментом сыграл сочинение Шостаковича, это сразу придало праздничный, приподнято-торжественный характер всей первой программе показа советского искусства на Всемирной выставке в Брюсселе, с большим успехом исполненной вчера в первый раз перед многочисленными зрителями”⁴³.

И далее перечисляются выступавшие на концерте исполнители, певцы и коллективы: И. Петров, Г. Олейниченко, Т. Сазандарян, Рашид Бейбутов, вокальный квартет Государственного академического мужского хора Эстонской ССР, хор, оркестр и танцевальная группа Государственного украинского народного хора под руководством Григория Верёвки, мастера классического балета. А в конце – об ансамбле И. Моисеева, который имел в Брюсселе невероятный успех. “Единодушный энтузиазм аудитории вызвали артисты Государственного ансамбля народного танца Союза ССР под руководством Игоря Моисеева. Прославленный коллектив, чьё творчество широко популярно в десятках различных стран, исполнил в этот вечер один из лучших номеров своего репертуара – русский танец “Полянка” и хореографическую картину “Партизаны”. В заключение концерта прозвучала “Песня о Родине” И. Дунавского (солировал И. Петров)”.

На следующий день местная критика восторженно отзывалась о концерте в Гранд Аудиториуме⁴⁴. 12 августа во Дворце изящных искусств в Брюсселе состоялся концерт ансамбля танца И. Моисеева.

Триумф музыки в культурной дипломатии СССР в 1958 году получил своё достойное завершение в Брюсселе. Присутствие на Национальных днях СССР Д. Д. Шостаковича – главы оргкомитета конкурса им. П. И. Чайковского – и звезды самого конкурса Вана Клиберна обнаружили логическую связь этих двух событий. Эту связь раскрыл в своём выступлении Председатель Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов в советском павильоне на Брюссельской выставке. Газета “Известия” воспроизвела его слова: “Издавна существует и успешно развивается традиционная дружба между русскими и бельгийскими музыкантами. Начиная с тридцатых годов, советские исполнители неоднократно принимали участие в международных конкурсах скрипачей и пианистов имени королевы Елизаветы. Мне хотелось бы особо отметить большую заслугу в развитии культурных связей между Бельгией и Советским Союзом Её Величества королевы Елизаветы, которая в этом году по нашему приглашению посетила Советский Союз в качестве почётной гостьи на Международном конкурсе пианистов и скрипачей имени Чайковского”⁴⁵.

Страстный меломан, любивший сам попеть, К. Е. Ворошилов оказался в 1958 году “ответственным по музыке”, он встречал королеву Елизавету в Москве, сопровождал её во время посещения конкурса и Большого театра, устраивал приём в её честь. И вот теперь он наносит ответный визит с почётной миссией представлять СССР, а музыка оказалась лучшей “мягкой силой” в борьбе за мир, которая, как писали советские журналисты, объединяет

Бельгию и СССР. Не случайно в “Литературной газете” Василий Захарченко отметил: “Визит Ворошилова — очень важное событие для укрепления дружеских связей между нашими народами”⁴⁶.

Газета “Правда” также не преминула подчеркнуть политический подтекст визита Ворошилова в Брюссель, его речи в павильоне, сославшись на бельгийские газеты. “Газеты, публикуя речь, в первую очередь выделяют ту мысль, что Советский Союз в своей внешней политике борется за мирное сосуществование между государствами. Газета “Пёпль” даёт текст выступления К. Е. Ворошилова под заголовком: “Речь о мирном сосуществовании”, газета “Ла ситэ” подчёркивает, что в выступлении К. Е. Ворошилова убедительно защищаются принципы мирного сосуществования”⁴⁷.

1958 год прошёл при явном превосходстве музыки над остальными искусствами и литературой. Именно музыка была в том году эффективным инструментом культурной дипломатии СССР. И думается, далеко не случайно партийные идеологи решили в том году исправлять ошибки не в Постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946-го, а в Постановлении от 10 февраля 1948 года. В 1958 году *слушатель* явно преобладал над *читателем*.

Авторский концерт Шостаковича и выступление Вана Клиберна, по замыслу организаторов, были отнесены в самый конец советской культурной программы. Поданы, так сказать, на десерт.

Авторский концерт был запланирован на последний, третий Национальный день Советского Союза. Специальный корреспондент “Правды” Г. Ратиани анонсировал концерт за два дня до его начала. “13 августа во Дворце искусств организуется авторский вечер Д. Шостаковича”, — написал он в газете от 11 августа. О самом концерте тот же Г. Ратиани написал весьма скупо, по сути, отделившись официальной информацией. Но и она дорогого стоит... “Вечером 13 августа Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. К. Ворошилов и королева Бельгии Елизавета присутствовали на концерте Государственного симфонического оркестра Союза ССР, который состоялся во Дворце изящных искусств. Концерт прошёл с огромным успехом”⁴⁸.

И, наконец, под самый занавес культурной программы в Брюсселе, в том же Дворце изящных искусств 16 августа выступил Ван Клиберн в сопровождении Государственного симфонического оркестра СССР под руководством дирижёра К. Иванова. В программе — П. И. Чайковский, 5-я симфония, Итальянское каприччио и Первый фортепианный концерт.

Наиболее полный отчёт о концертах Госоркестра в Брюсселе можно прочитать в 12-м номере журнала “Советская музыка”. В авторском концерте Шостаковича были исполнены Второй фортепианный концерт (солист Дмитрий Паперно) и Одиннадцатая симфония. Кроме того, в других выступлениях оркестра прозвучали 7-я симфония и сюита из балета “Ромео и Джульетта” С. Прокофьева, Л. Оборин исполнил с оркестром фортепианный концерт А. Хачатуряна, а другой пианист — А. Наседкин — фортепианный концерт А. Баланчивадзе. Исполнялись также произведения Д. Кабалевского и Кара Караева.

Богатый на события в общественной жизни Шостаковича 1958 год завершился для него в октябре уже упоминавшимся вручением ему в Хельсинки Международной премии им. Я. Сибелиуса. Присуждение премии не прошло мимо финской печати и было отмечено в годовом отчёте общества “Финляндия — Советский Союз” за 1958 год. В советской печати этот отчёт не был удостоен внимания, а в нём, между прочим, был упомянут благородный поступок советского композитора. Как было сказано в отчёте, “знаменательным событием в деятельности общества стал визит композитора Д. Шостаковича в нашу страну. Он подарил обществу “Финляндия — СССР” международную премию фонда Вихури размером 7 миллионов марок на развитие культурного обмена между представителями Финляндии и Советского Союза”⁴⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ф. РГАЛИ 2077, оп. 1, ед. хр. 1592. Иностранная комиссия. Обзор зарубежной музыкальной прессы за январь–март 1958 года. Начато: январь 1958 года. Окончено: март 1958 года. На 228 листах. — Л. 32.

² National Archives FO 371 135391.

- ³ Маргарита Андреевна Кайнова – вторая жена Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич состоял в браке с М. Кайновой на протяжении трёх лет (1956–1959). Комментарий И. Гликмана.
- ⁴ Письма к другу: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману / Сост. и комментарии И. Д. Гликмана. – М.: DСH – СПб.: Композитор, 1993. – С. 139.
- ⁵ Берлин И. Шостакович в Оксфорде. Пер. с англ. Е. и С. Шабуцких // Иностранная литература. – 2011. – № 6. – С. 233–238. Далее цитирую эту публикацию, без указания страниц.
- ⁶ Заключая рассказ о французской политической полиции, А. И. Герцен позволил себе отпустить mot (острое словцо): “Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно тайных”. Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5, гл. XXXIX. Цит. по изд.: – Герцен А. И. Собр. соч. в десяти томах. Т. 8. – М.: Гослитиздат, 1958. – С. 380.
- ⁷ Помню, как по радио “Свобода” или ВВС, сейчас не помню, читали фрагменты из Testimony Шостаковича. И когда Свиридов услышал ту же историю создания Одиннадцатой и какими конкретными событиями она навеяна, что рассказывал ему сам автор, то он понял, что С. Волков слышал это от самого Шостаковича. Свиридов не сомневался в подлинности Testimony и потому не подписал письмо против С. Волкова, которое было опубликовано в “Известиях”.
- ⁸ Свиридов Г. Музыка как судьба... с. 152. Запись в тетради 1972–1980, примерно в 1980 году.
- ⁹ Кузнецов А. Письмо Британскому совету // “Известия”. – 1958. – 18 июня. – № 145. – С. 4. Письмо Британскому совету было опубликовано также в газете “Советская культура” 19 июня (№ 73, с. 4).
- ¹⁰ “Правда”. – 1958. – 17 июня. – № 168. – С. 1-2.
- ¹¹ В этот день руководством газеты было принято решение поместить большую статью, посвящённую критике ревизионизма. Упомянув в начале статьи о радости советских людей по поводу нового Постановления ЦК КПСС от 25 мая 1958 года, автор статьи сразу перешёл к разбору идей и положений недружественных по отношению к СССР эстетиков Лефевра, Зиманда, Шпибося, Плонского, Лукача, а заодно счёл возможным упомянуть об идейных ошибках своих коллег – философа Г. Недошвина и искусствоведа Д. Сарабянова. См. Трофимов П. Теоретические основы советского искусства непоколебимы! // “Советская культура”. – 1958. – 24 июня. – № 75. – С. 2. Д. Сарабянову за его каталог выставки Р. Фалька попало и от главы Академии художеств СССР Б. Иогансона на открытом партийном собрании в Академии художеств двумя днями раньше. И на этом собрании упоминалось Постановление ЦК КПСС 1958 года. См. Б. п. Партийность, народность, реализм // “Советская культура”. – 1958. – 26 июня. – № 76. – С. 1.
- ¹² См. информацию об этом съезде под заголовком “Тесная связь с жизнью – залог успехов” // “Советская культура”. – 1958. – 28 июня. – № 77. – С. 1.
- ¹³ Б. п. Сердечная забота партии о развитии искусства. На собрании писателей Ленинграда. // “Литературная газета”. – 1958. – 26 июня. – № 76. – С. 1.
- ¹⁴ Б. п. Передача экипажа американского самолёта // “Правда”. – 1958. – 8 июля. – № 189. – С. 4.
- ¹⁵ См., например, краткую информацию о выступлении Д. Ойстраха в Веллингтоне в газете “Советская культура” от 26 июня (№ 76. – С. 4) и рецензию “Концерты Д. Ойстраха в Австралии” (“Советская культура”. – 1958. – 28 июня. – № 77. – С. 4).
- ¹⁶ См. “Советская культура”. – 1958. – 21 июня. – № 74. – С. 4.
- ¹⁷ См.: “Правда”. – 1958. – 20 июня. – № 171. – С. 1-2; “Советская культура”. – 1958. – 21 июня. – № 74. – С. 1.
- ¹⁸ Шестаков В. А. Социально-экономическая политика советского государства в 50-е – середине 60-х годов / РАН, Ин-т рос. истории. – М.: Наука. 2006. С. 241, 242.
- ¹⁹ Крамола и инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе 1953–1982 гг.: рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР / [М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. арх. агентство, Гос. архив Рос. Федерации], Федер. целевая прогр. “Культура России” (подпрограмма “Поддержка полиграфии и книгоизд. России”); под ред. В. А. Козлова и С. В. Мироненко; отв. сост. О. В. Эдельман при участии Э. Ю. Завадской. – М.: Материк. 2005. С. 357, 358.

- ²⁰ См.: “Правда”. – 1958. – 17 июля. – № 198. – С. 1. По поводу Ливана и Иордании см. также номер газеты “Правда” от 19 июля.
- ²¹ См.: “Правда”. – 1958. – 18 июля. – № 199. – С. 1.
- ²² См. информацию о конгрессе в газете “Советская культура” от 24 июля (№ 88. – С. 1).
- ²³ См. текст коммюнике в газетах “Правда” от 4 августа (№ 216. – С. 1) и “Советская культура” от 5 августа (№ 93. – С. 2).
- ²⁴ “Правда”. – 1958. – 6 мая. – № 126. – С. 3.
- ²⁵ Гароди Роже, кандидат в члены Политбюро ЦК ФКП. В борьбе против ревизионизма // “Правда”. – 1958. – 5 апреля. – № 95. – С. 6.
- ²⁶ Новиков А. Развивать русские национальные традиции // “Советская музыка”. – 1958. – Август. – № 8. – С. 3.
- ²⁷ РГАЛИ, ф. 2077, оп. 1, ед. хр. 1593, л. 133-134.
- ²⁸ См.: О передаче Правительству ГДР немецких культурных ценностей // “Советская культура”. – 1958. – 12 июля. – № 83. – С. 1.
- ²⁹ См.: “Советская культура”. – 1958. – 9 сентября. – № 108. – С. 2. В этом же номере газеты на первой странице помещено информационное сообщение о прошедшем Пленуме ЦК КПСС, на котором было объявлено о созыве внеочередного XXI съезда КПСС.
- ³⁰ Б. п. Итоги первого Всесоюзного кинофестиваля // “Советская культура”. – 1958. – 8 июля. – № 81. – С. 1. Помимо “Карнавальная ночь”, вторую премию разделили кинофильмы “Семья Ульяновых” Валентина Невзорова с музыкой А. Пахмутовой и “Сёстры” Григория Рошала (композитор Д. Кабалевский).
- ³¹ См., напр., самую безобидную критику в ст.: Корев Ю. Против псевдолирики // “Советская музыка”. – 1958. – Август. – № 8. – С. 20–25. В самом Союзе критика А. Лепина была куда задиристее, хлестали беспощадно...
- ³² См.: Б. п. Маяковский на сцене // “Советская культура”. – 1958. – 13 марта. – № 31. – С. 3.
- ³³ Новое о Маяковском / АН СССР. Отд. лит. и яз. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. (Лит. наследство / Ред.: В. В. Виноградов (глав. ред.), И. С. Зильберштейн, С. А. Макашин, М. Б. Храпченко; Лит. наследство; Т. 65, кн. 1-я).
- ³⁴ Книга 1-я тома 65 Лит. наследства была подписана к печати 27 июня 1958 года.
- ³⁵ Свиридов Г. В. Разные записи. Тетрадь № 11 1979/Х 26, л. 45-45 об.
- ³⁶ Что не мешало Шостаковичу прославлять этот режим. Но это особый разговор.
- ³⁷ Хентова С. М. В мире Шостаковича. М.: 1996. С. 155. Цит. по изд.: Дигонская О. Размышления о “Торжественном походном марше” Шостаковича (передатировка? Смена контекста?). В кн. Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы. Вып. 4. / Ред.-сост. О. Дигонская, Л. Ковнацкая. – М.: DSCH. 2012. – С. 189.
- ³⁸ Мазель Л. О трактовке сонатной формы и цикла в больших симфониях Шостаковича. В кн. Мазель Л. Этюды о Шостаковиче: Статьи и заметки о творчестве. – М.: Сов. композитор. 1986. – С. 6.
- ³⁹ Свиридов Г. Музыка как судьба... М.: Молодая гвардия. 2002. – С. 212. (Тетрадь 1978–1980).
- ⁴⁰ Кракауэр З. Биография как форма искусства новой буржуазии. В кн. Кракауэр Зигфрид. Орнамент массы. Веймарские эссе. – М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современной искусства “Гараж”. 2019. С. 60.
- ⁴¹ Как сейчас слышу его слова, произнесённые им в одной беседе начала 1990-х годов: “Россия погибнет, останется только в песнях”.
- ⁴² Матвеев В. Советское искусство на Всемирной выставке. От специального корреспондента “Известий” // “Известия”. – 1958. – 13 августа. – № 193. – С. 4.
- ⁴³ Б. п. Вчера на Всемирной выставке в Брюсселе // “Советская культура”. – 1958. – 12 августа. – № 96. – С. 4.
- ⁴⁴ См.: Широков О. спец. корр. “Советской культуры”. “Ваша национальная программа – это очередной спутник” // “Советская культура”. – 1958. – 14 августа. – № 97. С. 1. (под шапкой “Национальные дни Советского Союза на Всемирной выставке в Брюсселе”).
- ⁴⁵ Выступление К. Е. Ворошилова в советском павильоне на Брюссельской выставке // “Известия”. – 1958. – 14 августа. – № 194. – С. 1.
- ⁴⁶ “Литературная газета”. – 1958. – 14 августа. – № 97. – С. 4.

- ⁴⁷ Ратиани Г. Демонстрация достижений советских народов. От специального корреспондента “Правды” // “Правда”. – 1958. – 15 августа. – № 227. – С. 3.
- ⁴⁸ Там же. На этой же странице помещён отклик Г. Улановой о выступлении балета Большого театра. См.: “Большой успех советского балета. Беседа с народной артисткой СССР Г. С. Улановой. О гастрольной поездке по Франции, Бельгии и ФРГ”.
- ⁴⁹ Suomi-Neuvostoliitto-Seuran toimintakertomus vuodelta 1958. Pori: Satakunnan Yhteisvoima Oy, 1959. S. 4. Цит.: Нилова В. Семь обработок финских народных песен (Сюита на финские темы) Шостаковича и карельские песенные источники (Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы. Вып. 4. / Ред.-сост. О. Дигонская, Л. Ковнацкая. – М.: DSCH. 2012. – С. 198).

ГЕННАДИЙ РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН

ДУХОВНЫЙ РЕАЛИЗМ ИВАНА ПЕРЕВЕРЗИНА

Отечественная письменность есть неприкосновенная сокровищница предания. Ибо предание есть жизнь...

Протоиерей Георгий Флоровский

Фёдор Михайлович Достоевский мечтал о том, чтобы мир стал церковью, объединив всех людей в единомыслии и любви.

Лев Николаевич Толстой говорил, размышляя о доброй и справедливой жизни общества, что для того, чтобы всё общество людей стало духовно здоровым, нужно, чтобы каждый человек в отдельности был духовно здоров. И Лев Николаевич приводил такой образ: чтобы нагреть сосуд с водой, надо нагреть каждую каплю воды, и тогда весь сосуд будет горячим.

Столбовая дорога русской литературы заключается в отражении духовной борьбы добра и зла, в которой русскому народу-богоносцу противостоят все силы мирового зла.

Столпом и утверждением истины для русского человека на протяжении многих веков являлась Православная Церковь как единое мировоззрение. “Да единомыслием исповемы...”

Исследователи русской литературы неоднократно подчёркивали, что именно в Православии заключается главная особенность нашей литературы.

Попытки осмысления данного утверждения приводят к идее обоснования особого литературного направления, называемого “духовным реализмом”, главная задача которого – отразить “реальность присутствия Бога в мире”.

Подражание западной цивилизации, которая имеет тупиковый характер в своём внешнем развитии, и представителей её в России в области литературы, и особенно актуального искусства, рано или поздно приведут, а может быть, уже привели к разрушению государства и гибели многих плодов тысячелетнего труда русского народа.

Как важно сейчас объяснить российской молодёжи, которая во все времена жаждет своих кумиров (потому что в молодости это вполне естественно), что западничество – это духовное беспутье, приводящее человека к безбожии и зияющей бездне дьявольской пустоты...

Но объяснить не риторически, занудными сентенциями, а единственным способом – через создание в творчестве подлинных, живых литературных образов.

Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН — настоятель Михайло-Архангельского храма в г. Липецке, протоиерей, лауреат Всероссийской литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского.

Я уже писал о прозе Ивана Переверзина в статье “Мир как единое” с подзаголовком “Онтология Ивана Переверзина, основы творчества писателя”, где объединил одним названием четыре произведения, в том числе его повесть “Капитоновка”, которую я рассматривал в контексте мировой литературы, ставя её в один ряд с “Портретом художника в юности” Д. Джойса, “Тонио Крюгером” Т. Манна и “Жизнью Арсеньева” И. Бунина... Все они раскрывают тему формирования будущего писателя в его юные годы. И в этом послые заключается основа творчества всех названных писателей.

Повесть Ивана Переверзина “Росомаха”, которая стала предметом этой статьи, написана, как и “Капитоновка”, от лица мальчика, находящегося уже в переходном возрасте, в возрасте инициации, посвящения во взрослую жизнь. Юный Иван заканчивает восемь классов общеобразовательной школы, живя в посёлке на берегу сибирской реки Лены. Писатель без эмоциональных оценок, через суровые явления природы изображает быт и атмосферу жизни на самом краю необъятной России. *“Во время дядиною приезда мы, потеряв в весеннее наводнение дом, который был сначала огромными льдинами, грузно наползшими на берег, как мощным бульдозером сдвинут с бетонного фундамента, а потом, подхваченный большой, называемой в народе чёрной водой, и вообще унесён в сторону моря Лаптевых, вынуждены были переехать в такой же небольшой двухкомнатный, правда, стоящий на самом крутом берегу, а значит, недоступный никаким наводнениям брусовой дом, в качестве дополнительного утепления оштукатуренный не только внутри, но и снаружи”.*

Это скудное описание трагического события удивительным лаконичным народным языком являет собой образ трудной жизни в соседстве с суровой природой на Крайнем Севере нашей страны. Какое потрясающее видение народного сознанием разбушевавшейся природы: *“...огромными льдинами, грузно наползшими на берег... подхваченный большой, называемой в народе чёрной водой... унесён с сторону моря Лаптевых...”*

От народа же получали русские писатели и такой великий дар, как язык. *“Язык–народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая и глубокая мысль!”* – писал Достоевский. Говоря о том, что в высших классах русского общества “уже перестают родиться с живым русским языком”, Достоевский заключает: *“Живой же язык явится у нас не раньше, как когда мы совсем соединимся с народом”.* Высмеивая моду “высших классов” воспитывать своих детей на французском языке, отрывать их от родного, русского языка, Достоевский говорит: *“На высшую жизнь, на глубину мысли заимствованного, чужого языка не достанет именно потому, что он нам всё-таки будет оставаться чужим; для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся”.* Достоевский даже усматривает счастье мыслящего человека в зависимости от того, насколько глубоко овладел он родным языком, *“чтобы организовать в нём всю глубину своей мысли и своих душевных запросов”.*

Писатель Иван Переверзин с непосредственной простотой черпает жемчужины из живой стихии народного языка, который так органично и непосредственно живёт в его русской, широкой натуре. Это состояние живости языка передаётся и героям его повести “Росомаха”.

Но есть, на мой взгляд, более важный момент в повести! Это создание образа главного героя – Ивана, цельность личности которого возникает из самой почвы народной жизни, питается соками этой почвы, вырастая в носителя не только живого народного языка, но в выразителя чаяний и устремлений народа в поиске нравственного идеала.

“Это восьмое лето долгожданных школьных каникул для меня началось почти так же, как все предыдущие, – со счастливого выхода на работу”.

Так начинается свою повесть “Росомаха” Иван Переверзин. Что же движет четырнадцатилетним подростком, который выход на работу во время школьных каникул называет “счастливым”? Я *“...ведь имел полное моральное право, подкреплённое хорошей учёбой, как мои друзья–одноклассники, целых три солнечных месяца отдыхать и готовиться, прежде всего, физически, к новым учебным занятиям. Но мне так не терпелось скорее приступить к любимому сельскому труду, что я ещё задолго до начала каникул, несмотря на протесты любимой мамы, передал с отцом, возглавляющим Июйское отделение совхоза “Ленский”, заявление о принятии меня временно на работу в качестве простого рабочего. На следующий день после окончания учебного года я встал пораньше, чуть ли не с первыми лучами восходящего золотисто-малинового*

солнца. Спешно, словно на пожар, даже привычно не окатившись во дворе холодной водой, надел рабочую одежду, ещё с вечера заботливо приготовленную любимой матерью. . . ”

Есть две причины, которые движут подростком. Эти причины, можно сказать, связаны не с мимолётной потребностью мальчика, движимого чувством или материальной выгодой (хотя тема заработка присутствует, но лишь с одной целью – помочь своей многодетной семье), и не влиянием родного отца на него, нет. Это непреодолимая внутренняя потребность работы, общения с живой природой, с работными людьми. Потребность эта заложена в самых глубинах его души и родовой памяти, пусть ещё не сформировавшейся личности, но естественно формируемой, влекущей его потребностью, питаемой теми корнями, которые уходят в почву стихии народной жизни. Так в природе развивается и растёт семья, попавшее в благодатную почву, каждое по своему роду.

“И всё-таки в совхозе из всех многочисленных работ мне больше нравилось заготавливать на отдалённых участках для совхозного скота на всю долгую-предолгую зиму сено. По этой причине с ещё большим нетерпением, чем какую-либо другую работу, ждал времени формирования сенокосных бригад и отправки их на те или иные угодья с богатым травостоем. Обычно это происходило в самом начале третьей декады солнечного июня, чтобы до непосредственной косыбы у работников звена было достаточно времени для ремонта заготовительной техники: конных и тракторных сенокосилок и граблей, волокуш, а прежде – обустройства жилья. . . Хоть мой отец возглавлял отделение, я никогда не просил его отправить меня конкретно в какую-нибудь сенокосную бригаду. В прошлое лето я работал на участке с звенским названием Какалыр, находившемся в пятидесяти километрах от посёлка. . . Однако на этот раз меня назначили в бригаду на один из самых дальних участков, тоже с звенским названием Джемпо. До него от посёлка было не менее восьмидесяти вёрст, двадцать из которых проходили вверх по течению величественной сибирской реки Лены со скалистыми берегами, по многочисленным расщелинам, поросшим лиственничным лесом, а остальные – сначала по лесовозной дороге, а потом – по проложенному, а вернее, прорубленному в вековой тайге ещё в далёкие царские времена просёлку”.

Встаёт перед глазами великая история нашего народа при освоении и заселении Сибири. Только трудолюбивый, сильный народ мог выживать в суровых условиях сибирской тайги и жестокой, но необыкновенно живучей, выносливой и красивой природы. Однажды увидев эту красоту, человек добровольно и навсегда согласился жить с ней.

“Знающие люди говорили, что там, в отличие от Какалыра, нет большого озера, в котором, кроме огромных, с лопату, карасей, водилась и другая рыба – сорога и тугунок, – нет большого озера, зато чуть в отдалении, этап в трёх-четырёх километрах, небольших утиных водоёмов с твёрдым дном было великое множество. А на находившуюся перед ними обширную, открытую со всех сторон поляну с чёрным песком, на взгляд напоминающим печную золу, почему-то вот уже много веков не зарастающую даже травой пыреем или колючками, способной выживать в страшной знойной пустыне, по осени глубокой ночью садились стаи гусей и лебедей. Протекавшая рядом стремительная горная речка с холодной до зубной ломоты и прозрачной, как слеза ребёнка, водой, богатая хариусом, делала эту поляну особенно привлекательной: птицы не только отдыхали после длительного перелёта на тёплый юг, но ещё и в полной мере подкрепляли силы рыбой и другой живностью в виде тех же многочисленных небольших ящериц, постоянно снующих в поисках пищи по чёрному песку”.

Это созерцательное отношение к красоте природы, в творении которой просматривается величие Творца, её первозданность и целомудрие заставляют русского человека через опыт жизни относиться к ней с бережным состраданием. А сама суровая жизнь, особенно в зимние периоды, когда температура понижается до шестидесяти градусов, учит человека собиранию и сохранению жизни.

Вторая причина, заставляющая подростка Ивана идти на работу в летние месяцы, менее значительная, но тоже заложённая христианской жизнью его предков.

“И с решительностью, в которой чувствовалось горячее юношеское нетерпение, протянул в развёрнутом виде заведующему конюшней казённую

бумагу-наряд. Геннадий Николаевич, как бы давая мне время слегка поостыть, медленно, чуть ли не по слогу прочитал его несколько раз, не спеша аккуратно свернул пополам и, положив глубже в нагрудный карман, с глубоким, почти отцовским интересом спросил:

— И что это тебе, Ванёк, друг ты мой хороший, после школы никак не отдышается?.. Сам напрапалую лезешь в суровый рабочий хомут, как будто там густо мёдом намазано?!

— Да я уже, как вы выразились, к этому хомуту-то за восемь лет привык! Знаете, Геннадий Николаевич, так сильно привык, что не могу дождаться, когда прозвонит последний звонок. Потом, сами понимаете, многодетной семье непременно помочь надо. Мать после последних тяжёлых родов часто болеет, отчего в своей любимой теплице почти не работает... А какая у моего отца, хоть и управляющего, зарплата? Сто сорок рублей! Курам на смех! Такими “деньжищами” семь голодных ртов не прокормишь! А я, глядишь, за лето, какое оно у нас ни короткое, рублей эдак триста подзаработаю. Какая-никакая, а всё большой семье своевременная помощь! По крайней мере, нам с младшим братом Николаем и старшим сёстрам Тамаре и Наталье на то, чтобы собраться в школу не хуже других ребятешек, с лихвой хватит”.

И здесь разговор принимает совсем другой оборот. Видя серьёзность намерений нашего героя и его внимательный заботливый взгляд, направленный к заведующему конюшней, который “неожиданно скривил лицо, наклонился и в нескольких местах потёр ноги”, Геннадий Николаевич говорит с Иваном как с ровней:

— “Дело в том, что, работая помощником конюха, он объездил молодого жеребца-трёхлетку и привязался к нему всей душой, как к родному, даже упрямил хмурого одноногого конюха дать ему ласковую кличку Мильий. Но высокое начальство из районного военкомата строгим, подлежащим безоговорочному исполнению постановлением приказало забрать любимца с ещё несколькими колхозными лошадьми на фронт, который неумолимо к тому времени приближался к самой столице — Москве. Но не тут-было! Геннадий, скорее всего, по недопониманию из-за слишком юного возраста и ослепления горем внезапной разлуки с верным другом, ночью угнал своего любимца из конюшни и спрятал подальше от глаз людских, в глухом, почти непроходимом вековом лесу. Тем не менее, уже через несколько дней его отчаянный поступок был раскрыт опытным в розыском деле участковым милиционером по горячим следам, и лошадь первым же колёсным пароходом отправилась на фронт, а он, по решению сурового суда, — на далёкую Колыму в качестве заключённого.

— Ты, наверное, слышал от кого-нибудь из поселчан, что я самый что ни на есть настоящий бывший заключённый? По всей строгости военного времени, как миленький, десятку на Колыме в лагере оттянул, естественно, под железным конвоем. Он хотя и был большой, но среди огромных полутундровых каменистых просторов, почти лишённых настоящего леса, словно иголка в лесу, затерялся... Иной раз, особенно в зимнее время, когда устанавливался сорокаградусный мороз и снежные ветры, как по команде начальника зоны, вдвое, если не втрое, усилившиеся к ночи, выли, как полчища голодных волков, казалось, что лагеря вместе с сотнями человеческих жизней, пусть и осуждённых по законам военного времени, и вовсе не было на белом свете. Жуть — да и только! Условия, в которых жили и трудились заключённые, были настолько невыносимыми, что из-за них да полученных на каторжной работе тяжёлых заболеваний смерть людей косяками, как траву литовка, косила. Наконец, мы с другом, старше меня на три года, доведённые до отчаяния, хотя и полуголодные, оттого физически слабые, всё же нашли в себе мужество бежать... Специально дождался второй половины лета — времени созревания всевозможных таёжных дикоросов — я говорю о ягодах, грибах — это было крайне важно для поддержки хоть каких-то сил, поскольку на “материк” можно было выбраться только сушей, преодолев после лесотундры настоящую вековую тайгу, простиравшуюся до первой железнодорожной станции на полторы тысячи километров. В общем, сбежать-то нам удалось, только далеко от лагеря уйти не получилось по причине того, что мой старший товарищ, перепрыгивая через ручей, подвернул ногу. Вскоре мы были схвачены пущенными в погоню за нами охранниками, вооружёнными автоматами. За всю жизнь людей злей и подлей, чем они, я не встречал. Посуди сам: эти негодяи

на моего друга сразу же спустили остервенело лаявших и рвавшихся с поводков немецких овчарок, которые на моих глазах, к моему ужасу, буквально в клочья растерзали его. Меня же охранники так безоглядно и сильно были прикладами автоматов, что в нескольких местах сломали ноги, приговаривая: “Будешь век помнить, сучий сын, как от нас бегать! Следующий раз, так и знай, просто пристрелим, как собаку! Глядишь, и другим неповадно будет с тебя пример брать, мразь ты этакая!” Но, несмотря на свою крайнюю жестокость, видать, для отчёта, меня всё-таки на самодельных носилках доставили в лагерную больницу, где я за пару месяцев кое-как и оклемался. Вот теперь, как только ваша северная погода ещё только где-то в глубинных небесах начинает меняться к дождю, а зимой — к морозам, у меня в местах переломов ноги и побаливают, да нудно так!”

В своё время Виссарион Григорьевич Белинский воскликнул: “Социальность или смерть!” В этих словах великого литературного критика, по существу, весь смысл русской литературы! А проблема истинных социально-культурных ценностей в русской литературе — очень глубокая и актуальная. Ещё Достоевский говорил о Некрасове “как поэте и как гражданине”: “Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов”. Можно сказать, что в русской литературе, начиная со времён Пушкина, всегда наряду с литературой подлинной, органично связанной с духом народа, с нравственными запросами общества, существовала имитация литературы, державшаяся на популярности “просвещённой” публики, которую великий русский поэт называл “чернью”.

Но только для человека большой души народ может быть “настоящей внутренней потребностью” — “не для одних стихов”. Иван Переверзин идёт именно этой столбовой дорогой русской литературы, ибо он понимает всю глубину выстраданного нашим народом, накал народных проблем, реальность современной народной жизни; всё это требует от писателя своего уровня понимания, и не только понимания, но и участия всех сил ума, сердца и души. Это и пронизывающая жизненность судьбы Геннадия Николаевича, не обозлившегося, не потерявшегося в жизни, а продолжающего приносить людям и государству пользу.

Это и честность писателя, которому не до словесного самоупования, когда сердца касается народное несчастье, — не это ли делает слово Ивана Переверзина нужным людям? Движение сроднённости у писателя к людям из народа обнажает самую природу народного самопознания.

“Когда Геннадий Николаевич вспомнил о перенесённых лишениях, — пишет Иван Переверзин, излагая мысли Ивана, — я всей душой проникся к нему жалостью, хотя понимал, что как раз она-то ему, человеку с железной волей, менее всего надобна. Что-либо говорить я не мог, словно напрочь потерял дар речи, и только прерывисто вздыхал, готовый в любой момент разрыдаться, как ребёнок...”

Видя сострадание и живое участие не по годам развитого подростка, заведующий конюшней “вдруг резко предложил, как шапку от души наземь бросил: — Эх, Ванёк, а мне ведь и в самом деле для тебя ничего не жалко — бери-ка моего серого жеребца по кличке Гром, а то он последнее время что-то, вижу, без доброй работы заскучал больше меры...”

А мы знаем, как растаётся управляющий конюшней со своими любимыми жеребцами! Но перед ним стоял подросток, которому можно передать не только любимую лошадь, но и общенародное дело.

“Не говоря ни слова, я вошёл в стойло, на всякий случай не без опаски отвязал поводья и под уздцы вывел лошадь на просторный, сплошь покрытый навозом двор. Накинул на спину лошади кавалерийское кожаное седло с войлочным потником, затянув потуже подпругные ремни, подогнал под свои ноги стремена и, наскоро попрощавшись с Геннадием Николаевичем, молодецкато вскочил на Грома...”

Иван Переверзин описывает быт, который уходит в прошлое из нашей жизни, уходит из памяти. А между тем, сотни лет русский народ выстраивал этот разумный, наполненный смыслами, часто символически выражавший и духовную сторону жизни быт. Да и народ сам в современной жизни как будто не существует! А между тем, города — лишь корабли в необъятном пространстве русских селений, в которых живут забытые люди...

И далее писатель приводит сцену первого шага на пути к инициации, посвящения во взрослую жизнь подростка через испытания.

Бригадир уже на барже, переправляющей бригады, животных и технику на место будущей работы, спрашивает Ивана:

— ... лошадь, как я вижу, тебе приглянулась. Не зря же ты, едва отчалили, уже успел к её морде мешочек с овсом подвязать, который она с удовольствием поедает, — наверно, и сам слышишь, какое хрумканье на всю баржу стоит! Только в таком случае тебе придётся одному от Турукты до самого Жемпо, это больше шестидесяти вёрст, и все как одна через глухую тайгу, да ещё в ночь, перегоняя Грома. Не убоишься?

Вопрос застал меня врасплох. В башке мгновенно вспыхнула страшная картина глухого, ушедшего в непроглядную темень, полного хищных зверей леса. Я невольно поёжился. Но всё же нашёл в душе силы, чтобы как можно увереннее ответить:

— Не убоюсь! Да и не один я буду, а со своим верным Мухтаром”.

Мальчишка пугали местные собаки, живущие во дворах Турукты. Чтоб не злить их, он ехал шагом. Миновал последний дом, “почерневшее от времени здание”, пустил лошадь крупной рысью. Первые двадцать километров прошли в охотку, а потом стало смеркаться, подкрадывалась ночная сырость и прохлады, и за каждым кустом мерещились дикие звери.

“Несмотря на сгустившиеся до почти непроглядной темноты сумерки, я смело вброд, на перекате преодолел речку и выехал на заросшую травой и кустами, старую-престарую, ещё помнящую звенских оленеводов таёжную дорогу, постоянно переживая, как бы лошадь ненароком не оступилась. С темнотой, неотвратимо, как вражеские полчища, подступившие со всех сторон, потянуло холодом и сыростью. Я всё чаще и чаще слезал с заметно уставшей лошади, чтобы, держась за стремя, быстрой ходьбой хоть немного согреться. На ходу то и дело наткался на колючие ветки кустов, казавшиеся лишь смутными пятнами на лике земли. Они с силой хлестали меня по рукам и плечам, в кровь царапали лицо. Мухтар то ли от страха, помимо его воли в темноте, словно в жуткой неизвестности, настигавшей его, то ли от чувства сопричастности с человеком, то подбегал ко мне, то убегал вперёд... Каждый впереди растущий, не видимый, а, скорее, угадываемый куст непременно казался вставшим на дыбы медведем. К безлунной и почти беззвёздной ночи нудно зудящих комаров стало меньше. Зато въедливая, как вши, мошкара кишацими тучами набрасывалась на мои открытые руки, жадно впивалась в лицо, нагло лезла в глаза... Десятичасовая дорога от Какальра до Жемпо мне показалась земным адом. И всё же я ни разу не пожалел, что в ночь и в одиночку отправился в таёжный путь, поскольку в конце пути меня ожидала любимая работа и встреча со старшим товарищем, Георгием Балаевым...”

Высокие свойства народного характера всегда являлись опорой в мучительных жизненных исканиях великих русских писателей. Как никакая другая литература в мире, русская литература XIX и XX веков отличалась нравственной чуткостью, праводискательством, Богоискательством, и это её качество объяснялось, прежде всего, близостью к народу. Как к высшему авторитету в нравственных вопросах великие русские писатели прибегали к народным представлениям о добре и зле, и это объединяло их творчество! Мы помним из полемики славянофилов и западников, как остра была проблема “интеллигенции и народа”, ставшая в этой острой полемике стержневой в раздумьях писателей, и судьба России решалась с глубоким сочувствием к народным идеалам.

В творчестве Ивана Переверзина вновь возникает пристальный взгляд сквозь смутное наше время на почти забытые и утраченные в литературе народные идеалы и характеры.

Форма литературно-критической статьи не позволяет мне выписывать пространные цитаты из текста “Росомахи”. Я уже злоупотребил длинными цитатами чудесного русского языка повести. Читатель сам, открыв книгу, насладится настоящей русской прозой, созидательной, полной высоких смыслов и важной для современного, бегущего в небытие века.

Георгий приглашает Ивана на далёкое озеро в захватывающее и трудное путешествие. Но работа отложена на три дня из-за дождей. Бригада будет пить эти три дня. Ибо русскому человеку без работы и веры в Бога жить нельзя. Праздность приводит к порокам. А порок на Руси один — пьянство.

Мудрый, опытный и молчаливый Георгий на пути к озеру позволяет своему младшему товарищу самому принимать решения и действовать. Увлечённый азартом молодости Иван не сдерживается и подстреливает семью

глухарей. А потом, вечером, перед сном раскаивается в этом поступке из-за сострадания к беззащитным птицам.

“— Я в твои годы, — говорит Ивану Георгий, — на природу смотрел ничуть не менее азартно, даже бездумно, чем сейчас смотришь ты. Сколько за многие годы настрелял всяких разных птиц, столько добыл всяких зверей, что, как ни старайся, и не пересчитать. И всё для того, чтобы прокормиться, быть сытым самому и семье... И совсем, дурак, не задумывался, что с каждым зверем, с каждой птицей, загубленными мной вроде бы для гуманных целей, я, между тем, всё больше и больше стал ощущать духовный голод, превращаясь, сам того не замечая, в обыкновенного первобытного человека...”

В жизни русского крестьянства до сих пор таятся огромные нравственно-эстетические и духовные ценности. Иван Переверзин это прекрасно знает. Современных крестьян, живущих в деревне, невозможно провести на мякине ни политикам, ни философам, ни лжеписателям. Правду Божью и правду человеческую русский народ знал всегда и знает сейчас.

Мудрость Георгия не книжная, он постигает её через опыт, искусства жизни и соотносит с мудростью народной, которая онтологически присутствует в нём, как она присутствует в молодом, терзаемом страстями Иване, звуча голосом совести и правды народной.

“— Охотиться, по крайней мере, я, — не буду, — говорит Георгий Ивану. — Мне всё меньше и меньше хочется убивать “братьев наших меньших”, а всё больше и больше хочется наблюдать за их непростой, очень сложной, я бы сказал, даже трагической жизнью, за которой наблюдать, которой любоваться — это как приходиться в церковь, где, возносясь душой к Богу, приближаешься к тайне жизни человеческой. И сюда, на Лебедино озеро, я прихожу — как бы сказать покороче?... Во! — нашёл нужные слова, — за отдохновением души! Прихожу почти всегда один, на два-три дня, но никакого одиночества не ощущаю. Кормлюсь исключительно дикоросами: ягодами, грибами, плаваю на лодке по озеру, как бы сливаюсь с птицами, с рыбами, становлюсь как бы ими. И у меня на душе становится так легко и солнечно, что возвращаться не хочется. А между прочим, куда возвращаться? В эту сумасшедшую круговерть, в которой люди порой ведут себя страшнее всякого дикого зверя! Вот мы сейчас с тобой здесь находимся для того, чтобы от общения с природой духовно зарядить свои мозги, свою душу... А в это же самое время, как ты думаешь, чем занимаются оставшиеся в стане члены бригады? Отвечу сам: вчера, сразу же после нашего ухода, достали бидон браги и, бьюсь об заклад, напившись до чёртиков, сквернословили — чёрта хвалили, а Бога ругали. А сегодня, с похмелья злые, как собаки, сидят за одним столом, но друг на друга даже не глядят, друг с другом не разговаривают, потому что вечернее пьяное веселье обернулось для них закономерным глубоким похмельем... Разве это жизнь? Это её позор! Пусть я сегодня слишком разговорился, но, может, рядом со мной ты ещё быстрее поймёшь, чем я, истинный смысл всей человеческой жизни. — Георгий замолчал, но всё время, пока он, можно сказать, изливал мне свою душу, я глядел на него удивлёнными глазами, словно передо мной стоял какой-то иной человек, прежде мне не знакомый. Трудяга по душе, кадровый охотник, которому, оказывается, важно не сколько он заработает денег на том или другом поприще, а важно, — ох, как важно! — иметь возможность любить, радоваться, восхищаться природной красотой и природным покоем, которые возносят его душу до небес. И там, в небесах, она то бескрылым звонкоголосым дроздом носится между кудрявых, озарённых золотым солнечным светом облаков, упиваясь свободой, то мощным, степенным, уверенным в своих силах орлом, расправив во всю ширь свои огромные, могучие крылья, величаво и грозно парит и парит высоко над грешным миром, осуждая и жалея его...”

Завершает инициацию Ивана встреча с росомарой, которая трагическим образом могла оборвать жизнь молодого человека. Он, забыв о всякой осторожности, пошёл на собачий лай и увидел в кроне дерева загадочное тёмное пятно. Прицелился и выстрелил. Пуля точно попала в цель: “пятно, видать, пронзённое острой, парализующей болью, невольно расслабило мышцы — и спрыгнуло на землю! Сразу же завязалась схватка с собаками, — лай, рычание, визг слились в один сплошной рёв. Я сгоряча, оставив ружьё в ернике, с одной тозовкой в руках бросился к месту схватки, на ходу вгоняя в ствол очередной патрон. Вдруг, прорезая воздух, по моим ушам ударил дикий визг.

Мелькнула мысль: “Неужели моего Мухтара?!” Держа тозовку на вытянутых руках, я стал стволом раздвигать камыш, пока не уткнулся глазами в летящий на меня бешеный взгляд раненой росомахи, в ярости готовый вцепиться в горло! И может быть, ей удалось бы это, но знающий своё дело отчаянный Смелый мёртвой хваткой молодых острых зубов вцепился в зад опасного зверя! И тут я выстрелил. Пуля точно пробила голову росомахи – и она замертво упала на вмиг подкосившиеся передние лапы! “А где же Мухтар?!” – подумал я. Посмотрел вправо и увидел его. Он, с распоротым животом, недвижно, с вывалившимся из пасти сухим языком, лежал в метре от меня на прямом в схватке камыше. Забыв обо всём на свете, я кинулся к нему, схватив его за голову трясущимися руками. . .”

Природа, в которой присутствует правда Божия – “вся премудростию сотворил еси”, – словно мстит Ивану за его неосмотрительность и горячность – “от юности моя мнози борют мя страсти”. И здесь вспоминается “Царь-рыба” Виктора Астафьева и “Моби Дик” Германа Мелвила.

Шкуру росомахи, которая едва трагическим образом не оборвала жизнь Ивана, обменяли на две бутылки спирта у якута-телефониста в Какальре, чтобы спасти от жуткого похмелья всю бригаду, а особенно – одного молодого парня, пульс которого зашкаливал за двести ударов в минуту: “...он, с обильной испариной на лбу, ...прижимал руки к груди, словно боялся, что сердце не выдержит похмельной нагрузки – и может выскочить из грудной клетки! Мне за его жизнь стало страшно!”

По крайней мере, этот спирт спас жизнь неопытному молодому парню.

В простоте текста и образности речи открываются и онтологические глубины прозы Ивана Переверзина.

Близоруки те, кто думают, что телесным зрением ограничивается восприятие мира. Слово в человеке ищет в природе словесного (не говорим логического, ибо это понятие слишком схоластично), как отблески Вечного Слова; Дух ищет духовного; мудрость ищет мудрого. Сам Спаситель Своими притчами учит нас такому подходу к миру явлений. В Его притчах предметы, так сказать, самые прозаические приобретают иной смысл и открывают свою потаённую суть, вводят в мир иных реальностей. Тогда зерно, закваска, скисающая тесто, невод, соль, лоза и подобное открывают нам тайны, скрытые от телесного взора. За этими предметами внешнего мира видятся истинные их смыслы вечного бытия. От Спасителя этому научились святые отцы, проникавшие духом в тот мир, за прозрачную ткань чувственных явлений. Им мир этот представляется символически, словесно, духовно.

Человек – микрокосм. А это значит, что он есть средоточие и связь всех вещей и явлений, то есть ему дано быть соотносительным всеми миру, почему он и может познавать смысл всех вещей. Это, в свою очередь, предполагает понимание всего мира как гигантского органического целого, живущего своей всеединой жизнью. Люди в этом целом суть центры, соединительным звеном которых или, лучше, средоточием этой связи является слово в человеке как отображение Слова Небесного, Единого, Предвечного.

Святитель Григорий Богослов, упоминая в своём надгробном слове святителю Василию Его “Шестоднев”, говорит: “Тогда я беседую с Творцом и постигаю логосы творения”. Благодаря этим всаждённым в природу и во все сущее логосам и Сам божественный Логос связан со всем миром. “Не погрешит тот, кто скажет, что Сын именуется как соприсносущий всему сущему. Ибо что же держится не Словом?” Поэтому, “вникая в логосы тварей”, святитель Григорий замечательно описывает “весь этот мир, небо, землю, море, эту великую и преславную книгу Божию”, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог. Этот мир, гармоническое целое, покоящееся на любви и согласии, “мире с самим собою, не выступая из пределов своей природы, доколе в нём ни одно существо не восстаёт против другого и не разбивает тех уз любви, которыми всё связало Художническое Творческое Слово”. Мир, таким образом, свидетельствует о Творце этими вложенными причинами, говоря нам о Первопричине и этими смыслами, логосами свидетельствуя о Логосе.

Духовный реализм Ивана Переверзина основан на глубинных представлениях о жизни русского народа, в котором таились и таятся огромные нравственно-эстетические ценности. Я не берусь идеализировать ни старую, ни новую деревню, в ней было всё: и хорошее, и худое. Повальное пьянство, которое изображает писатель в повести, например. Но была и сила нравственного

идеала, добрые обычаи гостеприимства, сердечное, соборное участие в чужой беде и взаимопомощь. Была и есть сдержанность душевных связей с природой, с землёй, которые порождали и порождают народную философию; и художественность самого быта, которая выражалась, конечно, в искусстве постройки крестьянской избы и украшении её символическими предметами, связывающими человека с небом.

Всё это есть в замечательной повести “Росомаха” русского писателя Ивана Переверзина. Эта книга, на мой взгляд, войдёт в сокровищницу национальной литературы как образец выражения подлинной народной жизни с её устремлениями и идеалами, так необходимыми для осмысления современным человеком.

В литературных произведениях писателя Ивана Переверзина в художественной форме сформулированы духовно-нравственные ценности русского народа, всё ещё поразительным образом проявляемые в живой жизни. Это всё те же неизменные вековые идеалы, запечатлённые в лучших сочинениях великих русских писателей, – Толстого, Достоевского, Бунина, Лескова. Они выражались в определённых воззрениях, которые никогда не покидали живую душу народа: цель жизни – стремление к спасению души и обретение вожделенного Божьего Царства; понимание жизни как подготовки к жизни вечной, бессмертной, нетленной; через преображение личности, а через личность – в общем делании – и преображение всего народа.

ПЁТР КРАСНОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И НООСФЕРА

Понимая, насколько обширна сформулированная так тема, хочу остановиться лишь на некоторых информационных аспектах её.

Нынешнее расширение её, Ноосферы (как трактуют этот термин В. Вернадский, П. Тейяр де Шарден и другие мыслители), скорее всего, можно определить, как “катастрофический рост” или даже “взрыв”. Он является и количественным – “взрыв”, и одновременно качественным – “катастрофическим”, причём весь негативный смысл этого определения не кажется мне в отношении нашей современности таким уж преувеличенным. Сверхмассовый, можно сказать, выход в информационное пространство (которое является весьма значимой, если не определяющей частью Ноосферы) “низовых” пользователей интернета создал совершенно новую, небывалую в истории человечества социокультурную ситуацию. В таком случае тютчевское “мысль изречённая есть ложь” парадоксальным образом говорит нам о том, что всякое фиксированное в слове, сформулированное высказывание/месседж можно с разной степенью условности считать если не ложью от незнания истины, то мыслью недодуманной, как самое малое – незавершённой, а зачастую и преднамеренным, а то и злым обманом, ложью. А вот последнее в истории человечества настолько распространено и употребляемо, что уместней вообще говорить об антропосфере, техносфере или социосфере, нежели о термине, в составе которого “noos” – разум. И нередко сам человек задаётся вопросом: где здесь, в современной ситуации, не то что высокий разум, а элементарный здравый смысл?

В ход пошла в последние десятилетия намеренная ложь уже такого размаха, масштаба, перед которым, скажем, провокационный “поджог рейхстага” в начале тридцатых или такой же провокационный Тонкинский инцидент покажутся подростковым хулиганством, причём вскоре разоблачёнными перед мировой общественностью. А потому позвольте привести два “технических”, так сказать, примера этой феноменальной, попирающей все мыслимые пределы лжи – с некоторыми техническими же подробностями.

Первый, окончательно развязавший руки политиканской верхушке Соединённых Штатов для разбоя на международной арене, – “теракт” 11.09.2001 года с подрывом-сносом трёх зданий ВТЦ, причём в здание ВТЦ-7 никакого самолётного тарана не было, как и в стену Пентагона. А между тем, в ВТЦ якобы погибло более 3000 граждан США, и одно дело, как квалифицировать этот стопроцентный технологический снос зданий с людьми в них; с этим, впрочем, пусть разбираются в самой Америке. Но назвать и навязывать всему миру эту топорно сделанную собственными спецслужбами чудовищную диверсию-провокацию терактом какого-то “усамы” – это не то что

знак, а символ запредельной наглости и хамства по отношению ко всему угромо смолчавшему человечеству, ко всей многострадальной Ноосфере же таковой. Какие триллионные активы Саудовской Аравии и триллионные же недостачи-протори Пентагона погребены якобы в подвалах ВТЦ — в этом разбираться опять же предоставим самим американским гражданам.

Вторая же, поистине гомерическая ложь (фильм об этом американцы, не стесняя себя ничем, так и назвали: “Для всего человечества”...) была по времени своего торжества первой, подготовившей в дальнейшем саму возможность и, так сказать, “технологии информационного производства и обеспечения” вышеописанного “акта”. Эта так называемая “лунная афера”, которая началась вовсе не с пресловутых “полётов на Луну” ихних “Аполлонов”, а гораздо раньше, с самых ранних американских попыток освоения околоземной орбиты. То есть с суборбитальных на самом деле полётов-прыжков “Меркури”, а потом и “Джемини” на высоту 180-200 километров, без достижения первой космической скорости и выхода на орбиту. Уже здесь берёт начало их самая наглая и расчётливая ложь. Для примера можно взять 14-дневный якобы полёт “Джемини-7” в аппарате, где на человека в скафандре приходится места, как на переднем сиденье автомобиля (1,3 м³, тогда как в стандартном гробу — 0,8-0,9 м³), вдобавок раздельно с напарником. На двоих советских космонавтов, кстати, приходится в “Востоке” приходится 9 м³, причём с туалетом, в отличие от американских аппаратов, и после шести дней полёта они не могли самостоятельно ходить, а космонавты А. Николаев и В. Севастьянов после 18-суточного полёта вернулись почти полумёртвыми — таковы были первые тяжелейшие “сюрпризы” невесомости. А вот американские астронавты, якобы полмесяца просидевшие в креслах, с лёгкостью, прямо-таки козлами перепрыгивали с приводившегося в океане аппарата в резиновую, вроде наших рыбацких, болтающуюся на волнах лодку, как точно такие же “бодрячки” прыгали потом с посадочных “Аполлонов” после куда более тяжёлых, казалось бы, и сложнейших полётов...

А секрет такой их резвости-прыгучести — в строгой тайне, которую соблюдали наши в сообщениях о здоровье вернувшихся космонавтов: “самочувствие хорошее”, а то и “отличное”. Впору посочувствовать американцам: так спроста, по незнанию последствий невесомости, они сами попались, нарвались на саморазоблачение... Не летали они на орбиту, ракет необходимой мощности для этого у них тогда не было, и все “подвиги” “Меркури” и “Джемини” там, как весьма убедительно доказали и специалисты кинофотосъёмки (по опубликованным НАСА кино- и фотоматериалам), есть не более чем кинотрюки и фотомонтажи. А с нулевым опытом стыкровок-перестыкровок в космосе, причём многих и сложнейших, которые и должны были быть отработаны на орбите, полёт на Луну абсолютно невозможен, это вам и в НАСА скажут.

Так сказать, “спасали честь” американской астронавтики — полнейшим бесчестьем...

Разоблачению “лунной аферы” посвящены десятки научных работ и книг, сотни аналитических статей и материалов, настолько очевидны откровеннейшие ляпы и подделки её, мировая же официальная наука молчит. Кстати, отняв в глазах мировой публики этой грандиозной фальсификацией у СССР ведущую роль в освоении космоса, американцы восхотели отнять себе и Международный день космонавтики, запустив 12 апреля 1981 года первый “Шаттл”. Да, ровно через 20 лет после Юрия Гагарина впервые, подчеркнуту, выведя наконец-то своих астронавтов на околоземную орбиту... И вполне очевиден теперь сговор руководств США и СССР относительно “лунной гонки”, за которым последовали просто какое-то зверское уничтожение нашего лунного проекта со всей его космической техникой и документацией, затем уже хорошо известные материальные “плюшки” за это от Запада, а далее фальсификации полётов “Союз-Аполлон” и “Скайлэба”.

Но кто сейчас может на государственном уровне открыто усомниться в этаким “апофеозе” Америки, кто осмелится? Коллективный Запад давно убедился: имея самую обширную и управляемую сеть СМИ в мире, сравнимую с их же финансовым и военным могуществом, можно творить всё, что угодно, инспирировать любую, самую несусветную ложь. Стоило, скажем, потрясти с трибуны пробиркой с мелом — и весь Ближний Восток на десятилетия опрокинулся в кровавую кашу, в разруху и первобытную дикость с более чем миллионом одних только убитых. И что там, по сравнению с этим,

мелкое враньё относительно малайзийского “Боинга” или пресловутых Скрипалей... Ложь теперь как бы завоевала тем самым все права, стала обыденной и общепринятой данностью, презрев все установления дипломатии, международного права и самого политического модерна, перемахнув на наших глазах в политпостмодерн и не утруждая себя никакими доказательствами.

Вывод тут может быть только один: от организаторов этих афер, по степени низости их и безответственности, человечеству суждено ожидать любых, самых чудовищных провокаций, агрессий и преступлений.

Эта как бы “разрешённая” вышеприведёнными, глобальными по масштабу “акциями” ложь в последние десятилетия распространилась на все уровни, полновластно захватила не только мировое массмедийное, но и культурное пространство, вызвав вполне очевидный кризис едва ли не всех видов искусства и самой культуры в целом. “Эстетическая ложь” (позволительно определить её так), на которой преимущественно и “построен” постмодерн в искусстве, неудержимо и вполне злостно разъедает и все смыслообразующие этические принципы, выстраданные человечеством. Времена Льва Николаевича мы продолжаем считать классическими в смысле устойчивости базовых понятий о правде и лжи, добре и зле, красоте и уродстве, о чести и бесчестии. Но вот, пройдя всеразлагающие искусства “серебряного века”, декаданса и постмодернизма, в каком веке мы оказались, кому и каких идолов понаставили? Судя по всему, никак уж не в атомном, а скорее, в пластиковом, причём “пластик” этот самого дрянного и токсичного свойства.

Не могла не впасть теперь в этот ощутимо разрушительный кризис и литература, отечественная тоже. Искусство, по определению Льва Николаевича Толстого, как “гармоничная правильность распределения предметов” (изображения, описания, звуков и т. п.), как категория почти изъята из общеупотребительной практики, победно провозглашён “эстетический экуменизм” без берегов. Об этой “культуре неразличения” подробно пишет в своих работах известный прозаик и поэт Юрий Милославский: “Победивший культурный контекст оказывается явлением исключительно рукотворным, привнесённым, собственно, искусственным, продуктом art-индустрии”. Агрессивно навязывается неразличение качества (в данном случае художественных текстов), всё зависит лишь от их пиара, раскрутки, лоббирования — того, что спецы этого дела называют “информационным и имиджевым сопровождением” на ТВ, радио и в интернете путём “засевания” его продвигаемым автором и его произведениями. Неудобных же авторов официальные издательские корпорации даже и цензуре не подвергают: “Существенно подчеркнуть, что речь обыкновенно не идёт о прямых запретах (напрям, на публикации), а о разновидностях “сдерживания и отбрасывания”, недопущения”. Что мы сплошь и рядом видим у наших либерального пошиба издателей и держателей премиальных “общаков”.

Art-индустрия торгашей сейчас правит бал не только на нашем книжном, театральном, выставочном, киношном, эстрадном и прочих рынках. Она, паразитарная, извратила все понятия эстетического качества вплоть до противоположного порой, она навязывает всем и всему свой торгашеский дух, который является, по сути, врагом всему творческому, истинному, самому соучастию искусства и литературы в поисках человечеством путей в будущее, в разрешении своих тяжелейших проблем. После великой в своих лучших образцах литературы советского периода мы сейчас видим, что лезет в глаза, навязывается на первых — ближе к кассе — полках книжных магазинов, на неприглядной поверхности самого нынешнего литпроцесса. И мы что же, думаем, что эта дрянная коммерция будет нести “разумное, доброе, вечное”, будет воспитывать наших детей и внуков, наши новые поколения? Так ведь куда более успешно продаётся на всяческих рынках всяческая ложь, разврат и развлекало... .

Лев Николаевич, всю жизнь боровшийся против лжи во всех её облициях и проявлениях, не мог и представить, конечно же, до чего мы — то есть человечество — докатимся. Он был, несмотря на своё знание людей, всё-таки оптимистом, верующим в великие душевные и духовные возможности человека, в его способность нравственного преображения и совершенствования, стоит только ему растолковать всё и показать верный путь. Не мог представить себе, скажем, динамику человеческого самоуничтожения от 10 миллионов в Первой до 54 миллионов во Второй мировой войне. А тем более динамику

и вселенский размах того, что мы можем назвать мировой ложью. И что там его негодование в отношении написанного Шекспиром, когда здесь и сейчас эстетизированная ложь цветёт самым махровым цветом, когда Ричард III выезжает на сцену на автомобиле, а его, толстовского якобы, Кутузова выносят на просцениум одного из главных театров страны в гробу стоймя...

Эта “рыба” новейшего неразумия гниёт и с головы, с верхов человеческого муравейника, едва ли не узаконивших теперь любую ложь и преступления, — и с хвоста, в интернетных и прочих “низах”, в море разлитом самого дремучего невежества, всевозможных фейков и вранья, в несчётное число раз превышающих хоть что-то разумное. “Слово изречённое” (пусть даже кодированное в электромагнитных сигналах интернета, радио и ТВ), в отличие от неизречённых мыслей, уж наверняка становится частью информационной ауры планеты, эфира, Ноосферы. И можно только представить, насколько забита она всем и всяческим хламом, бескультурьем, а подчас и откровенной дикостью. И в экологическом смысле она загажена, должно быть, в несравненно большей степени, чем наша земная экосистема, потому что экологические бедствия являются всего лишь непосредственным следствием человеческого неразумия и рвачества, теперь явленного во всей своей красе...

Хуже всего то, что всё это инициируется, внедряется и поддерживается правящими верхами современной человеческой цивилизации. А тридцать лет назад в эту западную, по генезису своему, парадигму социокультурного существования подалась и соблазнённая бюрократическая элита СССР-России. Рухнула вся мировая система сдержек и противовесов, особенно же в культурном и морально-нравственном аспектах, и “закружились бесы разны” на просторах нашего Отечества, прорвавшись через пресловутый “железный занавес” и пытаясь сорвать все “печати” этически выверенных установлений, с Нагорной проповеди Христа начиная...

Правда, немало надежд на лучшее и более разумное жизнеустройство связывают в мире с Россией. Но годится ли нынешняя Эрэфия с её мерзким социальным устройством на евангельскую роль “удерживающего” хотя бы в дальней перспективе — это ещё вопрос наших вопросов.

Конечно же, сказать, что наша Ноосфера теперь тяжело больна — это всё равно, что спросить, а была ли она когда-либо хоть сколько-нибудь здоровой. Но оздоровлением её, увы, озабочены ныне очень и очень немногие. Назвать всё это предуготованной и неизбежной драмой человека как вида, как мыслящего всё же существа? Наверное, можно, — если бы она не завершалась всякий раз очередной трагедией.

МАКСИМ ЕРШОВ

УБИТЬ ИМПЕРАТОРА

*Мгла сыпалась, струилась
по стёклам, как пепел...*

1

О параллелях, отсылках, коннотациях, аллюзиях, намёках, корреляциях, диалогичности, преемственности, о сходствах и различиях “Мастера и Маргариты” и романа Владислава Артёмова “Император”, думается, скажут немало и глубоко. Не буду этому мешать. Скажу только, что необходимое Артёмов высказал сам. И добавлю, что для меня это два романа, вызванные к бытию одними и теми же обстоятельствами, с той разницей, что для Артёмова, живущего сейчас, что Скокс, что Революция, а для Булгакова первое оказывается лучше второго. Правда, автору сегодняшнему видно лучше, он старше на семьдесят семь лет. У Булгакова было больше надежды, потому что не было телевизора. Артёмов встречает нас у последнего – когда пали все идеологии – бастиона. Человеческого сердца, бьющегося между крыльями бабочки: “Будто бы много раз видел Бубенцов, как повторялась на репетициях в театре эта сцена, знал её назубок. Но то было понарошку, а теперь вот случилось наяву. Ужас заключался именно в том, что на этот раз не было никакой игры. Всё стало абсолютно реальным. Репетиция превратилась в подлинную жизнь. Всё происходило по-настоящему. Вместо блестящей, остроумной фальсификации на сцену вылез грубый, необработанный, корявый подлинник. Именно в подлинности происходящего заключался главный ужас”.

2

Деньги как управляющая материей сущность старше любой действующей религии. Если же есть религия (монотеистическая) старше денег, то мы о ней не знаем. Мы о ней только узнаём... А между тем поле боя сужается и сужается, до размаха бабочкиных крыльев. До слабого сердца героя русского романа дурака Ершки Бубенцова. Но и ему место уже только в дурдоме, уже только в могиле да в небесах – то есть в романе: “Ерошка некоторое время помедлил в проёме. Две пальмы росли справа и слева от прохода, соединяясь ветвями, образуя арку над его головой. Поток тропического тепла выкалывался навстречу из шумного зала, едва не сносил с ног. От этого тепла покалывало замёрзшие щёки и лоб. Пещерным, первобытным духом веяло из глубины, где шевелилось, галдело многорукое растревоженное племя. Ерошка топтался в дверях, вглядываясь в укромные углы, не решаясь вступить

в опасные заросли. Из-за мохнатых стволов там и тут показывались свирепые, красные лица. Иногда над столами, чертя воздух чёрными крыльями, проносились официанты во фраках. Они пикировали сверху, уклонялись в последний миг от смертельного столкновения с землёй, расхаживали вокруг на пружинистых ногах, раскладывали по столам принесённые куски добычи”.

3

Из карнавала, хоровода, из визга и хохота непременно должен торчать красный язык трагедии. Шуту всё равно в итоге достаются слёзы. Но ещё большее оттого, что похожему внешне на Сергея Есенина Ерошке Бубенцову никак нельзя проявить себя иначе. Только в роли шута в специально подстроенный момент бездарного представления. Во-первых, Ерошка просто гражданин России. Во-вторых, сказать он хочет то, что давно не помещается в реальность. В ту, где мы живём, к которой привыкли и которая претендует быть неизблемым будущим. Я понимаю Бубенцова Ерошку. Я сам такой же вот точно ерошка: если меня нет – это правильно, ну, а если хочу быть – то пожалуйста шутовской наряд. Чтобы остались целыми рёбра.

“Ерошка стоял посреди сцены в ослепительном круге света. Озирался, щурил глаза. Сухим жаром несло от софитов и юпитеров, празднично сияло всё вокруг. Не то чтобы он смутился, утратил решимость... Хмельной порыв, который вынес его на публику, немного отступил. Но всего лишь на секунду, как отступает волна, чтобы накатить и ударить с новой силой.

<...> Правды и справедливости?! – прогремел Бубенцов. – “Нет правды на земле! Но нет её и выше!..”

Только и всего. Здесь он ненадолго замолчал, не зная, как продолжить. Не оговорился ни единым словом больше. Это-то и удивительно! Неужели одно только выпретенное упоминание о правде и о справедливости произвело столь сокрушительное воздействие? Пусть вещали о ней уста нелепые, крамольные, шутовские”.

Диагноз этот слишком многозначителен. “Бедный русский Гайавата!” – писал некогда Есенин в письме из Америки. Кажется, он, Есенин, прозрел именно там. И это прозрение стало ему приговором. Поэт разбил одно зеркало (“Чёрный человек”), Ерошка Бубенцов – другое. Артёмов говорит, что это зеркало одно и то же: “Рванулся, вскочил на ноги, дотянулся... Тяжёлый снаряд полетел в гуцу врагов.

Взвыли страсти человеческие!.. И не семь их было, не семь, а гораздо, гораздо... Но, увы, ему не удалось разрушить бюргерский мир. И даже ни единой кегли не смог он повалить. Хотя и попал очень удачно, в самую серёдку. Потому что весь этот чуждый, враждебный мир, в который он целился и в который метнул сокрушительный снаряд, был всего лишь отражением в гигантском настенном зеркале.

С великолепным громом, замедленно, плавно, отваливаясь большими кусками, падало зеркало, высвобождаясь из бронзовых оков. Ударившись о светлый мрамор пола, развесёлыми брызгами плеснуло по щиколоткам. Радуга вспыхнула в облачке мельчайших осколков, зависших в воздухе. Оператор телевидения с вывалившимся от наслаждения языком снимал бесценные кадры. Радуюсь величайшей творческой удаче, запечатлевал то, что больше уже никогда и нигде не повторится в мире”.

Артёмов подметил вещь роковую. Нам не выбраться из зеркального лабиринта, пока мы не найдём в себе сил для реальной, а не шутовской борьбы. А пока “только юридивый да пьяный человек приобретают законное право говорить на этой земле правду”.

4

Сущность истории заключается в установлении и сохранении господства. Как только технологии (с началом использования пороха) стали значить больше, чем значит отвага в военном деле, стал побеждать тот, кто мог купить более технологичное оружие. Господство – подчинение человеческих масс для чёрной работы – стало перетекать от булата к злату (помните, конфликт того и другого у Пушкина?). С появлением в Италии первого банка революции стали неизбежны. Уцелели лишь те боги, короли и рыцари, которые служат злату.

И не надо удивляться, если государство не способно победить коллекторов. Оно ничего не способно победить, кроме Ерошки Бубенцова, побеждённого сто лет назад. Потому что для корпорации народа нет. Есть баланс, расчёт, конкурирующие фирмы. В глобальном контексте отражается сущность высоких побед, в оптимизме оптимизации и будущем бюджета. Если вместо истины – армия, это не очень хорошо. Потому что национальной армии без национальной школы нет даже и в Америке. Бюджет и отчёт не исчерпывают вопросы о том, где находится наша школа, наша культура, наша литература. И чему все они служат: *“Нам не нужно никого нанимать. Мы берём готовый характер, который органично вписывается в сюжет. А дальше человек действует уже сам, по собственному вдохновению. Так ему кажется. На самом же деле система управляет им. Он поступает в соответствии с законами системы, а его поступки, в свою очередь, влияя на систему, настраивают, совершенствуют её. Всё живо, всё естественно.*

– А если человек не захочет вписываться в вашу механику?

– Человек действует совершенно свободно. Но вариантов выбора всего два. В любой ситуации. Да – нет. Вот весь свободный выбор”.

И вот ещё, далее по тексту романа, говорит вновь доктор Шлягер:

“Нам не нужны наёмники. Нужны преданные, верные люди, которые служат добровольно. Действуют по убеждению. Они и не подозревают о том, что самые главные убеждения мы вкладываем в человека незаметно для него, контрабандой. Вживляем через образы, которые мало поддаются анализу. Через чувства, которые трудно контролировать. Через сердце, которое капризно и своевольно. Вам и в голову не приходила догадка, что вы всего лишь орудие чужой воли!”

5

Первой части романа предпослан эпиграф – максима Игнатия Брянчанинова. Можно уточнить, отметив, что мысль, выраженная в эпиграфе, принадлежит Платону. Платонизм присущ не только идейному содержанию романа Владислава Артёмова, но и русской государственности. Правда, эта государственность не первый век поставлена под вопрос. Рецидивы были: Александр Миротворец, Сталин, Брежнев. Есть и сейчас – тенденции, только непонятно, сущностны они или формальны. Строгость во благо – это правда забота или привычный алгоритм бюрократического действия? Во всяком случае, действие это совершается только там, где ему дозволено: на окраинах и в низах, в обычной сфере действия легионов и центурионов.

А по-настоящему? Средневековые варвары сумели, выучив латынь, прочесть Платона. А теперешние, выучив английский? Цензура сегодня не нужна. Ничего стоящего массы никогда читать не будут. Сложнейший, выделанный, неторопливый, выстраданный и героический роман “Император” они читать не будут. Цензура теперь внутри нас. Непроходимое болото пошлости не требует ограждений. Ведь человек – мера всех вещей! Нет, без государства обойтись нельзя: *“Устройство человека оказалось не сложнее устройства старинного ночника, что много лет стоял в спальне у Бубенцовых. Ночник почти уже не использовали, но, когда нажимали кнопку, лампа зажигалась зеленовато-синим светом. Срабатывал электромоторчик, и в таинственном подводном царстве всё приходило в движение, оживало. Проплывали по кругу экзотические рыбы, медузы, осьминоги, покачивались морские коньки, шевелились водоросли, поднимались пузырьки. Однако стоило приглядеться повнимательнее – и видно было, что там движутся одни и те же коньки, медузы, осьминоги. В одних и тех же сочетаниях, в одной и той же последовательности. Что рыб на самом деле нарисовано всего только семь.*

Люди самых разных сословий, возрастов, характеров оказались по сути одинаковыми. У всех внутри копошились всё те же семь гадов. Подноготное знание не радовало Бубенцова. Документы, которые он изучал, готовясь к очередному выступлению, были подлинные, цифры реальные, факты ужасающие, фотографии страшные. Но вот что поразительно! Вот во что невозможно даже поверить! Публичные разоблачения, производимые Ерофеем Бубенцовым, основанные на достоверных сведениях, не имели ни малейших последствий. Кроме разве что совсем незначительных. В ответ на страшные факты, в ответ на самую жгучую сатиру слышался дружный весёлый смех”.

Платон писал о Едином, о благе Вселенной, частицей которой является душа человека. Пелевин, тоже платонист, пишет о Ебанке, частичкой которого является каждая кредитная карта. И вот человеческое сердце. Слева – Платон и Единое, справа – Пелевин и Ебанк. А прямо перед героем – Артёмов, который говорит человеку: да, я знаю, всё знаю. Налево пойдёшь – коня потеряешь, направо – жизнь. Иди, куда хочешь, ты можешь идти, куда хочешь, если найдёшь в себе самом силы устоять. И перед первым, и перед вторым. Это почти невозможно, но ты держись, будь достоин себя. А значит, Бога! И только тогда можно говорить хоть о чём-то. О России, например. А иначе: “С детства забивается колышек, очерчивается коло, за которое заступать нельзя. Недаром мы строжайше запрещаем даже прикасаться к Евангелию. Строжайше возбраняется! Наш девиз: “Не навреди!” Живёт человек, и пусть себе живёт в своё удовольствие. Зачем ему занозу вгонять в мозг, жизнь портить – напрягать совесть, мучить вечными вопросами? Наша задача – обусть, одеть, накормить, устроить комфортную среду обитания. Всё для блага человека! Мы гуманны. У нас умно всё устроено, продумано до мелочей. Диктатуры нашей никто не видит. Человеку кажется, что он сам совершает выбор”.

“Конец света” надо понимать буквально: не как конец мира, жизни, а именно как конец в мире, в жизни света. Поэтому так пишет один современный поэт:

*В небе, где тьма прозвучала,
должен сгорать фейерверк!
Мы начинаем сначала:
палим непрожитый век...*

6

Когда убили русского царя, в мире стало холодать. Не сразу замёрзло: его мало убить, ещё и повалить надо. А падать он отказался. Он, конечно, берёт не своё имя, а имя России, чей реликтовый свет и чья горячая кровь согревала целое двадцатое столетие. Но повторная вивисекция завершила дело. Теперь русскому дураку и в дурдоме не спрятаться, теперь он совсем бездомный. Но теперь, когда государь умер, пустота начала притягивать звёзды...

Владислав Артёмов здравый человек и мудрый писатель. Но иногда реальность начинает отрицать то самое отрицание всего (кроме материального интереса хозяев положения), на котором зиждется. Отрицать невидимого бога, спрятанного за фасетчатыми глазами экранов, повелителя экранов, социальных институтов, дискурса, славы, власти, повелителя истин, мух и пустоты. Такую реальность называют ирреальной. Телега, поставленная впереди лошади, грозит куда-нибудь сорваться. И утащить всё и всех. И иррациональное владычество начинает бояться самого себя. Возникает краткая заминка в механизме и... Как говорится, открывается щёлочка для возможности. Такая – на дверной цепочке, знает. В уме сумасшедшего – где ещё? Блаженные чувствуют первыми: “*Всякий раз, прислушавшись к сердцу, Ерофей с удивлением обнаруживал, что есть внутри человека нечто, большее человека. Нечто, способное подняться над ним, поглядеть сверху, оценить даже сам ум его... С такой поддержкой исправить поломку внутри себя – возможно*”.

7

Карнавал рвался-рвался, со времён Гаргантюа и Пантагрюэля, со времен Трёх Апельсинов – с XVI века, короче, – и прорвался. Через Лемберг, Любек, Вильно, Нарву – с запада, вместе с Польшей. Старая история, ещё ветхозаветная: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Где теперь тот Вавилон, где Ассирия? Египет где?

В романе “Император” – карнавал, театр, цирк, дурдом. Вереница циничных эгоистов. Натурализм российской жизни. Идея “каждый за себя” административно структурирована. И нельзя придумать ничего хуже для страны, чем эта аномия, воцарившаяся сверху донизу, где главное – самосохранение среди распилы.

Всё у Артёмова – страшная сказка. И всё у него – страшная правда. Ремарк восставал против войны и мучился памятью. Артёмов восстаёт против мира и мучается памятью. Но память это и есть – ты. Мука – это и есть ты. И пока ты ещё можешь себя терпеть в этой человеческой муке самости, на тебя есть надежда. Пусть время – это точильный круг. Ты – мимолётные искры, летящие из-под стачиваемого топора, который и тебе поставит точку... Но больше всё равно нет ничего.

Поэтому и не к кому больше Владиславу Артёмову обратиться. Только человек и остался. Из сказанного ясно, что “Император” – трудный роман. Но с появлением таких романов в каждой литературе становится одним значительным писателем больше: *“Оказывается, в толще народа, на недостижимой глубине, в самой сердцевине этноса, происходили таинственные перемены. Пусть перемены эти совершались пока внутри одного-единственного человека – внутри Ерошки Бубенцова. Но это были те перемены, которые определяют судьбу всего народа. Потому что народ – это один человек, только многожды, миллионы раз умноженный сам на себя”*.

И смотрите: если в ближайшее время “Император” не будет отмечен и напечатан, это станет окончательным доказательством его оглушительности. Потому что убить императора – дело трудное, его просто так не бросишь.

г. Белгород

Не забудьте подписаться
на "Наш современник" —
на первое полугодие 2020 года!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на газету журнал		<input type="text"/> (индекс издания)									
НАШ СОВРЕМЕННИК		Количество комплектов									
На 2020 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда <input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>			
(почтовый индекс)				(адрес)							
Кому _____											
Линия отреза											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА		<input type="text"/>						
ПВ	место	литер									
На газету журнал		НАШ СОВРЕМЕННИК									
		(наименование издания)									
Стои- мость	подписки	руб.		Количество							
	переадрес.	руб.		комплектов							
На 2020 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		город		_____							
<input type="text"/>		село		_____							
<input type="text"/>		область		_____							
<input type="text"/>		район		_____							
<input type="text"/>		улица		_____							
дом	корпус	квартира	(фамилия и о.)								

Подписные индексы журнала
"Наш современник"

По каталогу "Роспечать" на 6 месяцев — 73274

По каталогу "Роспечать" на 12 месяцев — 72336

По каталогу "Почта России" — П4254

По каталогу МАП — 12625